НОВЫЙ МИР

3

1977

НОВЫЙ МИР 3 1977

НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1925 г. № 3 Март, 1977 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

А. КОВАЛЕНКО— **Шаги богатырские** 3

МАРТОВСКАЯ КНИГА: **Гюзель Элемова.** Мой Алтай; Ты не по бровей надменным дугам...; Нет, я кроткою девчонкой не была... Перевел с алтайского Ал. Големба.— **Татьяна Кузовлева.** Стихи из новой книги.— **Людмила Щипахина.** Ожидающая девочка; Озеро памяти.— **Надежда Кондакова.** Журавли; Заснеженным пространством Оренбуржья...; Эту женщину мамой зовут...— **Вера Игельницкая.** Чаша; Ты зажег меня...; Природа борется в красках...; Непонимание — шаги к нему...— **Ирина Снегова.** Черемуховый мед; Поэт; Тени; Игластая ветка...; Мне захотелось погордиться...; В приблизительном свете... Публикация Е. Иохелеса. Стихи 15

ЮРИЙ СКОП — **Техника безопасности,** роман. Окончание 27

АНАТОЛИЙ ЖИГУЛИН — **Четыре стихотворения** 109

ЧАРЛЬЗ П. СНОУ — **Хранители мудрости,** роман. Продолжение. Перевели с английского И. Гурова и О. Кругерская 112

ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

СИЛЬВА КАПУТИКЯН — **Меридианы карты и души.** Авторизованный перевод с армянского Т. Смолянской 152

ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

М. М. ГРОМОВ — **Через всю жизнь.** Окончание 189

НИКОЛАЙ ЛЕБЕДЕВ — **Смольный... «Известия»** 219

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Н. ГЕЙ — **Слово полноценное и слово обесцененное.** Размышления о стиле 230

ИВАН РАХИЛЛО — **Одна страница** 245

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Литература и искусство 257

Г. Койранская. Новый роман Олеся Гончара.— **Генрих Митин, Леонид Темин.** «И, уйдя от слов случайных...».—**Леонид Новиченко.** Диалектика единства и многообразия.

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

Стр.

Политика и наука 268

И. Бестужев-Лада Образ жизни.— **В. Елисеева.** Через всю войну.— **Вадим Рабинович.** Наука в человеческом измерении.

КОРОТКО О КНИГАХ: Евгений Винокуров.— Николай Тарасов. Впечатление. Книга стихов. ✦ К. Шостак.— Софрон Данилов. Красавица Амга. Роман. ✦ В. Бавина.— Даль Орлов. Сергей Баруздин. Очерк творчества. ✦ Вл. Воронов.— В. Пискунов. Советский роман-эпопея (Жанр и его эволюция). ✦ Ирина Гитович.— А. Альтшуллер. Павел Свободин. ✦ П. Куприяновский.— Искусство советского Палеха. Библиографический указатель литературы. ✦ Л. Пинчук.— Александр Дунаевский. Жанна Лябурб — знакомая и незнакомая. ✦ Д. Биленкин.— Слово о науке. Афоризмы. Изречения. Литературные цитаты. ✦ М. Кривич.— С. Д. Бешелев, Ф. Г. Гурвич. Экспертные оценки в принятии плановых решений 280

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ 288

© Журнал «Новый мир», 1977.

А. КОВАЛЕНКО,

первый секретарь Оренбургского обкома КПСС, дважды Герой Социалистического Труда

★

ШАГИ БОГАТЫРСКИЕ

Приближается знаменательная дата в истории Советского государства — его шестидесятилетие. В масштабах мировой истории срок сравнительно небольшой, меньше человеческой жизни. Но если мы вспомним, какие это были годы, месяцы, дни, какие испытания вынес советский народ, поднявший убогую, нищую страну до космических высот, то окажется, что путь пройден гигантский. Особенно если учесть, что из шестидесяти послеоктябрьских лет почти двадцать ушло на жестокую борьбу с врагами, на преодоление разрухи, на восстановление разрушенного войной хозяйства.

Люди старшего поколения хорошо помнят, какое тяжелое наследство досталось нам от царской России. В то далекое теперь уже время, как отмечал Владимир Ильич Ленин, Россия была обеспечена «современными орудиями производства вчетверо хуже Англии, впятеро хуже Германии, вдесятеро хуже Америки».

Строительство новой жизни, строительство социализма в нашей стране приходилось начинать, как говорят, с нулевой отметки. И не удивительно, если не только враги, но и многие люди, сочувственно относившиеся к советской власти, считали утопией, несбыточной мечтой ленинский замысел превратить Россию в страну электричества, крупной промышленности и кооперированного сельского хозяйства, в страну социалистическую.

Великий путь, который прошла наша страна за шестьдесят лет советской власти, можно увидеть и на примере нашей области — бывшей Оренбургской губернии.

За несколько месяцев до Великой Октябрьской социалистической революции, летом 1917 года, вышел учебник «Курс географии России». В очерке, посвященном Уралу, о промышленности Оренбуржья говорится только, что здесь имеется Илецкий соляной промысел. И все!

На территории губернии не было ни одного мало-мальски крупного предприятия. Самым большим заводом тех лет считались Главные мастерские Ташкентской железной дороги. О размере заводов в Орске — ныне крупнейшем индустриальном центре области — можно судить по тому, что в 1913 году на всех предприятиях города работало лишь 200 человек. По официальным статистическим данным, рабочие составляли всего четыре процента населения губернии.

Губерния была сельскохозяйственной. Особенно славилось Оренбуржье своей знаменитой пшеницей да платками, связанными искусными мастерицами из козьего пуха.

Еще в 1862 году на крупнейшей в то время Лондонской международной выставке оренбургская пшеница (содержание белка в ней доходит до 20 процентов, в то время как мировой стандарт по белку — 12,5 процента) была признана превосходной и отмечена золотой медалью. Она и в самом деле превосходна, оренбургская пшеница: крупное, тяжелое зерно, вызолоченное солнцем, прокаленное знойными степными ветрами, оно словно светится изнутри. Такой же успех выпал на долю янтарной оренбургской красавицы на всемирных выставках в Париже и Москве.

С берегов Темзы, с Лондонской выставки 1862 года привезли в степной Оренбург еще одну медаль — ее получила казачка Ускова «за шали из козьего пуха». Более двухсот лет из поколения в поколение передаются секреты пуховязального искусства.

Это былое радует. Но оно не может заслонить картин тягостного прошлого: частые недороды, жестокие засухи приводили тысячи бедняков к разорению, нищете. Потрясающую быль о голоде в селах Бузулукского уезда поведал в те годы Лев Толстой.

Не стану приводить статистические данные о состоянии культуры, здравоохранения — они весьма схожи с тем, что делалось всюду в царской России и было охарактеризовано Владимиром Ильичем Лениным как патриархальщина, полудикость и самая настоящая дикость. Но и на этом фоне Оренбургская губерния считалась, пожалуй, одним из захолустных, глухих, темных углов. Не случайно царское правительство избрало ее местом ссылки. Еще в 1820 году сюда отправили 276 солдат гвардейского Семеновского полка, расформированного после восстания. В гарнизонах степного края отбывали солдатчину великий сын Украины Тарас Шевченко, русский поэт Алексей Плещеев, польские революционеры Сигизмунд Сераковский, Бронислав Залесский, сюда ссылались народовольцы, члены ленинского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса».

Таково прошлое Оренбуржья. Владимир Маяковский очень точно сказал, что пятилетка — это пять километров на пути в коммунизм. Вот эти километры нашего поступательного движения, богатырские шаги пятилеток преобразили степной край, подняли его на одно из самых видных мест в стране.

Планомерное изучение недр Оренбуржья дало немало удивительных открытий. В обозримо короткий срок были разведаны крупные месторождения железной, никелевой, медной руд, пошла нефть из первых же скважин, пробуренных в районе Бугуруслана, на южном участке той обширной провинции, которую потом назвали «вторым Баку». Позднее к уже известным земным кладам прибавились другие богатейшие залежи рудных ископаемых и нового для наших мест минерала — асбеста, или, как его образно называют, горного льна.

Большое значение имеет Оренбургское газоконденсатное месторождение. Всего десять лет прошло с того дня, когда скважина № 13, которую пробурила бригада коммуниста Степана Дмитриевича Иванова в пятидесяти километрах от Оренбурга, у села Городище, дала 6 ноября 1966 года первый газ. А сегодня об Оренбургском газовом комплексе знает весь мир. Детальная разведка позволила «оконтурить» месторождение — оно протянулось вдоль левого берега Урала на сто двадцать с лишним километров, ширина его двадцать километров. Огромна мощность газоносного пласта!

В чем необычность Оренбургского месторождения? Во-первых, по запасам газа; во-вторых, по местоположению — открыто оно в обжитом районе, рядом с областным центром; в-третьих, оренбургский газ содержит много ценнейших компонентов и при переработке дает

серу, конденсат, гелий и другие ценные, очень нужные народному хозяйству вещества; в-четвертых, месторождение находится недалеко от таких крупнейших потребителей газа, как города Урала, Поволжья, Центра; и в-пятых, всего в нескольких сотнях километров от Оренбурга проходят мощные подземные магистрали Бухара—Урал и Средняя Азия—Центр, и поэтому наш газовый комплекс сравнительно легко «состыковался» с этими важнейшими трубопроводами.

Но сама природа как бы поставила заслон на пути освоения этих богатств: сернистый газ агрессивен, он очень быстро выводит из строя оборудование и трубопроводы, использовать его без очистки и осушки невозможно. Нужно было построить крупное предприятие для очистки газа от сероводорода. Потребовались специальные материалы, аппараты, трубы особой прочности, прошедшие многократную термическую обработку. Заключен контракт с французскими фирмами на поставку установок комплексной подготовки газа на промыслах и очистки его от сероводорода на заводе.

XXIV съезд партии поставил задачу: «Создать в Оренбургской области новый крупный район по добыче и переработке газа». Опыта строительства таких крупных предприятий по переработке сернистого газа в стране не было. Предстояло в самом срочном порядке передислоцировать на берега Урала, на так называемый Оренбургский вал, буровые бригады и разведочные экспедиции, создать новые строительные и монтажные тресты, подготовить для них промышленную базу, обучить тысячи людей, построить в невиданных прежде масштабах жилье, школы, детские сады, магазины, лечебные учреждения.

Ввести в строй газовый комплекс в установленные партией и правительством сроки стало делом чести областной партийной организации, всех оренбуржцев.

На десятках километров на правом и левом берегах Урала развернулась огромная стройка. Несколько лет в стужу и зной, в весеннюю и осеннюю распутицу здесь быстрыми темпами бурились новые и новые скважины, создавались промыслы, прокладывались целые системы трубопроводов, на склоне одного из холмов Общего Сырта поднимались установки газоперерабатывающего завода.

И наконец настал желанный час, когда по радио прозвучал приказ:

— Всем строителям, всем монтажникам покинуть площадку первой технологической линии!

Зимний солнечный день 6 февраля 1974 года войдет в историю как день рождения Оренбургского газового комплекса. Тогда в магистральный трубопровод были поданы первые тысячи кубометров очищенного на заводе газа Оренбургского месторождения.

В 1975 году вступила в строй вторая очередь этого крупнейшего предприятия, рассчитанная, как и первая, на переработку 15 миллиардов кубометров газа в год. Молодой коллектив газовиков досрочно освоил, а затем и перекрыл проектные мощности. Задача, поставленная партией перед оренбуржцами на девятую пятилетку, была успешно решена. Оренбургский газ стали получать Москва и Куйбышев, города Башкирии и Татарии.

Но это явилось лишь началом грандиозных работ по освоению подземных богатств «Оренбургского вала». С высоким чувством радости и гордости читали труженики нашей области утвержденные XXV съездом КПСС «Основные направления развития народного хозяйства СССР на 1976—1980 годы» и особенно строки, в которых говорилось о дальнейшем формировании «крупного промышленного комплекса

по добыче и переработке газа на базе Оренбургского газоконденсатного месторождения» и о том, что в десятой пятилетке предстоит «построить с участием стран — членов СЭВ газопровод к западной границе СССР».

Теперь уже недалек день, когда оренбургский газ, преодолев большие расстояния, получит выход и на международную арену. Сегодня слово «Оренбург» очень популярно в европейских странах социализма. Его часто можно увидеть на страницах газет, услышать в передачах радио и телевидения. Сейчас совместными усилиями Болгарии, Венгрии, Германской Демократической Республики, Польши, Румынии, Советского Союза и Чехословакии сооружаются объекты третьей очереди газового исполина и прокладывается газопровод, по которому голубое топливо из оренбургских степей хлынет могучим потоком в социалистические страны Европы.

Стройка эта не имеет себе равных и по протяженности (без малого три тысячи километров) и по диаметру труб (1420 миллиметров), а главное — по масштабам делового сотрудничества братских социалистических стран, которым по плечу задачи такого мирового масштаба.

Уже сейчас каждые сутки Оренбургский комплекс дает газа, серы, конденсата и другой продукции более чем на миллион рублей. После завершения строительства мощность предприятия по добыче и переработке газа достигнет 45 миллиардов кубометров в год. Вспомним, что совсем недавно, в 1960 году, столько давала народному хозяйству вся газовая индустрия нашей страны.

Но не одним только газом славится ныне оренбургская земля. В городах и поселках области сейчас действует около ста крупных предприятий. Это Орско-Халиловский металлургический комбинат, Южуралмашзавод, Гайский горно-обогатительный комбинат имени Ленинского комсомола, объединение Оренбургнефть, комбинат «Южуралникель», Ириклинская ГРЭС, Медногорский медно-серный комбинат, нефтеперерабатывающий завод имени Чкалова, Оренбургский комбинат шелковых тканей и другие.

За годы пятилеток в области появились совершенно новые города Медногорск и Новотроицк. На развалинах Орской крепости, у слияния Ори и Урала вырос большой современный город Орск — флагман тяжелой индустрии Оренбуржья. Словно второе рождение переживает сейчас Оренбург, население которого приближается к полумиллиону человек. Мужают, набирают силу важные центры нефтедобычи — Бузулук и Бугуруслан. С каждым годом все больше приобретают городской облик поселки Светлый, Ясный, Энергетик, выросшие рядом со строящимися Буруктальским никелевым комбинатом, Киембаевским асбестовым комбинатом (это тоже одна из важнейших совместных строек СЭВ), Ириклинской ГРЭС.

Замечательных успехов добились земледельцы Оренбуржья. Напомню слова, сказанные Владимиром Ильичем Лениным в трудную весну 1921 года о необходимости заготовить в стране 400 миллионов пудов зерна. А в прошлом году только колхозы и совхозы нашей области дали 310 миллионов пудов хлеба, в основном отличной, знаменитой оренбургской пшеницы.

Втрое по сравнению с дореволюционным временем выросли посевные площади. Хлебное поле области протянулось от истоков сибирской реки Тобол чуть ли не до самой Волги — почти на тысячу километров вдоль южной кромки Уральского хребта. Пожалуй, только с борта космического корабля можно окинуть взглядом бескрайние массивы оренбургской пшеницы.

Еще свежи в памяти хлеборобов горячие дни жатвы 1976 года,

первого года десятой пятилетки. Трудная уборочная страда! Справедливо говорят в народе — легкого хлеба не бывает: каждая жатва в основе своей похожа на предыдущую и в то же время имеет свои трудности, приносит свои особые заботы, свои сюрпризы.

«Человек растит хлеб. А хлеб растит человека. Воспитывает и проверяет его на зрелость и мужество. И это так же вечно, как мир. Вслушайтесь в слово «страда». Оно дышит огнем, зноем боя. Земледелец — как солдат на войне. Войны нет, но хлебный фронт никогда не кончается». Замечательный поэт Расул Гамзатов не был у нас в Оренбуржье. Но эти его слова как будто сказаны о нашей жатве 1976 года.

Каких только испытаний не приготовила природа оренбуржцам. Необычайно сухая осень 1975 года, когда земля, казалось, превратилась в камень и не выдерживали лемеха плугов. Малоснежная морозная зима. Затяжная холодная весна. Потом под самый налив зерна жестокий суховей обрушился на восточные целинные районы области и заметно уменьшил там урожай. И в довершение ко всему чуть ли не с первого дня жатвы начались дожди. Нелегко в таких сложных условиях вырастить хороший урожай, и не менее трудно оказалось взять хлеб в самые сжатые сроки, и при этом без потерь. Но все-таки в подавляющем большинстве районов хлеба выстояли. И это прежде всего итог всесторонне, тщательно продуманной агротехники, высокой культуры полей, незаурядного мастерства и самоотверженного труда трактористов, комбайнеров, агрономов, всех наших земледельцев.

Областная партийная организация мобилизовала все силы на борьбу за большой хлеб. Из сел и совхозных поселков двинулись к поспевающим массивам 16 тысяч жаток, 21 тысяча комбайнов, 31 тысяча тракторов. Готовились к хлебным перевозкам 35 тысяч грузовиков, комплектовались автопоезда. На помощь оренбуржцам спешили железнодорожные составы с машинами из Москвы, Ленинграда, Перми, передислоцировались в оренбургские степи армейские автоколонны. Предстояло убрать зерновые почти с пяти миллионов гектаров, в том числе три миллиона гектаров знаменитой оренбургской пшеницы. Кстати, мы ее сеем больше, чем Англия, Бельгия, ФРГ, Нидерланды, Ирландия, Швеция, Финляндия, Австрия, Дания, Норвегия и Швейцария, вместе взятые.

И вот настал час, когда степь загудела тысячами моторов, когда началась напряженная, не знающая выходных дней и праздников, сжавшая до предела часы отдыха битва за хлеб — первая жатва после XXV съезда КПСС, наметившего новую большую программу развития сельского хозяйства. «Наиболее актуальная задача — рост зернового производства,— подчеркнул на съезде Леонид Ильич Брежнев.—Это— ударный участок работы сельских коммунистов, всех колхозников и работников совхозов». И, конечно, всем очень хотелось внести как можно больший вклад в хлебное богатство страны.

В канун жатвы, в эти ответственные дни прозвучало на всю страну приветствие Генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева, обращенное к знатным механизаторам — делегатам XXV съезда партии. Оно вызвало новую волну энтузиазма, зажгло творческой энергией сердца наших земледельцев.

Тысячи коммунистов, комсомольцев и сельских активистов возглавили уборочно-транспортные звенья и отряды. Личным примером и горячим призывным словом вели они за собой двухсоттысячную армию механизаторов, автомобилистов, работников токов и элеваторов.

В битве за хлеб семьдесят шестого года решающую роль сыграли

новые формы организации труда. В области развернулось массовое движение механизаторов за высокопроизводительное круглосуточное использование уборочной техники. По примеру члена обкома КПСС механизатора колхоза «Красный колос» Первомайского района, Героя Социалистического Труда Владимира Николаевича Кособуцкого на полях работало более четырех тысяч уборочно-транспортных звеньев. С первого дня в соревновании вырвались вперед звенья Героев Социалистического Труда Евгения Николаевича Манина и Владимира Николаевича Кособуцкого. Все механизаторы области следили за их трудовым поединком и тянулись за ними. Манин и его товарищи намолотили пятью комбайнами 123 тысячи центнеров зерна — по 24 с лишним тысячи на агрегат; звено Кособуцкого 111 тысяч — по 22 тысячи на комбайн. Такого намолота никогда еще не было в области ни в одном звене.

Ненамного отстали от них наши прославленные механизаторы Герои Социалистического Труда Василий Макарович Чердинцев, Леонид Константинович Коваленко, Виктор Иванович Незнаев, Василий Григорьевич Задойный, Александр Михайлович Юдин, депутат Верховного Совета СССР Николай Васильевич Ширшов и многие другие.

Уборка урожая стала делом поистине всенародным. Плечом к плечу с сельскими тружениками в поле трудились рабочие и служащие из городов и районных центров, учителя и работники учреждений культуры, студенты и старшеклассники школ. Каждый вносил свой посильный вклад в общее дело.

И еще одна примечательная особенность минувшей жатвы. На хлебную ниву вышло более двух тысяч семейных агрегатов и звеньев. В колхозах и совхозах сложилась прекрасная традиция, когда рядом с отцом или матерью работают сыновья и дочери, когда в одной загонке ведут комбайны братья и сестры. У нас выросли уже целые механизаторские династии. В таких семейных коллективах, как правило, заметно выше производительность труда, бережнее используется техника, а главное — там вырастают настоящие механизаторы, замечательные хлеборобы. Это, на наш взгляд, одна из лучших, наиболее действенных форм наставничества.

В совхозе имени Ленина Беляевского района и стар и млад знают большую трудолюбивую семью одного из старейших механизаторов области, Константина Митрофановича Коваленко. Более тридцати пяти лет водил он трактор и комбайн по совхозным полям. Все семеро его сыновей — Леонид, Николай, Иван, Александр, Василий, Виктор, Владимир — пошли по стопам отца, работают в родном совхозе. А теперь и внуки Константина Митрофановича принимают механизаторскую эстафету. Трудовая династия Коваленко имеет почти двести лет трудового стажа и около двадцати правительственных наград, а Леониду Константиновичу присвоено звание Героя Социалистического Труда. Когда в зале областной выставки достижений народного хозяйства чествовали молодых передовиков полей, на сцену вместе с отцом Константином Митрофановичем поднялись сыновья, все как один рослые, крепкие, загорелые. Зал восторженно приветствовал хлеборобскую династию, а братья Коваленко раскраснелись от смущения и, казалось, чувствовали себя гораздо труднее, чем на хлебном поле. От имени всех выступал Владимир. Не любят много говорить в механизаторской семье. И речь Владимира была предельно лаконичной:

— Спасибо маме, которая вырастила нас в трудные военные годы, когда отец ушел на фронт. Спасибо отцу, который научил нас любить труд хлеборобов, передал нам свою профессию. Спасибо стране, кото-

рая дала нам отличную технику, научила владеть ею, дала нам великие права.

А не так давно, 7 ноября 1976 года, братья Коваленко вместе с отцом участвовали в праздничной передаче с Красной площади, куда их пригласило Центральное телевидение.

Механизатор колхоза «Россия» Оренбургского района, кандидат в члены обкома КПСС Лидия Лукьяновна Долинина возглавила звено, в котором вместе с ней работали ее муж Владимир Егорович и сын — десятиклассник Геннадий. Старший сын Долининых Александр, участвовавший в весеннем севе вместе с отцом и матерью, был призван в Советскую Армию. Перед началом жатвы он прислал письмо, в котором спрашивал: «Как наше поле, мама, помнишь, за речкой Каргалкой, где мы пшеницу сеяли?» И мать написала, что на поле, засеянном Сашей, стеной стоит пшеница, что на комбайне его сменил младший братишка и они втроем будут работать и за него. А когда Александр приехал домой на побывку, он повел свой комбайн по пшеничному полю, а другой вел рядом Гена.

Писатели, художники, композиторы, артисты в разгар жатвы выехали в колхозы и совхозы. Старейший наш литератор Борис Сергеевич Бурлак в горячем августе объездил весь Саракташский район, каждый из его репортажей «Легкого хлеба не бывает» был по-писательски боевым, интересным, глубоко раскрывал характеры людей. Интересные очерки о Героях Социалистического Труда В. Н. Кособуцком и Е. Н. Манине написал Иван Уханов, о хлеборобах Бузулукского района рассказал в своих заметках Анатолий Рыбин. Цикл новых стихов о знаменитом оренбургском хлебе, о творцах урожая опубликовал поэт Михаил Трутнев.

В разгар уборки в сентябре у нас в области проходили Дни советской литературы. Они стали важным событием в культурной жизни области, продолжением той большой шефской работы на жатве, которую вели наши оренбургские писатели. Вместе с оренбургскими литераторами Людмила Татьяничева, Николай Почивалин, Танзиля Зумакулова и другие писатели прошли главными маршрутами хлебного края— от самых западных районов до самых восточных.

На полях Первомайского и Оренбургского районов, на токах, у комбайнов можно было встретить с этюдником заслуженного художника РСФСР Николая Ерышева. Семейным агрегатам, отцам и детям, посвятил свою песню «Отцовское поле» оренбургский композитор Алексей Цибизов.

Приветственное письмо Леонида Ильича Брежнева хлеборобам Кубани вдохновило и хлеборобов нашей области на новые трудовые подвиги. Пять миллионов тонн хлеба — на миллион 200 тысяч тонн больше, чем намечалось ранее принятыми обязательствами,— решили тогда засыпать в государственные кладовые оренбуржцы.

Первыми в области выполнили повышенные обязательства по продаже хлеба земледельцы Илекского района, партийную организацию которого возглавляет Герой Социалистического Труда Петр Тимофеевич Казанкин. Потом мы получили трудовые рапорты из Акбулакского, Соль-Илецкого, Новосергиевского, Ташлинского, Бузулукского, Оренбургского и других районов. Особенно велик вклад в оренбургский каравай одного из крупнейших зерновых районов области — Первомайского (первый секретарь райкома партии — Александр Николаевич Кольцов). Хозяйства этого района доставили на приемные пункты 320 тысяч тонн хлеба.

Днем и ночью по большакам и проселкам оренбургских степей спешили к элеваторам автопоезда с бережно укрытой брезентом пше-

ницей. Каждые сутки они доставляли в хранилища по 100—120 тысяч тонн зерна. Такие высокие темпы хлебозаготовок, четкая работа элеваторов и приемных пунктов обеспечили успех. Страна получила от оренбуржцев более пяти миллионов тонн хлеба (или, если считать в старой русской мере,— 310 миллионов пудов). Причем надо особо подчеркнуть — хлеб очень высокого качества. Пять миллионов тонн хлеба — это результат большой всесторонней работы партийных организаций. Пожалуй, никогда еще прежде у нас не применялся такой богатый арсенал самых разнообразных форм организаторской и массово-политической работы, как в жатву 1976 года. Это и торжественные проводы в поле, и праздники первого снопа, и письма семьям механизаторов, и многое-многое другое. В честь победителей социалистического соревнования на уборке урожая в колхозах и совхозах ежедневно поднимались флаги трудовой славы, в честь передовиков зажигались звезды. Прямо в поле лучшим механизаторам вручались вымпелы обкома партии, памятные знаки «Герой жатвы».

На токах, на полевых станах выступали сотни агитбригад. Работники культуры чествовали передовиков уборки на хлебных массивах, в борозде. Во всех хозяйствах, бригадах, на полевых станах ежедневно заполнялись «экраны соревнования». За время жатвы выпущено более ста номеров «Оренбургской молнии».

Для оперативного освещения хода жатвы обком партии принял решение о ежедневном выпуске районных газет. Они стали подлинной трибуной гласности соревнования, их оперативность соответствовала боевому духу жатвы.

Труд наших хлеборобов, их доблесть и мужество получили высокую оценку в приветственном письме оренбуржцам Генерального секретаря Центрального Комитета партии Леонида Ильича Брежнева, в его речи на октябрьском Пленуме ЦК КПСС.

Еще в ходе жатвы колхозы и совхозы стали готовить урожай будущего года — у нас с осени пашется зябь под весь яровой клин. Посеяли почти 400 тысяч гектаров озимых, в том числе 134 тысячи гектаров хорошо зарекомендовавшей себя озимой пшеницы «мироновская-808». В достатке припасены семена высоких кондиций. Завозятся минеральные удобрения. В тех районах, где позволяет снежный покров, вышли тракторы на «белую пахоту». Лучше, чем в прошлые годы, идет ремонт посевной и уборочной техники.

Неплохо справились сельские труженики области и с планами продажи продуктов животноводства, хотя на развитии этой отрасли и сейчас еще продолжают сказываться последствия жестокой засухи 1975 года.

Наше сельское хозяйство сейчас — это крупное механизированное производство, оснащенное огромным парком машин самого разнообразного назначения.

На заре советской власти Владимир Ильич Ленин мечтал о тех днях, когда рабочие смогут дать крестьянам сто тысяч тракторов. В ту пору первые тракторы были еще сравнительно маломощными. Тогдашние «Фордзоны» и «Путиловцы» имели всего 15 лошадиных сил. А сегодня в колхозах и совхозах области все больше становится двухсот- и даже трехсотсильных тракторов Кировского завода. Да и другие тракторы по мощности ушли далеко вперед. Если посчитать сейчас суммарную мощность имеющихся в хозяйствах тракторов и сравнить с мощностью машин 20-х годов, то окажется, что нынешний парк одной только Оренбургской области уже вдвое превышает тот, о котором мечтал Ильич. Вот как далеко мы шагнули, какая могучая техника работает в селах.

Только в годы десятой пятилетки колхозы и совхозы Оренбуржья

получат 24 тысячи тракторов, 15 тысяч комбайнов, 10 тысяч автомашин. В два с лишним раза увеличится по сравнению с девятой пятилеткой поставка минеральных удобрений.

С удовлетворением хочу отметить, что могучая разнообразная сельскохозяйственная техника — в надежных руках. В области выросли тысячи замечательных мастеров полей и ферм — люди нового склада, влюбленные в свое дело, знающие его в совершенстве, люди с широким кругозором, активные участники общественной жизни. Я мог бы привести множество примеров, подтверждающих эту мысль.

Много лет одно из первых мест в соревновании занимает комбайнер колхоза «Рассвет» Сакмарского района Василий Макарович Чердинцев. Минувшая жатва была тридцать пятой в его трудовой биографии. В тяжелом 1942 году пятнадцатилетним мальчонкой принял он комбайн от старшего брата, который ушел на фронт. С тех пор несет он бессменную механизаторскую вахту.

Когда в Сакмарском районе появились первые самоходные комбайны, один из них доверили Василию Макаровичу. В первый же сезон он в совершенстве освоил непривычную еще машину, досконально разобрался в ее достоинствах и недостатках и написал об этом на завод. Потом на смену «СК-3» пришел более совершенный «СК-4». И снова одним из первых повел его по колхозным полям Чердинцев. Поработал на нем лето, другое и снова послал комбайностроителям свои замечания: так, мол, и так, машина хорошая, но нуждается в доработке. Зимой совершенно неожиданно получил приглашение на прославленный «Ростсельмаш». Там выступил со своими претензиями перед инженерами, конструкторами, учеными. В перерыве между заседаниями к руководителю оренбургской делегации подошел один из ведущих конструкторов:

— А ваш Чердинцев по образованию инженер-механик?

— Нет, просто комбайнер, специального образования он не смог получить.

— А мышление у него инженерное.

«Наш испытатель»—так говорят о нем в колхозе «Рассвет». И действительно, Василий Макарович одним из первых в области «обкатывал» «Таганрожца», «Сибиряка», «Ниву», «Колос». Когда в колхозе задумали механизировать заготовку кормов, председатель посоветовался с Чердинцевым — нельзя ли придумать что-нибудь. Василий Макарович переоборудовал старый, списанный «СК-4» — он подбирал скошенную траву, измельчал ее и силой воздушного потока перебрасывал в тележку.

Приняв механизаторскую эстафету от старшего брата, Василий Макарович передал ее младшим братьям Петру и Гавриилу, а затем и сыновьям Григорию и Александру, племянникам. Сейчас в Сакмарском районе около 20 механизаторов Чердинцевых. А сколько человек, поработавших у него помощниками, стали опытными комбайнерами, научились у него любить машину, землю, хлеб. Кстати, старший сын Василия Макаровича Григорий — один из лучших молодых комбайнеров области, награжден орденом Трудового Красного Знамени, избран членом Центрального Комитета комсомола.

Несколько лет назад в гостях у оренбуржцев был летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза Владимир Александрович Шаталов. От имени всех земледельцев области Василий Макарович Чердинцев вручал ему хлеб-соль. С глубоким уважением говорил тогда прославленный космонавт о тружениках земли, о таких замечательных комбайнерах, как Чердинцев, которые на полях совершают свои витки вокруг земного шара...

Да, если сосчитать все его земные километры, то получится

не один космический виток. Сколько хлеба намолотил он за свою комбайнерскую жизнь? Около 400 тысяч центнеров. 10 железнодорожных эшелонов понадобилось бы, чтобы перевезти это хлебное богатство.

Родина щедро отметила механизаторский подвиг Василия Макаровича Чердинцева, присвоив ему звание Героя Социалистического Труда. Ему присуждена Государственная премия СССР. Он член областного комитета партии, член Союзного совета колхозов, заслуженный механизатор РСФСР, председатель Совета наставников Сакмарского района, дважды избирался депутатом Верховного Совета СССР. Участвовал в работе XXIII и XXV съездов партии. Избран членом Центральной ревизионной комиссии КПСС. Вот таков он, Василий Макарович Чердинцев, колхозник с хваткой рабочего, со знаниями инженера, государственный и партийный деятель, рядовой великой армии коммунистов.

Богата такими людьми, выросшими в годы советской власти, воспитанными комсомолом и партией, оренбургская земля. И это самое главное наше богатство. Именно им мы обязаны тем, что на знамени Оренбургской области золотом горят высшие награды Родины — два ордена Ленина.

Все, чего добились советские люди за шесть десятилетий, все достижения экономики, культуры, науки поставлены у нас на службу человеку. Еще в 1918 году в докладе на Пятом Всероссийском съезде Советов Владимир Ильич Ленин говорил: «И когда со всех сторон мы видим новые требования, мы говорим: это так должно быть, это и есть социализм, когда каждый желает улучшить свое положение, когда все хотят пользоваться благами жизни»[1].

Говорят, что зеркалом благосостояния является торговля. Так вот, товарооборот государственной и кооперативной торговли у нас в области даже по сравнению с 1960 годом вырос почти в три раза и превысил полтора миллиарда рублей. Особенно велик спрос на автомобили, добротную мебель, холодильники, ковры, магнитофоны.

В колхозе имени Карла Маркса Красногвардейского района более 300 механизаторов и животноводов имеют личные «Волги», «Москвичи», «Жигули», «Запорожцы», более 400 человек — мотоциклы.

Преображаются, хорошеют с каждым днем города и села. В одном только Оренбурге в девятой пятилетке построили жилых домов в два раза больше, чем в восьмой, а в десятой будет вдвое больше, чем в предыдущей. Неузнаваемо изменились села.

Не так давно у нас в области в колхозе «Прогресс» Александровского района побывали гости из Канады. Несколько десятилетий назад совсем молодыми людьми уехали за океан Давид и Мария Краны. Спустя много лет приехали они в родное село, встретились с родственниками, односельчанами. Там, в чужой стране, вдоволь хлебнули они горя — хотели стать фермерами, но разорились, испытали на себе тяжкое бремя безработицы.

Все восхищало их в родном селе — уезжали от глиняных мазанок, а приехали к просторным добротным домам, красивой школе, Дому культуры, новым магазинам, освещенным электричеством улицам. Более ста легковых машин имеют сейчас колхозники «Прогресса». Уважаемыми в селе людьми стали родственники Кранов.

Пошла сестра Давида на прием к врачу. Возвращается, брат спрашивает:

— Сколько заплатила доктору?

— Нисколько.

---

[1] В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 36, стр. 501.

— А у нас в Канаде целый день, а то и больше надо работать, чтобы заплатить за прием врачу.

В районном Доме культуры вручали награды передовикам сельского хозяйства, и опять гости удивляются: простым людям за труд дают ордена. Матери колхоз пенсию выплачивает — такого не увидишь за океаном. Сестру депутатом избрали, и опять удивление — рядовая доярка, а вместе с другими представляет советскую власть села.

Задачи очень крупного масштаба придется решать оренбуржцам в десятой пятилетке. Итоги первого года показывают, что и в промышленности и в сельском хозяйстве взят хороший старт, и ни у кого не возникает сомнений в том, что все, намеченное XXV съездом КПСС, будет выполнено. Безусловно, для этого потребуется напряженный, самоотверженный труд и работников промышленности, и земледельцев, и нашей интеллигенции.

Хотелось хотя бы коротко остановиться на некоторых проблемах, очень нас волнующих.

На октябрьском Пленуме ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев справедливо критиковал машиностроителей, которые упорно выпускают устаревшие конструкции и в то же время не могут обеспечить поставку тех механизмов и орудий, в которых остро нуждаются колхозы и совхозы. Последствия такой неразворотливости постоянно ощущают хозяйства нашей области. Сейчас у нас около четырех тысяч тракторов «К-700» и «К-701». И эти самые могучие двухсот- и трехсотсильные машины, настоящие степные богатыри, зачастую используются лишь наполовину, а то и на четверть мощности из-за нехватки прицепных и навесных орудий, отвечающих их техническим возможностям. А ведь ни для кого не секрет, что «Кировцы» — дорогостоящие тракторы и их простои, недобор мощности тяжело отражаются на экономике колхозов и совхозов. Из года в год мы испытываем и острую нужду в запасных частях для тракторов, комбайнов, автомашин. Из-за этого порой часть машин с запозданием включается в жатву. А любое промедление ведет в конечном счете к недобору зерна.

Одна из самых важных и неотложных проблем — снабжение населения мясными продуктами. За годы десятой пятилетки животноводам области предстоит на 26 процентов увеличить производство говядины, баранины, свинины, птичьего мяса. Эту нелегкую, непростую задачу колхозы и совхозы намерены решить за счет специализации и концентрации производства. Для этого в нашей области сделано уже немало. Построены и хорошо себя зарекомендовали 34 межхозяйственных механизированных площадки по откорму крупного рогатого скота. Должен отметить, что немалые, в общем-то, затраты на их сооружение окупились в течение года. Только за девять месяцев первого года пятилетки здесь снято с откорма 76 тысяч голов крупного рогатого скота (из них 63 процента высшей упитанности). Средний сдаточный вес достиг 390 килограммов. За поставку скота с повышенным весом надбавки получено 13 миллионов рублей. Строятся в колхозах и совхозах новые мясные и молочные комплексы. Введены в строй первые межхозяйственные комбикормовые заводы.

Жизнь настоятельно требует более высоких темпов специализации и концентрации производства на базе межхозяйственной кооперации. Но нас очень сдерживает низкий уровень механизации как кормоприготовления, так и животноводства. Очень и очень не хватает современных машин и механизмов, а то, что получают колхозы и совхозы, зачастую низкого качества, быстро выходит из строя. Пора уже решать вопросы механизации комплексно, выпускать не отдельные машины для определенных операций, а комплекты оборудования,

Тружеников сельского хозяйства радует, что в основных направлениях развития народного хозяйства на десятую пятилетку, утвержденных XXV съездом КПСС, записано: «В машиностроении для животноводства и кормопроизводства довести выпуск машин и оборудования на сумму до 2,2 млрд. рублей». Хотелось бы, чтобы эта важнейшая задача новым министерством, призванным обеспечивать машинами животноводческие фермы и комплексы, решалась оперативнее.

И еще одна уже сейчас очень острая проблема. Главная водная артерия области река Урал с притоками все меньше и меньше обеспечивает растущие запросы и промышленности и сельского хозяйства. Урал мелеет, в основном его «выпивают» стоящие на берегах реки такие крупные индустриальные центры, как Магнитогорск, Орск, Новотроицк, Оренбург, Уральск, Гурьев. Очень небольшую долю дает река на нужды мелиорации. А есть самая настоятельная необходимость эту долю увеличить в значительных размерах. Дело в том, что оренбургские земли способны давать намного большие урожаи, но до некоторой степени их рост сдерживает недостаточная увлажненность, которая усугубляется частыми суховеями. В ближайшие десятилетия, видимо, будет решаться огромной важности вопрос об использовании великих сибирских рек для обводнения засушливых и пустынных районов. XXV съезд партии наметил «провести научные исследования и осуществить на этой основе проектные проработки, связанные с проблемой переброски части стока северных и сибирских рек в Среднюю Азию, Казахстан и в бассейн Волги».

Группа оренбургских ученых во главе с членом-корреспондентом Академии наук СССР Александром Степановичем Хоментовским разработала, научно обосновала, доказала экономическую целесообразность прокладки Тургайско-Уральского канала, по которому гигантская водная магистраль, идущая в казахские степи, поделится сравнительно небольшим количеством воды с мелеющим Уралом. Не говоря уж о других благоприятных последствиях, это позволило бы дополнительно оросить миллион гектаров хлебного поля области. Один миллион! Тогда рекордные урожаи 1968 и 1976 годов, когда оренбуржцы соответственно продали государству 360 и 310 миллионов пудов хлеба, могли бы стать обычными. Втрое выросли бы урожаи овощей и картофеля. А это значит, что огромные затраты на сложные гидротехнические сооружения окупятся в короткие сроки.

Поэтому оренбуржцы надеются на то, что в процессе научных исследований и проектных проработок по этой проблеме будут учтены изыскания, инженерные расчеты, вся та большая работа, которая проведена оренбургскими учеными.

Наша страна готовится торжественно отметить свое шестидесятилетие. От деревянной сохи, которая была главным сельскохозяйственным орудием царской России, от лучины до атомных электростанций, совершеннейших космических кораблей и самых дерзновенных проектов, от темноты и невежества к полной грамотности, расцвету науки и культуры, к великой мудрости государственных свершений — такой путь прошла наша Родина за эти годы. И с гордостью за то, что уже сделано, с уверенностью, что в будущем оренбуржцы не пожалеют сил для того, чтобы с честью встретить великий праздник, выполнить все грандиозные предначертания, намеченные XXV партийным съездом.

МАРТОВСКАЯ КНИГА

★

ГЮЗЕЛЬ ЭЛЕМОВА

Мой Алтай

На алтайский простор синева налегла,
растворилась в Алтае просторном —
это смотрится осень в озер зеркала,
стужа близится к заводям горным.

Кулундинские кручи в вершинном снегу,
склоны ж — лиственным златом листаем:
ведь зима еще к ним не взманила пургу,
не окутала их горностаем.

Но когда Хан-Алтай вдруг дохнет поутру
величавой прохладой осенней,
люди, вслушавшись в голос серебряных труб,
смотрят взором иных просветлений.

И дивятся, что, крылья тревог накреня,
ветер свищет в ущельях пустынных,
что по пастбищам гонит он клубы огня,
а стада уж зимуют в долинах!

Над горами, чьи кручи — как древний напев,
словно тучи проплыли столетья:
словно давние витязи, окаменев,
в лед вросли в давний миг лихолетья.

Чередой облаков отразились века
в том в алтайском в незнаемом чуде
и исчезли, развеялись, как облака,
только песни остались да люди.

Ты не по бровей надменным дугам,
ты узнай ее по волосам,
пахнущим ночным альпийским лугом...
Все пойми и догадайся сам.

Ты их власть познаешь смоляную,
их судьбы маячащую ночь:

так сверкают их прямые струи,
что сиянья вынести невмочь!

На коне она горячем скачет,
косы черным стягом позади, —
догони, пойми, что это значит,
к этим черным прядям припади!

И слова придут к тебе простые
в самых непридуманных речах,
потому что волосы густые,
потому что две звезды в очах.

Пусть ты, парень, всех вольней на свете,
но за ней, отважный, поспеши,
бей по крупу, не жалея плети,
а не то лишишься ты души!

Потому что, если отвернется
и уйдет, глаза прикрыв рукой,
не гони красавца иноходца —
не догонишь девушки такой!

Аракой пусть тешатся другие,
не гони степного скакуна:
в две струи иль в две косы тугие
вся твоя мечта заплетена.

Льется песня, горечь навевая,
грустные протяжны голоса, —
опустела чаша круговая,
надвое расплетена коса.

Арака пьяней привычной водки,
красоте не нанесен урон, —
смуглые алтайские молодки
заплетают пряди с двух сторон.

«Аракой ты нашей одурманен,
или вдаль манит тебя байга?
Ты куда ж?»
Гость скачет, ликом странен,
на коне в альпийские луга.

До утра по дальним луговинам
он бродил, любви не поборов,
и, сроднившись с маревом пустынным,
в полдень он пришел под юрты кров.

В шелесте некошеной отавы
гостю вновь услышать довелось,
как светло ведут степные травы
песнь о густоте ее волос.

И под небом войлочного крова
спину гнул он, верно, дотемна;
и закат в степи мерцал пунцово,
озарив немые письмена.

Не о влаге дальних побережий
с их живой янтарной глубиной —
здесь слагает человек заезжий
нежный стих о девушке простой!

Словно бы разгадана загадка
и открылось, что придет потом,
и душе так больно и так сладко,
как бывает в детстве золотом.

Словно не бровей высокомерность,
не надменный взлет коварных дуг,
а святая искренность и верность,
и — вдвоем, и — ни души вокруг!

***

Нет,
я кроткою девчонкой не была,
я тихонею-девчушкой не слыла,
не была примерной дочкой
никогда,
не тихоня я, а сущая беда!

У меня в руке
ременность батога,
а в глазах моих
веселая байга,
на байге той
копошится
пестрый люд,
а в сознанье
скакуны-то
оземь бьют!

Дайте, дайте мне дорогу,
ширь и гладь,
после
стану я шелками вышивать,
после
гладью разошью свою судьбу:
вот мой чалый
с белой вызвездью во лбу!

Я алтайка
с гордой складкою у рта;
растворите,
распахните ворота.
Я видала:
в высях вечные снега.
Я слыхала:
на долине-то
байга!

Нет,
я кроткою девчонкой не была,

нет, никогда!
Нет, я тихою девчушкой не слыла,
нет, никогда!

Ты неси меня,
мой чалый,
в синеву,
нареченного сама я
назову.

В гневной сини
травы,
горы
и луга...
На долине,
на долине-то
байга!

Перевел с алтайского АЛ. ГОЛЕМБА.

ТАТЬЯНА КУЗОВЛЕВА

Стихи из новой книги

***

Какое великое счастье —
Себя в этой жизни найти,
Дыханье рассудка и страсти
В одно попытавшись свести.

Склоняться пред таинством речи,
Пред полузабытым словцом,
Как перед случайною встречей
С чужим и прекрасным лицом.

И с вечностью миг перепутав,
Любви и строки не щадя,
Жить вдохом, единой минутой,
Землей в ожиданье дождя.

И тем быть полезною людям,
И в том видеть смысл бытия,
Что губы кому-то остудит
Крылатая строчка твоя.

***

Мой ребенок, мой свет, мой птенец,
Что за боль в твоем горле таится,
Что не радует ни леденец,
Ни в окне золотая синица?

Мне в ладонь упадает твой лоб
Раскаленный, тяжелый, покорный.
Лепестки неразгаданных слов
Осыпаются в воздухе черном.

Я малиновый чай заварю,
Погляжу, как знахарка, на кружку.
Три желания наговорю,
Подобью поудобней подушку.

В деревенский платок заверну,
Всю любовь вознесу над тобою.
И в ногах у тебя прикорну,
Карауля движенье любое.

А утихнет озноб поутру,
Отпуская из зыбкого плена, —
Полотенцем тебя разотру
И в сухую рубашку одену.

И подкатит под горло волна
Тишиной и дремотной и сладкой.
...Как беспомощна я, как бедна,
Как богата над этой кроваткой!

***

Земля просыпалась неспешно,
Снега оседали на ней.
И капли прозрачно и нежно
Свисали с прохладных ветвей.

Бездумно круша хворостиной
Хрустальные льдинки у ног,
Хозяйская девушка Нина
Купала в воде сапожок.

Румяной и светловолосой,
Ей нравилось землю любить.
И тень ее с тенью березы
Сливалась в единую нить.

ЛЮДМИЛА ЩИПАХИНА

Ожидающая девочка

Жди, девочка, не разрушай мосты.
Придет ли он — на это не отвечу.
Но сердце, ожидающее встречу,
Прекрасно! И глаза твои чисты.

У синего цветочного ларька
Стоишь ты, как воробышек замерзший.

Пусть думает непристальный прохожий,
Что участь ожидающих горька.

Жди, девочка! Не наводи на грех
Звенящую восторженную душу.
Не пропусти в нее шальную стужу.
Будь терпеливой, в этом твой успех!

О, в часовых ли стрелках торжество!
На перекрестке шумном и забытом
Жди, девочка, притягивай магнитом
Любви и ожиданья своего.

Пусть над землей прольется добрый свет
Той правоты и веры несравненной.
На шумных перекрестках всей вселенной
Жди, девочка, исполни свой завет.

Всем циникам и скептикам в укор
Жди, девочка, светись великодушьем.
...Твоим примером и твоим оружьем
И мы сильны. И живы до сих пор.

Озеро памяти

Вот озеро. В него слились года.
Под солнцем блещет, под снегами тает.
Поит надеждой, верою питает
Чуть затхлая от времени вода.

Травой забвенья зарастает дно.
И на крючок, на броский блеск приманки
Цепляются лишь жалкие останки
Того, что было лодкою давно...

Как мягки, как расплывчаты края!
Где ямы, круговерти и обрывы?
Лишь лилии осенние красивы
Над медленным потоком бытия.

Вот озеро. Оно слилось из слез,
Из радостей, надежды, ликований.
Горячие ключи воспоминаний
В него текут из-под корней берез.

Под солнцем, под седою гривой туч
В воде обычной есть вода святая.
И пойманная рыбка золотая.
И из-под пальцев ускользнувший луч.

Еще не все избыто на веку.
Встают рассветы. Тихо звезды тонут.
Еще не раз попасть случится в омут
Гуляке, браконьеру, простаку!

Задумчиво темнеют камыши.
И тишина в распоряженье слуха.
Есть глубина — для измеренья духа.
И лунная дорожка — для души.

НАДЕЖДА КОНДАКОВА

Журавли

Раздвинув края этой сильной земли,
С востока на запад летят журавли.
С востока на запад — родные края,
Над ними проносится песня моя.

Над степью кайсацкой в пуховом платке,
Над шашкой казацкой в парящей руке
С востока на запад летит синева,
Как перья, на землю роняет слова.

И первое слово, внезапное слово,
От матери к сыну —
И к матери снова:

— Сто дней не спала,
Сто ночей не спала.
И жизнь я дала,
И любовь я дала.

И слово второе, державное слово,
От времени к сыну —
И к времени снова:

— Сто лет на земле
Я тебя ожидало
Затем, чтобы ты
Не гулял как попало
По белому свету —
Шел только на свет
Как главный вопрос
Или главный ответ.

И третье слово, последнее слово,
От вечности к сыну —
И к вечности снова:

— Сто тысяч ушло
И сто тысяч пришло.
Но все ж не случайно
Тебя занесло
Во время родное,
На землю родную.
А может, судьбу
Ты хотел бы иную?

Земля накренилась, как небо в грозу,
Свинцовые тучи держа на весу —
Над степью кайсацкой в пуховом платке,
Над шашкой казацкой в парящей руке.

С востока на запад летит синева,
На землю роняет свои семена.
И кружится диск карусели земли,
И долго над нею летят журавли.

***

Заснеженным пространством Оренбуржья
И облаками легкого пера
Меня встречала отчая избушка,
Оставленная вроде бы вчера.

Но не было ни жалости, ни страха
Во встретившихся взглядах. С высоты
Она спросила: — Как живешь ты, птаха?
Я ей сказала: — Как учила ты!

Она замолкла, словно одобряя,
Что я о ней не плачу, а пою,
Оплакивать другим не позволяю
Избу мою и родину мою.

...Избушка та поныне в чистом поле
Иль в городе каком-нибудь стоит
И не таит ни жалости, ни боли.
Она себя в пространстве отстоит!

***

Эту женщину мамой зовут.
Эта женщина тихо стареет
И меня все сильнее жалеет,
А года все быстрее идут.

Печь затопит она ввечеру,
Моего убаюкает сына
В зауральной холодной России
И подолгу стоит на ветру.

А ветра пролетают над ней
И кружатся в своей круговерти,
Человеческой жизни длинней
И длинней человеческой смерти.

И когда я кричу в пустоту
Одинокого черного неба:
— Сохрани только женщину ту,
Что угодно за это потребуй! —

Голос рвется, летит наугад,
Обрывается где-то в грядущем,
Словно в небо великое взят
Да внезапно на землю отпущен...

ВЕРА ИГЕЛЬНИЦКАЯ

Чаша

Увидеться
его душа просила
с другой душой.
Весну знобило.
День черствый был,
как хлеб трехдневный.
А капля
все переполняла
чашу...
Точила сердце.
Точила камень.

***

Ты зажег меня,
как факел.
Мы носились вместе,
вместе
по огромной темной ночи.
Ты гасил меня,
как свечи.
Вот когда
обида встала
между мною и тобой...
Пусть ты помнишь
все, что знаешь:
знаешь —
сколько зим и лет,
все ж туши
на дне рожденья
двадцать свечек...
Под шипенье
чайника
над сладким тортом
восковая балеринка
изогнется,
потемнеет.

***

Природа борется в красках.
И листья, умирая,
становятся разноцветными.

Пожар и рассвет
разметались по полю,

слетались
и разлетались листвою.
И стало нам страшно
в сухой тишине:
горела земля под ногами...
Но пеплом
струился сквозь пальцы
огненный лист.

Мы дети и птицы
на общей земле.
Зачем же наше доверье
терзают подачкой такого огня?

***

Непонимание — шаги к нему.
Непонимание — шаги обратно.
Я слышу в тишине свои шаги,
шаги туда, шаги обратно.

Непонимание — шаги к нему.
Непонимание — шаги обратно.
Я вижу в темноте твои глаза,
они следят за этими шагами.

И ходит маятник часов
туда — обратно, туда — обратно.

ИРИНА СНЕГОВА *

Черемуховый мед

Май льет черемуховый мед
И чадом трав томит и гложет,
Земля покоя не дает
Тем, чей покой в нее положат.

Разнозеленое, в пирах,
Всеяростное, всеблагое
Влечет вчерашний прах и крах
На божий свет из недр покоя.

Ввергает глушь и в звук и в слух,
Поверженность подъемлет в громах...
Но этот сладкий, тленный дух —
Как явен он в меду черемух!

---

* Публикация *Е. Иохелеса.*

Поэт

Он вечный взгляд через «летейски воды»,
Он нервный Блок, дразнящий лунный лик,
Он переводчик шорохов природы
На смертный наш, на грешный наш язык.

Он еретик в огне, он прорицатель,
Он твердь дороги под твоей пятой...
Он тучный Фет, как будто — обыватель,
Скупой старик с библейской бородой.

Он мальчик, заглядевшийся на птицу,
Оплакавший падучую звезду...
Беда земле, в какой он не родится,
Никто не возвестит ее беду.

Тени

Солнце, как сети рыбацкие,
Тянет на свет свой улов —
Тени старинно-арбатские
Из старомодных домов.

Круты и пасмурны лестницы,
Шляпки сносились до дыр...
Ветхие века ровесницы
В лавочках ищут кефир.

Сколько разрух за разрухами...
Руки в перчатках гудут...
Не оскорби их старухами —
Старые дамы идут.

Дальнее что-то и близкое...
Светлые взгляды смирны...
Были они гимназистками,
Помнишь, — до первой войны...

Шатки их узкие плечики,
Горестны бледные лбы...
Как поминальные свечечки
В давке шумящей толпы.

***

Игластая ветка,
Сорочье крыло —
Как мимо,
Как редко,
Как быстро прошло!

Дремучая одурь,
Глубинная тишь...
Молчанье природы,
О чем ты
Молчишь?

Зачем совершенством
Гнетешь и красой
И мучишь
Блаженством
Дороги босой?..

Чтоб, каждой строкою
Твой смысл
Возлюбя,
Минуя людское,
Мне славить тебя.

***

Мне захотелось погордиться
В тоске ночной,
Подумалось, что пригодится,
Мол, голос мой,
Что и чему-то научилась
(Признать не грех)
И что-то даже получилось
Не как у всех.
Ведь в хвост и в гриву нас эпоха,
В кровь маета!
Пожалуй, жизнь не так уж плохо
И прожита.
Вон сколько — лучших! — расплатилось,
Костьми легло...
Мне не спалось. Я не гордилась,
Поволокло
Меня обратно на каменья,
В провал тех лет.
И там, в их общем погребенье,
Заглох мой след.

***

В приблизительном свете
День расплывчат и смутен —
Мир не в фокусе.
В точной смете,
В бухгалтерской четкости буден —
Штрих неловкости.
В жесткой прописи
Странный день,
Будто в смазанном свете,
Мир не в фокусе.
То ли кисти творящей
Рассеянный взмах,
То ли в воздухе
Выхлопы, окиси,
Может, лица в слезах,
Может, слезы в глазах...
Мир не в фокусе...

ЮРИЙ СКОП

★

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ*

Роман

Тугим поршнем продавливался по рудничному стволу шахтный подъемник. Лязгал металлом. Изредка, когда проскакивал рабочие горизонты, освещался оттуда резко и неожиданно. На площадке подъемника стояли муж и жена Гавриловы, Анатолий Юсин, начальник отдела техники безопасности «Полярного», сигнальщица Агриппина Сыркина и Клыбин, предрудкома Нижнего. Все в горняцком снаряжении: в брезентухах, каскетках, с лампами.

Прозвонил вызов. Надежда Гаврилова отлепила от аппарата здоровенную трубку:

— Ну? Чего тебе?.. Кого везу? Да начальников. Ага... Главного инженера, к примеру.— Она прикусила губу, с усмешкой поглядев на Ивана Федоровича.— Еще технику безопасности с профсоюзами.— Это уже относилось впрямую к Клыбину, хмуро ссутулившемуся у самой решетки подъемника.— Ладно, ладно... Агриппина тебя заменит... Здесь она, здесь.— Надежда пристроила трубку к аппарату и пояснила:— Девки мои интересуются. Сигнальщицы. Зачем это вас в гору несет?

— Это не вашего ума дело, Надежда Ивановна,— обрезал ее Клыбин.— Работайте и не отвлекайтесь.

— Слушаюсь,— с ехидцей сказала Надежда и подшагнула к мужу.— А ты чего злой?

— Да ну его! — Гаврилов сплюнул, кивнул на Юсина.— Всю мою душу вымотал со своей техникой безопасности! Я тебе, Анатолий, сколько раз буду говорить? Не лезь ты не в свое дело, а? Нет! Как об слона валенком! Взял, понимаешь, зараза, и остановил третий скреперный. «Тяги нет»,— изобразил в сердцах Гаврилов.— Ты же мне план срываешь!

— Приведете все в норму, Иван Федорович, и работайте на здоровье,— спокойно сказал Юсин.

— В но-орму... вырастил на свою шею казуиста. Ты вот лучше скажи: когда сосунком у меня по участку мастером прыгал, я тебе в книжки твои смотреть мешал?

— Нет, Иван Федорович. Спасибо,— улыбнулся Юсин.

— Чего же ты теперь в каждую дырку со своими горлохватами лезешь? Что это, понимаешь, за недоверие? Что я, может, хуже тебя эту горку знаю?

— Работа у нас та-кая,— пропел, подмигнув, Анатолий.

— Пошел бы ты знаешь куда?

— Знаю.

---

* Окончание. Начало см. «Новый мир» № 2 с. г.

Спуск закончился. Надежда врубила пневматику, и она, сработав со свистом, раскрыла гремучие двери. Все вышли. Агриппина обратилась к Ивану Федоровичу:

— Вы моего Сыркина там, случайно, не увидите?

— Прямо мечтаю увидеть... А что?

— Тогда передайте ему вот это, а? Поесть тут кое-чего.— Она вытащила из-за пазухи сверток.— Мы нынче проспали с ним. Он не поевши и убег. Жалко ведь.— В грубоватом голосе Агриппины прозвучала нежность.

— Жалко,— буркнул Гаврилов.— Спать надо поменьше.

— Да мы с ним в кино ходили,— смутилась массивная, грудастая, выше Гаврилова ростом Агриппина.

— Передам, передам, не волнуйся,— сказал уже потеплее Иван Федорович и взял у нее сверток.

— Домой-то когда? — окликнула его Надежда.— Опять, поди, застрянешь тут?

— Видно будет.

Надежда оттянула его за рукав в сторону, заговорила шепотом:

— Гришку увидь. Погляди на него. Что-то он мне последнее время не нравится. Шебутится, нервный весь.

— Сама с ним и говори. Ты — мать.

— А ты — отец, понял? — строго сказала Надежда.

— Ну ладно,— отмахнулся Иван Федорович.— Нашла время. Поговорю, поговорю.

Он побежал догонять Юсина с Клыбиным. Догнал на повороте. Навстречу погромыхивал состав с рудой. Они прижались к стенке штрека, пропуская вагонетки. Потом, закурив, Иван Федорович сказал:

— Толя, ты отойди-ка от нас с Петром Николаевичем подальше. Я с ним секунду хочу по секрету.

Юсин пошел не спеша вперед.

— Петя,— заговорил Иван Федорович, глядя на Клыбина, вернее на его огромное родимое пятно на щеке,— ты почему людей не уважаешь?

— Каких это еще людей? — сощурился Клыбин.

— Рабочих,— уточнил Иван Федорович.

— С чего это ты так решил?

— Вижу.

— А я тоже кое-чего вижу, Иван Федорович, дорогой,— окрысился Клыбин.— Вижу, как вы с этим Тучиным шуры-муры разводите! Семенова спихнули. А он ведь дельный специалист. И потом, сейчас, когда вся страна, понимаете, охвачена трудовым подъемом и повсеместно разворачивает социалистическое соревнование, вы с Тучиным...

— Что мы с Тучиным?

— О Тучине будет кое-где особый разговор еще,— зашипел Клыбин и задохнулся.— Вы занимаетесь на руднике всякими переустройствами, а не заботой о перевыполнении плана. Как это делал Альберт Анатольевич Студеникин.

— А ты знаешь, за счет чего он перевыполнял?

— Да уж знаю, знаю!

— Вот и хорошо,— посуровел Гаврилов.— Ты ведь вместе с ним грабил рудник, понял?

— Руководить, Ваня,— затрясся в нервном смешке Клыбин,— нужно талант иметь и образование. Куда ты лезешь со своим техникумом? А?

Гаврилов секунду помолчал.

— Ну ладно, Петя... Поговорили, и хватит. Но учти... Я тебе это в последний раз говорю.

— Не пугай, не пугай. Михеев скоро вернется. Мы еще поглядим!

— Ты, слушай сюда! — рявкнул, не выдержав, Гаврилов.— Так вот... (Клыбин смотрел на него с явным испугом.) Если ты при мне... или без меня, понял?.. еще хоть раз потянешь на кого-нибудь, как вот сейчас в клети на мою жинку, то я тебе лично рога отверну. Понял? И второе. Кончай носиться в партком и стучать по пустякам. Богом прошу, Петя. Я тебе Тучина обижать не позволю. Ты меня вроде давно уже знаешь. А теперь дуй по холодку.

Клыбин вытер лицо ладонью.

— Хорошо, Иван Федорович. Мы и этот разговорчик запомним.

Гаврилов пошел на него грудью. Клыбин отшатнулся, а Иван Федорович, как бы и не замечая его, крупно зашагал по штреку.

В разнарядке, только они вошли в нее с Юсиным, сменный мастер протянул ему трубку:

— Гаврилова спрашивают.

— Гаврилов слушает.

— Это ты, Гриша? — уточнила трубка.

— Нет. Это другой Гаврилов,— сказал Иван Федорович.— А что?

— Скажите, Григорий Гаврилов сегодня в которой смене? — спросила трубка.

— А, простите, кого это интересует?

— Это звонят из ресторана «Пурга». Руководитель оркестра.

— Ясно.— Гаврилов аж засипел носом.— От восемнадцати до ноля. Еще что?

— Все, спасибо, другой товарищ Гаврилов,— съехидничала трубка.

Гаврилов швырнул ее на рычаг, зло сказал мастеру, заполнявшему на краешке стола какие-то бумаги:

— Не рудник, понимаешь, а народный театр! Композиторы... Певцы! Гамлеты всякие! А третий сортиры расписывает. Тоже поэт. С кем только руду брать?!

— Ну ты что это, Иван Федорович, икру мечешь? — улыбнулся мастер.

Гаврилов дернул щекой.

— Ты вот что, милый... Не рассиживайся. А валяй-ка за меня в партком. Учись и учись. Не мешай нам вот с этим начальником разбираться.

Мастер собрал бумажки и, пожимая плечами, удалился.

— Ну? — спросил Гаврилов у Юсина.— Зажгутся вечером огни, и снова будем мы одни? Так чего тебе еще от меня надо?

Юсин, выслушав это, рассмеялся:

— Предлагаю на планчик взглянуть.

— Давай, давай. Поглядим...

Юсин развернул на столе чертеж участка. Показал пальцем:

— Вот здесь, чтоб мне не жить, Иван Федорович, именно здесь у вас магистраль буксует.

— Скажи, какой умный.

— Пойду до грузина,— сказал, потянувшись, с зевком во весь рот Сыркин.— Про Гамлета с ним погутарю. Как он там с этой... Афелией... С вами меня тута скука загрызла.

— Катись, катись, рябой,— отозвался из полутьмы забоя Григорий.

Он заряжал пробуренные Сыркиным веерные скважины. С потолка блока уже зависли бесконечные хвосты огнепроводных шнуров. Григорий работал споро, без остановок, изредка поглядывая на Нелю,

что вела в стороне маркшейдерские замеры. Рвал на аммонитовых пачках масленистую упаковку, всовывал в шпуры взрывчатку и далеко и сильно уталкивал ее специальным шомполом — длинной палкой.

Неля еще разок взглянула в окуляр прибора и затем стала снимать его с треноги.

— Все вроде в норме, Гаврилов... Как там у тебя роман с газированной водой?

— А как у тебя... с техникой безопасности?

— Абсолютно безопасно,— съязвила Неля.

— Динаму крутишь, что ли?

— Да нет, тебя жду. Может, придешь ко мне, Гриша? — неожиданно ласково спросила Неля. Она скинула с головы каскетку и игриво поправила волосы.

— Отгул, что ли, взяла у Юсина? — насторожился Григорий.

— Приходи, а?

— Ты серьезно? — обрадовался он.

— Серьезно.

Григорий, гремя сапогами о породу, подошел к ней. Вгляделся в ее немигающие глаза, взял за плечи и потянул к себе. Неля почти допустила его к губам, а потом зло фыркнула прямо в лицо:

— Вот так вот вас, дураков, и покупают! Пей газированную воду. Она бесплатная!

Григорий опешил, а Неля выскользнула из его рук и добавила:

— И только попробуй еще раз ко мне прикоснуться.

В забой всунулась голова Сыркина. Осклабилась довольно и тут же исчезла.

Григорий аж сплюнул:

— Ну ты и тварь!

Неля расхохоталась.

Серега Гуридзе в это время подтянул скреперный ковш до самого люка и вырубил лебедку. Грохот стих. Серега залез за ограждение в орт и заглянул в подающий палец. Схватил шуровку и потыкал, отскакивая каждый раз, когда начинала капать порода. Но большого поступления не выходило, и Серега отбросил шуровку. Сказал сам себе вслух:

— Зажим. Рвать надо. Григория звать надо.

— Один вот так-от тожа сам с собой толковал, повернулся, в дурдом загрохотал,— хихикнул неожиданно появившийся Сыркин.

— Ишак! — ругнулся Серега.— Где Григорий?

— У меня в забое. Заряжает... И Нелька Чижова там.

— Снова ишак. Молчи! Зачем за всеми подглядываешь, а? Мне взрывник нужен.

— Прикажете позвать, гражданин начальник? — изогнулся в поклоне Сыркин.

— Ага... Будь, Сыркин, человеком, позови.

— Не-е, Гамлет, — зевая, сказал тот,— у нас теперь самообслуживание, понял? Холуев нема. Мне покурить хотца.

Серега сплюнул и пошел за Григорием. А Сыркин смачно высморкался и привалился спиной к нагретому кожуху лебедки. С наслаждением затянулся сигаретой.

Пришли. Покрутились у пальца. Посветили в него фонариком. Действительно верх заклинил огромный негабарит.

— Фугас надо ставить,— сказал Григорий.— Обожди, Серега, малость.

Серега присел рядом с Сыркиным. Тоже закурил.

— А теперь поговорим, дорогой.

— Про баб? — включился Сыркин.
— Тебе за баб морду бить надо.
— Это еще почему?
— Скотина ты.
— И-ин-те-ресно.
— Что ты в женщинах понимать можешь?
— Отвалите отсюда! — резко скомандовал им Григорий.— Пошел ставить фугас.

Серега и Сыркин затрусили из орта в укрытие. Спрятались в нише.

Перед тем как поставить фугас, Григорий еще не раз осмотрел пережатую негабаритом пальцевую воронку. Прошуровал, выверяя, подушку: порода больше не капала, рудная пробка надежно заклинила выход. Он прикинул что к чему и решил— пары килограммов взрывчатки будет предостаточно. Машинально, по въевшейся уже привычке огляделся: все вроде было в ажуре — Серега ладно зачистил скреперную дорожку и отогнал ковш от рабочего пальцевого восстающего на положенное по технике безопасности расстояние. И тросы убрал. Григорий задумчиво замурлыкал под нос какой-то мотивчик, очнувшийся в нем, и пошел снаряжать фугас.

Из трех реек-жердей, которые он подтащил к орту заранее, выбрал одну, самую прочную, и натуго примотал шпагатом к ее концу взрывчатку — фугас. Стал готовить запальник. Подрезал ножом конец детонирующего шнура, навертел на него ниточной канители для наилучшего уплотнения и аккуратно надел трубочку взрывателя. Когда все закончил, вернулся к пальцу с жердью. Облюбовал место для упора и хорошо утвердил жердь под негабаритом. Вывел детонирующий шнур на межвороночный целик и привязал к нему зажигательную трубку.

— Запалено-о-о! — от души заблажил Григорий, а прооравшись, дунул еще и в свисток.

Потянуло дымком.

Серега, услыхав Григория, врубил рукоять звукового сигнала. По орту поплыл, высверливая тишину, замирающий, тягучий вой... Серега закрыл уши руками и сморщился...

Шнур горит со скоростью один метр в минуту. В полном одиночестве...

И чем дальше и дальше отползает по шнуру внешне неторопливая скорость огня, тем нестерпимей и стремительней нарастает скорость ожидания взрыва...

Если огонь доберется до цели — будет горячая, ясная вспышка. Если нет — тишина сделается еще громче...

Может быть, и сравнима жизнь огнепроводного шнура с жизнью человеческой, а? Кто знает...

К укрытию подшагал Иван Федорович Гаврилов. Усмехнулся, глядя на припухшего Серегу:

— Тебя сейчас если по каске треснуть, точно штаны менять придется.

— По ушам сильно бьет. Не люблю,— начал было оправдываться Серега.

— А Сыркин вон хоть бы что. Орлом зырит! Инкубаторским, правда, но ничего... тоже с перьями. Я тебе, Сыркин, гостинец принес. От зайчика. На, держи. Агриппина, видать, и трясется над тобой, а?

— У меня затрясешься... Я ее в кулаке держу.

— Гори, гори, моя звезда,— подошел Григорий.— Привет главно-

му инженеру! И выговор за нарушение техники безопасности. Почему не в укрытии?

— А много ль ты там поджег?

— Пару килограмм.

— У-у... Страшно.

— Не говори, батя. Только брызги в сторону...

И в это мгновение орт как бы осел, прогнутый адским усилием. Сморгнула огромная белая зарница. Затем орт, выгибаясь назад, встряхнулся, рождая пока еще только глухой гул, а за ним почти сразу же, срывая и выламывая все на своем пути, промчался по тесным подземным пространствам ревущий, ураганный шомпол взрывной волны. Нет, на такое не мог быть способен заряд в два килограмма, что подвесил в Серегином скреперном взрывник Григорий Гаврилов.

Серегу и Сыркина, сидящих в укрытии, с хрустом приплюснуло к стенке проходки.

Григорий, всем телом ударив Ивана Федоровича, полетел, утрачивая тяжесть. Раза два его перевернуло и с размаху влепило в шершавый выступ породы.

Иван Федорович, с головы которого мгновенно слетела каска, кубарем катился по штреку, разбивая лицо.

Со скрежетом лопнули трубопроводы оросительной системы.

С лязгом и звоном упали с полков прожекторные осветители.

Зашипел освободившийся из шлангов воздух.

Хлынула вода...

От разнарядки цеха движения бежал навстречу погромыхивающему электровозу Анатолий Юсин. Остановил состав и крикнул машинисту:

— Где это?

Машинист, недоумевая, пожал плечами.

— Давай в шестнадцатый! — скомандовал Юсин.

Еще через несколько минут в руднике пронзительно залились телефоны.

Был поднят по тревоге взвод горных спасателей.

Летела от Полярска к строениям Нижнего карета «скорой помощи».

Поднимался и падал подъемник Надежды Гавриловой.

Первым, кого увидел задыхающийся Анатолий Юсин, был скрепер-ист Серега Гуридзе. На четвереньках тянул он из загазованного, мутного пространства Ивана Федоровича. Лицо Гаврилова было в крови. Он все время хрипел, силясь что-то сказать, и наклонившийся над ним Юсин с трудом разобрал:

— Там... еще... Гришка... с-сын... и С-сыр...— Иван Федорович потерял сознание.

Анатолий рванулся дальше, но вскоре остановился. Дышать было нечем. Припал к свистящему фланцу разорванной воздушной магистрали. Орт пропитала газовая желтизна.

А метрах в семидесяти от него, качаясь из стороны в сторону, пытался идти Григорий. Он не видел ничего перед собой. Лицо перекрыла сплошная сочащаяся маска. Григорий споткнулся, упал плашмя и снова начал вставать. Роба на нем дымилась. Висела клочьями. Каскетка была распорота. Тяжело и страшно продолжал жить взрывник, выставив вперед кроваво-грязные руки.

Перед ним на карачках, визжа и мотая головой, пятился и пятился Сыркин.

Кряквин и Тучин ворвались в диспетчерскую комбината.

— Ну? — выдохнули одновременно.

Диспетчер, пожилая женщина в белой кофточке, не отнимая трубки от уха, сказала:

— Еще ничего не ясно. Произошел какой-то странный взрыв. Порядка двух тонн. Никто его не ожидал, Алексей Егорович.

«Скорая помощь» с воем влетела на рудничный двор. С писком присела у входа в бытовку.

По коридору катился людской поток. Как раз и проносили мимо сатураторной носилки, а на них прикрытое одеялом чье-то тело...

Зинка Шапкина выскочила из двери. Забежала вперед и, бледная, приподняла одеяло. Она мгновенно узнала Григория и, заходясь в бесконечном истошном крике, упала на колени, остановив санитара.

Санитар выругался одними губами, закряхтел, перенеся над Зинкой тяжелый мокрый сапог.

День (продолжение)

Первомайские колонны шли, обдуваемые легкой пуржицей. Парусилось все, что могло хоть маленько, но помешать колючему, бодрящему хиусу северных румбов. Транспаранты, флаги, флажки, ленты, портреты... Городок приподнял и держал над собой бушующее разноголосье — духовые оркестры, гармони, уличные динамики, транзисторы, песни, смех, крики... Разноголосье перепадно раскачивалось в не промытом еще до конца рассвете, уплывая к центральному скверу, где его и встречала празднично убранная трибуна. И, конечно же, самая многоликая, самая представительная колонна была у комбината «Полярный». Выпукло выдувала пурга головной транспарант: «15 тысяч горняков приветствуют тебя, Первомай!»

Увлеченные торжественностью минуты, вышагивали впереди Кряквин и Скороходов. А внутри шествия бурлила своя, тысячу раз вроде бы виденная и тем не менее опять неповторимая суматоха. Одни цеха пели, в рудничных шеренгах отплясывали цыганочку, крутили руками, притопывали, взвизгивали, третьи шли молча, а за них платила звуковую дань медь надраенных труб...

Низкорослый, кругленький Сыркин, уже основательно подстегнувший себя хмельным, так и сиял всеми рябинами рядом с могучей, цветущей цветастым платком Агриппиной. Ему до жути хотелось туда, в цыганочку, и он посмотрел снизу вверх на жену, вопросительно вытянув и без того оттопыренные губы. Агриппина, гордая своей семейственностью, пропела:

— Иди, иди, Семушка.— И поправила на нем белое шелковистое кашне.— Только не очень уж... А то в сердце заколет.

Сыркин рванулся в круг. Забил бурками неслышную чечетку, заорал невпопад с гармонью:

А выплывает рыбица
А на речную мель,
А я в люди выбитца
А не могу досель.

Агриппина не выдержала — тоже пошла вокруг Сыркина, потряхивая плечищами. Изловила момент и тоже басовито, надрывно прокричала частушку:

Хорошо, девчонки, вам:
В одной смене милый с вам.
Каково-ка мне одной:
У меня милок денной.

Сыркин смахнул с головы шапчонку, хлобыстнул ее самозабвенно под ноги, в растоптанный снег. Гармонь частила на пределе громкости, разъедая ритм остро мелькающими ребрышками расписных ме-

хов. Кивали друг другу, пошатывались над колонной портреты передовиков. Среди них и Григория Гаврилова и Сереги Гуридзе.

Серега тащил на плечах чьего-то парнишку. Рядом с ним подвигалась раскрасневшаяся Зинка в белом пуховом полушалочке. Парнишка брыкал ножонками, кричал Сереге, показывая на портрет:

— Это ты, дядя?

Серега смущался.

И опять приостановился бурлящий ход праздничных людей. Иван Федорович Гаврилов с Юсиным прикрылись от ветра за воткнутые в снег портреты. Стали прикуривать. Левая рука Гаврилова недвижно обвисла на темной ленте. Из-под рукавного обшлага бело и твердо виднелся гипс. Иван Федорович раздышал отсыревшую папиросу и хмуро сказал:

— Мы-то хоть с планом идем, а вон стройтрест — за бесплатно. На халтурку музыкой пользуется.

— Праздник для всех, Иван Федорович,— отозвался Юсин и помахал Неле рукой: мол, я здесь.

— Это я и без тебя знаю. А по мне — раз демонстрация, значит, и демонстрируй, чем в натуре богат.

— Да мы же сами-то только-только вытянули квартальный.

— Во-во! Так бы и надо было вот на этих штуках написать,— Гаврилов мотнул подбородком в сторону ближнего транспаранта «Шире развернем социалистическое соревнование!»,— «Вытянули квартальный на соплях». Стыдно!

— А если весь район завалится? — продолжал Юсин.

— Тогда... Тогда никаких ему демонстраций. А в центральной «Правде» в траурной рамочке — они, мол, позорят Первомай... Понял? Для неспокойной совести какой праздник? Ты вот что скажи: как там со взрывом-то? Закончили расследование?

Юсин задумчиво покусал нижнюю губу:

— Да вроде бы закончили...

— Ну? — нажимал Гаврилов.

— Комиссия считает, что разрушения, обнаруженные ею,— монотонно, как пономарь, завел Юсин,— в сто восьмидесятом скреперном штреке и в шестнадцатом орте вызваны взрывом в тысячу шестьсот семьдесят третьем пальце восстающей взрывчатого вещества типа аммонит шесть ЖВ, который был применен на массовом взрыве над сто восьмидесятым скреперным штреком двадцать шестого февраля данного года... Далее подписи... И моя в том числе.

— Так, — сказал Гаврилов, внимательно прослушавший этот воспроизведенный по памяти Юсиным документ.— А какого ж ты хрена паясничаешь?

— Не знаю,— вздохнул Юсин.— Больно легко мы свалили все на отказавшую взрывчатку того, февральского взрыва. Хотя по логике так вполне бы могло случиться.

— Короче.

Юсин хитро покосился на Ивана Федоровича:

— Да вы не нервничайте. Конечно, все могло быть. При том взрыве часть взрывчатки не сработала. Бывает? Бывает. В процессе выпуска руды она вместе с минным карманом осела к рудной пробке в пальцевом восстающем...

— Ну...

— ...и взрыв фугаса, который поставил Григорий, явился инициатором взрыва ее. Вот и фугануло.

— А ты бы чего хотел? — зло спросил Иван Федорович.

— Правды,— с ходу ответил Юсин.— Был я у Григория в больнице.

— Ну?

— Он как-то странно молчит.

— А тебе, чтобы пел, надо? — сплюнул Иван Федорович.— Пошел бы ты!

— Ладно,— улыбнулся Юсин.

Колонна затягивалась в сквер, к трибуне. Лица Кряквина и Скороходова посерьезнели. Потверже они стали печатать шаги.

— Слава советским горнякам, покорителям земных недр! — громыхнул усиленный динамиками голос.

Кряквин увидел на трибуне Верещагина, уже основательно припорошенного снегом. Верещагин тоже увидел его и кивнул, улыбаясь.

Перепадное, разорванное ветром «ура» поползло над потоком. Вот когда и протиснулась к Надежде Ивановне Зина. Она давно уже, с самого начала демонстрации, все приглядывалась и приглядывалась к матери Григория, никак не решаясь подойти к ней.

— Здравствуйте...

Надежда Ивановна отчужденно посмотрела на девушку.

— Здравствуй... Что скажешь?

— Я узнать... как он там?

— Григорий, что ли?

— Ага,— кивнула Зинка.

Колонна пошла побыстрей. Вокруг гремело «ура». Надежда Ивановна взяла Зинку под руку.

— Чего раньше-то к нам не приходила? Я про тебя и не знала.

— Да так...

— А сейчас видишь...— Надежда Ивановна шмыгнула носом.— Оборвало его... Лежит весь в бинтах. Пластырем залепили всего, как окошко в войну. Поди, такой тебе не нужен?

— Какой? — вскинулась Зинка.

Надежда Ивановна отмахнулась и вытянула из рукава носовой платок.

— Ура! Ура-а-а! Ура-а! — ревела колонна.

За поворотом перед мостом шествие заканчивалось — рассасывались здесь шеренги. Скороходов, покомандовав насчет праздничной бутафории — флагов, транспарантов и прочего,— предложил Кряквину:

— Пошли, Алексей Егорович, в кривую. Согреемся маленько. Там сейчас все наши будут.

«Кривой» в Полярске называли столовую, размещенную в здании гостиницы, что по дуге огибала центральный сквер.

— Алексей Егорыч! Товарищ главный инженер! — услышал Кряквин.

Оглянулся. Так его давно не называли — отвык даже. С противоположной стороны улицы ему махал Павел, персональный шофер Михеева.

— Идите сюда! Вас зовут!

— Извини, Сергей Антоныч,— сказал Кряквин Скороходову и стал пробираться сквозь толчею.

— Привет, Паша. С праздником. В чем дело?

Павел загадочно улыбнулся. Показал головой на машину. Кряквин пригнулся и увидел Михеева. Даже развел руками от удивления, быстренько обошел машину и открыл дверцу.

— Вот это да! Не ожидал. Ей-богу! И разведка не донесла ничего... С праздником, Иван Андреевич!

— Вас также. Садитесь.

Кряквин влез в машину.

— Это надо же!.. Когда прилетели?

— Сегодня ночью.

— Да-а... Нет чтобы обрадовать сразу-то.

— Инкогнито. Зачем вам сон нарушать?

Машина скатилась к железнодорожному переезду и пошла колесить закоулками, обросшими деревянными домами, кружным путем выбираясь снова к центру Полярска.

— Ну как вы, Иван Андреевич? — спросил Кряквин, так и не придумав другого вопроса.

— Как видите... Встал. Пора уж. Вы и не представляете, как обрыдли мне эти... в белых халатах. Прямо вот здесь вот сидят! — Михеев показал на горло.

— У вас и в машине лекарствами...

— Провоняешь. Хоть в химчистку сдавайся. Как вы-то, Алексей Егорович? Я, честно говоря, рад вас видеть. Рад...

— Я тоже,— тепло ответил Кряквин.

— Да-а...— протянул задумчиво Михеев.— А что, если бы я вас на рюмку чая пригласил? Не отказали бы?

— Спасибо.

— Вот и хорошо. К дому, Павел, пожалуйста.

В машине было тепло. Приемничек рассказывал о параде на Красной площади. Михеев сидел похудевший, осунувшийся. Без шапки. Кряквин украдкой взглядывал на директора, с грустцой отмечая на его тщательно выбритом лице куда более резче обозначившиеся морщины и седину, теперь уже почти полностью обморозившую крупный затылок.

— Может быть, мое приглашение...— начал Михеев.

— Нет, нет, Иван Андреевич,— остановил его Кряквин.— Я абсолютно свободен.

— Это прекрасно,— со странной усмешкой качнул головой Михеев.

— Ну вот! Наконец-то!.— воскликнула радостно Ксения.— Явились, не запылились!.. Помереть прямо легче, чем вас дожидаться!— Она шумно засуетилась.— Раздевайтесь скорее!..

— С праздником вас, Ксения Павловна,— сдержанно сказал Кряквин и угловато затоптался в прихожей, шаркая ногами о коврик.

— Да пожалейте вы его! Хватит. Давайте я за вами поухаживаю. Все-таки приятно за директором ухаживать.— Ксения подмигнула Кряквину и повесила на крючок его меховую куртку.— Проходите, проходите. Будьте как дома.

Кряквин не часто бывал в этой квартире и сейчас невольно осматривался. Что и говорить, Михеевы жили постоличнее, что ли. У Кряквиных дома все было попроще, погрубоватей, без этого изыска. Он и Варюха вообще мало обращали внимания на внешний комфорт.

Ксения, свежая, нарядно одетая, красивая, все пыталась создать настроение:

— И сразу к столу! Промедление смерти подобно. Прошу вас, Алексей Егорович, вот сюда. А сюда уж мы моего Михеева... Он нынче у нас хворый, поторчит на втором плане. Это не важно, что он Герой... Здесь, понимаете, вне очереди не получится. А я вот сюда, с вами рядышком. Не возражаете?

От Ксении исходил какой-то неуловимо приятный, не зимний аромат. Светлые волосы ее, свободно рассыпанные по плечам, щекотнули озябшее лицо Кряквина.

— С чего начать, а? — показала Ксения на бутылки. Стол беспо-

коил глаза продуманно-выверенной, искрящейся сервировкой.— А, вспомнила! Мне тут недавно Шаганский анекдот рассказал. О главных, ну, то есть самых основных вопросах разных эпох. Хотите, расскажу? Очень неглупо. Значит, так... Быть иль не быть? Представляете? Гамлет. Кто виноват?.. Что делать?.. С чего начать? И наконец, наиболее популярный вопрос нашего с вами времени... Какой бы, вы думали? Какой счет?!— Ксения рассмеялась первая.

Улыбнулись и Кряквин с Михеевым.

— Действительно неглупо,— сказал Михеев.— Счет — дело серьезное. За все ведь платить-то приходится по счетам.

— Да ну тебя! — отмахнулась Ксения.— Ты под любое готов подвести целую философскую базу. Правда ведь, Алексей Егорович?.. Так с чего мы все-таки начнем?

— С нее, наверное, с родимой.— Михеев потянулся к бутылке с «посольской» водкой.

— Ку-у-да? Не тронь! — шлепнула его по руке Ксения.— Вот сейчас-то... твой голос... н е в с ч е т. Отпрыгался, понял? Твой удел — «Ессентуки». А вот мы действительно врежем! — Она наполнила рюмки себе и Кряквину.

Михеев нарочито горестно-горестно вздохнул и набулькал себе в бокал минеральной.

— Отчизне кубок сей, друзья. За Первое мая!

Чокнулись и выпили. Стало тихо. Откуда-то из глубины квартиры, там, видимо, работало радио, донеслась сейчас сюда песня.

— Ну, вот опять,— сказал Михеев.

— Что? — не поняла Ксения.

— Да «Гренаду» поют. Слышите?

Михеев встал и вышел из комнаты.

Ксения и Кряквин переглянулись. Радио зазвучало на полную громкость.

— Вот... сейчас... слушайте внимательно,— сказал Михеев, снова появившись в комнате.— Вот...

Отряд не заметил потери бойца
И «Яблочко» песню допел до конца...—

пели по радио.

— Вот. Вы как хотите, а мне жаль запевалу. Моя болезнь...

— Стоп, стоп, стоп! — забренчала ножом по тарелке Ксения.— О больницах, о смысле жизни больше ни звука! Выпьем лучше за весну! Вот так! — Она со стуком вернула на стол рюмку.— А теперь я заведу вам другую музыку. Свою.

Мягко всплеснулись струны, а затем и вступил знакомый зыкинский голос:

За окошком свету мало,
Белый снег валит, валит.
А мне мама, а мне мама
Целоваться не велит...

— Ну вот,— развел руками Михеев.— Я думал, ты нам «Интернационал» или «Вихри враждебные»! К несознательным поступкам зовет твоя Зыкина.

— Нет, вы видели его! — воскликнула Ксения, обращаясь к Алексею Егоровичу. Она выключила проигрыватель.— Михеев в роли музыковеда! Рационалист ты. Критикан... А несознательность, если хочешь знать, иногда прелестна!— Ксения, раскрасневшись, взглянула на Кряквина.— Впрочем, сидите без музыки. Пусть вам же будет хуже... — Она принюхалась.— О-о... Заговорила моя утка. Пойду погляжу.

Кряквин и Михеев остались вдвоем. Потянулась пауза.

— Как здоровье-то, Иван Андреевич? — вдруг ненужно совсем, кашлянув, спросил Кряквин и сам же рассмеялся.— Вот черт! Нечем ходить — ходи с бубей. Так и я... про здоровье.

— Ничего, ничего... Сейчас вроде все в норме... А в ближайшее время — в санаторий. Там и займемся марафонским бегом.

— Куда собираетесь?

— Как обычно. В герценовский. Под Москву... Там хорошо! Липы...

— Надолго?

— Да кто его знает... Пока эти не отпустят, в белых халатах. Я же теперь у них под микроскопом. А с другой-то стороны... почему бы и не попрохлаждаться? Замещающий меня товарищ, Кряквин его фамилия, не даст ни за что комбинату пропасть. Одно только лестное слышу о нем.

— От Шаганского, что ли?

— А что? — Михеев почувствовал неприязнь в голосе Кряквина.— Юлий Петрович от вас без ума. Он порою действительно чересчур щедр на похвалы в ваш адрес...

— И вас это не раздражает?

Михеев задумался.

— Если честно, то иногда да.

— Выводы делаете?

— Какие выводы, Алексей Егорович?

— Значит, не делаете. А напрасно.

— Не понял? — насторожился Михеев.

— Шаганскому, вероятно, выгодно разъединить нас...

— Чепуха! Как вы могли такое придумать? Шаганский...

— Мне неприятен,— перебил его Кряквин.— Как, впрочем, неприятны мне и его взаимоотношения с вами.

— Готовы объяснить?

— А может быть, не стоит? — спросил Кряквин и машинально показал на сердце.

— Благодарю,— усмехнулся Михеев.— Благодарю. А впрочем, действительно, зачем мы о нем?

— Вот правильно,— сказал Кряквин.— На кой он тут сдался. Это же пустышка! Хотя и не безвредная... Уж я-то все-таки горняк, Иван Андреевич. И стало быть, уж маленько-то обучен умению отличать пустые породы от содержащих в себе полезный компонент.

— Ну, так я и знала,— неожиданно вмешалась Ксения, появившись в комнате с дымящимся блюдом в руках.— Стоит только уйти, а они, как настоящие интеллигенты... Дома о работе, на работе о женщинах. Ведь праздник же сегодня, господи! Уймитесь. Успеете.

— Извините, Ксения Павловна,— сказал Кряквин.— Больше не будем.

— Вот так и живем,— подмигнул ему Михеев.— Да!.. А что же мы вашу-то Варвару Дмитриевну не захватили? Это же безобразие! Как я мог об этом забыть!

— Ничего, ничего,— поднял руку Кряквин.— Ее нет сейчас в городе. Вчера увезла школьников на экскурсию. На все праздники укатила.

— Вот как. Жаль. Тогда все равно... предлагаю тост за женщин!

— Которые делают из вас настоящих директоров,— сказала Ксения.

— Допустим,— отстраненно отозвался Михеев и слегка предупреждающе посмотрел на жену: мол, не переигрываешь ли, голубушка?

Выпили. Стали закусывать. И опять наступила томительная пауза.

— Ксения,— нарушил молчание Михеев,— я понимаю... Праздник и так далее... Но ты уж извини. Мне хотелось бы все-таки дослушать кое-какие соображения Алексея Егоровича.

— О пятиокиси фосфора? — хмыкнула она и посмотрела на Кряквина: мол, перестаньте чудить.

— Да,— сухо ответил Михеев.— О пятиокиси фосфора.

Кряквин не мигая, стараясь сохранить бесстрастность, выдержал взгляд Ксении, и она первая опустила глаза. Сморщила нос. Ей вдруг сделалось скучно. «Дура я, дура,— подумала она о себе и пожалела себя.— Столько готовиться, ждать, фантазировать... Толкуют о безразличии, напрочь осуждают его, а сами... Роботы. Технократы! Неужели так трудно понять, в чем нуждаюсь я? В элементарном мужском внимании».

— Ну вас всех к черту! — уже вслух закончила Ксения.— Говорите хоть о ходе хамсы в Баб-эль-Мандебском проливе в четвертом веке до нашей эры! Мне все равно. Привет вам, птицы! Отряд не заметил потери бойца,— очень даже похоже скопировала Ксения мужа и вышла из комнаты.

Кряквин было потянулся за ней, но Михеев остановил его энергичным жестом. Одними глазами сказал: не надо, Алексей Егорович, у нее такое бывает. Сама придет.

Кряквин, соглашаясь, покачал головой.

Михеев вытащил из визитного кармашка пиджака патрончик с валидолом. Вытряхнул одну таблетку и закинул ее в рот.

— На всякий случай,— сказал он устало.— Кстати, я попытаюсь вам объяснить загадку своих несколько странных... для вас... взаимоотношений с Шаганским. В свое время, в тридцатых годах, Юлий Петрович здесь помог моему отцу. Очень сильно помог. Отец был крупный специалист-обогатитель...

— Ну и что? — Кряквин так и впился глазами в Михеева.

— Ничего. Просто перед смертью отец попросил меня, если представится такая возможность, в свою очередь помочь здесь Шаганскому.

Ксения стояла посередине чистенькой кухни и напряженно прислушивалась. Она все еще надеялась, что вот сейчас ее окликнут или придут за ней. Но там, где она оставила Михеева с Кряквиным, существовала какая-то непонятная тишина. «Сидят и переживают»,— подумала Ксения, приподняла полотенце с пирога, который с таким старанием готовила, ковырнула помадку, облизала палец. Зачем-то открыла и завернула снова кран. Подошла к окну. Во дворе с горки летела и летела ребятня... Ксения долго смотрела на счастливые лица мальчишек и девчонок.

— Я исполнял завещание отца...

Эта фраза, сказанная Михеевым в полный голос, настигла Ксению уже в прихожей. Она стремительно одевалась. Шапочка. Шарфик. Пальто. Сапоги. Все!

— Нате вам! — Ксения захлопнула за собой дверь.— Живите как хотите! А мы еще поживем, поживем...

Она легко и упруго сбежала по лестнице, выскочила во двор. Как-то безотчетно и сразу, не думая о том, что делает, взобралась на горку и вместе с малышней скатилась вниз в смехе, визге.

Задумчиво отряхнулась и пошла через двор на улицу. Как мгновенно окончился этот сладостный миг, который она испытала, соскальзывая вниз с горки. Напротив с афиши кинотеатра «Больше-

вик» рекламировался «Гамлет». Ксения пересекла скользкую дорогу и, зайдя за фанерный рекламный щит, чтобы никто ее не видел, вдруг беззвучно и горько расплакалась...

— Вот это да! — стукнул себя по коленке Кряквин.— Тьфу!— Он поднялся и, нервничая, заходил по комнате.— Да вы понимаете, Иван Андреевич, что рассказали мне? Я же помирать буду, а не вытравлю это отсюда! — Он толкнул себя пальцем в сердце.— Не вытравлю....

— Погоди, Алексей.— Михеев вдруг покачнулся.— Помоги-ка мне дойти до дивана... Мне, однако, надо прилечь...

— Да я тебя на руках отнесу. Не брыкайся! Тихо!

Кряквин почти без усилия подхватил побледневшего Михеева на руки и аккуратно переложил на диван. Михеев сунул в рот еще какую-то таблетку. Минуты четыре лежал молча, с закрытыми глазами. Потом вздохнул глубоко и выдохнул. Снова вздохнул и снова выдохнул. Сел, улыбнулся все еще стоящему перед ним на коленях Кряквину и совсем по-отцовски провел влажной ладонью по его взъерошенным волосам.

У Зинки Шапкиной расстегнулся паж на чулке. Поискав глазами, где бы исправить такое, она завернула за афишу, с которой смотрел на прохожих широко нарисованными печальными коричневыми глазами принц датский.

Ксения стояла, прислонившись лбом к фанере. Зинка пристегнула чулок, одновременно приглядываясь к этой шикарно одетой незнакомке. Шмыгнула носом, соображая, подойти или не стоит, но все-таки подошла. Грубовато спросила:

— Что с вами, а? Вы, наверно, приезжая?..

Сеанс уже начался, когда Кряквин появился в пустом, гулком кассовом зале кинотеатра. Долго стучался в закрытое окошечко, а потом, злясь и с трудом сдерживаясь, уговаривал кассиршу продать ему билет.

— Да вы же ничего не поймете, гражданин, — не глядя на Кряквина, бубнила из своей амбразуры кассирша, пережевывая ватрушку. — Это же все-таки не какая-нибудь там... комедия. Это же «Гамлет», которого еще когда-а... Шекспир сочинил! Все стихами и это... с философской точки зрения...

— Ну что вы, в самом деле! — горячился Кряквин. — Я, может, сам стихи сочиняю. Понимаете? И без Шекспира жить не могу. Вот так мне билет сейчас нужен! Позарез! Ну, девушка меня там ждет... Любовь.

— А-а, — роняя творожинки, протянула кассирша. — Так бы сразу и сказали... Тогда другое дело. Что ж вы опаздываете на свидание? — Она протянула билет.

— Штаны я гладил, а утюг перегорел, — бросил Кряквин и пошел в зал.

Слоилась, упираясь в экран, исходящая от проектора голубая речка. Бело искрились пылинки, и грустил на экране принц датский...

Пока привыкали к темноте глаза, Кряквин стоял возле горячей батареи отопления, рядом с запасным выходом. Углядев наконец свободное место, протиснулся, пригибая голову. Извинился, сел. Предательски визгнуло откидное сиденье, сосед справа недовольно пыхнул на Кряквина скользко блеснувшими глазами:

— Тихо, дорогой, тихо, пожалуйста!

— ...О мерзость! Как невыполотый сад. Дай волю травам — зарастет бурьяном. С такой же безраздельностью весь мир заполонили гру-

бые начала... Как это все могло произойти? — спрашивал у Кряквина Гамлет.

— Знаем как, — шепча, подтолкнул Алексея Егоровича Серега Гуридзе. — Вай!..

Кряквин с пренебрежением хмыкнул: это, мол, что еще за ценитель нашелся? В первых рядах неожиданно завозились и громко, вызывающе заговорили:

— Похиляли отсюда, Федька! Ухи от этого фраера заболели.

— Негодяи! — прошипел Серега. — Темнота!

— Сорок копеек зазря сгорело.

— А ты еще — про войну...

Серега скрипел зубами, мучился.

— Башку им отвернуть. Как считаешь, товарищ?

Кряквин опять хмыкнул:

— Отверни.

Когда же Гамлет — Смоктуновский, поднимаясь по лестнице, повел свой знаменитый монолог и зазвучал его сдержанный, пронизанный горечью голос: «...Быть иль не быть? Вот в чем вопрос. Достойно ль смиряться под ударами судьбы, иль надо оказать сопротивленье и в смертной схватке с целым морем бед покончить с ними? Умереть. Забыться... И знать, что этим обрываешь цепь сердечных мук и тысячи лишений, присущих телу. Это ли не цель желанная?..» — у выхода под красным шаром уже курили вовсю, чиркали спичками, айкали девицы...

Серега неожиданно встал, щелкнув сиденьем, и полез из ряда. Кряквин машинально проводил его взглядом. А Серега, поднырнув за портьеру, резким толчком оттеснил фигуры выходящих парней, захлопнул дверь и забрякал крючком, пытаясь воткнуть его в гнездо.

— Эй ты, козел! Куда прешь?

— Не шуми, — полушепотом отозвался Серега.

— Федя, а он грамотный, — хихикнула девица.

— Открой дверь!

— Не открою.

— Открой, падла. Схлопочешь.

В Серегино лицо воткнулся кинжальчик фонарного луча.

— А-а... Грузия! Ку-ку, генацвале...

От невидимого взмаха с Сереги слетела шапка. Он, не обратив внимания, глухо сказал:

— Подними, дорогой. Очень прошу...

Кряквин теперь уже не смотрел на экран. Соседи шептались:

— Хулиганье! Святого нет...

— И где только эта милиция...

— Подними шапку, — еще раз потребовал Серегин голос.

— Не-е... Тебя щас самого подымать будут, понял?

— ...а те, кто снес бы униженья века, неправду угнетателя, вельмож заносчивость, отринутое чувство, нескорый суд и более всего насмешки недостойных над достойным... — продолжал Гамлет.

Хлестко отзвучала пощечина. Серега, взявшись за щеку, неуловимо коротко двинул вперед правую руку. Ха! — кто-то вылетел из-за портьеры, спиной падая на сидящих.

По залу метнулся призывный свист. Забухали, застонали кресла. У входа мгновенно возник шевелящийся плотный клубок.

Серега вертелся как черт. Двоих он легко скинул через себя в партер — не забылась, выходит, выучка в десантных войсках. Теперь медленно, ныряя под удары, он отступал по проходу к сцене.

— ...так погибают замыслы с размахом, вначале обещавшие успех,

от долгих отлагательств, но довольно! Офелия! О радость! Помяни мои грехи в своих молитвах, нимфа!..

Драка вкатилась на сцену. В зале накапливался свист, гвалт, рев.

— Милицию!

— Милиция!..

На несколько мгновений вспыхнул свет и тут же погас. Этого было достаточно, чтобы Кряквин увидел — грузину приходится тяжко. Лицо разбито, и он теперь, выдохшись, только закрывается. Кончились, видать, силешки для ответных ударов. Что-то само подняло Кряквина с места и вынесло из тесного ряда.

Разбрасывая шпану резкими боковыми, Кряквин ввинчивал себя на сцену. Прямо перед ним возникла вскинутая для удара в пах нога долговязого фиксатого парня. Кряквин успел перехватить движение, и фиксатый послушно через голову загремел в зал. Еще немного — и Кряквин был рядом с Серегой...

— Как же вы это так, Алексей Егорыч? — улыбаясь, спрашивал капитан, глядя на Кряквина, которому медсестра обрабатывала ссадины на лице. — Уж на что у нас, сами понимаете, всякое бывает, но... чтобы директор комбината...

— Временно исполняющий его обязанности, — поправил Кряквин.

— Ну да, ну да, — закивал капитан. — Все равно... Из-за какого-то там придуманного Гамлета...

— Почему так считаешь, товарищ капитан? — темпераментно встрял Серега, уже заклеенный пластырем.

До этого он жадно курил, по-птичьи открыто разглядывал чернющими глазами задержанных, понуро сидевших в этой же комнате за перегородкой. В основном это были подростки с банально обвисшими длинными волосами. С какими-то цепочками на шеях. Две накрашенные девицы хныкали.

— Зачем так говоришь? — Серега все еще не отошел от драки, дышал трудно.

— Ты об чем это, Гуридзе? — не понял капитан.

— Как об чем? Сам говоришь — «какого-то там придуманного Гамлета...». Почему придуманного?

— А как же тогда? — ухмыльнулся капитан. — Его же не было. Сочинил про него... писатель.

— Вай!.. — замотал головой Серега. — Зачем сочинил? Шекспир тебе правду открыл! Для кого Гамлета нет — для того правды нет! Совести нет! Понимаешь?..

Серега поднялся. В комнату входили и выходили люди в милицейской форме. Звонил телефон.

— Погоди, дорогой, — Серега остановил какого-то сержанта, — не уходи, пожалуйста. Разговор идет о Шекспире. И ты тоже смотри на меня.— Он ткнул пальцем в фиксатого за перегородкой.— Ты свой ум в эти волосы опустил. Потому тебя в зоопарк надо садить и соломой кормить. Это Гамлет про тебя говорит и про вас всех... ишаков! Тьфу!— Серега с ненавистью оглядел задержанных. Встал посреди комнаты. Поднял руку. — «О мерзость! Как невыполотый сад. Дай волю травам — зарастет бурьяном. С такой же безраздельностью весь мир заполонили грубые начала... Как это все могло произойти?..» Вот ты мне, волосатый, скажи... Ты же как этот... Чебурашка сейчас. Мне тебя жалко! Но ты меня ненавидишь — вот! Потому тебя надо сажать за решетку и в день по десять раз подряд показывать «Гамлета»!.. Пока из тебя вся мерзость не выйдет! Понял, ишак?

— Молодец, Гуридзе! Хорошо говоришь! — захлопал ладонями капитан.

Остальные в комнате рассмеялись. Кряквин тоже. Только задержанные угрюмо вжимали подбородки в шарфы.

— Слушай, и ты его что, наизусть знаешь, «Гамлета»?

Серега укоризненно посмотрел на капитана.

— Зачем наизусть, дорогой? Это тебе что, «В лесу родилась елочка», да? «Гамлета» надо душой понять! Душой, понимаешь? У нас на руднике один человек выступал... Про искусство говорил. Нехорошо говорил! Он говорил, что рабочий человек еще только дорастает до понимания высокого искусства. Что рабочему человеку сейчас еще не совсем понятен Гомер и «Гамлет». Что рабочий человек не в силах самостоятельно охватить величие Шекспира...

— Это кто же такой, интересно? — спросил Кряквин.

— Шаганский его фамилия. Знаешь?

— Знаю.

— А я встал и говорю: «Дорогой товарищ Шаганский, предлагаю тебе пари. Давай, говорю, поспорим с тобой, что я за четыре месяца буду знать «Гамлета» так, как актер Смоктуновский... Я тебе, говорю, докажу, что рабочий человек уже давно дорос до понимания и Гомера и «Гамлета»... Это ты, говорю, товарищ Шаганский, не дорос до рабочего человека».

— Поспорили? — азартно спросил капитан.

— Поспорили, — с достоинством ответил Серега.

— На что? — спросил сержант.

— Если я проиграю, то я оплачу Шаганскому летний отпуск. Если он — я поеду к себе в Гори за его деньги.

— Ничего,— оценил капитан.— Тут уж, как у Гамлета... быть или не быть, ага, Гуридзе? Когда срок-то?

— Еще три недели осталось, — прикинул, шевеля пальцами, Серега.

— Надо выиграть,— твердо сказал, будто отдал распоряжение Кряквин. — Проиграешь — уволю!

— Ты хороший человек! И дрался, как барс! Как витязь в тигровой шкуре! Ты теперь мой друг. Генацвале! Я не проиграю Шаганскому. Для тебя и для Гамлета! Слово грузина! Вот тебе моя рука.

Кряквин встал и крепко встряхнул Серегину ладонь.

— Ну, мы пойдем, — сказал он капитану. — Спектакль окончен.

— Подождите. Сейчас машина будет. Вас подвезут. А мы покуда роговской капеллой займемся.

— Какой, какой? — переспросил Серега.

— А вот этой, нестриженой, — показал капитан на фиксатого. — Рогов его фамилия. Теперь — порядок.

Когда Кряквин с Серегой вышли, капитан спросил, обращаясь к задержанным:

— Ну, как они вас, голубчиков? Нарвались?

Фиксатый отвернулся, а одна из девиц вякнула:

— Да уж... Они разным самбам научены.

— «Самбам»,— передразнил ее капитан.— А ты парфюмериям... А ну-ка встать!

Уже в машине Серега горячо обратился к Кряквину:

— Алексей Егорович, поедем к нам, а?

— Куда?

— В общежитие. Как горняки живут, посмотришь.

— Поедем, — решительно согласился Кряквин. На душе у него было сейчас хорошо...

— Вот так, Зиночка... Зинаида Васильевна, — задумчиво, с опустошением в голосе произнесла Ксения, разрывая этими словами черес-

чур затянувшуюся паузу. — Странно, наверно... Но ты теперь знаешь обо мне... почти все.

— И вы обо мне тоже, — торопливо сказала Зинка.

Она заторопилась сейчас оттого, что давно уже, пока Ксения Павловна рассказывала и рассказывала ей про свое, выслушав вначале и Зинкину куда более короткую и простую биографию, в Зинке само по себе накопилось желание, что ли, ну хоть как-то, хоть чем-нибудь да поддержать эту неожиданно возникшую перед ней в жизни женщину. Каких-то там два часа назад Зинке и в голову не пришло бы такое; мало ли их ходит в красивых дубленках и шубах... Начальничихи. Все у них есть. Почитывай себе разные книжки да запоминай непонятные слова... Чем не жизнь?! Маникюр, духи, сапожки... Закачаешься! До этой встречи с Ксенией Павловной Зинка если и обращала на них, таких вот шикарных бабенок, внимание, то и то только потому, что они сами бросались в глаза одеждой, манерой держаться, впрочем, тут же и забываясь. Они существовали для Зинки где-то далеко-далеко, а потому и без разницы для нее: есть они, нету их — какое до них дело. Зинка еще ни разу не позавидовала этим красивым бабам из фильмов, журналов, жизни. Правда, одна ей картина запомнилась, и до сих пор Зинка нет-нет да и вспоминала о ней... Картина была про огромный завод, на котором варили сталь. Все грохотало и дымилось на том заводе, а руководил им совсем еще и нестарый мужчина — Зинке он с ходу понравился, — деловитый, спокойный, ласковый, от которого почему-то ушла жена с ребенком, и он после полюбил простую крановщицу. Эта история очень даже взволновала Зинку: директор такого заводища, а любит такую же, как Зинка. Тут уж она, про себя конечно, произвела соревнование с той крановщицей. И выходило, что она по всем статьям нисколько даже и не хуже ее; так что, случись это все по правде, еще неизвестно, кого бы выбрал себе и возил на природу директор. После картины той Зинка частенько теперь смотрела одинаковый сон: облитый ромашками луг, стога на речном берегу и она... убегающая... между стогов... от него... крепкозубого, ясного во взгляде, любящего ее. Потом он настигал Зинку, и они с хохотом валились на хрустящее сено, катились по нему куда-то, и проворачивалось перед Зинкиными, широко открытыми глазами синее-синее небо... Просыпалась Зинка от такого в тягучей приятно-томливой истоме.

А эта, Ксения Павловна, жена самого Михеева, оказывается, совсем и несчастливая. И совсем даже и недовольная своей жизнью. Все у нее как-то не так. Она сама так и сказала: «В общем, ни богу свечка, ни черту кочерга. Матери из меня не вышло, жены, в общем-то, тоже. А бабы... Понимаешь меня, Зинуля? Обыкновенной бабы... и подавно».

Зинке снова сделалось жалко ее, как возле афиши, когда она успокаивала Ксению Павловну. Захотелось помочь ей, потому как в желании этом, вернее за желанием этим, Зинка вдруг угадала, учуяла какое-то предстоящее, неизъяснимое еще удовлетворение, что ли, которое в результате, если она, Зинка, поддержит хоть чем-нибудь эту непрошено распахнувшую перед ней свою душу женщину, сблизит ее, Зинку, с этой директоршей. В конце-то концов это она, Ксения Павловна, сейчас изливалась перед Зинкой, а не Зинка перед Ксенией Павловной,— значит, и Зинка, сатураторщица Зинка Шапкина, годилась на что-то, кроме стаканов и открыто соленых горняцких намеков. Исповедь Ксении Павловны разбудила вдруг в Зинке уверенность.

— Давайте выпьем,— сказала Зинка.— Это я для Григория припасла. На всякий случай. Вдруг да придет. Четыре звездочки. Капитан... — Она улыбнулась. — И все будет хорошо. Вот увидите.

Ксения посмотрела на нее и усмехнулась. В эту минуту пришла к ней досада, щемящее чувство от понимания глупости, которую она со-

вершила, доверив принадлежащее до этого только ей еще кому-то. «Фу, дура», — подумала Ксения, а сказала совсем другое:

— Закурить у тебя не найдется?

— Конечно, — ответила Зинка. — Я тоже ведь иногда курю.

Она, цокая босоножками, сходила за занавеску, там было что-то вроде кухоньки, и вернулась с пачкой сигарет и спичками. Положила на стол.

— Спасибо. — Ксения закурила.

В общежитии было тихо, только где-то далеко, на верхнем этаже, пели.

— Гуляют, — вздохнула Зинка.

— Да,— качнула головой Ксения.— И все-таки какое сходство, а? Поразительно! Ты веришь в теорию парных случаев?

— Как это? — вскинула ресницами Зинка.

— Ах да-а... Ты меня извини. Понимаешь, говорят, что существует такая... ну, повторяемость всего в жизни. И в твоей и в моей, конечно... Понимаешь, не существуй во времени повторяемости, мы бы не смогли компенсировать необратимость жизни.

Зинка впитывала Ксеньины слова как заколдованная. Она никогда еще не слышала, чтобы рядом с ней, для нее говорили бы вот так — очень умно, складно и непонятно.

— ...а повторяемость движет нас в мысленных странствиях во времени. Благодаря ей мы способны приближать к себе или отдалять от себя то, что уже было когда-то... Греческие философы, например, вообще углядывали в оптимизме повторения или возвращения жизни одну из форм вечности. Да-а... Это так. Ведь все уже было... Понимаешь?.. Но все еще будет! Любовь и нелюбовь, рассветы и закаты... Судьбы повторяются, Зина, и люди походят друг на друга. Вот как ты на меня, например.

— Я? На вас? — удивилась Зинка. — Ну что вы!.. — После того, что она только что услышала от Ксении Павловны, в ней опять исчезла уверенность. — Вы такая... нарепертованная...

— Какая-какая? — придвинулась к Зинке Ксения.— Повтори, пожалуйста.

— Нарепертованная... А что? У нас так говорят,— завиноватилась Зинка.— Девчонки.

Ксения засмеялась.

— Не слышала. А это ничего. Метко. Завидую я тебе, Зина! Ты этого не поймешь, а я действительно завидую тебе. И твоей нена... ре... пер... тованности,— с трудом сквозь смех выговорила Ксения.

— Да ну вас! — махнула рукой Зинка.— Врете вы все! Ни в жизнь не поверю.

— И правильно сделаешь, между прочим,— отозвалась Ксения.— Живи сама по себе и не верь никому. Я ведь такой же, как ты, была уже, Зиночка. Была! Да сплыла. Вот и завидую тебе сейчас. Только не тому, о чем ты подумала. Нет! Я завидую сейчас твоему не растраченному еще умению слушать других. Понимаешь? То, что я хочу и могу сделать, я знаю. Знаю... Но вот как это сделать, то, что я хочу и могу сделать,— не знаю.— Ксения распалилась. Она говорила, не замечая того, что то, что она говорила сейчас, она уже говорила кому-то. Тема собственной нереализованности, оскорбляющей самое существо Ксении Павловны, давно уже стала навязчивой для нее, и, возвращая себя на привычно обкатанный круг размышлений, она, как молитвой, просила кого-то услышать и понять ее.— Оттого-то и идет все куда-то... Мимо, мимо. И пусто вот тут.— Ксения показала на сердце.— Пусто! Есть такой старинный-старинный миф. Ну, легенда такая, греческая, понимаешь?

— Ага,— кивнула Зинка.

— В ней рассказывается о том, как одна нимфа по имени Эхо была наказана супругой Зевса. Ее Герой звали. За болтливость. Гера лишила ее членораздельной речи, оставив ей лишь способность повторять окончания чужих слов. Представляешь?

— Да, да,— проглотила комок Зинка.— И что?

— Она умерла. Она очень любила одного красивого и гордого юношу. Нарцисса. Любила безответно, как ты.

— И как вы?

— Я не в счет,— откинула волосы Ксения.— И остался после нее один только голос. Эхо.

— Здорово,— шепнула почему-то Зинка.

— Еще бы! Кто бы меня наказал за язык мой. Надо бы! Нагородила тебе тут с три короба. Разошлась, понимаешь... А ты меня, поди, слушаешь и думаешь: ишь, с жиру бесится бабенка... Ты скажи, я не обижусь. У меня на это давно иммунитет... Подумала?

— Сперва было дело,— открыто сказала Зинка.

— А потом? — усмехнулась Ксения.

— А потом мне вас жалко стало. Только я не знаю, чем помочь вам... Честное слово. У вас же все есть.

— Что все, Зина? — протянула к ней руки Ксения.

— Ну... все. Я не знаю...

— Вот то-то и оно... Все, Зина, это как раз ничего. Все — это ерунда! Ты думаешь, я одна вот такая на белом свете? Нет, милая. Таких нынче много. А почему? Почему мы никому не нужны? Ведь я же не про постель сейчас. Ведь мне же и изменять ему неохота!

— Я Григорию тоже еще не изменяла. А пристают... За день-то сколько их, кобелей, воды у меня напьется? Тьма. И каждый норовит... скадрить, по-ихнему.

— Я это помню,— улыбнулась Ксения.

— Что?

— Да нет... Так...— Ксения и сейчас не захотела рассказывать Зинке о том, как когда-то, еще на Вогдоре, работала тоже в рудничной сатураторной. И тоже с водички все началось. С газированной...— Зин,— ласково обратилась Ксения,— а ты знаешь, чего бы тебе хотелось от жизни, а?

— Знаю,— сказала Зинка.— Мне много чего надо... Квартиру бы получить. Я бы маму из деревни привезла. Она у меня старенькая.

— А еще?

— Чтобы Гриша ко мне вернулся. Хоть какой!.. С глазами бы, конечно, еще лучше.

— Та-ак...

— И чтобы я в институт попала. В текстильный.

— Почему в текстильный? — удивилась Ксения.

— Нравится. Мне иногда такие матерьялы снятся... Конец света! В промтоварном таких нет. Чаю хотите?

— Поставь.

— А вы шить умеете? — спросила Зинка уже из-за занавески.

— Немного.

— Тогда я вам сейчас одну вещь покажу. Сама сшила.— Зинка нырнула под койку. Выдвинула чемодан.— Отвернитесь. Так... Вот. Еще маленько... Волосы сейчас подберу только... Смотрите.

Ксения с улыбкой повернулась. Перед ней в облегающем, до самого пола платье стояла враз похорошевшая, совсем другая Зинка.

— Неужели сама?! — воскликнула Ксения.

— Ну конечно.

— Прекрасно!

— Только я его никому не показывала. Засмеют?

— Да ты что! Тебе в нем хоть сейчас на любой прием.

— У нас-то? — Зинка расхохоталась.— Куда там! Это мечта, и все. Правда нравится?

— Правда.

— Хотите, я вам тоже такое пошью?

— Очень хочу.

— Тогда вы только матерьял другой... Подороже, ладно?

Дверь в комнату распахнулась, и занавеску от этого вздуло парусом. Влетела какая-то девчонка. Увидела такую неожиданную Зинку, ахнула. Потом зыркнула на Ксению Павловну.

— Ну чего тебе, Валька? — спросила Зинка.

— Да так. У-у, ты даешь! Брижжит Бардо! Колоссально! Где достала, а? — Она еще разок оглядела Ксению.— Здрасьте. Я на минуточку... Там Серега с главным инженером приехал. В Серегиной комнате они. Про тебя, Зинка, сейчас говорили. Ей-богу. Про тебя и Гришку. Извините. Я побегу. Кряквин спрашивал — почему ты к Гришке в больницу не ходишь? Поняла? — Валентина выпорхнула из комнаты.

Закипел чайник.

Не так уж и часто в последние годы приходилось бывать Алексею Егоровичу в рабочих общежитиях. А живать-то тем более. Вот и выцвели в памяти шумные комнаты с запахами пищи, курева, одежды, здорового пота. Не будил по ночам храп соседа. Подзабылись и песни тех лет и скандалы обычные. Кто-то другой теперь мерз у подъезда, поджидая девчонку, и, не дождавшись, лез, цепляясь за водосточную трубу, лишь бы увидеть ее там, в темной комнате...

Кряквин сидел у Сереги в гостях, среди множества незнакомых ему совсем парней и девчат, слушал их сбивчивые, грубовато-открытые разговоры, легко перескакивающие с одного на другое, пил вино, которое Серега великодушно, так и светясь от своего великодушия, щедро нацеживал всем из настоящего кожаного бурдюка, и, отогревшись, как-то приятно расслабившись — даже скинул парадный пиджак,— то и дело ловил себя на мысли, что вот, черт возьми, сколько времени отгорело с тех пор, как он сам приходил, чтобы жить, вот в такие же комнаты, а по сути-то все так и осталось в них: и те же запахи, и те же разговоры, и тот же знакомый настрой беззастенчивого веселья и безудержного максимализма. Как когда-то, по молодости, вокруг Кряквина сейчас походя и запросто решались любые проблемы, не глядя давались оценки и характеристики комбинатовскому начальству, критиковалось все и вся... Кряквин слушал парней и девчат, изредка вмешиваясь в перебранки, но больше молчал, понимая, что им, молодым, куда важнее сейчас выговориться самим, ощущая при этом свою правоту и независимость.

Если что-то и отличало вот эту рабочую молодежь от той, к которой когда-то принадлежал Кряквин, так это куда более информированный диапазон их претензий. Эти неплохо копали по всей иерархической цепи комбинатовского управления, не зауживали недостатки свои и претензии до размеров собственных участков и цехов, а порой ковыряли по главному, неожиданно для Алексея Егоровича выходя на глобальную суть. Их уже занимали вопросы и экономической реформы и самостоятельности принятия тех или иных решений.

— За две-то недели опыту набраться? Да никогда! Спорю хоть на чо,— говорил один.— А у нас? Проучится салага в курсовой сети две недели — ему пятый разряд.

— А пятый, по идее, и за три года не соберешь.

— Ну а я-то про что? Вот и ходит потом такой по ортам, жмется, как этот...

— Или вот опять же про мастеров,— встрял другой.— Ну на кой они, а? На горных участках? Заместо заложников, что ли? Вроде квитанций на двух ногах, да? Мы же и без них запросто. Болтаются по участкам как цветки и не пахнут... А деньги им, значит, плати. Вот он и дорожает, кубик руды.

— Любопытно,— усмехнулся Кряквин.— Учту на будущее.

— Или вот... Если бы вы не отстояли Тучина перед гортехнадзором, мы бы такой хай устроили — только держись! Взрыв-то случайно сработал, а телегу покатили на Тучина, на Ивана Федоровича. «Техника безопасности...» Да уж если по правде-то, по натуре, то мы же ведь все помаленьку эту технику нарушаем. А как же?! Попробуй по ихним инструкциям выполни план...

— Ну, это вы зря, братцы,— пыхнул папиросой Кряквин.— Очень даже и зря.

— Хо-о! А как же? Вы попробуйте сами ее не нарушить. Это ж подземка! Иной раз и не всунешься, если по инструкциям будешь соваться.

— Каждая строка техники безопасности, говорят, кровью погибших горняков написана...— начал было Кряквин серьезно.

— Да знаем мы про это! Слыхали...

— Так что же тогда? — спросил Кряквин с прищуром.

— Тут бы всю систему добычи поменять, а?

— Как?

— Очень просто. Вводить вибровыпуск руды. Где они, ваши вибропитатели, где?

— Будут,— твердо сказал Кряквин.— Не всё сразу.

— То-то. Только и слышишь: «Обожди... Не все сразу...» А жизнь-то идет.

— Куда? — улыбнулся Кряквин.

— Известно куда... В гору. Вон Гришка-то наш... Рвануло-то ведь как из пушки. Ладно хоть комиссия по уму акт составила, а то бы пришлось кое-кому... загреметь.

— Мне точно, в первую очередь,— сказал Кряквин.— Я вот сейчас, знаете, про что вспомнил? Про то дельце, когда еще пневмозарядку глубоких скважин на рудниках внедрял. Помните?

— Это на Нижнем-то? Давно уже?

— Да, в шестьдесят третьем году. Тогда мы на комбинате впервые собрали пневмозарядчик для заряжания скважин рассыпными взрывчатыми веществами и игданитом. А при испытании его в опытном блоке рвануло. Дело сейчас прошлое, но я тогда и посинел и побелел...

— Вы-то при чем? Авария...

— «Авария». Девять человек на тот свет — это, милый мой, не то слово... Я тогда думал, что лучше бы меня там в куски разнесло. Вот так... И тоже комиссия тогда по уму актик составила. Все объяснила нам, темным. Успокоила. А через пару лет я и узнал об истинной причине взрыва... Через пару годков.

— Расскажи, Алексей Егорыч,— попросил Серега.

— Расскажу. Вон для тебя. Это же ты плюешь на технику безопасности.— Кряквин кивнул в сторону своего оппонента.— В общем, прошло два года, и заявляется как-то ко мне в кабинет горнячок один.

Под этим делом, кстати. Для храбрости. Покурил, погудел и рассказал. У меня аж волосы на загривке дыбом встали. Оказывается, они, те первые, кто с пневмозарядчиком в блоке возился, головки шлангов на костерке грели и гнули потом. Поняли? А там же, в штреке-то, аммонитовая пыль, вы знаете, не продохнешь была. Вот и рвануло со страшной силой. Сейчас-то пневмозарядка массовых взрывов — обычное дело, вроде мясорубки на кухне, а тогда аммонит живое мясцо провернул. Вот так-то, нарушитель техники безопасности... Вы хоть к Григорию-то ездили? — без перехода спросил Кряквин у всех сразу.

— Конечно,— ответил Серега.— Только знаете что, Алексей Егорович, я вам по секрету скажу: не нравится мне совсем Григорий, да.

— Чем же, Сергей?

— Не знаю. А интуицией ощущаю. Он все время о чем-то думает и не говорит. Нехорошо не говорит. Плохо совсем не говорит! Я ему друг, а он и мне молчит. Что-то у него такое вот тут.— Серега постукал себя по груди.— Я его знаю давно. Он так никогда не был.

— А девушка у него... присуха какая-нибудь есть? — с улыбкой взглянул на девчат Кряквин.

Они молчали.

— Неужели уж нет?

— Деликатный вопрос, дорогой. Очень деликатный,— сказал Серега и замолчал.

— А я деликатно и спрашиваю,— проявлял настойчивость Кряквин.— Потому как не верю, чтобы у такого парня не было девушки.

— Понимаешь, Алексей Егорович. Я тебе как другу скажу. Тут ребята свои. Им тоже можно. Девушка у Григория была. Даже целых две девушки. Вот так... Ну, одну мы не в счет. Она уже себе начальника нашла. Хо-о-роший начальник! — Серега подмигнул кому-то из парней.— Пускай живет. Но есть еще девушка, которая Гришку любит, как я свою маму. Вай, как она его любит!

— Ну? — поторопил Кряквин Серегу.— В чем же дело?

— Деликатный вопрос, дорогой. Очень деликатный.

Кряквин фыркнул:

— Ну что ты заладил, как... этот! Короче.

— Не сердись, дорогой, не надо. Она, понимаешь, гордый человек!

— Это прекрасно! Дальше-то что?

— Она, понимаешь, не может к нему прийти. Гришка тоже гордый человек.

— Ну, братцы мои! — развел руками Кряквин.— Их что, за ручки надо сводить?

— Возможно,— сказал Серега.— И я тебя очень прошу, Алексей Егорович, поговори с Зинаидой. Она у нас на Нижнем воду подает. Газированную.

— Ага-а,— обрадованно протянул Кряквин.— Знаю. С веснушечками такая, да?

— Она,— подтвердил Серега.

— Так что же я должен сделать?

— Приказать Зинаиде идти к Григорию. Ему сейчас очень ласка нужна. Понимаешь?

— Вот теперь понимаю. А где она живет?

— Здесь. На втором этаже. Очень хорошая девушка! Я бы ее полюбил, если бы она меня полюбила!

— Пошли к ней.

— Сейчас? — растерялся Сергей.

— А когда же? Чего откладывать?

— Да-а?.. Какой ты джигит! Уважаю!.. Всем тихо! Серго Гуридзе будет тост говорить! — Серега поднял над столом большой, поблескивающий серебряной чеканкой рог.

И еще в этот день в одной из комнат этого же общежития шел разговор о взрыве на Нижнем и о взрывнике Григории Гаврилове. Было это в комнате Нели Чижовой.

— ...вел репортаж Николай Озеров. До следующих встреч!

Несколько секунд эфир возбужденно держал шумы стадиона, а потом, с вытеснением, наложились на них певучие позывные «Маяка».

Анатолий Юсин выключил транзистор. Потер ладонями огорченное лицо и сказал Неле, сидящей в спортивном костюме на кровати:

— Сгорели без дыма. Как шведы под населенным пунктом Полтавой.

— Так им и надо. Твоим спартакам. Умные люди нынче за ЦСКА болеют. Утерли мы вам?

Анатолий прошелся по Нелькиной комнате. Вернулся к кровати и задумчиво потрогал гитарный гриф:

— Мадемуазель играет?

— А что?

— Это есть очшэн ка-ра-шо! Сыграйте, пожалуйста.

Неля улыбнулась — Юсин забавно изображал из себя иностранца,— вытянула гитару и взяла пробный аккорд.

— Слово начальства — закон. Слушайте, месье.— Она откинула нависшие на лицо волосы и тихонько запела:

В горнице моей светло,
Это от ночной звезды.
Матушка возьмет ведро,
Молча принесет воды...

И так далее. Далее я слов не знаю.

— Что есть это? — спросил Анатолий.

— Песня. Григорий Гаврилов, месье, ее больно уж хорошо поет. При случае рекомендую послушать.

— Непременно воспользуюсь вашей рекомендацией. А пока... можно еще разок?

— О-о... Сколько хотите.— Неля повторила:

В горнице моей светло,
Это от ночной звезды.
Матушка возьмет ведро,
Молча принесет воды...

— Ничего... У тебя с ним было серьезно? — неожиданно задал вопрос Анатолий. И ждал ответа, шурша ладонью по своей коротенькой, ежиком, стрижке.

— А у меня всегда все серьезно,— спокойно ответила Неля.— Ты разве еще не обратил на это внимания?

— Да как тебе сказать... По-моему, обратил.

— Молодец. Мне тоже нравятся... иногда, правда... наблюдательные мужчины с внешностью американских космонавтов.

— То есть это,— подхватил Нелину интонацию Анатолий,— квадратные подбородки, низкие лбы и короткие волосы... Да... Забыл про длинные ноги...

— ...и светлые-светлые головы,— докончила Неля.

— Ничего особенного,— отмахнулся Анатолий.— Я точно такой.

Неля не выдержала и рассмеялась... Анатолий переждал смех и опять спросил абсолютно серьезно:

— Слушай, а Григорий, часом, ничего тебе не говорил про взрыв?
— То есть?
— Ну... может, делился какими-нибудь сомнениями?
— Ты что, под него копаешь?
— Я?
— Ты.
— Тогда объясни, как это понимать... «копаешь»?

— А уж вот это ты объясняй. Ты, понял? Так что не строй из себя шибко хитрого. Во-первых, ты отлично знаешь, что я дала Грише отставку задолго до взрыва. Это раз. Поэтому нечего выявлять так умно... в кавычках, конечно, мои связи с ним после взрыва. Их не было. Соображаешь? Так что если у него и были «какие-нибудь сомнения», то я их никак узнать не могла. Это два. А в-третьих — ответь мне, пожалуйста... Комиссия-то давно уже закончила и подписала акт расследования причин взрыва... Чего же ты, месье, продолжаешь суетиться, а?

— Отвечаю. Я очень мнительный мальчик, Неля. И к тому же еще с раннего детства подвержен чувству повышенной справедливости. Исходя из этого, я действительно, скажем прямо, не удовлетворен результатами работы комиссии, в которую, естественно, входил и сам. Потому-то... в свободное от работы время... так сказать, приватно-с... и продолжаю, поелику это возможно, удовлетворять свое неудовлетворение по данному вопросу. Следовательно, копаю-то я не под фигуру дорогого тебе Григория Гаврилова, а под целую систему продолжающих пока еще существовать в хозяйстве взрывников не-до-ра-боточек, которые, если их не искоренить своевременно, могут, товарищ Чижова, привести к еще более катастрофическим последствиям. Вы меня карашо понимайт?

Неля смотрела на него не мигая и молчала.

— Прекрасно,— заговорил опять Анатолий и, как бывалый, крепко обстрелянный лектор, прошелся по комнате.— Пока аудитория соображает что к чему, я позволю себе привести один занимательный факт.

— Ну-ну,— гмыкнула Неля.

— Только попрошу всех быть внимательными. Итак... за три дня до массового взрыва, имеется в виду взрыв на руднике Нижнем от двадцать шестого февраля данного года, а не печальный подрыв, при котором пострадали люди, взрывник Григорий Гаврилов заряжал над сто восьмидесятым скреперным штреком глубокие скважины. Точнее, восходящие веерные скважины увеличенного диаметра на всю высоту этажа. Этим взрывом Алексей Егорович Кряквин продолжал серию экспериментов по дальнейшему совершенствованию методов отбойки руды...

— И что?

— Пока ничего вроде. Но есть одна дэталь, как говорит всеми уважаемый маэстро Шаганский... Сохранился от той поры один документик, благодаря которому мы, Анатолий Юсин, узнали, что Гаврилов Григорий вел там зарядку ВВ, сиречь взрывчатых веществ, вручную. Прошу обратить внимание — в р у ч н у ю, а пневмозарядчик в те дни не работал по техническим причинам.

— Ну и что? — повторила Неля.— Что из этого, сыщик? Пока ничего не улавливаю.

— Айн момэнт... Тут-то все очень, очень просто... Ты вспомни, маркшейдер, что всегда остается при ручной зарядке скважин? А-а? Ну конечно же! Вы правильно подумали. Правильно! Очшэн много битой взрывчатки. Не так ли, мадемуазель?

— Пижон ты, а не Шерлок Холмс,— фыркнула Неля с крайним презрением.— Надоел!

Анатолий взглянул на часы.

— Это ужасно, леди... Я сейчас уйду. Только одна просьба... Ты бы не порасспросила Григория насчет той зарядки скважин, а? Он все поймет. У вас же с ним...

— Что?!

— Ну... контакт-то имеется.

— Идиот! Мразь! — задохнулась Неля.— Ты кого из меня делаешь, а?

Анатолий подумал, покачал головой и покрутил пальцем возле виска:

— Варум? Пуркуа па? Тьфу! Мадам меня неправильно поняла.

— Пошел ты!..— Неля щипнула струну. Звук оторвался сердито и медленно, затем уже грустно истаял.— А ты знаешь,— сказала она с вызовом,— я ведь действительно вот теперь... после этого... обязательно схожу к Гришке в больницу. Вот так! И предупрежу его о твоих ковыряниях, понял? Назло тебе схожу, сыщик!

Анатолий улыбнулся:

— Что и требовалось доказать.

— Что?

— Что ты сказала. По-другому-то тебя не заставить. Я ведь есть такой... ма-а-ленький психолог, Неля. Я давно уже понял, что все надо делать открыто. И я уверен теперь, что ты пойдешь к Григорию и предупредишь его о моих размышлениях. А предупредив, подведешь его к кое-каким выводам. А там, глядишь, истина и выплывет на свет божий... Григорий-то, по моим наблюдениям, что-то темнит и мучается от этого.

— Ну ты и гад.

— А вот это уже двадцать два. Перебор, значит. Все, что я делаю, я делаю чистыми руками. И делаю это не для себя, а для пользы дела, Неля. И кстати, я ведь люблю тебя.— Анатолий подсел к ней.— Понимаешь, люблю. Выходи за меня замуж.

Неля прикоснулась ко лбу Анатолия пальцами и отдернула руку, как бы обожглась.

— Горячая...

— Я серьезно, Неля,— твердо сказал Анатолий.— Очень серьезно.

В дверь резко застучали. Еще раз.

— Ну вот опять,— шепнула Неля.— Комендантша наша, женихов гоняет по всем этажам. Самодеятельность проявляет, несмотря на праздник. Блюдет нравственность... Будешь в окно прыгать?

— Это зачем?

— Товарищ Чижова! — послышался взвинченный нетерпением голос из-за двери.— Откройте!

— А затем, чтобы не компрометировать меня. Гриша Гаврилов в таких случаях прыгал в окно. Тут невысоко — второй этаж.

— Так вы?..— Анатолий посмотрел на кровать, на Нелю и недоговорил.

— Да, да, Толенька. У нас с ним все было, как вот с тобой. И он мне тоже, кстати, предлагал руку и сердце.

— А ты?

— Товарищ Чижова! Я же все равно открою! Так что уж лучше сами! — надрывался голос за дверью.

— А я,— Неля прищурилась,— я такой ма-а-ленький психолог, Толя. Я тоже давно уже поняла, что все надо делать открыто. Я отказала Григорию, потому что его тут любит другая, а я в этом деле со-

ревнования не терплю. Я выйду за тебя, понял? Выйду. Вот так, дорогой.

Анатолий растерянно встал. Пошуршал ежиком, соображая. Потом решительно подошел к двери, резко крутанул ключ и откинул дверь. Прямо на него налетела комендантша. Остолбенело вытаращила глаза.

— А-ага... Уже новенький!

— Кто вы такая? — резко спросил Анатолий.

— Я-а... Фиолетова.

— Прекрасный цвет. А я Юсин. Начальник отдела техники безопасности комбината. Чем могу служить?

— Я... Я... А вы?..

— Мы здесь работаем. А вы чем занимаетесь?

Неля с наслаждением наблюдала за вконец сбитой с толку комендантшей.

— Я... провожу рейд...

— Счастливого плавания!

Фиолетова попятилась. Анатолий закрыл дверь на ключ и подошел к раскрытому Нелей окну. Выглянул наружу и увидел внизу желто подсвеченный пухлый снег.

— Значит, говоришь, Гришка отсюда выходил?

— Отсюда.

Анатолий слегка прикрыл створку и стал молча одеваться: кашне, пальто, шапка...

— Ты что? — шепотом спросила Неля.

Он не ответил, снова вернулся к окну, распахнул его, коротко оглядел Нелю и — раз! — выпрыгнул...

После того как заполошная Зинкина подружка сообщила, что Кряквин находится здесь, в общежитии, Ксению Павловну затомило и обеспокоило непонятное ей еще, тревожное предчувствие. Она по инерции, почти машинально продолжала поддерживать теперь уж и ненужный для нее совсем разговор с Зинкой, машинально прихлебывала очень крепко заваренный чай, кивала, с трудом понимая, о чем идет речь — Зинка, осмелев, наставляла ее, кажется, как бы надо вести себя им, женщинам, с мужиками,— а сама все прислушивалась и прислушивалась к тому, что сильней и сильней будоражило ее изнутри. Ощущение было такое, будто не хватало немножечко воздуху.

— Да, да,— сказала она Зинке, не зная, угадала или нет с ответом, вытянула из пачки сигарету, раскурила ее, встала, одернув платье, и подошла к открытой форточке.— Давай помолчим немного,— не оборачиваясь, предложила Зинке и, зажмуриваясь, затянулась.

И снова пришло ощущение томительно-сладостного безвоздушья... Ксения Павловна медленно, струйкой, выдула из себя дым, вдохнула носом, отметив, как вздрогнули при этом ноздри, пахнущий талостью и чем-то еще, не зимним, воздух скорой полуночи и открыла глаза. Белая точка звезды замахрилась, поеживаясь, где-то там, далеко-далеко от форточки, в которую смотрела Ксения Павловна, а она вдруг до жути почувствовала: вот сейчас... вот сейчас... вот сейчас! — в дверь постучат...

И в дверь постучали. Зинка вопросительно глянула на Ксению Павловну: мол, открывать или нет? Ксения Павловна кивнула: открой.

Вошел Кряквин.

— Здравствуйте, Зина,— сказал он, приветливо улыбаясь,— с праздником вас! — И только после этого увидел Ксению Павловну.

Кашлянул, подставляя кулак к губам, нахмурился, но тут же, высвобождаясь от неожиданности, с усмешкой заговорил:

— Вот уж кого не ждал, того не ждал... Аж растерялся. Ей-богу! Мы ж вроде виделись нынче... Я ведь на секундочку, ладно?

— Да вы проходите, товарищ Кряквин,— засуетилась Зинка.— Что же вы стоите? Раздевайтесь, садитесь.— Она потянула с Алексея Егоровича куртку.

— Нет, Зина, нет. Спасибо, сидеть я у тебя буду как-нибудь в другой раз, ладно? Ты уж не обижайся.— Он потрогал пальцами пластыревый крест возле глаза.— Сегодня я вот так вот нагулялся! Честное слово. По полной программе выступил!

— Ну... как же так? — обиженно оттопырила губы Зинка.— Так я вас все равно не выпущу. Ни за что на свете!

— О-хо-хо,— вздохнул Кряквин и нехотя подошел к столу.

— И мы с Ксенией Павловной с вами! — обрадовалась Зинка.

Сели. Подняли рюмки. Кряквин подумал о чем-то и сказал:

— Вот, значит, какие пироги, Зина... То, что я сейчас скажу тебе, а я ведь к тебе по важному делу пришел, между прочим, считай и за тост праздничный, и за совет дружеский, и за приказ служебный... Но... Мне бы ужасно хотелось, чтобы тост этот, то есть пожелание, которое я сейчас выскажу, стало реальностью, понимаешь? Чтобы ты к моему совету прислушалась, а приказ выполнила. Обязательно! Наверняка! И еще одна оговорочка, вернее даже, условие. Я буду говорить, а ты меня, пожалуйста, слушай и молчи. Никаких вопросов потом не задавай. Не надо. Я пришел к тебе с добром, Зина, потому как угадываю в тебе... человека хорошего, н а ш е г о! А иначе бы не пришел. Никогда! Вот так, веснушчатая...— Кряквин улыбнулся широкой, ясной улыбкой.— Ну а теперь — быка за рога...— Он замолчал, глядя куда-то сквозь Ксению Павловну. Зинка, бледная, кусала нижнюю губу.— Я хочу выпить, Зина,— торжественно и с раздумьем опять заговорил Кряквин,— за твое счастье. За твое настоящее, очень личное и человеческое счастье! Я почему-то уверен, что ты будешь счастливой. Уверен! Но... Мне бы не хотелось, чтобы ты таила в себе это счастье, ну... как военную тайну. Я хочу, чтобы ты разделила его как минимум на двоих. На себя и на Гришу Гаврилова. Да!..— Кряквин в упор, не мигая посмотрел в изумленно раскрытые Зинкины глаза.— Сделай, Зинуха, счастливым и этого парня. Сделай, пожалуйста! Ты можешь, я верю, такое... У Гриши сегодня беда. Ничего. Помоги ему разделить ее на двоих. Пойди к нему. Плюнь на гордыню! Я же не сводня, Зина. Подробностей ваших не знаю. Да, впрочем, и знать не хочу! Я знаю другое... что счастье — штука капризная и скользкая. Дается не враз. Вырывается. Но, однако ж, дается. Дается, Зина, когда его очень и очень хотят! А ты хочешь счастья. Я знаю это. Так вот. Я пью за твое и за Гришино счастье — вместе!..

Поздний вечер скопил над Полярском звезды. Улочки были тихи и пустынны. Дневная поземка хорошо приплотнила дорогу, и снег, упруго вминаясь под шагами, похрустывал. Где-то вдали за домами одиноко и пусто лаяла собака. Темные флаги свисали над тротуарами абсолютно недвижно. Пахло свежей водой и еще чем-то свежим и новым, чем обычно и пахнут с приходом весны заполярные ночи...

— Я стихи сейчас вспомнила... о весне,— тихо сказала Ксения Павловна.— Хотите?

— М...— невнятно отозвался Кряквин, сосредоточенно шагающий в метре от нее.

— Я только вторую строчку забыла, никак не могу вспомнить. Без нее будет, ладно?

— Не надо совсем.

— Слушаюсь,— не сразу нашлась Ксения Павловна.

Они замолчали. И так, молча, прошли еще с половину квартала все в том же метре друг от друга. Ксении Павловне очень хотелось приблизиться к нему, взять его под руку, но она почему-то не решалась сделать это, и эта нерешительность ее мучила и мешала ей. Она знала, что все равно через квартал или два обязательно решится на что-то, отчего у нее заранее слабело в коленях, но пока она терпеливо шагала рядом с Кряквиным, стараясь идти в ногу с ним. Изредка Ксения Павловна взглядывала на Алексея Егоровича и тогда видела его четкий профиль с парко́м возле губ. Она была абсолютно уверена, что и он сейчас думает о ней и что вот сейчас, перед лестницей у Дворца культуры, он ей обязательно что-то скажет.

Снег хрустел и хрустел, и все ближе и ближе придвигалась навстречу темная, с тыльной стороны громада Дворца культуры.

— Что же вы Ивана-то Андреевича одного оставляете? — неожиданно, не о том совсем, о чем хотелось ей, резко спросил Кряквин, и Ксения Павловна снова увидела его губы и курчавинку пара возле них.

Она нерешительно приблизилась к нему, сбивчиво думая о том, что вот сейчас скажет, чтобы он... нет, он сам... нет, она скажет... нет, он сам догадается поцеловать ее, и... остановилась, так и не сказав ничего. Кряквин тоже остановился, вынимая из кармана папиросы.

— Неладно это как-то все получается.— В его ладонях с шипом мигнул белый столбик газового огня. Кряквин глубоко затянулся.— Неладно, милая моя.

Последние слова он выдохнул на пределе презрения к ней, и Ксения Павловна, ощутив это, невольно зажмурилась.

Хрустел снег. Хрустнул еще. Она не сразу открыла глаза и увидела стремительно удаляющийся от нее за дворцовый угол силуэт Алексея Егоровича.

Николай распахнул окно, уселся на подоконник и с наслаждением всей грудью вобрал в себя пахнущий талостью воздух. Из номера только что удалилась уже надоевшая ему до чертиков, основательно подгулявшая компания: режиссер, оператор, художник и две актрисы... Одна из них ни с того ни с сего закатила вдруг истерику, и ее кое-как объединенными усилиями утихомирили. А поначалу-то все было нормально. И день получился удачным. Съемка демонстрации — Николай работал сегодня в живой, натуральной массовке — прошла без сучка и задоринки, и режиссер был доволен. Он весь вечер открыто хвалил Николая, восторгался без меры — перебрал спиртного — его игрой, чем, по-видимому, и вывел из себя актрисулю. У нее-то как раз сегодня не заладилось, пришлось гнать дополнительные дубли, покуда она не раскрепостилась и не выдала в объектив то что надо. В общем, все как обычно. «Прокурили весь номер, разворошили его, наорались и разошлись. Тысячу первый раз одно и то же... Черт с ними!.. Проветрим сейчас это дело — и спать»,— думал Николай. Жизнь продолжается. Через недельку конец съемок, и он свободен. До тонировки, до дубляжа, до павильонов на «Мосфильме».

Отсюда, со второго этажа гостиницы, отлично просматривались празднично иллюминированный сквер, заваленный снегом фонтан, трибуна, флаги, госбанк, ресторан «Пурга», кинотеатр «Большевик», где их группа смотрела проявленный материал, а дальше, за рестора́ном, возле замерзшего озера, бело клубилась дымами обогатительная фабрика...

В голове у Николая приятно покруживало от выпитого вина, и он был сейчас вполне доволен собой: не набрался, это очень хорошо, завтра не будет болеть голова, не поскандалил ни с кем... А то, что сумел удержаться от приглашения одной актрисы, не той, что устроила шум, а другой... и вообще распрекрасно!

Николай вынул из нагрудного кармана цветастой фланелевой рубахи пачку сигарет и закурил, больше не думая ни о чем. И не сразу заметил медленно идущую Ксению Павловну. Когда же заметил ее, не сразу вспомнил, где ее видел и как ее звать.

— Милая женщина! — крикнул Николай.— С праздником вас!

Ксения Павловна вздрогнула, остановилась, подняла глаза. Увидела Николая Гринина. И Николай узнал ее.

— О-о! Простите, пожалуйста,— сказал он, перевешиваясь через подоконник.— Я вас, грешным делом, не узнал. Богатой будете.

Ксения Павловна вдруг громко спросила:

— У вас какой номер комнаты?

— Десятая, на втором этаже...

— Сейчас я зайду. Откройте дверь.— Она решительно направилась к каменному крыльцу гостиницы.

Николай проводил ее глазами до входа, еще ничего не понимая, а потом кинулся наводить хоть какой-то порядок в номере...

— Максим Петрович, я больше так не могу. Бунтует опять. Прямо как с цепи сорвался. Надо нам что-то решать с ним.— Ирина Николаевна Утешева застегнула пуговицу на рукаве белого халата и устало опустилась в кресло перед столом, за которым восседал главврач.— Так и заявляет: не переведем в восьмую палату — перебьет тут все палкой.— Она усмехнулась сухоньким приятным лицом и сняла очки. Помассировала бледные веки пальцами.— Ну, естественно, что это все так... понт, как выражается один мой молодой пациент. Но тем не менее надо бы все-таки пойти Гаврилову навстречу. Вы же сами знаете его перспективы... Я с вашего разрешения закурю?

— Курите, Ирина Николаевна, курите...— Максим Петрович притушил в пепельнице сигарету.— Когда мы его выписываем?

— Гаврилова?

— Да, вашего взрывника.

— Я думаю, что дня через три можно будет вполне. Какой смысл больше задерживать его здесь?

— Тогда, может быть, рискнем? Пусть поживет с этим капитаном...

— Конечно! — энергично кивнула Ирина Николаевна.— Риска тут никакого. Абсолютно! Григорий — очень сильная личность. Экстровертирная, правда, несколько... Но это скорей бравада, реакция на стресс.

— А вдруг этот англичанин...

— Что? Ноту в ООН направит? Чепуха! А вот для Григория это знакомство безусловно послужит отвлекающим фактором.

— Уговорили, уговорили. Поступайте, как считаете лучше. Советский взрывник, английский капитан... Оба не видят. Почему мы с вами не пишем романов, Ирина Николаевна?

Она опять усмехнулась:

— Вероятно, оттого, что мы с вами... видим это, Максим Петрович. Ви-дим...

Григорий стоял в ординаторской и размахивал палкой:

— ...до каких пор?! Подумаешь, англичанин! У него, между прочим, стоко же дырок в ноздре, что и у меня. Можно проверить. Две, а не четыре. Так что последний раз требую!

Медсестры и нянечки, сидящие в ординаторской, помалкивали и перемигивались: во, мол, выступает...

Больничная униформа крепко изменила Григория: мятая, застиранная пижама была маловата ему, штанины на целую ладонь не доходили до лодыжек, матерчатые тапки с тесемками тоже не очень-то красили крупные ступни. Но самое главное — плотная марлевая повязка, широко, от лба и до носа, обхватившая его голову.

В открытую дверь вошла Утешева.

— Кончайте базар, Гаврилов. Главврач разрешил перейти в восьмую палату. Но при одном условии. Не мешайте, Гаврилов, развитию наших внешнеторговых отношений с капиталистическими странами. Договорились?

— Ну-у,— протянул Григорий довольным голосом.— Вот это уже да-а!.. Ух и жалко же мне, что не вижу я тебя, Ирина Николаевна. Обцеловал бы! А так-то...— Григорий показал на повязку,— так-то и промахнуться можно. Не туда попасть.

— Болтун ты, болтун, Гриша,— тепло отшутилась Утешева, поправила пальцем очки на переносье и, выходя из ординаторской, тихо скомандовала ближайшей медсестре: — Отведите его в восьмую... Пожалуйста.— «Пожалуйста» уже донеслось из коридора.

Палата, в которую так настырно просился Григорий, была небольшой. Уютной. Огромное, цельного стекла окно выходило в больничный сад, и прямо к окну тянулись освеженные дневной капелью ветви деревьев.

Григорий и его новый сосед сидели на койках. Лицо соседа, так же как и у Григория, было наполовину перекрыто марлевой полосой; остались видны только седые, с боковой рассечкой пробора волосы, усы да резко очерченный подбородок с темным зигзагом продавлинки посередке.

— ...ну, я им и говорю: что же, мол, он здесь один пропадает? Ему, может, скучно? А в нашем ведь деле сейчас эта скука хо-хо!.. Дай, мол, хоть я напоследок-то и повеселю человека. Он же один здесь валяется и очень даже может додуматься до чего-нибудь нехорошего. А вдвоем-то всегда интересней. В темноте так особенно, а?.. Жалко, конечно, что я вот не вижу тебя. Какой ты на самом деле. Разберемся по голосу. У нас же в подземке порой так... глазами еще не увидишь, а ушами уже секешь, как радарными установками. Чуть где не так скрипанет, а ты уже наготове. Поди, ни черта не понимаешь, что я тут молочу тебе, а?

Сосед покивал головой. Улыбнулся, открывая чересчур уж какие-то белые зубы.

— Я... вас... понимаю,— выговорил с ударением на последний слог.

— Иди ты! — обрадовался Григорий.— Тогда, брат, живем! Расскажи-ка, где по-нашему научился? Я-то, дурак, когда в школу ходил, ни тум-тум. К другому интерес проявлял. А им сори... вот и все упомнил из вашего. А ты, значит, как?

— О-о... Я-а,— смешивая русские слова с английскими,— бывал Россия... Гошпитал. Вас... Война. Сорок третий...

— Ну... Ты говори, говори. Я тебя железно понимаю.— Григорий нашарил рукой подушки, устроил их повыше под головой и лег, вытягивая ноги.

— Я-а служил на «морской охотник». Офицер... Ез. Караван шел Россия... Молодой. Нас бомбили... Тонуть. Очень много тонуть... Нехорошо. Это сюда,— сосед показал на подбородок,— осколок...

— Куда, куда они тебя? — переспросил, не видя, Григорий.

— Зубы...

— А-а... Хлебогрызку попортили? Понятно. Ну и как тебе у нас в России?

— Кэррол Найк до-во-лен.

— А чего с глазами?

— Погрузка. Мурманск... Пыль. Угольная. Я-а через три дня снимать повязка.

— Хорошо обошлось, значит,— вздохнул Григорий.— А мне хана вроде. Афакия у меня, понимаешь? Хрусталики... фьють! На всю теперь жизнь в потемках. За электричество платить не надо. Лафа!

— Это не есть хорошо.

— Да уж чего там! Думал, хуже не бывает, а наутро еще хуже... Врачи-то туфту мне запаливают. Говорят, что, мол, со временем чего-то там смогут, а пока не волокут... Тухлое наше дело. Тебе-то хоть сколько лет?

— Пят... дэсят пят.

— У-у... Мне малость поменьше. Двадцать восьмой.

— Бэби?

— Дети, что ли? А у тебя есть они?

— Два сына.

— У меня нет. Будут еще. Без света, говорят, они еще лучше получаются...

Англичанин не ответил.

Неля получила в больничной раздевалке белый халат. Привела себя в порядок перед зеркалом.

— Пойдем, пойдем,— сказала ей пожилая нянечка.— Мне как раз наверьх надо. Провожу. К нему много народу ходило. Все больше мужчины, конечно. Он-то теперь с иностранцем лежит. Перевелся... Характерный мужик! Так на горло и взял. Хочу, говорит, и только. Бе-е-да! А с другой стороны если взять, то как ему не уступить? Молодой же, а без глаз.

— Как?! — испуганно вскрикнула Неля.— Он что? Совсем?..

Нянечка тяжело перевела дух, облокотившись на перила лестницы. Посмотрела голубенькими глазками на Нелю.

— Тут воля господня, милая. Я-то ведь что — старая. В этом деле не разбираюсь.

Потом они шли по длинному коридору, сильно и резко пропахшему лекарствами.

— Тут... в восьмой,— почему-то шепотом сказала нянечка. Неслышно приоткрыла дверь и заглянула.— Докушивают. Сейчас я у них соберу тарелки, а ты уж после сама иди, ладно?

В палате приглушенно светили ночники. Шторы на окне были задернуты. Нянечка по-быстрому составила на поднос посуду, мягко приговаривая при этом:

— Вот и умники. Кто не ест, тот и не работает.

Вышла. Снова зашептала Неле:

— Иди, иди. Теперь они добрые. Мужика покорми — и все.

— Спасибо,— кивнула Неля.— Я постою пока.

Нянечка усмехнулась и зашлепала по коридору. Возле поворота к лестнице все-таки не вытерпела и оглянулась. Неля продолжала стоять у раскрытой немного двери.

— Чудная, ей-богу,— сказала сама себе нянечка и исчезла из виду окончательно.

— И где же ты плаваешь, капитан? — спросил Григорий, снова устроившись на койке.

— Весь мир. Из Танзания в Ливерпул. Ливерпул — Мурман.

— А чего возишь?

— Сизаль из Африки. Канаты...

— А-а... Ну и как там, на черном континенте? Пробуждаются?

Неля улыбнулась.

— Я не политик. Я моряк,— твердо ответил англичанин.

— Да я тоже. Ты в бутылку не лезь. Я ведь про что говорю... Ну, никак мне не понять — чего людям надо? Чего они друг на дружку лезут?

— Здравствуй, Громыко,— сказала, входя в палату, Неля.

И Григорий и англичанин резко повернули на ее голос свои незрячие головы.

— Кто это? — спросил Григорий.

— Я. Неля.

— У-у...— удивился он.— Каким это ветром? Фрагмент известной картины «Ее не ждали». Автора не помню.— Он сел.— Заходи, гостем будешь. Знакомься... капитан английский. Зовут непонятно.

— Кэррол Найк,— встал и поклонился англичанин.

— Неля.

— Очень приятно.

— Мне тоже,— сказала Неля.— Гриша, выйдем на минуточку, а?

— Сейчас.— Он нащупал ногами тапки. Поднялся.— Ты это... прости, капитан. У нас у каждого свой талисман. Ну, пошли, пошли на коридор.

Когда остановились возле окна, Григорий, опершись о подоконник рукой, грубовато спросил:

— Ну, чего надо? Если жалеть, то без надобности. Не нуждаемся.

— Гриша,— сказала Неля и вдруг занервничала.— Тут такое дело...

— Какое?

— Понимаешь... Я... по правде сказать, уже расхотела тебе говорить про то, с чем пришла.

— Тогда не тяни резину. Мне с капитаном, может, интересней.

— Слушай... Юсин продолжает копать это дело со взрывом...

— Ну и пусть копает. Я-то при чем?

— Не знаю. Но он в чем-то подозревает тебя.

Григорий вздернул голову, уставившись на Нелю белой своей перевязкой.

— В чем?

— Я не знаю. Он говорит, что ты в феврале на том массовом взрыве заряжал скважины над сто восьмидесятым штреком. Вручную.

Григорий нервно дернул щекой.

— Что еще?

— Все...

— А зачем ты мне капаешь на любовничка, а? — ощерился Григорий.

— Я... хочу предупредить тебя. Акт ведь комиссией подписан.

— А тебя он вроде уточки подсадной ко мне, да? Чтобы я раскрякался? — Григорий шагнул к Неле.— У-у... Катись отсюда!

Неля испуганно отступила.

— Ты не так меня понял, Гриша.

— Не так?! — Он захрипел.

Неля повернулась и побежала по коридору. А Григорий, размахивая кулаком, все кричал и кричал ей вдогонку, отшвыривая от себя медсестер...

Ночью он проснулся в поту. Только что оборвался тягучий, подробный кошмар. Будто Григорий бежал по громадному, туго накачанному бикфордову шнуру, бежал внутри него — как по тоннелю... Мягко вжимался под ним, пружиня, грязно-коричневый пол, и Григорий, отталкиваясь от него, медленно-медленно перелетал, продолжая при этом бешено молотить ногами горячую пустоту. За ним, нагоняя его, шипел и разбрызгивал длинные белые капли лохматый огонь. Григорий, не слыша себя, что-то кричал и размахивал руками. Там, впереди, далеко-далеко, виднелась пологая куча переломанных аммонитовых колбас, на которой сидели его отец, Серега Гуридзе и еще кто-то. Все они как по команде одновременно запрокидывали вверх головы, звучно глотая из горлышек молоко, а потом хором тянули: «Отпишет мать мне старый угол дома, когда устанет сердце у нее...» «Взорвутся же к чертовой матери!..» — думал Григорий и еще бесслышней орал им. Они же как ни в чем не бывало продолжали петь и посасывать молоко. Григорий затравленно оглянулся и понял, что ему не уйти от огня. Тогда он растопырил руки, тормозя, и завис. Выдернул из-за голяшки нож, всадил его в мягкую шкуру тоннеля и со скрипом легко стал распарывать шнур. Оставалось совсем немного, и он бы отрезал дорогу огню, но... огонь дошипел до Григория, и... сморгнула, съедая пространство, кровавая муть. Что-то черное, липкое обкрутило Григория, и он, задыхаясь, поплыл в этом черном и липком. Он плыл, опрокинувшись на спину, и думал о том, что вот и закончилась жизнь, что больше ему никогда не увидеть, как в сонной реке поутру хлещет хвостами серебристая рыба, что вот ведь как глупо случилось... как глупо... как глупо!.. Григорий забился в отчаянье, разгребая руками, зубами, ногами черноту перед собой, а когда уже выдохся окончательно, но все-таки еще ковырнул головой бесконечную непроглядь, разом открылась ему странно светлая даль, приглядевшись к которой Григорий понял: да это же аквариум! Ну да!.. Он вплотную подгреб к нему, пока не ощутил лбом пронзительный холод преграды. Закарабкался вверх, перевалился через стенку и замер. Ужас выдавил из него тонкий-претонкий крик. В прозрачной воде перед ним отдельно друг от друга тонули не мигая Зинкины глаза...

Григорий сел. Вытащил из-под подушки сигареты и спички. Прислушался к капитану. Тот спал, посвистывая. Григорий вдел ноги в тапки и пошел к двери, шаря впереди себя вытянутой рукой. В коридоре было попрохладнее. Он дошагал до окна и остановился. Кое-как, все еще не привык, раскурил сигарету, больно опалив при этом пальцы. Подул на них и послюнявил языком. Выругался про себя: «Немощь!» Потом бесцельно двинулся по коридору, пока не услышал чей-то быстрый, прерывистый полушепот. Тут же и догадался — нянька какая-нибудь. Григорий замер и напряг слух.

— ...ну а зачем жа я сюда кинулась, а? На Север этот? Из деревни-то своей, а? Осломя голову. Со Шикотана на Усть-Илим подалась... Там на ГЭСе-то в передовых значилась — все думала, как бы это, значит, поприметнее стать. Чтобы кто-нибудь увидел на Доске почета и побежал за тобой... Дурная наскрозь! Теперь вон где черт поселил! В Полярске... При болящих кантуюсь. Им подмогаю... А может, у меня у самой что-то болит, а? Может, одна сила-то в языке и осталась, а из других мест повышла? А все же вот чудится, чудится... что будет со мной что-то такое, такое, ну это... Сама не пойму. Может, завтра, а?

— А может, и сегодня,— громко сказал Григорий.— Вы это... помогли бы мне назад в восьмую залезть. Заплутал...

— Господи! — заплескался возле Григория женский голос.— Ну чего ты не спишь, а? Еще не нашумелся. У-у, негожий!..

Нянечка довела Григория до палаты, а потом и до койки. Шепнула в лицо:

— Спи. Не даешь посплетничать.— Руки у нее были теплые и добрые.

Григорий пару минут полежал, маясь, и вдруг, даже не успев подумать об этом, окликнул капитана:

— Эй, друг!.. Капитан!

— О? — почти сразу отозвался тот. Запустил что-то по-английски и спросил: — Чом дело?

— Ты извини меня, друг,— сказал Григорий.— Но понимаешь... мне тебя надо спросить.

— Ез... Спрашивай.

— Мне это очень нужно знать. Так что ты лучше не ври, ладно? Скажи по-честности, понял?

— Хорошо.

— Вот, значит, какое дело-то. Допустим, что ты потопил корабль...

— О-о?!

— Ну, это же понарошке, не в натуре, конечно. И в этом деле сам виноват, понял? Ну а когда всё проверили, тебя вроде ни в чем не винят... А ты виноват. И знаешь, в чем виноват... Так вот, как бы ты в таком разе... ну, жить стал, а? Тебе же ничего не шьют, гуляй как хочешь, а ты... гад! Из-за тебя весь этот кошмар получился. Вот как бы ты, а? Только по-честности, понял? По-честности!

— Я-а... думал...— после муторной для Григория паузы заговорил англичанин.—Думал и... вспоминал ваш один суперписатель... Толстой. Я-а-а читал он книги... Толстой очень хорошо сказал... Честность не есть убеждение. Честность есть нравственный привычка. Приобретать честность можно только с ближайших отношений... Я бы сказал вся правда, если бы я виноват утонуть корабль. Это есть мое твердое слово, мистер Джодж. Другое слово я сказать не могу. Я не знаю другое слово. И это я сделал не по-честность. Это моя есть нравственный привычка. Вы меня хорошо понимал? Это есть важно. Я говорил как думал. Вы меня разбудил... Я сказал.

— Ага...— не сразу отозвался Григорий.— Дай пять.

— Что я дать вам? — не понял капитан.

— Петуха, друг.— Григорий отшвырнул одеяло, поднялся и босыми ногами как на лыжах шагнул в сторону капитанского голоса...

Кряквин и Верещагин, уже одетые для улицы, вошли в кабинет секретаря парткома, когда часы там дозванивали четвертый час пятого дня недели. Надо было захватить с собой Скороходова, чтобы всем вместе и ехать на кладбище. Об этом накануне их настоятельно попросил Егор Беспятый... Сороковины.

— Заходите, заходите, товарищи,— почему-то обрадовался Сергей Антонович.— Я скоренько. Мы тут сейчас... Это... знакомьтесь... Утешева Ирина Николаевна... так сказать, супруга нашего Ильи Митрофановича.

— Верещагин.

— Кряквин,— поклонился Алексей Егорович и вдруг сердито спросил у Скороходова: — Это почему ты сказал «так сказать»?

— Ну это... так сказать, к слову пришлось.

— К слову-паразиту, да? — уточнил Кряквин.

— Вроде этого,— улыбнулся, посмотрев на Верещагина, Скороходов.

— Все ясно. Занимайтесь. Мы вам постараемся не мешать.— Они прошли в угол кабинета и сели рядом с часами.

— Ну, значит, так, Ирина Николаевна,— откашлявшись, продолжил Сергей Антонович.— Я беседовал на эту тему с Ильей Митрофановичем. Говорил с ним, так сказать, по душам... Но, понимаете, как говорится, воз и ныне там... Может быть, вы нам что-нибудь скажете?

Ирина Николаевна сняла очки, подслеповато посмотрела на секретаря парткома, снова надела очки и положила в пепельницу сигарету. Привстала чуть-чуть, стряхивая просыпавшийся на юбку пепел.

— А почему вы говорите о себе во множественном числе?

Кряквин и Верещагин переглянулись. Скороходов закряхтел и заерзал на стуле:

— Понимаете... Так...

— А раз «так»,— перебила его Ирина Николаевна,— то уж лучше действительно послушайте меня.— Она нервно поправила волосы на затылке.— Все, что вы мне сейчас «по-дружески» наговорили о моем муже, к нему никакого отношения не имеет. Вы преувеличенно приписываете ему поступки какого-то абсолютно незнакомого мне человека. Мы прожили с Ильей Митрофановичем вместе целую жизнь. И, позвольте, мне лучше знать, какой он человек на самом деле. После стольких лет всякого-разного я, надеюсь, могу позволить себе быть объективной. Не так ли? Лично же вам, товарищ секретарь парткома, я бы смогла в данном случае порекомендовать лишь одно... Совсем не заниматься подобным «дружелюбием». Мне лично, ей-богу, по крайней мере странно, что вы разменяваете свое время на подобные пустяки. Да, пустяки! — Ирина Николаевна нервно взяла из пепельницы сигарету, но тут же бросила ее назад.— Откровенно, я взволнована сейчас... Взволнована. Но не вашими сообщениями об Илье Митрофановиче. Нет... А именно вашим д р у ж е л ю б и е м в кавычках. Простите меня за резкость, но я бы очень просила вас не беспокоить меня и моего супруга больше вообще. Прощайте. Из-за вас я на целый час задержала прием больных.

— Ирина Николаевна,— поднял руку Кряквин.— Один вопрос. Как там дела у Григория Гаврилова?

— Сегодня утром он самовольно покинул больницу.

— Как?

— Взял и ушел.

— А глаза?

— У него их пока нет,— отрубила Ирина Николаевна, кивнула и вышла из кабинета. Подтянутая. Решительная.

— Видали? — сказал Скороходов.— Боярыня Морозова. Им же, понимаете, хочешь как лучше, а они...

Кряквин посмотрел на него внимательно-внимательно.

— Ну что ты на меня брызгаешь этими... синими брызгами? — неловко пошутил Скороходов.

— Да так...— скривил губы Кряквин.— Поехали. Я тебе по дороге объясню.

Перед железнодорожным переездом их машину остановил шлагбаум: маневровый тепловоз медленно протаскивал формирующийся товарняк. Потом, грохоча и продавливая рельсы, полетел пассажирский. Замельтешили голубые вагоны.

— Во-от,— обернулся к Скороходову Кряквин,— самое время потолковать.

Сергей Антонович показал ему глазами на шофера: мол, при немто не стоит. Кряквин понимающе кивнул:

— Намек понял... Старина,— он слегка подтолкнул плечом водителя,— выдь на волю, подыши малость, а?

— Хорошо, Алексей Егорыч.— Парень вылез из «Волги» и захлопнул дверцу.

— Теперь можно? — спросил Кряквин.

— А теперь как Петр Данилович скажет.

— Я молчу,— сухо ответил Верещагин.— Меня чужая семейная жизнь не интересует.

— Понял? — сказал Кряквин.— Его чужая семейная жизнь не интересует.

— Так то семейная, а тут...

— Погоди, погоди,— остановил его Кряквин.— Мы до этого еще дойдем. Дойдем, Сережа. А пока начнем по порядку. Ну чего ты суешься ко всякому со своей добротой? А? Ты кто? Социальный психолог вроде Шаганского? Бабка-повитуха? Или партийный организатор? Организатор, понимаешь?

— Да ладно тебе... Отвяжись! Ты же меня знаешь?

— В том-то и дело,— сказал Кряквин.— Не знал бы, вот так с тобой не беседовал.

— А как же, интересно? — съехидничал Скороходов.

— У-у,— протянул Алексей Егорович,— это тебе было бы совсем неинтересно. Я же тебя просил закончить эту историю с Утешевым? Просил. А ты? Дал ход сплетне.

— Да ну вас! — теперь уже с нервом махнул рукой Скороходов.— Дай папиросу. Вот будет партком — переизбирайте. Не могу я. Честное слово, не мое это дело!

— Во-о! Умница! Ты же прекрасный маркшейдер, Серега! По тебе подземка плачет. Ты вспомни, как мы здесь скалы ворочали, а? Геология ведь одно, а тут — другое... Понял? Тут, брат, другие замеры требуются.

— Обрадовался,— хмыкнул Скороходов.— Знаешь же, как было. «Давай-давай! Не умеешь — научим...» Михеев прямо наседал. Петр Данилыч тоже тогда помалкивал... Я все помню.

— Михеев... Петр Данилыч... Своя-то башка тоже должна соображать? — Кряквин шутливо хлопнул Скороходова по шапке.

— Кончай, кончай! — отмахнулся от него Сергей Антонович.— Утешев-то тоже хорош... С коммуниста и спрос особый. А его ведь подрастающему поколению и показывать нельзя. Стыдно!

— Ну, ты даешь! «Подрастающее поколение... Особый спрос...» Не трещи словами, Сережа... Утешев, скажу я тебе, мужик что надо. Придет час — расскажу подробней. Понял?

— Понял. Ну что я могу поделать? Сидит во мне эта... занудливость. Сидит, зараза! За что ни возьмусь — все уладить охота. Чтобы всем хорошо было. А получается ерунда какая-то.

— Ты воевал? — спросил Кряквин.

— Что спрашиваешь? Дурила!

— Тогда, значит, просто забыл... Помнишь призыв: «Коммунисты, вперед!»? Помнишь?

— Еще бы,— вздохнул Скороходов.— Сам кричал.

— Часто?

— Что часто?

— Кричал это?

— Да нет. В крайнем случае.

— То-то... А за нравоучения ты меня извини. Сам знаешь, как я к тебе отношусь. Вот так... Петр Данилович, скажи нам чего-нибудь.— Кряквин положил руку на плечо Скороходову.

Верещагин отер ладонью лицо, как паутину с него собрал. Улыбнулся:

— Я сейчас один анекдот английский вспомнил... У короля родился сын. Пэр Англии. Радость, всеобщее ликование, пушки палят и так далее. И вдруг выясняется, что наследник глухонемой. Да. Лучшие врачи его лечат, и все бесполезно. Пэр молчит и не слышит. Так прошло двадцать лет. Однажды на одном из званых обедов ливрейный лакей подает пэру Англии кровавый бифштекс. Причем подает его не с того плеча. Не с той стороны. И молодой наследник престола говорит ему: «Любезный, тебя еще не научили, как подавать бифштекс?» И все ахнули. Как?! Пэр, оказывается, и слышит и говорит? Старик король, обливаясь слезами, спрашивает: «Почему же ты столько молчал, сынок?» Причем спрашивает у него примерно так, как Кряквин у меня. В этом вся соль анекдота. И пэр отвечает: «А чего говорить? Пока все шло нормально». Все. Разрешаю смеяться.

— Здорово,— сказал Скороходов.

— Мне нравится,— улыбнулся Верещагин.— А вон и наши ползут.

Из-за поворота к железнодорожному переезду вытягивался довольно-таки необычный машинный караван. Возглавляли его два «газика», за ними катилась приземистая, косолапая «Татра», а замыкал движение автокран. Егор Беспятый, проезжая мимо «Волги», помахал из переднего «газика»: мол, давайте пристраивайтесь за нами. «Волга» развернулась и накатисто догнала колонну. Кряквин сказал шоферу:

— Не обгоняй. Поедем последними.

Так и проследовали на небольшой, в общем-то, скорости до горняцкого поселка на двадцать пятом километре, а затем, отворачивая от строений Нижнего, сошли на отвилок, ведущий к церквушке и местному кладбищу.

Здесь сохранились еще редко расставленные сосны. Снег с них упал, и тяжелые, сочные ветви недвижно висели над общей сумятицей затонувших в сугробах оградок, крестов, пирамидок. Кладбищенская дорога была малоезженой, вязкой. Водители переключились на первые скорости; двигатели, работая на повышенных оборотах, взревели натужно и громко, распугивая ворон.

Кряквин задумчиво передвигал взгляд, захваченный, как и все, кто сейчас ехал по кладбищу, состоянием неясной печали. Только один раз до этого приходилось ему бывать здесь. Это когда хоронили — после того кошмарного взрыва на Нижнем — первых пневмозарядчиков. На похоронах матери Беспятого он не смог быть — вызывали в обком.

Память мгновенно вернула тот день... С мелким дождиком, с плачем горнячек, с медным надрывом оркестра и бухающим, бухающим, бухающим барабаном. Он вспомнил Ивана Грибушина, знаменитого взрывника. Иван совсем недавно до этого, пожалуй что, самым первым из всех взрывников по Союзу получил звезду Героя Социалистического Труда. Когда уже начали опускать его гроб, сынишка Ивана, рыдая, подкинул вверх парочку белых-белых голубей — Грибушин и сам был заядлый голубятник,— и они долго кружили потом под низкими, темными тучами...

Остановились. Вылезли из машин. Собрались возле Егора. Молча покурили, поглядывая по сторонам. Затем по команде Егора разобрали лопаты и быстро расчистили могилу. Народу-то собралось подходяще: Кряквин, Верещагин, Тучин, Беспятый, Скороходов, Иван Федорович Гаврилов, Утешев и шоферы...

Вскрытая земля слабо отсвечивала изморосью. От нее исходил нутряной, погребный запах. Горбик могилы отчетливо обозначился в центре площадки. Тучин с Беспятым забрались в кузов «Татры» и аккуратно застропили в нем что-то тяжелое, закутанное в брезент. Крановщик пересел в верхнюю кабину, передернул рычаги и под серди-

тый моторный зуд потихоньку снял с кузова груз. Утешев показывал место, куда его ставить, и вскоре массивная ноша тяжко коснулась могильного изголовья, давя и прессуя собой комья земли.

— Спасибо,— сказал Егор крановщику и водителю «Татры».— Валяйте, ребята... С остальным мы тут сами управимся.

— А оградку-то? — подсказал крановщик.

— Ух ты... Про оградку забыл...

И опять заработал кран, подхватив на крюк оградку.

— Теперь все,— сказал Егор, вытирая платком взмокшее лицо.— С меня причитается.

— Ладно,— отмахнулся крановщик.— Свои люди, Егор Палыч.

«Татра» и автокран задним ходом ушли с кладбища.

— Ну, показывай, Илья Митрофанович,— сказал Егор Утешеву, а сам отошел к своему «газику» и начал вытаскивать из него, складывая на капот, какие-то свертки.

Утешев не спеша взрезал ножом шнуровку и сдернул брезент. Рисчорритовая глыба масленисто и влажно ответила слабеющему закатному лучу полированной с одной стороны плоскостью. С нее куда-то в даль из-под руки глядела женщина. На каком же распутье остановило ее ожидание?.. Встречный ветер взметнул ей на плечи концы полушалка... Камень прочно вобрал в себя важность мгновенья — мать ждала.

Видно, было то где-то на сельском погосте, при дороге большой, что лугами, как серая толстая нитка, уводила в пространство... Мать пришла на погост — поклониться кому-то, а потом призадумалась, вспомнила что-то; на погостах ведь разное вспомнишь о живых, хоть и нет тех живых больше рядом... Мать глядела на жизнь, а за ней с чуть заметным наклоном поднимался из камня крест...

Под всем этим ясно читались три слова — «Елизавета Романовна Беспятая». И стояли даты — рождения и смерти.

Верещагин скинул очки и спросил у Егора Павловича:

— Это кто его сделал?

Беспятый молча кивнул на Утешева:

— Илья Митрофанович.

Все с удивлением посмотрели на понуро стоящего начальника отдела труда и заработной платы Верхнего рудника. Кряквин поймал на себе взгляд Скороходова и кивнул — мол, вот так, дорогой.

Утешев достал из кармана пальто перчатки, натянул их на пальцы, поднял серый каракулевый воротник и не оглядываясь зашагал по кладбищенской дороге.

— Ты куда, Илья? — крикнул ему Беспятый.

Утешев приостановился и не оборачиваясь глухо ответил:

— Я приду. Не волнуйтесь, пожалуйста...

Беспятый развел руками:

— Ладно-ладно...

Когда все собрались возле «газика», Беспятый первым поднял стакан, помолчал, глядя себе на руку, и сказал:

— Помянем маму. Без слов... разных.

Все молча выпили. А Егор вдруг, так и не выпив, направился к ограде. Вошел в нее, постоял возле камня и осторожно поставил стакан на землю. Вернулся к машине, часто-часто моргая.

— Не могу, братцы. Поедем ко мне.

Было тихо. Темнело. Выгорал над горами закат. Изредка вразнобой перекаркивались вороны...

— Ты извини, Егор, конечно,— заговорил Иван Федорович Гаврилов.— Но надо бы поехать ко мне. Поважней дело есть...

— Что-о?! — хрипло протянул Беспятый.— Это что же может быть поважнее?

— Гришка пришел из больницы. Слепой... Пьет.

— А-а...— после паузы выдохнул Беспятый.— Твоя взяла. Едем к тебе...

— Спасибо, мужики.— Иван Федорович бросил под ноги окурок и тщательно задавил его в снег.

Перед запертой изнутри дверью в комнату Григория сидели на табуретках Надежда Ивановна и Зинка. Чистили картошку над тазом, сосредоточенно слушая Серегу Гуридзе, который, стоя у двери, горячо говорил, пригибаясь и подглядывая в замочную скважину:

— Зачем так ведешь себя, Гриша, а? Зачем не выходишь? Выходи, дорогой, слушай конкретное рацпредложение. Давай примерять тебе мой глаз. А?.. Ты меня слушаешь? У меня глаз хо-о-роший! Черный! Зачем мне два? Мне одного хватит. Я тебе один отдаю, и мы с тобой одинаково на жизнь смотрим... А? Генацвале... Выходи, дорогой. Очень прошу!.. Не расстраивай друга...

Из-за двери еще громче и надрывней зазвенела гитара. Голос Григория сипло запел:

Э-эх, сколько я писем яму да писала,
А ён говорил, што не получал...
Э-эх, сколько я раз да яво цаловала,
А ён говорил, што не ощушшал...

Надежда Ивановна не выдержала. Бросила ножик в таз, промакнула глаза передником и вышла из комнаты. Там певуче и мелодично курлыкнул звонок, вскрипнула дверь и послышался неясный тяжелый шум. Серега взглянул азартно на Зинку и скомандовал жестом: мол, давай говори. Твой, мол, черед...

— Гриш, а Гриш! — громко окликнула Григория Зинка.— Ты вот меня послушай... У нас в деревне один случай был. Парамохин его фамилия. Он с войны вернулся, так у него обеих ног не было и пальцев на правой руке. Нет хотя... Однако на левой...— задумалась Зинка.— Хотя нет... На правой, точно. И что? А ничего! Стал жить. На зоотехника выучился. Его еще как на фермах боялись. Строгий — ужас! И все понимает. А в жены, думаешь, кто к нему пошла? Нюрка Холщевникова, вот кто! Самая наша красавица! Коса вот досюда! Глаза синие-синие. Не говори! И все у них по уму получилось. Дети пошли. Две девочки и парень...

Вошла Надежда Ивановна. Теперь уже сердито покосилась на запертую дверь:

— Да что там говорить... По-всякому живут люди. И без ног, и без рук, и без глаз. Голова бы была целой. А потом неизвестно совсем... Может, еще левый-то у тебя видеть будет? Мне же Ирина Николаевна сама говорила. Поедешь в Москву. Там по этой части артисты. Меня бы хоть пожалел.

Она обняла Зинку.

— Зачем пить? Где пьют, там слезы льют... Ты еще работать будешь. В курсовой сети на руднике салаг обучать. Ты же взрывник. Столько знаешь... Учи салажат профессии... Хорошо!

— Это у Маяковского, Серега, да? — спросила, наморщив лоб, Зинка.

— Чего?

— Ну... про плачущего большевика?.. Которого еще в музее показывали...

— У него, у него, — отмахнулся Серега.

В комнату по одному стали входить Верещагин, Кряквин, Беспятый, Тучин, Утешев, Скороходов и Иван Федорович. Надежда Ивановна молча рассаживала их. Потом подхватила таз с картошкой, позвала глазами Зинку, и они удалились. Иван Федорович остался стоять у дверей. Сумрачно курил.

— Ну, чего вы там заглохли? — крикнул из-за двери Григорий.— Валяйте дальше! Уговаривайте... Мне это нравится. Кто следующий?

— Разрешите мне? — почему-то спросил у Верещагина Сергей Антонович и встал.— Здравствуй, Гриша... Это я.

— Кто ты?

— Скороходов.

— А-а... Дядя Сережа! Привет парткому. Сейчас я для тебя частушечку заделаю. Не возражаешь? Слушай...

Гитара затенькала плясовой ритм.

А я гармонь кручу-верчу,
Вся в поту краса моя...
Девки клонютца к плечу,
А бабы то жа самоё-о...

Э-эх!.. Ну как?

— Хорошая частушечка, Гриша.

— Ну и ешь на здоровье! Заходи почаще.

— Спасибо за приглашение. А теперь ты можешь послушать меня?

— У-весь у-внимание, дядя Сережа,— куражился из-за двери голос Григория.— Выступай!

— Ну чего ты уж так-то, Григорий? — подошел вплотную к двери Скороходов.— Ты же еще молодой. Перестань, возьми себя в руки.

— Беру, ой беру, дядя Сережа!

— Всякое же бывает-то в жизни... Всякое. А жить надо. Как же иначе? Чего сразу скисать? Образуется. Это ведь действительно совсем неприятно глядеть на хныкающего...

Скороходов, как бы ища поддержки, взглянул на Верещагина. Но тот сидел, опустив голову.

— Химеры и фантомы! — весь перекосившись, как от чего-то кислого-кислого, хлопнул себя по колену ладонью Кряквин.— Опять ты за свое! Сейчас еще перед ним на коленки станешь, да?..

— Это кто там так барнаулит? А? — спросил из-за двери Григорий.

— Я, Гриша, я. Кряквин. Здорово, народный певец!

— Наше вам с кисточкой, Алексей Егорыч. И вы, значит, тут? Инте-ресно...

— А мне вот, Григорий, совсем неинтересно,— вдруг твердо, но очень спокойно заговорил Верещагин.— Неинтересно все это, понял?

— Тогда попрошу представиться,— съехидничал из-за двери Григорий.— По голосу не признал.

— Это Петр Данилыч, дурила! — крикнул Иван Федорович.— Первый секретарь горкома, щенок! А ну выходи!

— О-ё-ё-ё-ей! Как страшно, папаня. Прямо спина вся взопрела. Когда понадобится, тогда и выйду, понял? Здравствуйте, Петр Данилыч... И извините уж, что я малость того... Для сугреву душевного. Тоже, поди, чё-нидь хотите сказать? Тогда говорите. Я вас всех тут на магнитофон беру. Будет потом что вспомнить... Так что вам неинтересно-то, Петр Данилыч, не усекаю пока?

— Неинтересно слушать, как тут перед тобой все стараются. Трясут, что называется, воздух... Думаю, это пустое занятие.

— Я тоже так считаю,— сказал Григорий.

— А вот насчет плачущего большевика, Гриша, то тут я ни со Скороходовым, ни с самим Маяковским не согласен. Не согласен, Гриша, ты слышишь меня? — Верещагин вплотную подошел к двери.— Плачут, Гриша, большевики. Плачут! И это, между прочим, прекрасно. Потому что они прежде всего, Гриша, люди, а не железки, и им по-людски дано понимать людскую боль. Из нас четверых тут, Григорий, трое плакали, и еще как! — когда мы на Висле едва-едва не потеряли твоего отца. Это был страшный день, Гриша. От нашего батальона не осталось и роты тогда. Погибли такие товарищи...

Тучин слушал сейчас Верещагина, а сам все смотрел и смотрел на увеличенную фотографию в металлической окантовке, что висела над диваном. Точно такие же он уже видел у Кряквина дома и у Егора Беспятого. И только сейчас, именно вот в эту минуту Павел Степанович понял, что́ эти молодые совсем, в гимнастерках с медалями и орденами, улыбающиеся на понтонном мосту люди значат друг для друга...

— Нас варили тогда в кипятке, Гриша. А отца твоего мы... Вот, Алексей знает, как это было... И как мы плакали потом. Думали, что погиб Иван. Восемь осколков в одного... это очень даже много, Гриша. И мы плакали и зубами скрипели. А потом с этими слезами и скрипом взяли Берлин. И к чертовой матери разнесли эту!..— Верещагин замолчал и отвернулся.

Всхлипнула Зинка... И почти одновременно с этим всхлипом распахнулась дверь. На пороге возник Григорий. Небритый. В тельняшке. С гитарой, как с автоматом, в руках. Секунду он постоял молча, обводя забинтованной головой всех, потом вдохнул в себя воздух и... улыбнулся.

— А теперь... премьера песни! Хорошей, между прочим, песни-то. Я вот ее все в «Пурге» собирался пропеть... для народу! Ну да ладно... Я вам спою, а потом мы, наверно, поговорим по душам. Ох уж и посмотрю я на вас! — с какой-то угрозой сказал он.— Подал бы калеке кто-нибудь стул, что ли?..

Серега схватил свою табуретку и поставил ее возле друга, помог ему сесть.

— Пой, Гриша, пожалуйста, пой, дорогой!

— Пою, Гамлет, пою,— с хрипом вздохнул Григорий и выбрал аккорд. Еще один... Слегка подкачнул гриф, придавая звучанию щемливо-расплывчатую вибрацию. И запел:

В горнице моей светло.
Это от ночной звезды.
Матушка возьмет ведро,
Молча принесет воды.
...Красные цветы мои
В садике завяли все...
Лодка на речной... на речной мели
Скоро догниет совсем.
...Дремлет на стене моей
Ивы кружевная тень.
Завтра у меня под ней
Будет хлопотливый день...
...Буду поливать цветы.
Думать о своей судьбе.
Буду до ночной... до ночной звезды
Лодку мастерить себе...[1]

За окном скопилась темнота. Видно было, как проблескивают звезды. Зинка беззвучно глотала слезы, слизывая их с губ. Остальные сидели с закаменевшими лицами. Трудно, ей-богу, трудно было слу-

[1] Стихи Николая Рубцова.

шать эту песню, в которой за простыми совсем словами вдруг вскрывалось что-то очень понятное и печальное...

Медленно растворился последний всплеск струны. Григорий мотнул головой, поднял гитару, а потом треснул ее об колено. Отшвырнул обломки.

Надежда Ивановна замерла в двери с открытым — остановился в нем крик — ртом.

Григорий встал, потирая ладонями, и сказал:

— А теперь я буду спрашивать у вас. Ну-ка скажите вы... вот все вы!.. Вы ч е с т н ы е, а?

— Убеждены в том,— коротко отозвался Кряквин.

— Ответ неправильный. Вот так!

— Гришка,— процедил сквозь зубы Иван Федорович.

— Так в чем я не прав, Гриша? — невозмутимо спросил Кряквин, погрозив старшему Гаврилову пальцем: мол, не надо, не мешай.

— А во всем... Честность-то, к вашему сведению, не есть убеждение. Честность-то, братцы, есть нравственная привычка. Поняли?.. Это еще Толстой сказал. Вот так! А сейчас перейдем ко второму вопросу. Интересно бы знать. Как по-вашему, правда на свете есть?

— Есть, Гриша,— снова ответил Кряквин.

— И что же с ней делают, когда она есть?

— Живут с ней, Григорий.

— Та-ак... Допустим. Только жить-то ведь с ней можно и втихаря и чтобы никто не узнал. А? Зажал эту правду за пазуху — и конец! Не так, что ли?

— Позвольте мне,— очень вежливо обратился к Григорию Утешев.

— Тьфу ты! Еще кто-то!

— Утешев. Добрый вечер.

— Привет... Говори, Илья Митрофанович.

— Это, Гриша, давно уже было. В Норвегии. Я там в концлагере сидел...— Утешев сухо кашлянул.— Надеюсь, ты меня понимаешь?.. Это чрезвычайно неприятно припоминать. Так вот. Однажды в бараке один человек рассказал нам притчу о правде. Под настроение, между прочим, рассказал ее... В тот день нас загоняли по каменоломне, и десять человек конвоиры убили. А притча была вот о чем... Один, значит, очень обиженный отправился по белу свету искать Правду. Мы ее для данного случая одушевим и станем называть с большой буквы... Обошел его весь, белый свет, и нигде не смог встретиться с ней. Старый стал совсем, обессилел, изорвался. Одна кожа да кости. И вот забредает он как-то в какую-то крохотную деревушку в горах. Ночь, холодно. Просится переночевать. Не пускают. Наконец в самой уж последней развалюхе-избенке открывает ему дверь такая немощная, беззубая, слепая, грязная старуха. В чем только душа держится. Открывает и говорит: «Заходи, ночуй. Места не жалко». Ну, наш обиженный прилег у порога, а старуха расспрашивает: ты чего, мол, по свету-то маешься, чего ищешь, сынок? Он рассказал ей, что вот ведь всю жизнь проискал по белу свету Правду, да так и не встретил нигде. Тогда старуха подходит к нему и говорит: «А ведь я, сынок, и есть самая настоящая Правда». И документы предъявляет соответственные, в которых черным по белому сказано — Правда и есть... Обиженный, конечно, заахал, заохал. Очень даже расстроился. Говорит Правде: «Какая же ты страшная... Да как же я теперь о тебе другим людям расскажу? Это их ужасно огорчит». А Правда ему отвечает: «А ты им солги». Все.

— Во-о! — со злостью воскликнул Григорий.— Вот это да! Сама правда врать обучает! Железно! Дай, Митрофанович, пять! — Он протянул руку.

— Да нет, Гриша,— мягко остановил его Утешев.— Пять я тебе, к сожалению, подать не смогу. Не понял ты сказочки-то... Недозрел, стало быть.

— Вы-то дозрели... — оскалился Григорий.— Перезрели, однако!

— Возможно, Григорий Иванович.— Утешев опять кашлянул и ненужно поправил галстук.— Во всяком случае, я... а я тогда и тебя помоложе был... за вот эту вот сказочку... три недели потом отстоял в бетонном мешочке. Навытяжку причем отстоял. Падать там некуда было, понимаешь? Ну а тот, кто ее рассказал... без зубов остался. Больше я ничего не успел. Помешали... А теперь суть, Григорий Иванович. Этой вот сказочкой в нас хотели неверие поселить, понимаешь? И тот, кто рассказывал ее, на немцев работал. На практике, так сказать, психологический эксперимент проводил... Понял? — шепотом окончил Утешев.

Григорий даже отшатнулся, одними губами, без звука выговаривая что-то. Повернулся было, собираясь уйти в свою комнату, но передумал. Взъерошил волосы пятерней и сплюнул в кулак.

— Ладно... ваша взяла. Дурак я, наверно. О-ох и дурак! Это хорошо, что вы здесь собрались... Хорошо! Я бы все равно каждого из вас обошел. Жалко вот только... глаз ваших не увижу... Я ведь сволочь, ребята! Самая последняя сука! Это же ведь из-за меня тогда взрыв получился. Из-за меня, слышите?!

— Чего ты мелешь, Григорий! — сорвался на крик Иван Федорович.— Замолчи!

— А-а... Очко заиграло, папаня? Ничего. Вы же честные все тут! Вы же правды хотите?! Вот вам правда... Хоть ложкой ешьте ее, а я посмотрю на вас... Комиссия-то акт липовый подписала. А все-то вот как было... Мы тогда, в феврале, перед массовым взрывом веера конопатили. А я как раз над сто восьмидесятым скреперным вкалывал. Пневмозарядчик тогда три дня не работал, поняли? Сперва изломался, а потом гранулированной взрывчатки не подвезли. Мы вручную штукатурили скважины. И торопились шибко... До хрена тогда битого аммонита в штреке осталось. А вы же начальники, вы же наши порядки знаете лучше меня... Куда ее потом, колбасу эту битую? На склад? Да лучше умереть, чем сдавать ее... В общем, когда все ушли после смены, мы... это, значит, я и Санька Капустин, подручный мой... он теперь в Морфлоте служит... весь этот бой в восстающую и поскидали. Хотели замочить водой, а магистраль уже вырубили. Ведра четыре всего вылили и плюнули. Думали, при массовом-то взрыве... там же четыреста пятьдесят тонн рвали... и эта сгорит. А вышло вон как... В общем, не отказ это был в минном кармане, нет. Это наша взрывчатка сработала. Понял, папаня? Все как на духу рассказал. Может, полегчает теперь. Как занозу таскал тут.— Григорий ткнул себя пальцем в грудь.— А вот вы что делать будете, не знаю. Может, темнить, а? Ну, что-то не слыхать вас стало... Ведь это же правда, между прочим. Правда! Только за нее вас с работы поснимают, вот в чем вопрос, как говорит мой кореш Серега... Быть или не быть?

Молча встал с дивана Кряквин, подошел и поднял с ковра переломанную по грифу гитару, положил ее на стол, постоял над ней молча, потом, приблизившись к Григорию, обнял его и совсем по-отцовски погладил ладонью по взъерошенным влажным волосам.

Григорий спросил:

— Кто это?

— Кряквин,— ответил Алексей Егорович.— Гитару-то ты напрасно, Гриша. Сейчас бы как раз самое время еще разок твою песню послушать. Про горницу, в которой светло.

— Да вы мне мозги не запудривайте, Алексей Егорыч,— отстранился Григорий.— Не надо. Не маленький... В баню уже сам хожу. Что со мной делать будете? Что?

— А что с тобой делать, Гриша? Ты сам над собой все уже сделал. И судил себя и казнил. Что же еще?

— Не знаю.

— А я знаю,— твердо сказал Кряквин.— Знаю.

— Ну?

— Ты мне веришь на слово?

— Верю.

— Спасибо. А теперь слушай. Я ведь сейчас перед очень хорошими людьми слово держу. А их подвести — что себя обокрасть. Никогда бы не позволил. Страшную правду ты нам рассказал, Григорий. Страшную... Но хорошо, что рассказал. Хорошо... Тебе стало легче, а нам тяжелее. Правда ведь штука тяжелая, когда ее с рук на руки передают... Ничего, я сумею ее донести куда следует.

— Это, к примеру, куда же? — хмыкнул Григорий.

— Я скажу, только ты не ухмыляйся, пожалуйста. Не надо.— У Кряквина заходили желваки.— Ты правду свою в пакость не превращай, понял? Спихнул, мол, с души, и все? Пусть другие с ней чешутся. Не надо так, Гриша. Я лично жалеть не умею. Я, понимаешь ли, с детства сопливость от доброты отличаю. Вот так, парень... Калеку из себя убогого не рисуй, которому все дозволено. Номер не пройдет, Гриша. Живи, коли понял свою правду, и не прибедняйся. Не придуривайся. А станешь юродствовать — вычеркнем тебя из нашего списка к...— Кряквин сглотнул, удержав в себе злость.— В июне я буду в Москве. И буду выступать там на одном ответственном совещании. У нас на «Полярном» накопилось достаточно проблем, Гриша, о которых тоже нельзя больше молчать. Обещаю тебе... то есть слово даю, что начну свою речь там с твоей правды, Гриша... Это лыко, что говорится, в строку. Я лично так вот считаю...

— Я тоже,— сказал Верещагин.

Ночью Григорий опять побежал по бикфордову шнуру в грязно-коричневом, душно-горячем пространстве его. Опять что-то орал, не слыша себя, и размахивал руками. Туго пружинил настил, и, взлетая над ним, Григорий опять видел, как настигает его белый огонь, как он шипит и разбрызгивает длинные капли... Напрягаясь всем телом, отчего оно разом сделалось мокрым, Григорий выдернул сознание из сна и, задыхаясь, сорвал с головы повязку. Боясь открыть глаза, полежал. Потом медленно поднял веки. Перед ним очень размыто проступил контур чьего-то лица. Он заморгал, но лицо не исчезло, а, наоборот, приобрело чуть-чуть большую резкость.

— Зинка, что ли? — выдохнул он еле-еле, одними губами.

— Спи, Гришенька, спи...

Теперь он различил даже ее волосы. Повернул голову, на стенке нечетко, но все же увидел — централка...

— Вижу... Вижу, елкина мать! — процедил сквозь зубы Григорий и соскочил с кровати.

— Гришенька, Гришка-а,— припала к нему Зинка.— Не надо. Ложись!

А Григорий, натыкаясь на стулья, едва различая их, по стенке добрался до выключателя. Вспыхнул свет. В мутной пелене перед ним раздваивалась комната и смутно просвечивалась в своей комбинашке Зинка.

— Во, во! — Григорий рванулся к стулу, на котором висела одежда, стал одеваться.

— Ты куда, куда?

— Ви-и-жу-у! — заорал Григорий.

Потом они долго бежали по ночным улицам. Зинка изо всех сил поддерживала то и дело спотыкающегося Григория. Вконец задохнулась.

Григорий, запаленно дыша, долго давил кнопку звонка.

— Кто там? — послышался женский голос.

— Ирина Николаевна! Это я! Гришка Гаврилов! Гришка... Отчиняйте! Я вижу!

Зазвякала цепочка. Ирина Николаевна с встревоженным лицом возникла на пороге. Увидев Григория, Зинку, вздохнула.

— Я же вам говорила, Гаврилов. Пить вам категорически запрещается! А вы?.. От вас закусывать можно.

— Да что вы! Это еще вчера!.. Вот очки на вас! А вот халат...

Ирина Николаевна опешила:

— Проходите. Вот сюда. Так... Что же случилось, Гриша? Одну минуту...— Она вернулась с каким-то рулоном бумаги, кинула его на стол, а сама быстро приспособила на голову зеркальце.

— Садись, Гаврилов. Вот так... Спокойно. А вы, пожалуйста, разверните таблицу,— скомандовала она Зинке.— Отойдите. Еще. Еще... Достаточно. Ну, Гриша, какая это буква?

— Так шэ! — радостно заорал Григорий и... угадал.

— Правильно.— Ирина Николаевна даже головой потрясла: снится ей все это или что? — А это?

— Так кэ, конечно! — блажил Григорий.

А Ирина Николаевна по-прежнему показывала на «ш».

— Эта?

— Бэ!

А палец Ирины Николаевны дрожал на «н» самого крупного, верхнего ряда букв.

— Молодец, Гаврилов. Просто удивительная история,— теперь уже абсолютно спокойно, с обычной профессиональной невозмутимостью сказала Ирина Николаевна.— А эта?

— А эту не вижу... Устал.— Григорий закрыл лицо руками.

Если бы он мог видеть сейчас, какая пронзительная бледность проступила на Зинкином лице. Она давно уже все поняла и теперь изо всех сил крепилась, чтобы не разрыдаться. Ирина Николаевна заметила это и погрозила ей пальцем.

— Так, так, Гаврилов. Очень хорошо. А ну-ка подойди сюда. Вот так.— Она протянула ему руку.— Посмотри-ка на лампочку.— И бесшумно выключила свет.— Смотри, смотри, Гриша.

Григорий несколько секунд послушно смотрел не мигая и сказал:

— Больше не могу. Режет.

Ирина Николаевна включила свет. В дверях за всем этим молча наблюдал Утешев.

— Скажи пожалуйста... Чудеса прямо! А, Гриша? Ничего не понимаю... Только повязочку мы пока снова наденем, ладно? Вдруг да соринка какая-нибудь попадет.— Ирина Николаевна стала накладывать повязку.

— Да я вчера с тоски малость того... врезал,— сказал Григорий.— А ночью прямо невмоготу стало! Думал — удавлюсь! А марлю сдернул — вижу. Во здорово, а? Вы где, Ирина Николаевна?

Она подошла к нему. Обрезала ножницами бинт и швырнула их на диван.

— Вот теперь все.

Григорий обнял ее, поцеловал, подхватил на руки и крутанулся

на месте. Ирина Николаевна не сопротивлялась, только грозила, приказывала всем выражением лица Зинке: держись!

— А теперь поставь меня на место, Гриша. Все хорошо. Успокойся. Я тебе сейчас пару таблеточек дам. Вот они. Глотай... А завтра утром ко мне на детальное обследование. Понял? Спокойной ночи, молодые люди.— Она проводила Григория к выходу, по пути всовывая в рот Зинке таблетки.— Красавица твоя тоже... вон как изволновалась. Я ей тоже таблеточку...

Когда закрылась за ними дверь, Ирина Николаевна тяжело-тяжело вздохнула. Присела устало возле телефона. К ней подошел Илья Митрофанович и робко обнял ее. Провел рукой по волосам... Ирина Николаевна освободилась от этой ласки резким движением головы и, вытряхнув из стеклянной колбочки таблетку, с гримасой и хрустом разжевала ее.

— Когда-нибудь, может быть, Утешев, и у тебя вот такое прозрение настанет,— сказала она.— Дай папиросу.

— Пожалуйста.— Он протянул ей пачку.— Что же хорошего только от т а к о г о - т о прозрения?

— А я именно нехорошее и имела в виду. Ты меня не понял... Прозрение в темноте... вот о чем я подумала.— Ирина Николаевна громко чиркнула спичкой.

А в парке было уже хорошо... Солнце рябило, сочась сквозь опухшие почками ветви, шумно чивикали воробьи, и зеркально посвечивали на просевших до самой земли дорожках мелкие лужи. Косо улегся на горном предплечье городской парк, далеко видный почти из любой точки Полярска мертво стоящим пока еще «чертовым колесом» и такой же необжитой парашютной вышкой.

Ксения Павловна шла пустынными утренними аллеями парка. Настроение у нее было слегка приподнятое, несмотря на какой-то пустой и нелепый разговор с Михеевым за завтраком. Ксения Павловна мысленно прослушивала его, помня почему-то до мелочи, до звука.

...Вот Михеев поставил чашку — звук. Потом сказал:

— Мы улетаем в четыре. Ты не забыла?

Ксения Павловна усмехнулась:

— Нет, не забыла.

— А куда, если не секрет, собралась?

— Погулять... С Полярском проститься.

— Ты что, не намерена назад возвращаться? — Это еще пока без раздражения. Миролюбиво.

— Кто его знает.

— Так. Может быть, меня возьмешь за компанию?

— Нет. Хочу побыть одна.

— А я тут, значит, хоть помирай? — Это с иронией.

— Не помрешь.

— Ну а вдруг?

— Тогда и произойдет реакция на «вдруг».

— Интересно, ты хотя бы слезинку уронишь, а? — Снова с иронией.

— Две.

— Стопроцентное перевыполнение.— Начало раздражения.

— Прекрати. Надоело!

— Что тебе надоело?

— Пустота. Мы с тобой играем сейчас в пинг-понг. На первенство базара.

— Похоже. Очень даже похоже... Мне ведь она, пустота-то эта, тоже не в радость.— Явное раздражение.

— Тогда скажи, чем я могла бы быть полезной тебе?

— Терпением.

— Я пока и терплю, Иван Андреевич... Все! И не ходи много. Тебе это вредно!

Хлопок дверью, звяк цепочки. Гулкие шаги Ксении Павловны по лестнице. И встреча внизу глаза в глаза с Варварой Дмитриевной Кряквиной. Ксения Павловна кивнула ей — скорее от неожиданности, чем от желания. В последнее время они вообще старались не замечать друг друга. Зря она, конечно, кивнула. Зря. А впрочем, наплевать! Плевала она на нее и на всех тоже! Уже сегодня она будет в Москве. А там!..

Ксения Павловна вздохнула всей грудью и, подставив лицо солнцу, закрыла глаза. Господи, хорошо-то как! Воздух, птицы, здоровье! Что в конце-то концов еще надо? Хватит копаться в себе — осуждать, защищать. Она же еще живет, реагирует на весну — это прекрасно! Ксения Павловна вспомнила, как откровенно завидовали ей девчата из комбинатовской техбиблиотеки...

Вчера вечером Ксения Павловна, обмывая свой отъезд в очередной отпуск, выставила несколько бутылок шампанского. Все получилось очень здорово: Ксения Павловна была одета в модный брючный костюм из тончайшего черного панбархата. Его привез из Мурманска Шаганский, перекупив за солидные деньги у моряков из морагентства. Ксения Павловна много смеялась, рассказывала анекдоты и даже пела, чем, кажется, окончательно добила персонал техбиблиотеки. Ей опять говорили про ее красоту и таланты. Советовали насчет кино. «Уж Доронину-то вы точно затмили бы!» И так далее и так далее...

Солнце приятно теплило кожу, ветер слегка шевелил у щеки свежевымытые французским шампунем волосы, во всем существе Ксении Павловны сейчас что-то зазывно и сладостно затомилось, и она, абсолютно счастливая, открыла глаза...

Из глубины аллеи навстречу ей двигалась странная фигура. Священник... Он шел быстро и как бы клубился в черном своем облачении. «Николай? — испуганно и в то же время с радостью подумала Ксения Павловна.— Неужели вернулся?..» Она прикусила губу, напряженно приглядываясь. Нет, это был не Николай, а настоящий священник, и когда он приблизился к Ксении Павловне сосредоточенный, беззвучно шевелящий что-то губами, не видящий ничего перед собой, она неожиданно для себя, не успев осознать даже, что делает, заступила ему дорогу и протянула руку. Священник остановился, зорко и цепко взглянул на нее пронзительно умными голубыми глазами и, наклонившись так, что она увидала лысеющую его макушку, взял ее руку и мягко, бесплотно поцеловал... Все это случилось так неожиданно и мгновенно, что Ксения Павловна окаменела. А священник тут же прошел мимо нее в развевающейся рясе, и она, посмотрев ему вслед, тоже прибавила шагу, будто только сейчас сообразив, что же она хотела сегодня сделать...

Сразу же за парком Ксения Павловна села в автобус, почти пустой в этот послепиковый час. И вскоре сошла на конечной остановке возле рудника, чьи строения близко прижались к горам. Огляделась и не спеша направилась через рудничный двор ко входу в бытовой цех.

Зинка Шапкина, перемыв стаканы, сидела между баллонами с газом и читала какую-то затрепанную толстую книгу. Читала взахлеб, с тем естественным вниманием простого, во все верящего читателя,

который, когда его что-то уж очень волнует, и смеется искренне и всплакнуть может натурально.

Кто-то постукал несильно в ее закрытое задвижкой окошечко-амбразуру. Зинка недовольно сморщилась.

— Ну?..— Закрыла книгу.— Сейчас, сейчас!

Перед ней стояла Ксения Павловна.

— Вы?

— Я. Здравствуйте, Зина. Вот зашла проститься, сегодня мы с мужем улетаем в Москву.

— А-а... Здравствуйте. Заходите. Вон оттуда. Я открою. Садитесь. Хотите воды?

Ксения Павловна, осматриваясь, покачала головой. Села и взяла книгу.

— У-у... «Воскресение»?

— Да-а,— как-то вяло ответила Зинка.— Сегодня в автобусе нашла. Видно, кто-то забыл. Стала читать со скуки, а там здорово. Вы читали?

Ксения Павловна улыбнулась. Машинально перелистнула страницы и остановилась на каком-то месте. Прочитала его и задумчиво спросила:

— Это ты уже подчеркнула?

— Что? — Зинка вытянула шею.

— А вот это.— Ксения Павловна медленно прочитала вслух:— «Но под давлением жизненных условий он, правдивый человек, допустил маленькую ложь, состоящую в том, что сказал себе, что для того, чтобы утверждать то, что неразумное — неразумно, надо прежде изучить это неразумное. Это была маленькая ложь, но она-то завела его в ту большую ложь, в которой он завяз теперь...»

— Нет,— сказала Зинка, дослушав.— Это уже так и было.

— Тебе все понятно? — серьезно спросила у нее Ксения Павловна.

Зинка качнула головой нерешительно:

— Про то, что врать-то нельзя?

— В общем, правильно. Об этом.— Она усмехнулась.— Только есть ли такие, которые не врут?

— Есть. А что? — Зинка прищурилась.

— Ну конечно, конечно,— мгновенно сориентировалась Ксения Павловна, почувствовав что-то неладное в Зинкиной интонации.— Давай не будем философствовать. Нам, бабам, это вредно. Ты-то как тут? О-о... новый аппарат?

— Да... Это автомат, а вы...— Зинка хотела спросить: «Разбираетесь в них, что ли?»

— Нет, нет. Я таких и не видывала раньше. Ну-ка покажи, как он работает.

Зинка показала.

— Удобно,— сказала Ксения Павловна.

— Еще бы! Как сыпанет смена...— Зинка взглянула на часы.— Вот сейчас. Увидите. Как кони на водопой прискачут, только успевай ловить стаканы.

— Успеваешь?

— Я-то? Хм...— Вот тут уж Зинка явно не скрывала своего превосходства.— Увидите.

В коридоре бабахнула дверь. Еще. Еще... Загрохотали шаги. Покатился, приближаясь к сатураторной, голосовой вал.

— Смена. Теперь только поворачивайся.— Зинка машинально прихорошилась.— Вы вон туда, за баллоны, спрячьтесь, чтобы не приставали. А то начнут ля-ля-ля, ля-ля-ля...

А Ксения Павловна вдруг сбросила с себя пальто и нетерпеливо потребовала:

— Дай мне халат.

— Это зачем еще?

— Ну давай! Я тебя очень прошу.

— Но...— Зинка, недоумевая, оттопырила губы.

— Скорее, ты! — крикнула на нее Ксения Павловна.

В окошко сатураторной уже тарабанили.

— Эй! Вода-а! Кончай ночевать!

Ксения Павловна решительно сдернула с растерявшейся Зинки халат. Накинула на себя. Он был ей чуть-чуть маловат и не застегивался. Подправила волосы, закидывая их на одну сторону, шепнула Зинке:

— Прячься! Быстро! — И, поднимая задвижку, весело фыркнула в чумазые лица: — Не гремите, не гремите! Тут глухих нет!

— Салют! — всунулась голова в каске.— Ето кто такая? Как зовут?

— Зовутка! — с ходу отбрила любознательного Ксения Павловна и подала стакан.— Не захлебнись.

Дальше пошли комментарии беспрерывно:

— Эх, бы-ы...

— Адресами не махнемся?

— Грязный больно,— шлепнула кого-то по руке тряпкой Ксения Павловна.

— Дак ить вместе в баньку-то сходим. Ха!

— Черного кобеля не отмоешь, понял? — резала Ксения Павловна.

— Слышь, блондинка, а как насчет танцев-шманцев?

— У меня нога протезная.

— А у меня глаз ссломенный. Давай хоть авансом поцелуемся?

— Мама не велит.

Ксения Павловна раскраснелась. Движения ее становились все увереннее и увереннее. В ней проснулось сейчас что-то давнее, почти позабытое, а вот, поди ж ты, не утраченное. Прядка волос сбилась на лоб. Капельки воды заискрились на подбородке. Мокрыми стали руки. Автомат шипел беспрерывно, звенели стаканы, и очередь рассасывалась довольно быстро. Зинка завороженно смотрела на Ксению Павловну и моргала.

В окошко заглянул Серега Гуридзе:

— А где Зинаида?

— Справок грузинам не даем.

— О-о... А как тебя звать, нимфа?

— Офелия.

— Шекспира знаешь?

— Конечно. Сейчас только пил здесь воду.

К толкучке возле сатураторной подошли Тучин с Гавриловым. В касках, робах. Иван Федорович через головы заглянул — чего это они тут давятся? И увидел жену Михеева. Сдвинул на затылок каскетку и присвистнул удивленно...

— Это же знаешь кто? — спросил Гаврилов.— Супруга Ивана Андреевича.

— Ну? — Тучин привстал на носки.— А чего она тут?

— Развлекается, видно.

А Ксения Павловна продолжала азартно работать. Белый халатик Зинки шел к ее лицу, и вообще она, расцветая от повышенного к себе

внимания, от грубоватых добродушных шуток, чувствовала себя хорошо.

— Черт те что! — сплюнул Иван Федорович.— Пошли, Павел Степанович. Бабенка с жиру взыграла. Ее бы сейчас в оглобли да этим... кнутищем!

Коридор опустел. Ксения Павловна закрыла амбразуру. Сняла халат и вытерла полотенцем руки.

— Спектакль окончен, Зина. Все.

— Вы где это так? — спросила она.

— Там,— улыбнулась Ксения Павловна.— Далеко-далеко...— Она залпом выпила стакан.— Уф-ф... Устала.

— А вы что, в бога верите? — Зинка показала на выбившийся наружу из-под красивой рубашки с отложным воротником крестик.

— Наверное, нет.

— А вот моя мама по-настоящему верит.

Ксения Павловна прислушалась к Зинкиному голосу. В нем отчетливо прозвучала грусть.

— Я маме письмо написала, чтобы она за Гришины глаза помолилась.

Ксения Павловна вскинула руки за голову и расстегнула на шее цепочку.

— На. Подари своей маме. У меня ведь своей-то давно уже нет. Некому за меня помолиться, Зинуля.

— Да вы что! Не надо...

— Бери, бери. Безо всяких... А я у тебя на память вот это возьму, не возражаешь?

— «Воскресение»? Да вы ж, говорите, читали его.

— Это не важно.— Ксения Павловна бережно огладила книгу.— Отдаешь?

— Берите, конечно.

— Ну... Спасибо тебе. А теперь я пошла. Прощай, Зина.

А еще в этот день далеко от Полярска, в горах вскрылось озеро. И случилось все так... От полудня задул из распадка прерывистый вкрадчивый ветер. Пах он мокрой смолой, лисьей псиной и солнцем, что весь день напрямую давило снега.

Старый лось шел по озеру будто танцуя. Высоко поднимал нервно-тонкие длинные ноги. Слушал ветер ноздрями. Глаз косил настороженной, лаковой темью, а с отвисшей губы над игольчатым льдом неотрывно тянулась бесцветная нитка слюны.

Посредине пространства лось застыл на мгновенье. И расставил пошире голенастые задние ноги. Запустил под себя желтоватой шипучей струей. Фыркнул звучно и, вскинув горбатую черную морду, почесал на спине тусклой плоскостью рога. Это было приятно ему, и по шкуре прокатилась комками сладковатая дрожь.

Лось шагнул было снова, и вдруг под раздвоенным острым копытом разом вспухла без шума вода. Лед расшили ползущие скользкие трещины, а потом уже привстал над всеобщим покоем прожигающий нервы пронзительный треск...

Три прыжка, три отчаянных, страшных пролета сделал лось, ненамного приблизив заросший кустарником берег, и... обрушился в воду. Всплыл, мотая рогами, забился, стараясь взобраться. Грудью шел на таран. Кровь окрасила тонущий лед...

Лось боролся за жизнь и трубил, сообщая об этом. И кто слышал тот зов, никогда не забудет его.

Часть третья. Вечер

Стояло раннее-раннее парное утро. Над отсыревшей бетонкой, ведущей в аэропорт, поотлип и дыряво висел в абсолютном безветрии легкий туманец. По всему было видно, что день обещает быть добрым и ясным. Тундровые пространства так и сочились свежайшим зеленым наливом; озерная вода электросварочно бликовала, отлавливая солнечный свет, и только далеко-далеко, в верхних расщелинах гор, странно и неподвижно белели снеговые заплаты.

Павел, молчаливый шофер Михеева, гнал машину на большой скорости. Кряквин и Варвара Дмитриевна, одетая в славную, молодящую ее, голубенького цвета штормовку, тоже молчали на заднем сиденье. Кряквин откровенно дремал, основательно навалившись плечом на жену. Варвара Дмитриевна терпела, не думая об этом... Не думала она и о том, что вот опять ее Алексей улетает в Москву, хотя и знала, для чего он туда направляется. От вчерашнего долгого и сложного разговора ее мужа с Верещагиным у них на квартире, а разговор этот затянулся за полночь (Алексей выверял, репетировал снова свое предстоящее выступление в столице, спорил с Петром Даниловичем, доказывал, а Верещагин дотошно оппонировал ему, зная по собственному опыту, что такое оппонирование вполне даже и возможно), Варваре Дмитриевне запомнилось совершенно другое, никак не относящееся к горячим проблемам комбината «Полярный»...

Перед тем как уже расходиться, мужчины решили пропустить за удачу по рюмочке коньяка... Варвара Дмитриевна по-быстрому сообразила закуску и чай. Сама выпила глоточек. И Алексей, расслабившись, начал вдруг рассказывать о своей недавней поездке во Францию. Рассказывал он хорошо, с юмором, с неожиданными характеристиками встреченного и увиденного... До этого он так никогда подробно и обстоятельно не отчитывался, и Варвара Дмитриевна даже удивилась столь сильным и резким впечатлениям, с которыми ее муж так долго, не делясь и с ней, смог прожить один на один. Варвара Дмитриевна по-женски, инстинктивно лишь почувствовала, предощутила, что ли, что в муже ее, вроде бы даже и изученном досконально, порывистом, замкнутом, сильном и по-своему слабом человеке, существует, оказывается, какая-то странная душевная нереализованность. Это открытие насторожило и встревожило Варвару Дмитриевну, и ночью после обычных застенчиво-сдержанных ласк, которыми одарил ее вконец измочаленный прожитым днем Алексей, Варвара Дмитриевна еще долго лежала возле него без сна, продолжая все думать и думать о том, что же так насторожило и встревожило ее в рассказе мужа. Под утро она как бы воочию и увидела ту Анну, о которой не менее подробно и увлеченно рассказывал Верещагину Алексей... Переводчица, сопровождавшая их группу, оказалась наполовину русской, наполовину француженкой. Мать ее, киевлянку, во время оккупации увезли в Германию, в фашистский концлагерь. И она бы наверняка погибла там, если бы ее не спас и не выходил от болезни врач-француз, будущий отец Анны. Потом уже, после войны, Анна трагически лишилась родителей: их дом в Марселе — отец Анны был коммунист — взорвали оасовцы. Сама она уцелела лишь случайно — ушла в тот вечер в кино. Прощаясь на аэродроме в Орли — Алексей рассказывал об этом чересчур уж небрежно, и это Варвара Дмитриевна отметила сразу,— Анна поцеловала его. «Ну так... безо всяких... Вы уж не подумайте чего»,— морщась, сказал Алексей. «Да ты что,— подмигнул Варваре Дмитриевне Верещагин,— мы ничего. Нам, понимаешь, тоже... безо всяких... интересно — куда она тебя, а?..» «Поцеловала-то?» — захмыкал смущенно Алексей. «Ну да»,— кивнул Верещагин. «Да уж и не

помню... Черт его... Куда-то сюда». Он неопределенно показал на лицо. «А-а,— сдерживая улыбку, скривил губы Верещагин,— понятно, понятно»... И вот теперь Анна шла к Варваре Дмитриевне под дождем от какой-то блестящей, с распахнутыми дверками автомашины, приложив к губам длинный, с перламутровым ногтем палец, и покачивала укоризненно головой. Варваре Дмитриевне запомнились ее ноги, красиво обтянутые голенищами высоких сапог, и короткая юбка, как бы обшитая по обрезу подола искристыми каплями дождя. Не доходя метров двух до Варвары Дмитриевны, Анна без всякого видимого усилия, сохраняя все тот же загадочный жест, начала двигаться в обратную сторону. То есть она как бы шла к Варваре Дмитриевне, но в то же время шла от нее. Так повторилось два раза... Варвара Дмитриевна молча смотрела на Анну, на ее длинный палец у губ, на ее ноги, а Анна то надвигалась на Варвару Дмитриевну, то отдалялась от нее, оставаясь все время при этом лицом к ней. Дождь стучал по асфальту, и каблуки Анны стучали тоже. Варвара Дмитриевна подумала, что это ей снится и что на самом-то деле никакой такой Анны не существует вообще. Подумав об этом, она вдруг услышала улыбающийся голос Алексея: «Все это, Варюха, химеры и фантомы! Вот так!»

...— Алексей Егорыч,— коротко обернулся Павел, шофер.

— У...— буркнул, вздохнув носом, Кряквин. Сел попрямее, освободив Варвару Дмитриевну от тяжести.

— Увидите Ивана Андреича, привет ему, значит, передавайте. И скажите, что карбюратор я поменял. И ту муфту. Он знает. Скажите, что по блату пришлось доставать, хотя он такое не любит. Я эту муфту целый месяц искал.

— Бу сделано, Павел.

— Да... И еще это... Чуть не забыл. Вы бы передали Ксении Палне книжку, а? Она ее, видать, по запарке забыла, когда с Иван Андреичем уезжала, а я все вожу и вожу...

— Какую хоть книжку-то, Паша? — раскурив папиросу, спросил Кряквин.

— Да вот...— Павел потянулся рукой и надавил кнопку на панели «Волги». Выудил из водительского багажничка какую-то толстую потрепанную книгу. Не оборачиваясь передал через плечо.

Кряквин взял книгу.

— «Воскресение»...

Он машинально перелистнул страницы и почти сразу же на привычном для томика перегибе остановился. Прочитав про себя, оторвался... Дымнул в приспущенную щель окошка.

— Это Ксения Павловна, что ли, наподчеркивала вот тут? — показал Павлу страницу.

— А что там?

Кряквин захлопнул книгу.

— Да ничего. Все правильно.

Свернули к аэродрому. Остановились у кромки летного поля, отгороженного штакетником, возле которого лежали и мемекали домашние козы. Кряквин вылез из машины первым. За ним, взявшись за его руку, Варвара Дмитриевна. Аэродромный простор сразу же уменьшил ее и без того щуплую фигурку.

— Ты уж дальше-то не провожай, ладно? — сказал Кряквин наигранно-грубовато.— Долгие проводы, длинные слезы.— А сам с нежностью посмотрел на жену.

— Да ладно тебе,— махнула рукой Варвара Дмитриевна.— Матери-то будешь звонить в Москве?

— Обязательно.

Она вздохнула:

— Мог бы уж и соврать.

— Неразумно это, Варюха. Знаешь ведь — позвоню.

— Иди, иди. И не очень-то там зарывайся, ладно?

Кряквин обнял ее и крепко поцеловал в губы. Варвара Дмитриевна, отвечая, мгновенно представила себе ту, из сегодняшнего сна, Анну.

— Ты ее вот так же тогда? — спросила она, даже не успев подумать о том, что спросит про переводчицу.

— Что? — не понял Алексей Егорович.

— Ничего, ничего... Иди.

— А-а...— Он подхватил туго набитый портфель и крикнул: — Счастливо, Павел!

Самолет оторвался от полосы. Кряквин долго смотрел в иллюминатор, только сейчас задумавшись над вопросом, который ему задала жена и которого он там, на земле, не понял. «Да это ж она о той Анне,— наконец-то мелькнуло в нем, и от этой догадки ему сразу же сделалось душно.— Что за черт! Неужели ревнует? Тьфу ты, неладная!..» Чтобы отвлечься от этого, он достал из портфеля «Воскресение», раскрыл на той самой странице и еще раз перечитал затронувшее его место... Откинулся в кресле, опустил веки и тотчас увидел перед собой Анну. Ее приоткрытые, ждущие губы и светлую влажную полоску зубов.

А в санаторной столовой уже собирались к завтраку. Санаторий утонул в зелени. Клумбы пестрели разноцветьем, и на каждой почти травинке держалась роса. Веранда была оплетена побегами хмеля. Солнце, пробиваясь сквозь листья, играло на сервировке столов. Негромко звучала музыка. Рядом с верандой поплескивал струями фонтан.

Михеев в кремовой рубашке с короткими рукавами и еще не просохшими от купания волосами подошел к столику.

— Привет драматургам.

— А-а... Здравствуйте, здравствуйте, директор,— привстал ему навстречу пожилой красивый мужчина.— А где же Ксения Павловна?

— На корте, вестимо.

— Да-а?.. Как спалось?

— Хорошо. Шмель разбудил. Как этот... «хейнкель», бомбовоз... У-у-у-у,— изобразил Михеев.

— А я почти всю ночь просидел. Работал... Ожила моя пьеса. Стронулась с мертвой точки... Тьфу, тьфу, тьфу! Кстати, сейчас мы разыграем нашего заслуженного тренера. Продули ведь вчера.

— Кому?

— Французам. Три — ноль. На сухую! Кошмар. Так что бутылка моя.

— Ваша. Я свидетель. Разнимал... А вот и они.

— Здравствуйте, здравствуйте,— сказала всем Ксения Павловна.— Чем кормят?

— Доброе утро,— поклонился ее партнер. Он заметно уступал Ксении Павловне в росте, но при этом выглядел чрезвычайно изящно в облегающем, тонкой шерсти спортивном костюме.

— А я сейчас чуть-чуть не разбилась,— стала рассказывать Ксения Павловна.— Сергей Сергеевич выдал такую подачу! С ума сойти.

— Вы преувеличиваете, Ксения Павловна,— сказал Сергей Сергеевич, намазывая маслом хлеб.— Это вы прекрасно солируете.

— А я-то думал, что у вас сегодня конец аппетиту,— подмигнул Михееву драматург.

— Это вы про футбол? А-а...

— Нет, нет. Позвольте. Что такое «а-а»? Вы уж, Сергей Сергеевич, поподробнее, пожалуйста. Прокомментируйте. Вы спортсмен. Тренер! Вам и карты в руки.

— А правда, Сергей Сергеевич, расскажите,— сыграла в заинтересованность Ксения Павловна.

Это ободрило его, и он, отхлебнув минеральной воды, заговорил:

— Видите ли, я не футболист. Моя специальность — легкая атлетика. Но, если хотите, я знал, что наши проиграют французам. Предвидел это. Только, естественно, не говорил. У каждого вида спорта свои проблемы. Но независимо от видов они в чем-то безусловно идентичны.

Михеев поднял глаза на тренера и едва заметно улыбнулся.

— Любопытно.

Пожалуй, только Ксения Павловна сейчас уловила в его интонации дальнюю, хорошо замаскированную иронию.

— Вероятно,— продолжал размышлять Сергей Сергеевич,— как и у нас в легкоатлетической сборной, так и у сборной страны по футболу имеющиеся планы и программы подготовки не совсем гарантировали накопление именно на данном отрезке времени лучшей формы.

— Та-ак,— приостановил его Михеев.— Выходит, и у вас в спорте назрела необходимость проведения конструктивных реформ?

— Безусловно! — с некоторым пафосом ответил Сергей Сергеевич.— Сегодня уже не только мастерство и не только совершенная техника решают успех.

— А что же еще? — продолжал свою игру Михеев.

— Я отвечу. Любовь к спорту. Любовь к игре. Вот что! Мы ведь в основном без любви бегаем и прыгаем. А по обязательству. По требованию. Волюнтаризм. Вот спортсмены и ведут себя, как на нелюбимой работе... Я же считаю, что сегодня в наших планах на первое место должна выйти любовь.

— Значит, по-вашему, любовь тоже поддается планированию? — с внешним участием спросил Михеев.— Как же тогда понимать ваш тезис относительно авторитарных требований, волюнтаризма?

Ксения Павловна внимательно посмотрела на мужа. Драматург в разговор не вмешивался, с интересом следя за диалогом.

— Я понял вас, Иван Андреевич,— сказал тренер.— Безусловно, любовь как чистое чувство спонтанна. Но в том-то и состоит сверхзадача, чтобы прививать спортсменам любовь к своей специальности и постоянно удерживать ее на голодном, призывном пайке. Как заслуженный тренер, а мне, вероятно, не зря присвоили подобное звание, я считаю, сегодняшний классный спортсмен должен отвечать и соответствовать трем главным требованиям: хотеть прыгать и бегать, знать, как прыгать и бегать, и быть способным прыгать и бегать.

— Хотеть, знать и быть,— повторил Михеев.— Но хотеть и знать — это еще не любить. Не так ли?

Только сейчас Сергей Сергеевич почувствовал что-то. Глянул на Михеева вопросительно, но лицо Ивана Андреевича было непроницаемым, и он успокоился.

— Возможно, что вы сейчас не поймете меня. Спорт специфичен и сложен для неподготовленного. Но я попытаюсь проиллюстрировать на примере...

— Да, да. Будьте любезны,— кивнул Михеев.

— Представим себе, что в сборной или на горизонте перед сборной появляется некий такой индивидуум... Здоровый от бога, сильный, как дьявол. Короче, с отличными данными. Сейчас, кстати, такие случаются и в шестнадцать лет. Пресловутая акселерация... Так вот, тут бы, по здравому смыслу, и дать этому индивидууму возможность как можно подольше и относительно поспокойнее побегать, так сказать, в свое собственное удовольствие. Безо всяких рекордов. Без хлопот о победах и, значит, престиже тренера. Ведь придет час — и парень побежит. И прибежит на пьедестал. Сунет шею в хомут лаврового венка. Непременно! Ан нет. Мы тут как тут. Мы, тренеры, сейчас же, с той же самой минуты начинаем практически убивать в юных спортсменах своими завышенными требованиями, которые и порождают в них дополнительный стресс, естественную, натуральную любовь к спорту, с которой они пришли в него... И спортсмены постепенно начинают вести себя, как на нелюбимой работе. А с нелюбовью нельзя побеждать на дорожках.

— Как же быть тогда с реализацией побед? Ведь стране необходимо побеждать и в спорте? — спросил Михеев.

— Вы опять не понимаете меня! — загорячился Сергей Сергеевич.— Я любил бег. И Кларк, если слышали о таком, тоже любил бег. Те же, кого я вижу сегодня на дорожке, мне кажется, его не любят. Или делают вид, что любят. Доказательства? Пожалуйста... Так называемый бег на выигрыш. Ведь это же чаще всего делается не от тактической зрелости. Нет. От неуверенности в себе. Вот от чего... Я ведь тоже в свое время бегал на выигрыш, но при этом всегда с самого начала держал высокий темп. Сегодня же бегуны сплошь и рядом только и планируют, как бы отсидеться за спиной друг у дружки... Они надеются решить спор только на финише. Это пошлое и трусливое планирование.

— Вот видите,— с удовольствием сказал Михеев.— Вам, следовательно, приходится задумываться не только о любви, но и о пошлости и трусости?

— Надо же! — решительно вмешалась Ксения Павловна.— Какие вы все... нарепертованные! — вспомнилось ей Зинкино словечко.— Хватит. Только об одном и слышишь за этим столом. План, план, план!.. Пойдемте отсюда, Сергей Сергеевич. С моим Михеевым вам не совладать. Он бегать любит.— Она нарочно подчеркнула последние слова.

— А вы думаете, что за другими столами говорят о чем-нибудь другом? — улыбнулся драматург.— Послушайте.

Ксения Павловна и тренер, встав, прислушались.

За соседним столиком два толстяка перестреливались короткими фразами:

— Я ему уже позвонил. Снимай, говорю, двадцать процентов. Вылетишь из плана!

— Так он вас и послушал!

— Ничего подобного. Буду настаивать.

Тренер, драматург и Ксения Павловна рассмеялись. Михеев пил чай. Когда они ушли, драматург спросил:

— Насколько я понял, вы атаковали нашего спортсмена? И довольно-таки зло...

Михеев отложил ложечку.

— Не люблю, понимаете ли, когда философствуют мышцами. Живут-то ведь, черт возьми, как у Христа за пазухой. А в мое время мы бегали и прыгали без талонов на питание и без разных высокопоставленных нянек. И побеждали, между прочим. А тут... Интеллектуальные бицепсы! И, простите, я давно уже обратил внимание, что

вы за мной постоянно следите. Как это понимать? — без перехода, в упор задал вопрос Михеев.

— О-о, Иван Андреевич... Вы для меня действительно интересный человек. Я объясню. Вы удивительно совпадаете характером с одним из героев моей пьесы. Он тоже директор. Как же мне не наблюдать за вами?

— Понятно. Снимаете натуру?

— Не совсем так,— улыбнулся драматург.— Наблюдаю, слушаю, думаю.

— Ну-ну... Я вот сейчас тоже кое о чем вспомнил. Один разговор моего главного инженера с одним заезжим на наш комбинат «ученым». Знаете, существует такая прослоечка в ученой среде. Ездят, подглядывают, а потом выдают в своих статьях как свое собственное. Хотя на том же комбинате об этом столько размышляли и так далее. Пенкосниматели, одним словом. Вот мой главный инженер и спросил у такого пенкоснимателя: что же ты, мол, делаешь, негодяй? Какое, мол, ты имеешь на то право? Это же воровство и не иначе. Так что бы, вы думали, тот ответил?

— Интересно.

— Когда художник рисует свою натурщицу, он потом, подписывая свое произведение, не ставит рядом со своим именем фамилию натурщицы.

— Ничего... Хлестко! А что же ему в ответ ваш главный инженер?

— Ничего особенного. Послал открытым текстом.

Драматург засмеялся.

— Иван Андреевич, позвольте мне задать вам один вопрос.

— Ну... если только один. Мне сейчас к врачу надо.

— Хорошо, хорошо. Я не задержу вас. Скажите, пожалуйста, на вашем комбинате у вас... есть такой человек, которого вы... ну, скажем прямо, наиболее любите и цените?

— Есть,— мгновенно ответил Михеев и тут же, ощутив, что ответил чересчур уж откровенно, недовольно спросил: — Простите, что вы имели в виду этим вопросом? Не понял.

— Браво, браво, браво! — захлопал ладонями драматург.— Я — гений! Он сначала ответил, а уж потом не понял.

— То есть? — буркнул Михеев, поднимаясь со стула.

— Я объясню, объясню.— Драматург встал тоже.— Извините, но я проверил сейчас на вас кусочек диалога, который написал ночью. То, о чем я спросил у вас, спрашивают у моего героя в пьесе. И вот, ей-богу, ну честное слово, ваш ответ почти слово в слово совпал с ответом моего героя. Он тоже сказал «есть» и тут же осознал, что ответил чересчур уж откровенно.

— Ну и что? — с деланным равнодушием спросил Михеев.

— Не притворяйтесь, Иван Андреевич. В этом же кое-что есть. Есть. Мы ведь с вами не мальчики. И возраст научил нас вначале не шалить со спичками, а потом и... с искренностью.

— Поздравляю,— сказал Михеев, не скрывая иронии.— Действительно открытие гениальное. Счастливо оставаться.

— Всего вам доброго.— Драматург с минуту еще задумчиво и внимательно смотрел вслед уходящему по аллее Михееву.

Кряквин вышел из Госплана. Зажмурился. После хождений по тускловатым, ровно освещенным коридорам и кабинетам улица ослепила его. В Москве стоял жаркий, солнечный день. Пахло асфальтом и бензином. Некоторое время он покурил на ступенях этого огромного здания, в котором выяснил сейчас для себя кое-какие не очень-то обрадовавшие его подробности. По тротуарам плыла разноголосая мно-

гоцветная людская толпа. Кряквин без всякого интереса понаблюдал за ней, не думая ни о чем, затем, прицелившись, защелкнул окурок в урну и, довольный своим попаданием, зашагал к подземному переходу.

Здесь его внимание привлек зазывный голос продавца билетиков книжной лотереи. Кряквин посмотрел-посмотрел на его бойкую работенку и, протиснувшись к ящику-прилавку, тоже купил бумажку. Его окружили мальчишки. Развернул. Не выиграл. Купил еще. Пацаны советовали с азартом, показывая на пластмассовый барабанчик, в котором торговец раскручивал билетики:

— Вы из-под низа. Из гущины тащите!

Опять проиграл. Почувствовал, что входит в азарт. Поставил портфель между ног.

— Еще.

И снова проиграл.

— Слушай, коробейник, у тебя совесть есть? — спросил у торговца с обидой.

Тот очаровательно улыбнулся и, подмигнув Кряквину, поманил его пальцем к себе:

— Есть, гражданин. Но сегодня я ею не торгую. Заходите завтра.

Кряквин улыбнулся:

— Тогда еще!

— Прекрасно! — воскликнул торговец, вытирая платком взмокший лоб.— Не везет нам в смерти, повезет в любви.

Развернул. Пусто!

— Все,— сказал Кряквин.— Играем до победы!

— Правильно, гражданин,— поддержал его торговец.— Масть по солнышку идет. Достоевскому-то, Федору Михалычу, тоже не везло. Но мы его чтим не за это.

— А-а,— обрадовался Кряквин,— есть!

Пацаны захлопали.

— Поздравляю! — торжественным голосом объявил торговец и протянул Алексею Егоровичу полосатую пухлую брошюру.— Беседы об экономической реформе! Издание пятое, дополненное! Читайте, уважаемый, и пусть ваше сердце проникнется любовью к экономике! Рекомендую читать вместе с супругой, ибо жены наши — самые великие экономисты!

Кряквин искренне расхохотался.

Потом он поел, стоя в каком-то душном кафе возле Белорусского вокзала. Взял себе несколько горячих сосисок с горошком и бутылку теплого, невкусного пива. Соседкой по мраморному столику оказалась молоденькая цыганка. Кряквин жевал сосиски, не обращая внимания на нее и на цыганкиных детишек, что возились под столом.

— А тебе еще нет пятьдесят. Но скоро будет,— вдруг заколдовала вкрадчивым, с хрипинкой голосом цыганка.— Волос твой побелеет совсем, а душа запоет. Ты... будешь любим и богат. Тебя любят блондинки, а одна умирает от любви к тебе. Но ты очень горяч и подводит тебя твоя горячность. Остудить тебя может... А не скажу, что остудит тебя. А позолоти ручку, не пожалеешь. Скажу всю правду тебе.— В ушах у цыганочки покачнулись огромные желтые серьги.

Кряквин допил стакан, поглядывая на нее одним глазом. Ему сделалось весело, и он, поставив стакан, в тон цыганочке заговорил:

— А тебе двадцать шесть лет. А тебя звать... Катюша. У тебя трое детей и два мужа. Но любит тебя... совершенно лысый. Ой как он любит тебя! Но подводит тебя твоя горячность. Мойся, Катюша, по утрам холодной водой, и она остудит тебя. Позолоти ручку?

Цыганочка недоверчиво дослушала и улыбнулась, показывая золотой зубик:

— Хорошо говорил, драгоценный. Ничего от тебя не возьму. Но скажу тебе слово. Ты послушай меня. Не ходи очень прямо, сердце будет болеть.

— А как же тогда? — серьезно спросил Кряквин.

Цыганочка внимательно и цепко глянула ему в глаза. Покачала головой:

— У тебя есть один друг. У него об этом спроси.

Потом Кряквин стоял в тамбуре электрички, дымя папиросой в пустое, без стекла, окно. Электричка, покрикивая гудком, летела по зеленому Подмосковью.

Михеев дремал на веранде. Кряквин осторожно, на цыпочках подошел и сел рядом в предательски скрипнувший шезлонг. Иван Андреевич открыл глаза, наморщил лоб и вытер согнутым пальцем губы.

— Вот это да-а! Не ожидал. С приездом, Алексей Егорович.

— Спасибо. Спите, как Ермак. Без часовых.— Он отер потное лицо.— Жарко. Дождик, наверное, будет. А вообще, я скажу, хорошо здесь у вас! Как в раю. Аж завидки берут. Водички попить не найдется?

— В раю все найдется.— Михеев сходил и принес из холодильника бутылку минеральной.— Виски не предлагаю.

— Да ну его к черту! — Кряквин с жадностью накинулся на воду. Выпил подряд два стакана.— Жабры прямо так и слиплись, покуда дошел.

Михеев с теплотой смотрел на него, он обрадовался появлению Алексея Егоровича.

— Вы снимайте с себя все лишнее. Хотите свежую рубашку?

— Да нет. А вот клифт свой парадный я скину. Задушил, зараза.— Кряквин сбросил пиджак и устроил его на спинку шезлонга. Солнечный прутик так и воткнулся в орден Ленина.— Благодать, кто понимает. Курить, конечно, нельзя?

— Вам можно,— улыбнулся Михеев.— Здесь веранда. Плюс вентилятор, на худой конец.

— Тогда полный порядок. Живу! Вы, кстати, смотритесь нормально. Это я вам не комплимент, а точно.

— Приятно слышать,— сказал сдержанно Михеев.— Я действительно чувствую себя хорошо. Рассказывайте, как, что?

— Да вот...— Кряквин закурил.— Прилетел. Первым рейсом. Сходил в Госплан.

— А в министерстве были?

— Нет пока. Но из Госплана с Сорогиным по телефону пообщался.

— И как?

— Худо. Горим с квартальным. По сто пятьдесят вагонов дают. Хоть плачь! Еще декада — и... придется останавливать рудники. А планчик, между прочим, нам хотят нарастить.

— Я в курсе, Алексей Егорович. Где остановились?

— В «Москве». Четвертый этаж. Нормально. Сорогин-то тоже гусь лапчатый! Еще и успокаивает... Держись, мол. До ноября, мол, держись. А за что держаться? За какое такое место?! У нас же все склады битком, почти полтора миллиона тонн уложили. Больше некуда... Кстати, могу вас обрадовать. Содержание пятиокиси фосфора в руде в среднем подсело до десяти процентов. Вот так! Фабрики задыхаются. А они, понимаешь, планчик нам думают прибавлять. Злой, как черт!

— Понимаю вас. И все равно, Алексей Егорович, со злостью надо поаккуратнее.

— Вы-то сами собираетесь на актив?

— Вероятней всего, нет.— Михеев виновато показал на сердце.— А вы... волнуетесь?

— Да вроде не очень. Мне ведь, сами понимаете, от актива не любви хочется. Я не красная девушка. Иду на актив не челом бить.

— Одну минуту, Алексей Егорович.

Михеев встал и ушел в дом. Довольно быстро вернулся.

— Я знаю, что вы не очень-то уж большой любитель принимать чужие советы, но тут я...— Он протянул Кряквину рукопись, сколотую крупной скрепкой.— Прочитайте, пожалуйста. Десять страниц. Строго на двадцать пять минут неспешного выступления. Я это давно сочинил. Еще к тому совещанию. Но не выступал. А сейчас подкорректировал, вполне своевременно может прозвучать. Пробегите глазами.

Кряквин невнятно гмыкнул, устроился поудобней в шезлонге и стал читать. Михеев, чтобы не следить за выражением его лица, спустился с веранды в сад. Начал, заложив руки за спину, прохаживаться по хрустящей дорожке. Остановился возле клумбы, сорвал какой-то цветок и понюхал его. Зудко гудели пчелы. Листья деревьев недвижно томились в безветрии. Над садом высоко-высоко, сшивая ниткой инверсионного следа пушистые облака, искрилась крохотная иголка реактивного самолета. Михеев смотрел ему вслед и вдруг отчетливо и резко представил себя в кабине истребителя... Закашиваясь по кругу, рванулась навстречу пока еще далекая земля. Рука послушно выбрала сектор газа. Истребитель, прокалывая легкую облачную вату, штопором вывинчивался из высоты. Стрелка прибора валилась и валилась влево, и совсем уже близко ударил по глазам отразившийся от реки, что плавно обогнула аэродром, солнечный всплеск...

— Иван Андреевич! — услышал Михеев голос Кряквина.— Идите, я прочитал!

— Иду,— отозвался Михеев и с какой-то щемящей тоской посмотрел еще раз в небо. Белый след в нем теперь стал пошире и походил уже на чей-то диковинно распушившийся хвост.

— Прочитал я,— повторил Кряквин, когда Михеев, включив по пути вентилятор, сел напротив него в заскрипевший шезлонг.

— И что?

— Честно?

— Да уж хотелось бы, чтобы честно,— не мигая ответил Михеев.

— Удивили вы меня, Иван Андреевич.

— Чем же?

— Одинаковостью.

— То есть?

— Вы написали здесь почти слово в слово то, о чем я собираюсь говорить на активе.

— Ну, в этом как раз и нет ничего удивительного.

— Не понял.

— Я сделал это на основании тех ваших расчетов, из-за которых мы тогда с вами неделю не разговаривали.

— Вы не разговаривали со мной, а не я с вами,— уточнил Кряквин.

— Да, да,— сказал Михеев.

— Вот так! — Кряквин поднялся, заскрипев шезлонгом, и прошелся по веранде.— Почему же тогда... ты все-таки не выступил, Иван? — Он с прищуром уставился на Михеева.

Возникла короткая пауза.

— Вот об этом, Алексей Егорович, мы сейчас и поговорим.

— Давно бы пора.

— Только давайте договоримся сразу... Без нервов.

— Попытаюсь,— вздохнул носом Кряквин.— Не обращайте на мои эмоции внимания.

— Попытаюсь,— улыбнулся Михеев одной щекой.— Я выступил тогда, Алексей... Выступил. Только не там, не на том совещании.

— А где же?

— Это не важно сейчас...— Михеев на мгновенье прикрыл ладонью глаза, вспомнив ту ночь на квартире у Веры Владимировны.

— Ты струсил, Иван. Вот что!

— Вряд ли.

— Обезопасил себя, да?

— В какой-то мере. А ты можешь сформулировать, что такое мужество?

— Я? — переспросил Кряквин.— А зачем его формулировать? Если оно есть, так оно есть.

— Я думаю по-другому... Мужество — это умение сводить на нет свое собственное, тем более разыгравшееся, воображение в данный конкретный момент. Но, кстати, мужество бывает и трусливым.

— Ерунда! Сегодня, как мне кажется, назрела пора в упор говорить о главных, на мой взгляд, принципах управления большими производственными системами. Вот они... Первый принцип — иерархичность. Но разумная, четкая. Второй — многокритериальность. Дважды два четыре — этого сегодня уже маловато. Третий принцип — самонастройка, или самоорганизация. Тут объяснять нечего... И последний, чрезвычайно важный принцип — адаптация! Да, самоприспособляемость предприятия к любому текущему изменению...

— Прекрасно, Алексей Егорович. Мы пьем воду из одного колодца.

Кряквин вышел на крыльцо веранды и тут же вшагнул назад.

— Вот что, Иван Андреевич... Как бы это так выразиться, чтобы не шибко обидеть тебя. Потому как я слишком уважаю... да, уважаю тебя! Ты мудрый, как змей, понимаешь? А я так пока не умею. Вот этот текст твоего выступления,— Кряквин поднял в руке листы,— есть еще одно подтверждение того, как несовершенство нашего планирования приводит к несовершенству нашего мышления и поведения. Я ведь, по правде сказать, тоже недалеко ушел от тебя. Ей-богу!.. Тоже столько лет думал о другом. Но раз уж задумался, то... надо и говорить. Я-то уже осудил себя за тугодумие, честное слово. А как же?.. Да, ты пишешь о том, о чем думаю я. Но ведь твои-то мысли так и остаются на бумаге. Молчат. Это ли не показатель нашего несовершенства, Иван?.. Черт его знает, но я, по всей видимости, никогда не смогу понять людей, которые знают что-то, что может привести к пользе, и при этом молчат. Я максималист, Иван. И я готов за истинно верное даже на подвиг!.. Да, да. На подвиг! Пусть тебя не смущает это громкое слово. Я его сейчас произношу ответственно, а не как... какой-нибудь там Шаганский! И мне не надо расписок за это... Неужели уж мы с тобой, Иван Андреевич, такие разные, а?

— Напрасно так считаешь,— неожиданно спокойно и миролюбиво сказал Михеев.— Таким, как ты, я уже был. А вот таким, как я, ты еще будешь.

Кряквин вскинул руку, желая возразить.

— Погоди,— твердо остановил его Михеев.— Я еще не все сказал. И если скажу это все, то только потому, что по-настоящему

искренно ценю тебя. И как человека и как специалиста. Я не хотел бы, Кряквин, чтобы ты повторил уже пройденное мной. Этого лучше бы все-таки избежать. Но если уж повторение неизбежно, то скорее ломай себе шею... Будешь умнее. И будешь точнее разбираться хотя бы в том, что такое компромисс с собой во имя дела и что такое компромисс с делом во имя собственной шкуры.

— Во-во-во! — наставил на Михеева палец Кряквин.— Сейчас я тебе одно место прочитаю...— Он полез в портфель и вытащил из него «Воскресение».— Кстати, эту книгу твой Павел, шофер, просил передать Ксении Павловне. Она ее у него в машине оставила. Это «Воскресение» Льва Толстого.— Кряквин веером пустил из-под большого пальца страницы.— Ага, вот. «Но под давлением жизненных условий он, правдивый человек, допустил маленькую ложь, состоящую в том, что сказал себе, что для того, чтобы утверждать то, что неразумное — неразумно, надо прежде изучить это неразумное...»

— «Это была маленькая ложь,— закончил цитату уже Михеев,— но она-то завела его в ту большую ложь, в которой он завяз теперь...»

— Ты что это? — удивленно спросил Кряквин.— Все «Воскресение» наизусть знаешь?

— Нет, нет. Но это место знаю. Толстой здесь говорит о Селенине, друге детства Нехлюдова.

— А может быть, и о тебе тоже? — вырвалось у Кряквина. Он даже сморщился, понимая, что вот сейчас, наверное, кровно обидел Ивана Андреевича.

Тот выдержал паузу.

— Ничего, ничего, Алексей. Не переживай. Я уже привык к твоим шальным выстрелам. У меня иммунитет к ним.— Он усмехнулся.— Хотя будь бы я на твоем месте.. вернее, наоборот... в общем, будь я в твоем возрасте, точнее... я бы, наверно, послал бы тебя кое-куда... Факт.

— Извини, Иван,— мотнул головой Кряквин.

— Охотно. И знаешь почему? Да потому что мы с тобой придем к равно-душию.

— К чему, к чему? — насторожился Кряквин.

— К равно-душию,— повторил, отчетливо разрывая слово, Михеев.— То есть к душевному равенству, понял?

— А-а, вспомнил. Мне что-то про это Верещагин говорил.

— А я говорил про это Верещагину,— сказал Михеев.— Понимаешь, время странно изменяет понятия. А может быть, кто-то странно и специально подменяет их. Равно-душие-то, наверно, когда-то было равно-душием, а не равнодушием в сегодняшнем смысле... Люди, вероятно, стремились к нему, а не добившись его, почему-то сдались... Вот и стало равно-душие равнодушием... А теперь я скажу тебе самое главное, что давно бы хотел сказать. Я об этом еще никому не говорил, Алексей, а тебе скажу... Болезнь помогла мне основательно поразмышлять над этим. А ты, сам не подозревая ни о чем, подвел разговор к этому. Речь идет о подвиге — «за истинно верное». Ты, по-моему, так изволил выразиться.

— Так,— напряженно вглядываясь в Михеева, сказал Кряквин.

— Прекрасно... Значит, если бы я еще тогда выступил на совещании, это был бы подвиг?

— Его необходимо было совершить, Иван!

— Я знал, что ты так скажешь. Но подумай, пожалуйста, подумай основательно... Не подменяем ли мы понятия, когда говорим о подобных «подвигах»?

— Не понял,— сказал Кряквин.

— Сейчас поймешь. Ответь мне. А нравственно ли вообще доказывать свою нравственность, если... тем более — ты в том убежден и уверен — героическими поступками? Что это, скажи мне, за нравственное поведение, которое требует героизма? Ведь речь-то идет не об экстремальных моментах. Что за преувеличенное представление о степени риска? Выдуманный риск. Ведь мы же не на войне, черт возьми!

— Погоди, погоди,— задумался Кряквин.

— Ну, завтра ты, нравственный человек, выйдешь на трибуну, чтобы совершить подвиг. Так? Так. А будешь говорить о том, о чем обязан, должен говорить, как обыкновенный честный человек, правильно? И без всяких подвигов. Не тот ведь случай-то.

— Ну...

— Так почему же ты, будучи честным, заранее думаешь о том, как будешь доказывать, что ты честный? Почему ты считаешь, что ради этого элементарного нужно становиться героем? Нравственно ли это, Алексей, или тут что-то не так?

— Теперь, кажется, понял,— сказал Кряквин.— Химеры и фантомы! А действительно... Фу, ерунда-то какая! Так что ж мне, по-твоему, не выступать?

— Выступать! — топнул ногой Михеев.— Выступать!..

Дорожка по-зимнему хрустела под ногами. Солнце раскачивалось на листьях. И по дорожке как бы шел сейчас странный, испорченный временем, немой фильм...

На выходе из парка Кряквин услышал тугие хлопки. Чей-то смех... Свернул прямо в зелень и, раздвигая кусты, выбрался к теннисному корту. По нему, залитая солнцем, передвигалась Ксения Павловна. Азарт разогрел ее красивое загоревшее лицо.

Кряквин с минуту, не больше, смотрел на игру, щуря глаза, а потом, чувствуя в себе все нарастающее и нарастающее раздражение, сплюнул, развернулся, попав головой в паутину, и замкнулась за ним шелестящая стенка листвы.

Колонный зал Дома союзов еще жил перерывом. Люди рассаживались по местам, переговаривались. Стоял мерный, театрально однообразный гул. Чистый хрусталь люстр скользко посвечивал ледяной пустотой. Позолота и гладкая полировка белого мрамора тревожно контрастировали с багряной обивкой партера. Постепенно гул умирал, и в зале накапливалась тишина. Одна за другой бесшумно смыкались огромные двери. Сорогин, пощелкав ногтем в микрофон, басовито, по-домашнему поинтересовался у зала:

— Ну что, товарищи, накурились?

По залу накатисто, волнами, разошелся шум.

— Вот и хорошо,— сказал министр.— Шумят — это, значит, не спят. Самое время продолжить работу нашего актива.— Он сделал паузу, пережидая оживление, и объявил: — Слово главному инженеру комбината «Полярный» Кряквину Алексею Егоровичу! В настоящее время он исполняет обязанности директора комбината.

Кряквин размашисто шел к трибуне. Все в нем сейчас подобралось. Краем уха услышал азартную реплику: «Держись, Егорыч!» — и подумал, не оборачиваясь, что это, наверное, кто-то из своих.

Отсюда, с трибуны, удобной и прочной, как бы оберегающей тело и грудь от зала, ладно просматривался весь зал, окаймленный сверкающей колоннадой. И лица, лица, лица... Знакомые и незнакомые совсем. Из министерства, главка, с родственных предприятий.

Эти лица выражали сейчас разное: спокойное, вежливое внимание; внимание действительное; внимание, наработанное за многие годы участий в подобных совещаниях; внимание, смешанное с зоологическим любопытством — мол, давай-давай, поглядим, что ты за птица; внимание, граничащее со сном: веки опущены, ладонь подпирает лоб и... так далее.

— Товарищи! — твердо сказал Кряквин и невольно прислушался. Динамики усилили его голос, а колонны, как бы оттолкнув его от себя, возвратили назад, к трибуне.— Я, может быть, необычно начну свое выступление. Не с подробного, как это у нас еще принято, перечня фактов и цифр, говорящих, какие мы хорошие, как много у нас чего доброго сделано и что мы еще собираемся сделать. Я сознательно, а следовательно, и ответственно, нарушаю эту традицию, надеясь на то, что присутствующие здесь,— Кряквин коротко глянул в сторону Сорогина,— ведь одна отрасль и, стало быть, в курсе того, что у нас хорошо. Я вообще считаю, что говорить о хорошем нужно только тогда, когда уже нечего говорить о плохом. Хорошее настоящее — не тормоз. Жизнь-то ведь вроде не останавливается оттого, что она делается хорошей? Нет. И что-то я не очень себе представляю сегодня, ну, скажем, примерно вот такую вот сценку... Заходит к врачу человек. Здоровый, ну как, скажем, штангист Василий Алексеев. Раздевается и говорит: «Посмотри, дорогой, какой я красавец!» Думаю, что от подобной жалобы, в кавычках, естественно, у врача того немедленно подпрыгнет кровяное давление.

Зал громыхнул аплодисментами. Кряквин взял стакан с водой и отпил.

— Сравнительно недавно на комбинате «Полярный» произошел несчастный случай. Во время рабочего отпала на Нижнем руднике — взрывник там отпаливал зависший в пальце восстающей негабарит двухкилограммовым фугасом — произошел ни с того ни с сего вроде бы взрыв мощностью в две тонны аммонита. Взрывник, молодой, сильный парень, потерял, пока во всяком случае, зрение. Комиссия, тщательно проведя расследование причин несчастного случая, установила, что взрыв произошел из-за не сработавшей в свое время взрывчатки, когда на Нижнем руднике производилось массовое обрушение руды. Тогда, в феврале, рвали четыреста пятьдесят тонн аммонита, из которых две тонны не взорвались, а затем в процессе выпуска руды подсели вместе с ней до скреперного штрека. Фугас в два килограмма и явился инициатором трагедии на руднике Нижний. Так установила комиссия, которая и подписала акт. На самом же деле все было не так. И вот с этого места речь пойдет о другом... Я уж сказал вам, что в ходе несчастного случая взрывник потерял зрение. Но он не потерял при этом совесть. Выйдя из больницы, парень рассказал всю правду, в которой, оказывается, был он повинен сам. Готовя тот массовый взрыв, а взрывник заряжал веера вручную, он после зарядки скважин поскидал в восстающую битую аммонитовую колбасу. Ну, для того, чтобы не сдавать ее на склад. Торопился куда-то. Поскидал и не замочил даже водой. Вот аммонит и сработал и лишил человека зрения. Но не совести. Парень пришел к нам с открытой душой, хотя и никто его не просил об этом. Совесть рабочего — ра-бо-че-го! — заставила его сказать правду... Моя совесть привела меня вот сюда. Вот на эту трибуну. Потому что сегодняшнее положение дел на комбинате «Полярный» по крайней мере взрывоопасное. Другого тут слова искать нечего! Но начну с близлежащего... Комбинат задыхается без вагонов, без крытых железнодорожных вагонов для отгрузки готового концентрата. В прошлом году мы не смогли

реализовать шестьсот тысяч тонн, и только благодаря уступке главка, который списал нам с программы эти тонны, мы выполнили годовое задание по объему реализованной продукции. Могу со всей ответственностью заявить, что если обстановка с отгрузкой готовой продукции будет оставаться без изменений, намеченный план этого года комбинатом «Полярный» также выполнен не будет!

Зал загудел возбужденно.

— Итак,— вскинул над собой руку Кряквин,— казалось бы, все просто. Вы нам вагоны, а мы вам план. Не так ли, товарищи? Нет, не так. Это было бы лишь самым поверхностным решением проблемы. И вот об этом-то наболевшем мне и хотелось бы сейчас потолковать... Минуло достаточно времени, как мы перешли на новую систему планирования и экономического стимулирования. Мне даже сдается, что вряд ли уже эту систему можно назвать новой. Хотя безусловно реформа принесла нам известные радости. Мы стали инициативнее, смелее. Но аппетит-то, вы сами знаете, приходит во время еды. Короче, я считаю, что сейчас самое время для дальнейшего углубления реформы, дальнейшего смелого экспериментирования в сфере нашего производства.

Прошу понять меня правильно: речь идет не о какой-то автономии. Нет. Советское предприятие является государственной организацией, равно как и все другие организации, влияющие на его работу, также являются государственными. Кстати, объективного критерия для оценки хорошего или плохого директора тоже нет. Все зависит от того, в каких условиях работает предприятие. Вот почему в таких условиях и нам, руководителям предприятия, бывает очень трудно поднимать активность коллектива. Ведь ни для кого не секрет, что сегодня я, директор комбината, обращаясь к рабочему и призывая его к каким-то трудовым достижениям, не имею возможности твердо пообещать, что же от этого будет иметь предприятие в целом и он, рабочий, лично. Все это происходит оттого, что те фонды, которые образуются на предприятии, зависят не только от работы самого предприятия и его успехов, но и от конъюнктуры в вышестоящем органе, от его возможностей и так далее... Необходимо прежде всего соблюдать основное правило научного управления: единство прав и ответственности. Без этого действительно невозможно управлять разумно и грамотно. Причем во всем. В том числе и в установлении оптимальных хозяйственных связей, учитывающих интересы и потребителя и предприятия-поставщика. Договор только тогда договор, когда он заключен в рамках реальных возможностей сторон. Если мы проведем этот принцип во всей системе хозяйственных отношений, то только тогда и сможем навести порядок!

Аплодисменты.

— Да, да, товарищи,— продолжал говорить Кряквин.— Хозяйственный договор, заключенный на определенную перспективу, как минимум на пять лет,— это поистине главный нерв экономического механизма. Его повреждение ведет в конечном счете к расстройству всей нервной системы. Срыв поставки в одном месте вызывает цепную реакцию отклонений от заданного ритма работы многих предприятий, что наносит серьезный материальный урон и заметно снижает эффективность общественного производства. В этой связи позволю себе еще раз вернуться к наболевшей проблеме комбината «Полярный» с вагонами. Сделаю это лишь для того, чтобы особо подчеркнуть на конкретном примере мысль о том, что на сегодняшний день между не подчиненными друг другу государственными хозрасчетными организациями складываются далеко не равноправные

отношения. Существует ведь, как это ни странно, своеобразная иерархия: одни из хозрасчетных организаций как бы более «государственные», чем другие. И вот к таким-то как раз более «государственным» и относится железная дорога. Вы же все прекрасно знаете, что по отношению к промышленному предприятию она выступает в двух ипостасях. С одной стороны, это хозрасчетный партнер, продающий свои услуги на договорных началах, а с другой — это организация, наделенная правами государственной инспекции. И вот в качестве таковой она может штрафовать и налагать другие санкции на своего партнера, купившего ее услуги, если партнер этот, по ее мнению, неправильно их использует. Наш же комбинат, хотя он тоже государственный, по отношению к своему заказчику таким правом не обладает. Вот и получается странная вещь: железнодорожники-то могут в одностороннем порядке нарушать свои договорные обязательства, не поставляя комбинату необходимого ежедневно количества вагонов, и при этом не понесут никакой материальной ответственности. Им и дела не будет до тех убытков, что понесет комбинат. А ведь эти убытки-то никем и ни при каких обстоятельствах не покрываются. Отдувайся как хочешь. Вот, значит, к чему приводит передача правовых вопросов на откуп ведомствам. Тут есть, по-моему, над чем поразмышлять... Ну а теперь доберемся до ягодок. До этого я касался цветочков. Самым сложным, на мой взгляд, является вопрос о взаимоотношениях предприятия с вышестоящим органом, которому оно подчинено. Поэтому, забегая слегка вперед, выскажу вслух несколько наболевших соображений, так сказать, сугубо теоретического порядка... Только заранее оговорюсь — я ведь не экономист-теоретик, а инженер-практик. Поэтому то, о чем сейчас буду говорить, и сам покуда не считаю бесспорным, хотя кое в чем убежден абсолютно...

— Товарищ Кряквин,— постучал по микрофону карандашом Сорогин.— Все, о чем вы говорите, весьма интересно. Но вот ведь какое дело-то... В данном случае, а я вынужден напомнить об этом, здесь действительно проходит не теоретический симпозиум экономистов, а несколько иного направления мероприятие. Так вот, как нам кажется,— министр приналег на слово «нам»,— активу все-таки было бы небезынтересно послушать и о том, чего и как достиг комбинат «Полярный» за истекший период. «Полярный», товарищи, головное предприятие отрасли. Он дает стране огромное количество концентрата, из которого и вырабатывается так необходимое народному хозяйству минеральное удобрение. Так что, пожалуйста,— снова акцент на слово «пожалуйста»,— введите нас в курс ваших трудовых успехов. И поконкретнее, если можно.

По залу разлилось оживление. Кто-то в третьем ряду сказал своему соседу довольно громко:

— И бобик сдох.

Кряквин услышал с трибуны эту репличку. Напрягся. Кашлянул в кулак. На скулах его задвигались желваки.

Сидящий рядом с министром человек — Кряквин, кажется, видел его однажды в отраслевом отделе ЦК — наклонился к министру и сказал:

— Напрасно вы, Василий Максимович. Дельные вещи говорит. Познакомьте потом.

Сорогин кивнул. А Кряквин, услышав и это, вдруг ухмыльнулся, нервно поджимая верхнюю губу, цвикнул, засасывая сквозь передние зубы воздух, внимательно посмотрел на президиум, а потом на тех лысых из третьего ряда и, чувствуя в себе какую-то непонятную, веселую удаль, сказал:

— Не-ет, милые мои. Не сдох еще бобик! Живой. И о трудовых наших успехах я еще расскажу... Только сперва уж выложу все, что вот тут накипело,— Кряквин показал на сердце,— за партийным билетом! Так что уж будьте любезны дослушать меня. Очень прошу вас. А в отмеренное мне регламентом время я уложусь. Уложусь...— Кряквин улыбнулся.— Так что не беспокойтесь.— Он опять отхлебнул из стакана, со стуком поставил его на блюдце и взглянул на руку, где часы.— Значит, так... Все вы отлично знаете, что деятельность предприятия строится на основах хозрасчета и на сочетании централизованного руководства с хозяйственной самостоятельностью самого предприятия. Централизованное руководство осуществляет только один вышестоящий орган. Он утверждает годовые и перспективные плановые задания. Ему принадлежит право назначения и замены руководства предприятия. Он проводит ревизии и оценивает результаты деятельности предприятия. Вместе с тем вышестоящий орган обязан обеспечивать предприятие материальными, финансовыми ресурсами и фондами зарплаты, необходимыми для выполнения плана. Изменение утвержденных заданий допустимо лишь в исключительных случаях, с ведома предприятия и с внесением поправок во все взаимосвязанные показатели. Так должно бы быть. По идее. Но так ли это бывает на самом деле? Скажу откровенно и с горечью — далеко не всегда. Начнем с планирования... В соответствии с полученными исходными заданиями наш комбинат подготовил план текущей пятилетки, увязанный по всем показателям и основанный на тщательных расчетах. Темпы роста производства мы предусмотрели более высокие, чем в предыдущем пятилетии. Однако главк без предварительного обсуждения с предприятием значительно увеличил план по товарной продукции и реализации и одновременно сократил испрашиваемые нами капиталовложения в четыре раза. Наши попытки доказать при помощи расчетов необоснованность таких действий ни к чему не привели... Далее. У комбината практически отнято предусмотренное «Положением» право самому утверждать квартальные планы. Материальные ресурсы под годовой план вопреки «Положению» редко выделяются в полном размере. Нам ограничен годовой маневр фондами зарплаты и так далее и тому подобное... Обладая административными правами, вышестоящий орган может дать предприятию любой оперативный приказ, не считаясь с его хозяйственными последствиями. Вот почему повторяю снова: остро назрела необходимость решения общих вопросов правового регулирования хозяйственных отношений. Причем не ответственность сама по себе, не план или договор сам по себе, а весь комплекс неразрывно связанных между собой хозяйственных отношений должен регулироваться в едином законодательстве.

И еще один чрезвычайно важный момент. Вы все, конечно, помните, как еще в самом начале экономической реформы предпринималась попытка связать напрямую размеры поощрительных фондов с ростом производственных показателей работы предприятия. Ну вот... Идея эта в своей основе была вполне даже разумной. Еще бы! Размеры поощрительных отчислений ставились в непосредственную зависимость от увеличения объемов реализации продукции и повышения рентабельности, а это, в свою очередь, немедленно заинтересовывало предприятие в увеличении плана и максимальном использовании своих ресурсов. Что может быть прекрасней? Живи — не хочу! Но... И фонды экономического стимулирования стабилизировались в своих размерах, превратившись сегодня в обыкновенную добавку к фонду заработной платы, мало чем связанную с повышением эффективности работы предприятия. К чему это привело, вы

тоже знаете не хуже меня: у предприятия подзатух стимул к разработке и выполнению напряженных планов. Так что многие из сидящих здесь руководителей, я не боюсь сказать это, сейчас вот так вот,— Кряквин полоснул себя пальцем по горлу,— заинтересованы прежде всего в получении как можно более низких заданий, заранее гарантирующих им премиальные, и все. А как же! Так-то оно поспокойнее и вернее. Ведь главный-то критерий оценки деятельности предприятия на всех уровнях при подведении итогов социалистического соревнования один... Не рост объемов производства, не улучшение качества продукции и так далее, а факт — слышите? ф а к т! — выполнения установленных показателей плана на сто процентов. Победителями в большинстве случаев считаются те, кто выполнил план по реализации продукции и производительности труда в денежном выражении. Показатели эффективности использования рабочей силы и материальных ресурсов становятся известными значительно позже и лишь узкому кругу лиц. Поэтому за их невыполнение в худшем случае «пожурят в рабочем порядке». Зато дал сто процентов — садись в президиум. Недотянул одного процента — сами знаете. Лишат как миленьких если не всей, то большей части фондов материального поощрения. Вот так вот! А если подумать-то трезво и посчитать — какой вариант выгоднее нашему обществу: чтобы предприятие приняло напряженный план, предусматривающий увеличение выпуска, ну, скажем, вот таких стаканов на десять штук больше и выполнило бы его на девяносто девять процентов, то есть на один стакан меньше, или бы оно же взяло на себя облегченные обязательства с ростом всего на пять процентов — стаканов — и выполнило бы их на сто один процент?.. Тут, я думаю, все понятно и лишних слов не требуется.

Поэтому скажу сразу — сегодня как никогда назрела необходимость некоторого изменения оценочного критерия деятельности предприятия. Это факт! И в этом я убежден на сто процентов!.. Чем же его заменить?— спросите вы меня. Отвечу. Думаю над этим. Думаю.— Кряквин на мгновение смолк, вспомнив о зале, и этого мгновения оказалось достаточно, чтобы ощутить на себе пристально-гипнотизирующую его тишину. Он кашлянул.— Я считаю, что научная достоверность эффективности работы хозяйственных звеньев обеспечивается на основе комплексного применения стоимостных, трудовых и натуральных показателей, которые являются важнейшими рычагами использования объективных экономических законов, и в первую очередь основного экономического закона социализма. Что же касается поощрительных фондов, то их, по-моему, стоит формировать самым простейшим образом — в виде отчисления твердого процента от массы чистой прибыли, которая остается у предприятия после всех расчетов с государством. Причем процент этот должен быть достаточно велик, чтобы стало возможно оплачивать из него не только текущие премии за выполнение плана, но и все другие виды материальных поощрений. Короче, надо, чтобы предприятие было в состоянии обеспечить свое саморазвитие в нормальных размерах. Я не против того, чтобы небольшая часть этих фондов централизовалась в рамках министерства. Вот так... Ну а теперь в связи со всем этим теоретическим конкретно о комбинате «Полярный». В моем запасе еще имеется несколько минут...— Кряквин взглянул на часы, выдернул из кармана платок и с силой вытер им блестко вспотевший лоб.

Ввечеру над санаторием, в котором отдыхал Михеев, разразилась стремительная летняя гроза. Но сначала всего за несколько минут до нее случилась надо всем — парком, прудом, коттеджами — теплая тишина. И Иван Андреевич замер, подчиняясь мгновению, над пишу-

щей машинкой, так и не добив одним пальцем слово «встретиться». Оно куцевато и нелепо оборвалось на четвертой букве. «Встр...» Он посмотрел перед собой в уже завороненное сумеречью стекло веранды, и тут же прямо в глаза ему косо и рвано смигнул похожий на растянутую за ноги букву «и» зигзаг молнии. Одновременно в шелесте и шорохах накатилась на сад ветровая волна. Иван Андреевич увидел, как низко и плоско пригнулись к земле цветы. Раскатисто громыхнуло, до звона в ушах, а после обрушился на сад светлый, прямостоячий ливень. Разом отемнели дорожки, и на мокрой трепещущей листве запрыгали блики от молний. В раскрытую дверь веранды густо вошел удивительно свежий, настоянный на чем-то неземном аромат.

Иван Андреевич глубоко и часто задышал носом. Ему вдруг сделалось хорошо, и сама собой исчезла из затылка весь день просидевшая в нем щемливая боль. Он прикрыл левый глаз и прицелился правым в уже отпечатанные строчки. Теперь они показались ему глупыми и слюнявыми. «Уважаемая Вера Владимировна! Чувствую себя чрезвычайно виноватым перед Вами. Давно уже, и не раз притом, собирался дать знать о себе, да все как-то откладывал, сам не знаю почему. Вероятно, необходимо поступить просто. Взять и рискнуть приехать к Вам. Но вот опять что-то мешает мне сделать это, а следовательно, и мешает встр...» Иван Андреевич решительно взялся обеими руками за лист и со звуком выдернул его из машинки. Тщательно и мелко изорвал и только потом сбросил клочки в корзину. «Тоже мне, Онегин»,— подумал о себе, встал, посмотрел за порог и начал одеваться.

Гроза уже далеко сдвинулась в сторону от санатория, да и ливень, теряя упругость, теперь только слабо шипел по листве.

Он с минуту постоял на крыльце, так и не зная, идти или не идти, сшагнул по мокрым ступенькам на дорожку, поднял воротник плаща, ощущая в себе все усиливающуюся и усиливающуюся неуверенность, но все-таки заставил себя пойти в парк, понимая заранее, что далеко он на этот раз все равно не уйдет.

— Иван Андреевич! Товарищ Михеев! — услышал за спиной женский голос.

Нервно оглянулся. К нему подбегала в наброшенной на халат прозрачной накидке медсестра.

— Как хорошо, что вы не ушли,— запыхавшись, сказала она.— А там к вам приехали. Пойдемте скорей! Ой, извините, вам же быстро нельзя,— тараторила она, шурша своей накидкой.— Господи, вот грозища-то, да? Прямо страсть! Ка-ак ударит! Я чуть кипятильник для шприцев не уронила. Во как! Ну, дальше вы сами, вон они, которые к вам. А я побегу.— Медсестрица забавно, сомкнув коленки, зашлепала по лужам, бело мелькая бугристыми, сдвинутыми набок икрами.

У коттеджа стояла захлестанная дорожной грязью черная «Волга». По ветровому стеклу елозили «дворники». На веранде, уже раздевшись, по-домашнему, без пиджака, в тонких подтяжках через массивные плечи, поджидал Михеева, полулежа в шезлонге, человек с блестящей, будто отполированной головой.

— Василий Максимович? — искренне удивился Михеев.— Каким ветром?

Сорогин пожал протянутую руку, не вставая с поскрипывающего шезлонга.

— А ты думаешь, министры не люди, да?—басовито загудел он.— Они, по-твоему, только и делают что про план говорят? Заблуждаешься. С актива я. Закончили, вот я и решил малость подсаториться. Не тебе же одному весь озон отдавать. Больно жирно будет, понял?

А по дороге такая небесная диверсия, хоть караул ори. Вот и заскочил. Не рад, что ли? Сейчас встану и уйду. Хотя, по правде, вставать неохота. Так бы и лежал в этой скрипучей холере... Красота!

— Лежите на здоровье. Чем прикажете угощать?

— Да уж от рюмки-то коньяка не отказался бы. Не-е... Не повредит, не испортит внешний вид.

Михеев принес бутылку, рюмку и яблоки. Вспомнил про минеральную воду и сходил к холодильнику еще раз.

Сорогин выпил и сильно выдохнул.

— Благодарствуем. Соколом прошла. Тебе-то нельзя, я знаю.— Он снял с вазы яблоко, потер о рукав и с хрустом разгрыз его.— Да-а... Самое же главное! Слушай, будь другом, подай портфель. Вставать неохота.

Михеев подал ему портфель.

— Закрой глаза и замри. Я тебе серьезно говорю,— сказал Сорогин.— И не открывай, покуда не разрешу.— Он заклацал застежками.— Во-от...— Зашелестела бумага.— А теперь гляди!

Михеев открыл глаза и увидел на журнальном столике чашку Веры Владимировны. Почувствовал, как кровь приливает к лицу.

— А-а! — восторженно забасил Сорогин.— Ну, что скажешь? Из кучки дерьма, прости за выражение, конфету сделали! Мастера!.. Они такое творят! Только диву даешься! Тебе повезло, Михеев. Повезло!

— Да-а,— кашлянул Иван Андреевич.— Абсолютно как целая. Поразительно!

— Не то слово! Осколки-то, парень, ты не в полном составе представил, видать, торопился... Может, признаешься, чья это штука? Шерше ля фам? Так, кажется, говорят на родине Жискар д'Эстэна?.. Ладно, ладно, молчи. Меня уже, так сказать, шуры-амуры не интересуют. Увы! Теперь мое главное хобби — разбитые чашки... А кстати, ты знаешь, что это такое? — Он показал пальцем на чашку.

— Нет,— сказал Михеев.

— Понятно. Бьешь не интересуясь. Широкая душа! А эта штуковина, между прочим, из кофейного сервизика короля Людовика Шестнадцатого, понял? Вот, посмотри на донышко... Эта закорючечка его фамильная. Вот так! Чрезвычайно редкостная вещь. Истинный севр. По некоторым данным, ты ведь в курсе, что я неплохо эрудирован по части фарфора и фаянса и сам кое-что имею наиредкостное... Остаточек этого сервиза якобы находился у такого известного в России сахарозаводчика Терещенко. А этот сахарозаводчик приобрел его в Париже на аукционе. Да-а... А потом якобы... Это уже в девятьсот шестнадцатом году... презентовал свое приобретение родной сестрице, понял? Нине Дмитриевне... На пятидесятилетие. Ты, часом, с Терещенками не в родне? — Сорогин раскатисто захохотал.— Ну скажи, скажи, а, чья чашечка?

— Не скажу,— улыбнулся Михеев.

— Как немой?

— Как Андрей Рублев.

— А он-то что? — удивился Сорогин.

— Он обет молчания давал. Я фильм видел... Тарковского.

— А-а... Ну, это кино. Враки художественные, цветные, широкоформатные.

— Сколько же я обязан за такую работу? — осторожно спросил Михеев.

— Нисколько. Это мои заботы. Я для тебя подарок сделал.

— Ну что вы, Василий Максимович. Так нельзя. Я должен рассчитаться.

— Прекрати, Иван,— приказал Сорогин.— А-то я ее живо расколочу! Сам возродил, сам и разобью. Я ведь твои глаза, когда ты меня попросил в Кунцевской больнице об этом, никогда не забуду. Для тебя это было тогда чуть ли не важнее жизни. Так что уймись по-хорошему. Я человек серьезный. И, может быть, добрый.

— Спасибо вам... Тронут.

— То-то.— Сорогин с наслаждением затянулся сигаретой.

— Что же мы водителя-то позабыли? — заполнил паузу Михеев.

— А ему ничего не надо, лишь бы поспать. Серьезно. Уникальная фигура! Готов дрыхнуть двадцать восемь часов в сутки. При малейшей возможности! Я его так и зову — спящая водительница! — Сорогин заскрипел шезлонгом и взял своими толстыми пальцами чашку. Михеев обратил внимание на какую-то трепетную, чуткую нежность, с которой эти пальцы, желтоватые от курева, держали и ощупывали эту вещь.— Что ж ты меня про актив-то не спрашиваешь? Ждешь, когда я сам...

— Да.

— Терпеливый. И хитрый ты, Иван. У-у, насквозь тебя вижу. Твоя, поди, работка-то была, а?

— Что вы имеете в виду?

— Да твоего партизана!

— Кряквина?

— А кого же еще? Ты представляешь хотя бы, что он устроил сегодня?

— Не представляю.

— Он же как Цицерон! Господи... Порвал на себе тельняшку и все донага раздел!.. Не знаю... И, главное, не удержать. Я было его за узду, а он на дыбы! Настырный товарищ, скажу я тебе... У-фу-фу!.. Скажи честно — ты его науськал?

— Да вы что! — возмутился Михеев.— У Кряквина своя голова на плечах. Причем отличная голова! Не пойму, чем вы недовольны, Василий Максимович. Я ведь помню, как вы буквально мечтали о таком выступлении и допрашивали меня, почему я не выступил...

— Да я знал, что ты не выступишь.

— То есть? — в упор посмотрел на Сорогина Михеев.

— А вот так. Знал, и все. Опыт... По одним горкам ходили... Я пораньше, ты попозже. Все очень просто, Иван... Но то, что сегодня устроил твой Кряквин!.. Я лично не знаю, как буду расхлебывать. Густая кашица-то. Очень густая. Молитесь на ночь, чтобы вдруг вам не проснуться утром знаменитым,— неожиданно процитировал Сорогин.— Вот так!

— Это что? — спросил Михеев.

— Это стихи Анны Ахматовой.

Они замолчали.

Ксения Павловна в эту минуту босиком, наслаждаясь, бесшумно подходила к коттеджу. Держала в руках туфли и теннисную ракетку в чехле. Сама вся мокрая. Увидела машину, а в ней спящего на заднем сиденье водителя. Прислушалась, наматывая на палец обвисшие волосы.

— Я бы эту строку такими жирными-жирными буквами напечатал для таких вот, как твой Кряквин,— басил с веранды голос министра.

Ксения Павловна присела под окнами на завалинку.

— А он бы ее читать не стал,— ответил Михеев.

— Ну-ну. Дело хозяйское. Давай-ка малость сменим пластинку. А-то как бы чего не вышло. Я хоть и министр, но тоже иногда за себя не ручаюсь... Ты это... помнишь о нашем разговоре тогда? Я тебя просил еще подумать насчет кадра на ленинградский НИИ? А ты обещал подумать. Подумал?

— Подумал.

— Ну?

— Есть у меня такая фигура.

— Кто?

Михеев ответил не сразу. Он просчитывал варианты возможной реакции Сорогина на то, что он сейчас скажет ему. Михееву необходимо было как можно точнее и полнее узнать шансы Алексея Егоровича после сегодняшнего выступления на активе. А Сорогин безусловно уже был в курсе его дальнейшей судьбы. Интуиция старого, опытного службиста сама предложила Михееву этот неожиданный и заманчивый ход. И Михеев, мгновенно оценивая его качество, спокойно ответил:

— Мой главный инженер. Кряквин.

— Мм... Ты это серьезно? — играл свою игру министр.

— А что? Он кандидат. В ближайшем наверняка доктор наук. Инициативен. Клад во всех смыслах. Ленинградский НИИ точно засверкает.

— Погоди, погоди,— загудел министр.— Тебе ведь, Иван, дипломатии не занимать. Ты мне вот что скажи... И тебе не жалко отдавать такого инициативного?

— Жалко.

— Тогда чего ж ты мудришь?

— Вы меня попросили нацелить на кандидатуру? Я это сделал. При чем тут психологические нюансы? Потом, насколько я понял...— Михеев стрелял последним патроном и внимательно следил за своим выражением лица. Оно сейчас было абсолютно бесстрастным.— Кряквин сегодня... выступил неудачно. Назовем это так. И, следовательно, сам случай предлагает ему сделать два шага назад. Для своей же пользы. В дальнейшем, естественно. Он же всегда сможет вернуться на производство. Я же вернулся? И тоже из НИИ. Помните?

— Резонно, резонно,— задумчиво пробасил министр.— В твоих руках комбинату будет понадежнее. Я это сегодня решил. Да и мне будет поспокойнее. Старый конь борозды не испортит. А молодые пускай тренируются на запасных полях. Так что мы с тобой еще поиграем, а, Иван Андреевич? В основном составе причем.

— Поиграем.

— Как сердце?

— Налаживается.

— Это хорошо. Лечись, Иван. Мы еще с тобой коньячком побалуемся. Еще не такие чашки склеим... Да, где же твоя супруга?

— В кино, наверно.

— Поклон ей. Был бы я покудрявей — берегись! — Министр гулко хохотнул.

Ксения Павловна, пригибаясь, скрылась за коттеджем. Прямо по клумбам перебежала пространство до оградки, легко перескочила ее и растворилась в потемках.

— В общем, за то, что надоумил, спасибо тебе,— сказал Сорогин.— Теперь-то мне было бы жаль, если бы ты согласился на Петербург.

— Значит, вы серьезно решили забрать Кряквина? — спросил Михеев.

— Откровенность на откровенность, Иван. А что? Ты сомневаешься?

— Теперь нет.

— Стало быть, по рукам? У тебя же ведь с ним, как я понял, тоже... нюансы?

— Тоже нюансы,— повторил Михеев и прошелся по веранде.— Только иные, Василий Максимович. Иные... Сейчас мы закончим наш разговор. И вот чем...

Сорогин исподлобья посмотрел на Михеева. Его насторожили интонации в голосе Ивана Андреевича.

— Слушаю тебя.

— Слушайте... Если ты, Василий, тронешь Кряквина,— твердо заговорил Михеев,— то действительно берегись. Кряквин должен стать директором «Полярного», а я уйду в ленинградский НИИ. Я уйду! Только так, а не иначе!

— Значит, темнил, Иван? — прищурился Сорогин.— Та-ак... Любопытно, любопытно. Продолжай...— «Молодец», недоговорил он, потому что именно сейчас наконец-то твердо убедился, как дороги эти люди друг другу, Кряквин Михееву и Михеев Кряквину. Вот это-то и было для него самым главным. И только для этого он так многоходово переигрывал Михеева, выводя его на абсолютную искренность. А то, что Михеев начнет сейчас говорить ему всякие пакости, наплевать. Пускай говорит на здоровье. Придет час — сам поймет, как он относится к нему. И машинально повторил, не видя Михеева: — Продолжай...

— Я сказал все,— отрезал Михеев.— Напомню только, повторю: Кряквина не троньі Эту чашку тебе не склеить!

Ксения Павловна постучала в окно веранды. Тренер как раз причесывался. Увидел ее и, улыбаясь, сказал:

— Входите, входите, Ксюша.

— Сережа, мне нужна помощь,— задыхаясь, выговорила Ксения Павловна.

— Я готов на все. Ради вас.

— Отвезите меня в Москву.

— Когда?

— Сейчас.

— Но... вы...— Он оглядел мокрое платье Ксении Павловны.

— Да нет. Я переоденусь. А вы приготовьте машину.

— Хорошо... А ужин?

— Наплевать на него! — вскрикнула она.— Мне надо, понимаете?

— Понимаю.

— Тогда через полчаса я у вас. Все! — Ксения Павловна зашлепала по мокрым ступенькам крыльца.

Кряквин шел по Москве. Было еще светло. Постоял у перехода через Пушкинскую улицу, пропуская машинный поток, вышел к Большому театру. У него спрашивали:

— Нет лишнего билета?

Кряквин мотал головой и то растворялся в многолюдье, то снова возникал. Шумела Москва, и никому сейчас не было до него дела.

Возле входа в гостиницу «Москва» Кряквин приостановился. Подумал. Потом решительно зашагал к гастроному, где быстро получил печенье, коньяк, лимоны, коробку конфет.

Поискал двухкопеечную монету. Опустил в прорезь автомата, но тут же дернул рычаг, забрал монетку и направился к гостинице.

Лифт мгновенно доставил его на четвертый этаж. В номере Кряк-

вин швырнул портфель в кресло, а сам развалился на кровати. Включил радио.

— ...в Москве закончил свою работу Всесоюзный актив работников горнодобывающей промышленности. Актив обсудил важные...

Вывернул звук.

Полежал с закрытыми глазами. Сел. Закурил. Подошел и распахнул окно. Номер мгновенно наполнился гулом вечерней столицы. Отсюда было хорошо видно, как трассируют по улице Горького похожие на дотлевающие угольки тормозные сигналы автомашин.

— Гори, гори, моя звезда,— спел Кряквин и снял с аппарата трубку.

Долго было занято, но он упорно вертел диск, повторяя и повторяя один и тот же цифровой набор. Наконец...

— Это такси? Девушка, милая, не могли бы вы направить таксомоторчик?.. Да?.. Прямо сейчас. Адрес? Пишите. Сивцев Вражек... Ага... Квартира одиннадцать. Во-от... Там необходимо будет взять одного человека и привезти его в гостиницу «Москва». В номер четыреста двадцать первый... Точно... Кряквин моя фамилия. Да-а... Ну что поделаешь... Кря-кря. Мы такие... Пожалуйста. Прямо сейчас.— Он придавил рычажок и сразу же набрал новые цифры.— Мать? Здравствуй. Это я.

— Слышу,— ответила трубка хрипловатым женским голосом.— Машина вышла?

— Да. Встречай. Мой номер в гостинице «Москва». Четыреста двадцать первый. Очко!

— Все?

— Пока все.

На другом конце повесили трубку. Кряквин возбужденно походил, походил по номеру, сбросил рубашку и прошел в ванную. Долго мылся, отдуваясь и фыркая, холодной водой. Достал из шкафчика свежую рубаху, причесался. Завалился на кровать...

Ксения Павловна лихорадочно переодевалась. Когда в спальню вошел Иван Андреевич, она уже причесывалась возле зеркала, держа губами шпильки. Он посмотрел на ее порывистые, нервные движения и спросил:

— Далеко ли путь держим?

Ксения Павловна видела в зеркало лицо Ивана Андреевича. Боковой свет торшера освещал только одну половину его. От этого лицо мужа показалось ей еще более старым и неприятным. Особенно неприятно смотрелась сейчас крупная бородавка на слегка раздвоенном, ровно подрубленном подбородке его. Само лицо тоже ничего хорошего: одутловатое, с морщинами. И волосенки — реденькие, зализанные назад...

А Иван Андреевич видел сытое, стройно-тугое тело жены, покатые плечи, красиво закручивающийся на затылке глянцево-светлый комок волос...

— Ты что, дала обет молчания? — Он подошел к ней.

Ксения Павловна выдернула из губ последнюю шпильку, утопила ее в волосы и резко повернулась к Ивану Андреевичу:

— Ты... сволочь, Михеев!

Он опустил веки.

— Та-ак.

— Ты мерзок, противен мне! — жарко дышала, выкрикивая эти слова, Ксения Павловна.— Я слышала, как ты продавал Кряквина... Не подходи ко мне! Я еду сейчас к Алексею Егоровичу, понял? И я все расскажу ему, все-о!..

— Все? — не открывая глаз, тихо спросил Михеев.

— Все, все! — крикнула Ксения Павловна.

— И я тебе говорю теперь все.

— Что-о?! — оскалила белые зубы Ксения Павловна.

— Все. Уходи... А не то я тебя ударю,— перешел на свистящий шепот Иван Андреевич.

Он открыл глаза, глядя на нее в упор, и Ксения Павловна попятилась от него...

Дверь открылась без стука, только металлически звякнула рукоять, и на пороге кряквинского номера возникла невысокого роста стройная женщина. Может быть, оттого, что одета она была в джинсовые брюки и замшевую потертую куртку, возраст ее сразу не ощущался. Седые волосы — мужской стрижки, изрезанное глубокими морщинами лицо. Очень, чересчур даже, резкие черты.

Она стремительно вошла в номер, огляделась, коротко бросила:

— Здравствуй.— И тут же не спросила, а скомандовала:— Коньяк?

— Все в портфеле,— кивнул Кряквин на кресло.— Хозяйничай.

— Прекрасно. У тебя душно. Я скину эту жамшу.— Она нарочно исковеркала последнее слово.

— Будь как дома.

— Уж постараюсь, мой милый. Кстати, я же не одна. Там к тебе еще один экземпляр. За дверью... в сюрпризы играется.

— Кто там еще, мать?

Кряквин толкнул дверь и увидел сияющего Николая. Он был весь в белом — в белых брюках, белой тенниске, белой кепочке — и в массивных, с широкими черными стеклами очках.

— А-а!! — обрадовался Кряквин.— Кого я вижу! Звезда экрана, герой дня, святой отец... Заходи, заходи, деточка. На тебя аж больно смотреть. Садись.

— Я на минуту, Алексей. Честное слово. Тороплюсь. Как говорят ассистенты режиссеров, время, которое у нас есть, это деньги, которых у нас нет. Меня ждет режиссер. Здесь, на восьмом этаже. Я же к матери подъехал попрощаться, а она как раз к тебе навострилась. Видишь, как удачно вышло.

— Вам наливать? — спросила мать.

— Я пас,— покачал головой Кряквин.

— Я тоже... грамм сорок,— улыбнулся Николай.

— Слава богу, хоть один не отказывается. А еще туда же, в мужики. Народишь таких вот уродов на свою голову. Держи, Фернандель.— Она протянула Николаю стакан.— За встречу! — Выпила и както сразу успокоилась. Закурила.

— Куда так спешишь, Колька? Посидел бы малость,— предложил Кряквин.

— Не-ет. Дел куча. Зашел обняться. Завтра за кордон. Привет из Парижа!

— Ого!

— А как же! На том стоим. Картинку-то нашу, «Подъем», ну, в которой я главный конструктор кораблей... французы решили купить. Вот мы и едем показываться. Повезло!

Николай достал сигарету. Кряквин щелкнул зажигалкой, поднес было. Но Николай, подмигнув ему, вынул свою. Улыбчиво переглянулись.

— Махнемся? — сказал Николай.

— Не глядя?

— Не глядя.

— Давай.

Махнулись.

— Ну-с, дамы и господа, я пошел. Пока, Алексей. Гони план, досрочно выполняй и перевыполняй. Привет Полярску! Городок мне понравился. Природой и женщинами.

Они обнялись и крепко расцеловались.

— Что тебе из Парижа доставить? Заказывай.

Кряквин задумался.

— А правда...

— Что?

Кряквину вдруг захотелось, чтобы Николай зашел к Анне. Визитная карточка переводчицы до сих пор лежала в его бумажнике.

— Иди, иди,— махнул он рукой.

— До свидания, мама.

— Бывай, бывай, Абрикосов,— кивнула из кресла мать.

— Салуд, камарадэ! — поднял кулак Николай.— Но Мопассан, как сказала одна знакомая.— Он вышел из номера.

Мать внимательно посмотрела на Кряквина:

— Чем недоволен?

— Устал, мать. Шибко устал, понимаешь? Ну да ничего. Успеем, наговоримся. Как ты-то живешь?

— Как видишь. «А годы летят, наши годы, как птицы, летят»,— хрипловато пропела она и вздохнула.— Звали нынче на Памир. Большая экспедиция... Не поехала. Барахлит иногда вот здесь.— Она ткнула пальцем в сердце.

Светлая рубашка-кофточка странно изменяла ее возраст, то увеличивая его, то уменьшая.

— А ты здесь надолго?

— Послезавтра назад.

— Как Варвара?

— Ничего. Помаленьку.

— Понятно. В принципе-то я в курсе. Колька рассказывал. Вот уж баламут!.. Ты не на этом ли активе был? Я по радио слышала.

— На этом, на этом.— Кряквин встал с кровати и пересел в кресло напротив матери.

— Я тебя нынче во сне видала. Маленьким... Это, говорят, к неприятностям.

— Сон в руку,— улыбнулся Кряквин.

— Рассказывай.— Она снова чуть-чуть плеснула в стакан и выпила.

— Не вредно? — Кряквин кивнул на бутылку.

Мать хмыкнула.

— Вот когда до семидесяти дотянешь, поймешь. Он мне валидол заменяет. Так для чего позвал?

— Соскучился.

— Врешь. Варька-то ведь, поди, опять не велела?

— Не велела.

— Я знаю... Мы, бабы, величины постоянные. Что уж втемяшится — колом не вышибешь.

— Не надо об этом, мать. Тебе не все ли равно?

— Да теперь-то... да.

Они замолчали. Задумались.

— Слушай, Алешка,— сказала мать,— а ты не находишь, что мы каждый раз, ну... вот при таких наших встречах... абсолютно одинаковы?

— Есть что-то вроде. А что?

— Да ничего... Ты начинай-начинай, рассказывай. Вижу же, что не терпится. Изливай душу-то.

Пробно дзинькнул телефон и тут же рассыпал по номеру заливистую, по-междугородному нетерпеливую трель. Кряквин снял трубку.

— Будете говорить с Полярском,— сообщила телефонистка.— Говорите.

— Привет, Алексей Егорович,— донесся до него знакомый голос.— Это Беспятый. Извини, конечно, что мы тебя беспокоим.

— Здорово, Егор. А кто это «мы»?

— Ну... компания целая. Я, Скороходов, Гаврилов с сыном и Тучин. Мы до тебя на Верещагина выходили. Думали, он что-нибудь знает, а он говорит — вы на гостиницу «Москва» наваливайтесь. Так что вот так...— Беспятый кашлянул и замялся.

— Говори, Егор, я слушаю тебя,— сказал Кряквин.

— Да нет... Это мы тебя хотели услышать. Выступал?

— Да.

— Ну и как, жив?

— Приеду — расскажу.

— Речь-то дошла? — допытывался Беспятый.

— Я уже сказал — приеду, расскажу.

— Вот тут Григорий лезет с вопросом: мол, про него говорил?

— Говорил.

— Говорил, говорил,— сказал Беспятый в сторону и через паузу добавил: — А он не верит.

— А ты ему скажи, что вот поснимают нас с работы — тогда и поверит.

— Ну, это ты брось, Алексей Егорович,— забасил Беспятый.

— А-а, испугался? — улыбнулся Кряквин.— Как у вас там дела?

— Все в норме. Варваре чего передать?

— Не надо. Я ей сам позвоню.

— Ну, тогда все. Будь здоров.

— Вы тоже. Пока.

Кряквин положил трубку и подошел к окну. Постоял молча. Потом не оборачиваясь заговорил:

— Недоволен я, мать, собой. Ужас как недоволен. Вон мужики звонят с комбината, беспокоятся за меня, а мне от этого еще тошнее. Я же за директора сейчас на комбинате.

— Знаю. Колька рассказывал.

— Ну и... горим мы, мать, синим огнем. План-то как на соплях тянем. И, что самое интересное, я же знаю почему. Знаю!.. Вот и рванул сегодня обо всем на активе. А вот пришел сюда, в нумера, подумал по дороге и вроде бы понял... действительно, ерунда какая-то! Ведь если бы я своевременно, ну... годика так с три назад заговорил об этом же — во! это была бы норма! В самый раз! Понимаешь? Короче, сам для себя сочинил нынче подвиг, тьфу!.. Ты-то, надеюсь, меня поймешь, мать, правильно, а? — Кряквин с надеждой посмотрел на нее.

Она сидела в кресле прямая. Взгляд сквозь прищур. Прищур этот очень сейчас походил на кряквинский. Да и во многом обнаруживалось сейчас между сыном и матерью сходство: в манере говорить просторечно и грубовато, смотреть, как бы вглядываясь, двигаться свободно и одновременно угловато...

— Но ты не думай,— продолжал Кряквин,— не думай...— он нерв-

но закурил,— я не скис. Нет. Я знаю, за одного битого двух небритых дают.

— Какой остроумный! Это надо же! — съязвила мать.— Хотела бы я посмотреть, какой ты там остроумный был... на активе. Уж представляю!.. А нужно уметь заставлять себя слушать. Уметь!.. Если, конечно, в тебе есть что слушать. Понял? А после драки-то чего руками размахивать? И воздух трясти... Слышала я эту формулу гадкую, и не раз причем... Лучшая форма риска — это когда уж совсем без риска. Тьфу! Безобразие!.. А твой отец, Алексей, умел слушать и умел заставлять себя слушать! Он работал как зверь. Годами не выставлялся. Но верил до конца в свою идею. Если бы не война, черт возьми!.. Мне рассказывали, как он в ополчении на Волоколамском шоссе в окопах лепил. И говорил, что там прекрасная глина. Я-то видела, как Егор вынашивал свой план. Он перепробовал десятки материалов. Все не то! Кое-кто посмеивался над ним. Сегодня я знаю, из чего должна быть скульптура Егора. Из альгарробо. Это такое дерево, Алексей. Мне удалось достать великолепный спил. Из Австралии... Все-таки какое счастье, что я жила с ним, твоим, Алексей, отцом! И смогла до конца разгадать смысл его идеи. Ты послушай... Егор хотел изваять «Мать и ветер»... Да, да! «Мать и ветер»...

Она стояла сейчас посреди комнаты — сухонькая, стройная... Сбилась на лоб седая прядь. Лицо раскраснелось. Руки ее, все еще сильные, чертили воздух:

— Ты можешь себе представить русскую мать? Пророчицу и прародительницу. Женщину! Перед ней необозримая Русь. Без конца и края! Как жизнь, как надежда, как ожидание. Мать ждет и верит. Ветер бьет ей в лицо. Теребит седые волосы. Она одна на всем свете со своим ожиданием... Что она ждет? Кого?.. Что ей надо на этой земле, продутой ветрами? Может быть, она и видит-то недалеко. Постарели, выцвели глаза. Утратили силу былую. Я знаю такие. В них совсем мало голубого. Они цвета слез. А ветер все сильнее и сильнее! На большой Руси большие ветры. Вот и попала какая-то соринка матери в глаз. Высекла слезу. Мешает вглядываться вдаль. И все равно смотрит и смотрит. Вот так. Одной рукой придерживая старенькую шаль, а другой поправляя что-то вот здесь... Мешает ей соринка. Мать и ветер! Они породнились в одном ожидании. В безудержной вере... Теперь я все знаю... Все! Как знал это твой отец. И хожу. И ищу! Мне нужна модель. Матери все похожи. Русские и нерусские. Я знаю это. И неповторимы. Если я смогу найти модель, я сотворю чудо. Я не имею права не сотворить его. Тогда можно будет и умереть спокойно...

Кряквин, захваченный ее порывом, слушал.

— Ну что же ты молчишь, Алексей? — спросила она.

— Я... Я, кажется, знаю такую модель.

— Где?! Кто? Я поеду немедленно.

— Не надо никуда ехать, мать. Это ты!

Она резко повернулась и шагнула к зеркалу. Прищурилась... В зеркале из представляемого ей куска дерева стало медленно возникать лицо. Темный платок прикрывал лоб... Рука с изъеденными работой пальцами затемнила глаза, помогая уйти им от света. Ветер рванул в лицо, чуть расправил, натягивая, глубокие морщины...

В дверь постучали.

— Да, да, войдите! — раздраженно крикнул Кряквин.

Дверь не открывалась, но стук повторился.

— Да входите же вы! Открыто!

И опять никто не вошел. Тогда Кряквин стремительно шагнул к двери, рывком распахнул ее. Перед ним на пороге стояла Ксения Павловна.

— Вы?.. Ну... проходите.

Ксения Павловна покачала головой:

— Выйди, пожалуйста... Мне только на минуту...

Кряквин растерянно шевельнул плечами и оглянулся на мать. Она не обращала на них никакого внимания. Продолжала стоять возле зеркала.

— Хорошо,— сказал Кряквин.

Они прошли в пустынный холл. Коридорная дежурная проводила их в спину наметанным, охотничьим взглядом. Ксения Павловна опустилась в кресло. Не торопясь достала из сумочки сигарету и зажигалку. Закурила. Кряквин ждал стоя.

— Так в чем дело, Ксения Павловна? — сердито спросил он.

— Сейчас... Ты бы сел.

— Постою.

— Я приехала, чтобы рассказать тебе, что тебя... наверное... снимут с работы. Только что приезжал к Михееву Сорогин. Я случайно подслушала. Министру нужен заместитель директора НИИ в Ленинграде...

— Та-ак,— сказал Кряквин.

— И Михеев предложил тебя.

— Эт-то еще почему?!

— Он продал тебя, и все. Все! — Ксения Павловна воткнула сигарету в пепельницу.— А выводы делай сам. Я пошла.— Она встала с кресла.

— Подожди.

— Мне некогда.— Она отвела его руку и побежала по коридору.

Кряквин взъерошил пятерней волосы, шагнул было за ней, остановился... и тоже побежал.

Он догнал ее на лестничной площадке. Сильно поймал за плечо и повернул к себе. Ксения Павловна, заранее готовая к этому — она ждала... знала, что Кряквин догонит ее,— лукаво прищурилась и шепнула, как бы не понимая, в чем дело:

— Что?

— Повтори... повтори, что ты сказала? — сдавленно прошипел он.

— Михеев продал тебя. С потрохами...

Кряквин схватил Ксению Павловну за плечи и притиснул к стене.

— А-ах ты!..— Он захлебнулся.

Ксения Павловна, откинувшись, смотрела на Кряквина широко раскрытыми глазами. Вот... вот о какой ярости мечтала она! Ксения Павловна, затаивая дыхание, улыбнулась и, гордо держа красивую голову, не спеша перестукивая каблуками, закачалась по лестнице вниз.

Кряквин достал сигарету и, все еще затравленно дыша, закурил. Потом вернулся в номер.

— Слушай, Алешка! — рванулась к нему мать.— Как она к тебе пришла?

— Кто? Дешевка-то эта?

— Какая дешевка! — отмахнулась мать.— Мысль эта насчет меня? Ну чтобы я стала моделью? Ведь у меня же недоброе лицо...

— А у добра-то оно, мать, и недоброе... Да-а. Чтобы каждый за него не хватался!

— Ты думаешь?

— Не-ет... Уже подумал.

Зазвонил телефон. Кряквин медленно подошел к столику, нехотя снял трубку. Мать опять вернулась к зеркалу.

— Слушаю. Кряквин.

— Алексей Егорович? — тиховато сквозь шорохи поинтересовался голос в трубке.

— Да, Алексей Егорович,— громко сказал Кряквин.

— Это Михеев. Вы слышите меня? Я вас неважно слышу... Добрый вечер.

— Добрый вечер, Иван Андреевич. Слушаю вас.

— Алексей... Ксения не у тебя?

Кряквин напрягся и кашлянул.

— С какой стати, Иван Андреевич? А что?

— Да так... Извините, пожалуйста. Чем занимаетесь?

— Добротой.

— Чем-чем, не понял?

— С матерью про доброту разговариваю. Какое у добра выражение лица, выясняем.

— Извините, что помешал.

— Да нет, ничего, Иван Андреевич. У вас какое-нибудь дело ко мне?

— Да нет вроде...

— А может, все-таки что-нибудь есть? Ты говори, Иван. Тебе, может быть, там плохо? — крикнул Кряквин.

— Очень,— коротко отозвалось в трубке.

— Иван! Але! Ты меня слышишь?! — кричал Кряквин и услышал, как в мембране певуче зазуммерили отбойные гудки.

Кряквин, недоумевая, посмотрел на трубку и осторожно уложил в гнездо аппарата.

— Мам...

— Что?

— Понимаешь... я должен уехать.

— Валяй,— отмахнулась она.— Я привыкла... Вот посижу еще маленько и сама поеду домой.

— Ага,— кивнул Кряквин, надевая пиджак.— А если хочешь, то ночуй. Я коридорную предупрежу. Понимаешь, очень мне надо в одно место... Нехороший был звонок. Аж у самого вот здесь заколодо.

— Рановато,— усмехнулась мать.— Хотя... черт его знает. Вы же нынче все сумасшедшие. Завтра-то хоть позвонишь?

— Обязательно.

— Тогда иди.— Она поманила его к себе пальцем.

Кряквин, здоровый, рослый, подошел к ней, сухонькой, маленькой. Наклонил голову. Она поцеловала его в лоб, накрыв прохладными узкими ладонями уши.

— А теперь ступай, ступай...

Дальний берег пруда прихватило клубливым, белесо шевелящимся туманом. Низ его плотно лепился к черной и гладкой воде, подрезая неровно не доходящий до берега лунный мосток. Пахло сырью, тиной и нагревшимися за день лодками. Редкие свечи фонарей горели желтым подрагивающим светом. Было тихо и волгло.

Иван Андреевич сидел нахохлившись в лодке, зачаленной цепью к дощатому мокрому пирсу, на средней ее банке, держа на коленях портфель, и смотрел перед собой на просвеченную фонарным окружьем воду. Локти его упирались в колени, а ладони поддерживали и грели лицо. Между локтями на коже портфеля неясно поблескивал перламутровой ручкой крохотный, меньше ладони, браунинг...

Браунинг этот с единственным и совсем уж малюсеньким патроном в стволе передал Ивану Андреевичу весной сорок пятого неожиданно выживший в госпитале лейтенант-танкист. Его машину в упор рас-

стреляли на западной окраине Заксендорфа мальчишки-фаустники... Танкист разбудил тогда Ивана Андреевича посреди ночи и, протянув ему через промежуток между койками браунинг, горячо зашептал. Половину слов Иван Андреевич не расслышал, к нему накануне только-только вернулся слух, но в правом ухе все еще сипело и переливалось что-то от того, черного с красным, разрыва перед ним, когда он бежал под бомбежкой по летному полю к своему истребителю, на котором лишь завтра... завтра должен был стартовать в свой первый в жизни боевой вылет... да так и не полетел. «Возьми,— шептал танкист,— уже не надо... выжил, бери... отдашь еще... нибудь...»

И все эти долгие годы после войны, так неудачно и сразу окончившейся для Ивана Андреевича, он протаскал, испросив разрешение, этот изящный, поставленный на предохранитель сувенир. И вот сегодня с полчаса назад вспомнил о нем. Но — не сразу. Вначале после ухода Ксении Иван Андреевич долго сидел на веранде, вслушиваясь, как булькают в лужице под водостоком редкие капли. В душе все сильней и тревожнее саднило от понимания несправедливости и нелепости обвинения, которое только что обрушила на него жена. Он попытался взять себя в руки и спокойно разобраться во всем, но неожиданно подумал о Вере Владимировне. Ведь она-то тоже, не поняв его искренности, обвинила его... «В чем дело? В чем?..» Он решительно встал и позвонил Грининой. Телефон не ответил. Он тут же набрал номер Кряквина... Мир, оказывается, замкнулся сегодня для Ивана Андреевича на этих двух людях. Больше ему не с кем было сегодня поговорить. Это открытие наполнило его такой невыносимой тоской и отчаянием, что Иван Андреевич заметался по коттеджу... Он впервые разговаривал сам с собой вслух и впервые же вслух костерил себя всяко за мгновенную слабость, которую допустил в разговоре с Алексеем. Это вырвавшееся у него слово «очень» теперь мучило его...

Так он неожиданно вспомнил о браунинге. Так он быстро собрался, аккуратно упрятав в портфель чашку Веры Владимировны. Так он явился сюда, в тишину и туман.

Умереть Ивану Андреевичу было бы нестрашно. Он знал это точно. Жизнь, которую он прожил, прошла, в общем-то, ничего. Он не так уж и много напутал, наврал в ней. Совесть оставалась чистой. Только зачем было умирать? Он подумал об этом еще в коттедже, вспомнив о браунинге, а сейчас браунинг молча поблескивал между локтями. Зачем? Иван Андреевич напряженно думал, ища ответа. В конце-то концов он должен же был быть, этот ответ. Раз есть вопрос, значит, и есть где-то ответ... Зачем умирать?

Иван Андреевич смотрел в черную воду перед собой и только сейчас заметил в ней белую точечку. Он наклонился над бортом, но так и не разглядел, что там белеет... Иван Андреевич снял с коленей портфель, уложив его вместе с браунингом на дно лодки, а сам вытянулся вдоль борта. Уровнял и успокоил крен, стал опять вглядываться, и опять не узнал, что там такое. Тогда он начал раздеваться, пока не остался в одних трусах. Свежий воздух с пруда ознобил его тело. Иван Андреевич опустился в воду, и у него тут же перехватило дыхание. Но вода была теплой, он скоро привык к ней. Коснулся ногами мягкого дна, глубины хватало до подбородка. Иван Андреевич сориентировал себя на белую точечку, вдохнул и нырнул с открытыми глазами. В несколько гребков дотянулся до точечки, схватил и зажал ее в ладони. Всплывая, Иван Андреевич уже знал, что достал монету. И всплывая же, подумал, что если она на орле — все будет хорошо.

Вылез на пирс. Попрыгал по-мальчишески на одной ноге, вытряхивая из уха воду. Потом — разжал ладонь... Гривенник был на орле. Иван Андреевич улыбнулся. Вскочил в лодку. Поднял браунинг вверх,

отжимая предохранитель, и — спустил курок. Выстрела не последовало. Он опять взвел пружину и опять надавил спуск. Тишина. Иван Андреевич отвел затвор и посмотрел на желтое темечко капсюля. На нем отпечатались вмятинки бойка. «Ну еще раз, последний»,— решил Иван Андреевич и снова взвел курок. Надавил на спуск. Только клацнуло железо. «Ах ты дерьмо!» — весело подумал Иван Андреевич и, широко размахнувшись, швырнул браунинг в пруд...

А еще в этот вечер — вечер плыл над землей... Где-то с тихим дождем, где-то с ясной луной, где-то с ветром и грозами. Он венчал собой день. День — огромная жизнь. И был мудр, словно старость, и строг, как судья.

1974—1976.

АНАТОЛИЙ ЖИГУЛИН

★

ЧЕТЫРЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

***

Немощеная улица,
Спуск над Чернавским мостом.
И ленивое солнце
Бредет по ступеням скрипучим.
Я опять пребываю
В растаявшем времени том
С чувством горькой потери —
Тяжелым и жгучим.

Довоенный Воронеж.
Серебряный пух тополей.
Мимолетное, зыбкое
Очарованье...
И была эта улица
Родиной детской моей —
Самой ранней, начальной,
Какой не придумать названья...

Перелёшинской улицей
Встарь называлась она.
А потом получила
Тревожное имя Лассаля.
И менялись названия,
Как времена...
И пожары войны
По домишкам сухим заплясали.

А потом, в сорок третьем,
В обугленной черной трубе
Все окрестные ветры
Гудели, стонали, кричали...
Немощеная улица
В жизни моей и судьбе
Навсегда называется
Улицей первой печали.

***

Е. М. Раевской, В. Ф. Жигулину

Дорогие родители!
Мать и отец!

Не сердитесь, что письма
Пишу вам короче и реже.
Просто все тяжелеет
Судьбы незабытый свинец
И с годами печали
Больнее, чем прежде...

Но и нынче я помню
О дальнем, родном и святом.
И ночами все вижу
В картинах отчетливо резких:
По рассказам отца —
Деревенский жигулинский дом
И в старинном Воронеже —
Дом знаменитых Раевских.

Впрочем, нет.
«Знаменитых» — неправильно, нет.
Знаменитыми были
Далекие мамины предки:
В орденах — генерал;
А в цепях — декабрист и поэт,
Раньше прочих познавший
Тюремные камеры-клетки.

...А Жигулины родом
Откуда-то из-под Ельца.
Там и нынче в селе —
Все Жигулины да Жигулевы.
А потом — Богучар
И родная деревня отца
Монастырщина.
Сколько беды в этом слове!..

И луга за Подгорным —
Моя изначальная жизнь.
И горящий Воронеж —
Мое изначальное горе.
Две могучие крови
Во мне воедино слились,
И пошел я по жизни
В извечном душевном раздоре...

Не печальтесь, родные!
Я буду почаще писать.
И, конечно, приеду.
Дела и заботы отрину.
Еще многое мне
Вы должны о себе рассказать,
Чтобы я рассказал
Своему несмышленому сыну.

***

Даль и душа прояснились.
Стаял покров ледяной.

Будто лишь только приснились
Беды, что были со мной.

Буду спокойней и проще.
Буду учиться всерьез
У фиолетовой рощи
Дымных февральских берез.

Все позабуду печали —
Бедствий, разлук, похорон...
Что еще там накричали
Стаи голодных ворон?..

***

Цветы сажают в торф
И думают, что это
Отличный чернозем,
Прекрасная земля.
Но этот темный цвет —
Лишь внешняя примета,
Давно погибших трав
Горючая зола...

Я выдумал тебя
И сам свой бред разрушу.
Не чайка ты — сова
С провалом хищных глаз.
Как ядовитый торф,
Ты мне сжигала душу.
Последний уголек,
По счастью, не погас.

И пусть была тоска,
Пусть был обман недолог,
Пусть ты на третий день
Пришла ко мне сама.
Но как я мог не знать —
Ведь все-таки биолог! —
Особенности трав
И птичьего ума?!

Забуду навсегда —
Не больно и не жалко —
И все свои стихи,
И все твои слова...
Давно засохла та
Печальная фиалка.
Лишь кое-где взошла
Болотная трава.

ЧАРЛЬЗ П. СНОУ

★

ХРАНИТЕЛИ МУДРОСТИ*

Роман

17

В начале октября Реджинальд Суоффилд давал очередной обед в своем доме на Хилл-стрит. Он был в наилучшей своей форме — надувался важностью, сказали бы его недруги. Стоя в лиловом смокинге на пороге выходившей в холл малой гостиной, он приветствовал гостей на свой лад — обрушивал на них потоки бесцеремонных наставлений и медовой лести, соотношение которых зависело от его видов на данного гостя.

Парламент еще не заседал, а потому на обед смог прибыть министр по фамилии Хейдон-Смит; ничего удивительного в этом не было: министры имеют обыкновение принимать приглашения промышленных магнатов. Хейдон-Смит и его супруга были встречены преимущественно лестью, хотя Суоффилду не раз случалось отзываться о политиках как таковых весьма энергично, но без особого восторга. Весьма видный чиновник министерства финансов сэр Эрнест Пэк получил дозу почти одной только лести, хотя был молод и старался держаться в тени. Симингтоны, как старые знакомые и протеже, лестью были обделены, зато Суоффилд тут же принялся втолковывать Элисон, как ей следует вести себя во время беременности. Они оставались центром общего внимания, пока наконец не было установлено, что Элисон на третьем месяце. Дженни, которая по распоряжению Суоффилда привела с собой Лоримера, не получила ничего — он только потрепал ее по плечу и заговорщицки ухмыльнулся, показав глазами на ее спутника. Дженни не удивило, что разведывательная суоффилдовская служба докопалась до Лоримера. Словно ты прилипла с краю к паутине гигантского паука, ворчала она про себя, но скорее по привычке. Люди переставали сопротивляться Суоффилду, еще не успев этого осознать.

Они стояли в малой гостиной, которая, подобно большой гостиной наверху, была обставлена в полном соответствии с представлениями Суоффилда о том, как должна быть обставлена красивая комната, и пили первый из двух обязательных в этом доме предобеденных бокалов шампанского. Гости продолжали прибывать — вошли Клэры и были встречены чуть более парадно, чем Симингтоны, однако ненамного, так как теперь они принадлежали к империи Суоффилда. Клэр был по-прежнему величествен, как статуя викинга или балтийский барон во плоти, но его маленькая пучеглазая жена легко приходила в возбуждение, и вид у нее был такой, словно она к подобной роскоши не привыкла, хотя на самом деле было как раз наоборот.

Наконец явились Шифы, опоздав на четверть часа, так что Суоффилд уже закипал от нетерпения и досады. Однако Шиф был единственным человеком в этом обществе, которым Суоффилд искренне восхищался, а потому ему был подан первый бокал шампанского и предоставлена возможность отказаться от второго. Розалинда Шиф, чьи драгоценности, духи и туалет были и более дорогими, чем у остальных дам, и более изысканными, оглядела гостиную, высматривая наиболее интересного мужчину, и направилась туда, где стоял министр.

* Продолжение. Начало см. «Новый мир» №№ 1, 2 с. г.

Как ни восхищался Суоффилд лордом Шифом, он не мог подавить нетерпения и раздраженно притоптывал — обед задерживался, обдуманный до последней мелочи ритуал нарушался. И мгновение, миллисекунду спустя после того, как Шиф отказался от второго бокала, Суоффилд уже протягивал палец к кнопке у себя за спиной — кнопке такой же невидимой и потаенной, как те, на которые когда-то нажимал в своем министерском кабинете Хилмортон, регулируя и ускоряя конвейер посетителей.

Тотчас появился дворецкий:

— Мистер Суоффилд, кушать подано.

В полном соответствии с церемониалом. Сам Суоффилд исполнял этот церемониал, как дрессированный слон на арене цирка. Гости проследовали через холл в столовую, которая по старому лондонскому обычаю также находилась на первом этаже. Суоффилд, все еще пребывая на цирковой арене, стоял у конца стола, пока гости заглядывали в схему размещения и рассаживались. Когда все сели, Суоффилд, оставшись стоять, возвестил с лукавой ухмылкой:

— Итого тринадцать. Надеюсь, суеверных среди нас нет. Я не считаю нужным поощрять суеверия.

Сюрприз в его духе, подумала Дженни. Наверное, кому-то здесь это неприятно. Общество занялось едой. Над всем господствовал звучный голос Суоффилда.

Практически у каждого комментатора той эпохи, окажись он тут, сработал бы условный рефлекс, и он механически назвал бы этот обед «банкетом представителей правящей системы», хотя это вовсе не соответствовало бы истине. Комментаторы обладают особым даром вытравлять из слов их смысл — лорд Хилмортон, вероятно, сказал бы, что потому-то они и становятся комментаторами. Если термин «правящая система» что-то и означает, никто под него все равно не подпадал — даже министр, не говоря уж о светиле министерства финансов, чьи функции отличались странной неопределенностью и не позволяли причислить его к тем, кто принимает решения. Шиф время от времени давал экономические рекомендации сменяющим друг друга кабинетам. Но ни одна из них принята не была. Если уж ярлычки необходимы, то, пожалуй, еще можно было бы сказать, что это обед преуспевших. Доходы любого из сидевших за столом, кроме Дженни и Лоримера, исчислялись пятизначными цифрами, а то и далеко их превосходили, но это вовсе не открывало перед ними возможности воздействовать на мнения и уж тем более на решения. Что же касается Суоффилда, ни один механизм власти в Англии не прибегнул бы к его услугам — разве что в военное время его звезда возобладала бы над ними и он сумел бы пробиться наверх.

Но отсюда вовсе не следует, что Суоффилд присмирел. Он, например, объявил:

— Думаю, что в дальнейшем я буду устраивать только банкеты. А не маленькие обеды вроде нынешнего. Разве это обед? Я буду давать банкеты. Надеюсь, вы все со мной согласны.

Кое-кто из его гостей про себя с ним не согласился. Но что можно сделать с подобным человеком? Будь у них его миллионы, они не стали бы жить в таком чудовищном доме (столовая тоже была совершенно в его стиле — ослепительно-кричащей). И сумели бы принимать гостей по-настоящему.

Нельзя не отметить одной странности: хотя они не могли отрицать, что еда и напитки вполне терпимы, им не приходило в голову отдать должное его вкусу в этом отношении. Знаток сразу заметил бы, что такие кушанья и вина можно попробовать далеко не в каждом частном лондонском доме, и особенно вина — в них Суоффилд разбирался не хуже профессионального дегустатора. Шампанское он предлагал им почти пренебрежительно — как непосвященным, а они пили его почти все без исключения. Сам он не считал, что оно сочетается с едой, и пил отличный помероль. Компанию ему составил только сэр Эрнест Пэк. Остальные высокомерно отказались, ошибочно полагая, будто плебей ничему научиться не способен.

Возможно, репутация Суоффилда хотя и не стала бы много лучше, все же несколько облагородилась бы, если бы он не был полностью лишен чувства цвета и формы. Но к ним он был совершенно слеп — или воспринимал их на редкость извращенно,— что и определило облик его дома. Дом был именно таким, какого от него ожидали. Остальные его чувства были достаточно острыми и тонкими, но этого никто не

замечал. Правда, своим самодержавным поведением он давал своим гостям достаточно поводов оставаться при прежнем мнении.

Этот обед, как и все его празднества, скрывал дополнительную цель, и, пожалуй, не одну. Изливая потоки красноречия, он, например, организовывал свой будущий отдых. Решив, что ему следует переменить обстановку, он теперь приступил к подготовительным действиям с тщательностью и энергией завзятого путешественника. В первую очередь надо было заняться караван-сараем, поскольку Суоффилд не переносил одиночества. Многим из присутствующих были знакомы неожиданные вызовы в самые поздние часы — если он оказывался без общества (они все подозревали, что в доме бывают некие гостьи, им неизвестные), то требовал к себе кого-нибудь из своих придворных.

Во время отдыха он также нуждался в услугах своего двора. Транспортировка уже налажена, оповещал он стол. Его личный реактивный самолет доставит кого угодно куда угодно. Он думает начать с Дордони — сегодня днем он снял там виллу (кое-кто отметил про себя, что больше трех дней он в ней не задержится). Современных аэродромов поблизости нет, но в Тулузе самолет днем и ночью будут ожидать дежурные автомобили. Оставалось только принудить Клэров, Симингтонов, Дженни, Лоримера — любых приближенных, оказавшихся под рукой,— ими воспользоваться. Ведь Суоффилд не просто нуждался в обществе, люди вокруг требовались ему... для чего? Для рукоплесканий? Как благодарные должники? Как свидетельство его могущества?

Странно, думала Дженни, познакомившись поближе с этой его особенностью, что человек, всегда готовый схватиться с самым неподатливым противником, нуждается в подобных подпорках. Но другого объяснения она не находила. Вне привычного окружения он чувствовал себя неуверенно, а его окружение состояло из людей, которых он опекал и которые были в достаточной мере заинтересованы в дальнейших милостях. Наиболее подходящее окружение для беспокойного человека. Когда он отправлялся отдыхать, то забирал с собой и свое окружение.

По правую его руку сидела леди Клэр, а он кричал Клэру в дальнем конце стола:

— Вы с женой, конечно, приедете, Эдвард!

Клэр был не прочь поехать: бесплатный отдых и притом всевозможный комфорт и роскошь. С другой стороны, он не привык к подобным приглашениям — точно великодушный хозяин дает прибавку верному, но серенькому служащему. Теперь, когда он безнадежно запутался в паутине Суоффилда, тот изменил свою манеру держаться с ним.

Он взглянул на жену и начал вяло отговариваться:

— Это, разумеется, было бы очень приятно, но, как вам известно, мы связаны некоторыми обязательствами...

— Ну так развяжитесь,— заявил Суоффилд и тут же переключился на Симингтонов.— И вы оба тоже,— сказал он панибратским тоном.

В отличие от Клэра Лесли Симингтон ехать не хотел, а кроме того — также в отличие от Клэра — подобные приглашения были ему не внове.

— С величайшим бы удовольствием,— сказал он, сияя, и Элисон сказала то же.— Но...— продолжал Лесли, и она кивнула.

Они давали почувствовать свою радость, свою привязанность к Суоффилду — но только привязанность, а не заискивающее обожание. И при этом не слишком кривили душой — им действительно было с ним легче и проще, чем остальным.

Суоффилд опередил их: он все предусмотрел — они, конечно, опасаются, как бы это не повредило ребенку.

— В три месяца надо держать ухо востро,— сказал он с видом опытной повитухи, со всех сторон обыгрывая ситуацию.

Он обо всем позаботился. В соседней деревне есть отличный врач — с ним уже договорились и он явится по первому зову. На всякий случай предупреждены два специалиста в Тулузе. И трех часов не пройдет, как они будут на месте.

— Вам там будет куда спокойнее, чем в Челси. Я Челси не выношу,— добавил он, как будто намеревался по древнеримскому обычаю перепахать этот лондонский район и засеять его солью.

— Ну зачем вы себя затрудняли! — сказала Элисон неловко. Она засмеялась, но была тронута.

— Или я, по-вашему, допущу, чтобы что-нибудь случилось? — отрезал Суоффилд и повернулся к Дженни.— И вы приезжайте. Обязательно. И его привозите.— Он ухмыльнулся и показал глазами на Лоримера, умудрившись придать этим словам второй смысл, который окрасил и следующую вполне невинную фразу: — Полнейший комфорт. Все современные удобства в каждой спальне. Красивый вид из окон.

— Нет, мистер Суоффилд,— сказала Дженни столь же громко, как и он.— Сейчас я уехать никак не могу.

— Это еще почему, черт подери?

— Сейчас не время. Я ведь работаю всего два месяца, и многое еще не налажено.

Суоффилд уставился на нее выпученными глазами. Но не сказал, хотя и мог бы сказать, что не так уж важна ее работа. На свой манер он был достаточно деликатен. А потому, переводя взгляд на Лоримера, он потребовал:

— Скажите ей, чтобы она не валяла дурака. Поставьте на своем. Ей будет полезно отдохнуть

— Она права, знаете ли,— сказал Лоример голосом, скрипнувшим от усилия говорить внятно.— Она думает, какой подает пример. Она права, знаете ли.

Они противопоставили ему единый фронт — Дженни опиралась на здравый смысл, Лоример неуклюже ее поддерживал. Суоффилд настаивал, требовал, уговаривал с притворным добродушием, но они устояли, и он, как будто не столько сердясь, сколько недоумевая, оставил их в покое.

Затем все поднялись наверх в калейдоскопически пеструю гостиную. Гостям Суоффилда не полагалось разбиваться на группы, как прекрасно знали те, кто уже прошел дрессировку. Стулья были расставлены узким полукругом, так, чтобы разговор имел единый центр и Суоффилд мог дирижировать своим излюбленным развлечением. Перед тем как гостей обнесли напитками, Хейдон-Смит успел обменяться несколькими фразами с лордом Шифом. Шиф произвел на министра хорошее впечатление, но он не расслышал его фамилии... Во всяком случае, не Шип, а уж скорее Шин. Шир? Министр был человеком либеральных взглядов, ведал развитием заморских территорий и любил неторопливо обсуждать приятные темы с другими людьми либеральных взглядов. И он начал объяснять Шифу, скольким обязана Англия последнему притоку еврейских талантов. Финансистам, предпринимателям, промышленникам, прибывшим в страну в тридцатых годах и позже.

— Они сделали для страны даже больше, чем старые еврейские семьи, а ведь те сделали немало,— заметил Хейдон-Смит.— Право, не знаю, как мы сумели бы обойтись без всех этих умнейших джентльменов еврейского происхождения.

Лорд Шиф улыбнулся самой любезной улыбкой.

— Мы считаем, господин министр, нам есть за что отплачивать. Согласитесь, это вполне разумно, не так ли?

Допустив бестактность, тактичнейший политик Хейдон-Смит был глубоко удручен. Впрочем, он мог бы и не краснеть. Азик Шиф не имел обыкновения выискивать в чужих словах обидные намеки и был среди присутствующих, пожалуй, самым неуязвимым.

После обеда Суоффилд предложил гостям коллекционный портвейн — коллекционный потому, что любил щегольнуть всем самым лучшим, и еще потому, что этот портвейн ему попросту нравился. Затем он начал развлекаться. Дженни наблюдала его за такими забавами уже не в первый раз. Особенно ему нравилось публично обсуждать частные дела кого-нибудь из своих придворных или тех, кто от него зависел,— как было проделано с ней в тот вечер в палате лордов. Из этого он извлекал большое и хитро сплетенное удовольствие. Занимательней всего было заставить кого-нибудь поделиться сведениями о ее (или его) любовных делах — особенно если подразумевались какие-то физиологические осечки, а разговор велся в присутствии именитых, чинных и чопорных гостей. Дженни ожидала чего-то в этом роде, но ошиблась. То ли среди возможных объектов не нашлось никого подходящего, то ли именитые гости были не из тех, кого легко шокировать, а к тому же могли пригодиться ему для других целей.

А Дженни не подчинилась ему, отказалась поехать на виллу, и надо было указать ей ее место.

Без всякого вступления он уставился на нее и заговорил так, словно, кроме них, никого в комнате не было.

— Это ваше дельце,— сказал он.— Я сейчас объясню, что от вас требуется.

Дженни, хотя она-то не допустила никакой бестактности, покраснела совсем как министр несколько минут назад. Ничего подобного она не ожидала. Суоффилд деловито перебрал все подробности. В этой гостиной, перед людьми, со многими из которых она прежде не была знакома, включая министра и сэра Эрнеста Пэка, он вернулся к истории с завещанием, рассказал о своем непременном желании опротестовать его, о процессе и об апелляции. Несмотря на злокозненные суоффилдовские комментарии, рассказ занял довольно мало времени. Хотя Дженни была не в том настроении, чтобы оценить его по достоинству, он представлял собой мастерское резюме — более ясно и сжато изложить суть дела не смог бы и сэр Эрнест.

Имелась, правда, одна несообразность, уловил которую только Симингтон. У него на этой неделе был разговор с Суоффилдом, потому что светоч юриспруденции прислал наконец свое заключение. Оно, правда, как полагается, было достаточно двусмысленным. Его можно было истолковать и так, что апелляционная жалоба будет отклонена. Но Суоффилд на манер премьер-министра, получившего не совсем тот доклад, какой ему хотелось бы, предпочел истолковать мнение светила по-своему — как совет прийти к соглашению с противной стороной. То есть Суоффилд приказывал Дженни сложить оружие.

— Они предлагали нам отступного, чтобы от нее откупиться,— сообщил Суоффилд всем присутствующим, которые слушали с интересом, и не только из вежливости, а Хейдон-Смит умудренно кивал.— Но они давали мало,— продолжал Суоффилд.— А мы предложим им больше, пусть успокоятся и помалкивают. Три четверти лучше, чем ничего. А с этим пора кончать.— И он отдал приказ Дженни: — Вот, милая моя, как вы поступите.

Он смерил ее торжествующим взглядом, готовый к ее возражениям, готовый сокрушить ее.

Посторонние люди смотрели на нее с любопытством.

— Да, конечно,— сказала Дженни.— Я не сомневаюсь, что вы совершенно правы.

Она сказала это не особенно любезно. Ей надоели его команды. Часто она попросту его ненавидела. И тем не менее она его уважала. Она уже успела узнать, что, каким бы смерчем ни закручивались его побуждения, выводы, к которым он приходил,— пусть он и придавал им самую развязную и нелепую форму — оказывались удивительно здравыми.

— Я убежден, что так будет лучше всего,— сказал Симингтон.— Вы ведь согласны, не правда ли?

— Да, конечно, согласна.— С ним она была более резка, чем с Суоффилдом, потому что считала его другом и рассчитывала на его защиту.— Я согласна, не надо меня уговаривать.

— Мы все надеемся, что теперь это можно будет убрать под сукно,— вмешался лорд Клэр.— Новая газетная шумиха нам совершенно ни к чему.

Он изрек очевидную истину с большим апломбом, и остальные согласились. Репортеры докопались до связи Джулиана Андервуда с Лиз Хилмортон, а в этом обществе репортеров недолюбливали.

Суоффилд, по-прежнему сверля Дженни взглядом, обрушил на нее новые вопросы. Вновь покраснев, она отвечала не слишком смиренно, но все-таки уступчиво и даже почтительно. Ему не удалось ее спровоцировать. Она согласна, она поступит так, как ей советуют. Суоффилд пожал плечами обескураженно и растерянно, как человек, который, изо всех сил толкнув дверь, вдруг обнаруживает, что она заперта.

Вскоре после этого, хотя еще не было одиннадцати — время для обеда, начавшегося в половине девятого, еще раннее,— Суоффилд вновь начал проявлять признаки нетерпения. Он опять притоптывал ногой, как прежде в ожидании запаздывающих гостей, и сверкал глазами, потому что они не расходились. Его приближенные заподозрили, что он ожидает в этот вечер кого-то еще, а может быть, этот кто-то уже здесь,

в доме. Суоффилда в таком качестве никто из них не знал. Ему нравилось выставлять напоказ чужие жизни, но для своей собственной он делал исключение.

Те, кто распознал эти признаки, начали прощаться. Хейдон-Смиты и Пэки с некоторым удивлением тоже поднялись.

— Вам уже пора? — сказал Суоффилд, явно не пытаясь их удерживать.— Понимаю, понимаю. Я и сам не сыч.

Эта странная метафора, наследие суоффилдовского прошлого, поставила их всех в тупик. По-видимому, она означала, что Суоффилд привык ложиться спать рано, но Симингтонов это опять-таки поставило в тупик: совсем недавно он затребовал их к ужину в час ночи.

Когда прощание закончилось и гости повернулись к открытой двери, Суоффилд бросил заключительную двусмысленную фразу:

— Спасибо, что пришли. Было очень приятно вас послушать.

Что прятала эта широкая улыбка — насмешку или простодушие? Неужели он и правда не сознавал, что восемьдесят процентов времени говорил сам?

Пэки направились к своей казенной машине. Хейдон-Смиты, любезно пожелав всем доброй ночи, направились к своей. Миссис Хейдон-Смит, на которую этот вечер произвел довольно своеобразное впечатление, спросила мужа, что он думает о Суоффилде. В частной жизни Хейдон-Смит не был лишен чувства юмора, но он обладал даром политика не осуждать человека, пока тот на коне,— даже наедине с женой, даже в собственных мыслях,— тем более если человек этот так влиятелен, как Суоффилд. И, поразмыслив, Хейдон-Смит ответил:

— Я, пожалуй, сказал бы, что он весьма оригинальная личность.

18

Палата лордов в этот вечер была заполнена людьми — и не только зал заседаний, но и библиотека тоже, и гостиная, и буфет, и все укромные уголки. Супруги пэров сидели по одну сторону так называемого барьера, остальные гости — напротив них. В дальнем конце зала убеленные сединами светила палаты общин сидели на ступенях трона бок о бок с сыновьями пэров, в иных случаях еще совсем мальчишками. Зрители наблюдали за происходящим с галерей.

Как в театре на спектакле с аншлагом, многолюдность сама по себе возбуждала и пьянила. Смех раздавался непривычно часто, и опытный актер распознал бы под внешней флегматичностью легкий намек на истерику. Умелый оратор мог бы сыграть на этом. Но никто даже не пробовал. Лились потоки округлых фраз. Речи прочитывались с листов, которые, конечно, могли быть всего-навсего заметками, но тем не менее сразу же вручались парламентским репортерам всей пачкой. Читать речи запрещалось правилом, которое всегда нарушалось. Существовало еще правило, запрещавшее резкие выражения,— оно обычно соблюдалось. Как и в этот вечер. Было 28 октября, второй день дебатов о вступлении Англии в Европейское экономическое сообщество. Позже в этот же вечер должно было состояться голосование.

Его результаты были предопределены. Только человек, не желающий ничего знать о реальном положении вещей, мог бы в них усомниться. Да и в любом случае они никакого значения не имели, ибо палата общин заседала уже пять с половиной дней и вот-вот должна была достаточно дружно проголосовать за. Но вот каким большинством? В буфете, как когда-то на трансатлантических лайнерах, весело заключались пари — придем с рекордом, ниже рекорда, заметно ниже. За рекорд было принято четыреста голосов и выше. Так примерно и будет, заявил кто-то с той же уверенностью, с какой в дни юности побился бы об заклад в салоне «Куин Мэри».

— Классический случай перегибания палки,— заметил более рассудительный голос.

Официальные партийные повестки не рассылались, и значительная часть оппозиции голосовала за правительство. Впрочем, кое-какие неофициальные вызовы посланы были, и вовсе не случайно на этих заседаниях в палате мелькали лица, которые были знакомы далеко не всем,— это также сулило правительству лишние голоса. Дебаты,

выражаясь языком боксеров, были боем с тенью. Политические круги нации были за вступление, как и наиболее энергичная часть молодежи. Трезвые наблюдатели прекрасно знали, что референдум сказал бы «нет». Но, замечали в буфете либералы, референдум сказал бы «нет» и отмене смертной казни. Но, замечали консерваторы, референдум сказал бы «нет» и вступлению в войну в 1939 году.

Правда, находились и противники вступления. Как случается не столь уж редко, крайне левые и крайне правые говорили на одном языке. Однако — случай более редкий — к ним присоединились несколько профессиональных экономистов, хотя говорили они на совсем другом языке. И еще два-три человека, подобных неугомонному Ланжюине, который с начала и до конца Французской революции говорил «нет» на что угодно.

В гостиной вспыхнул спор, как будто шутливый, но не совсем. Шли часы, и все больше людей ощущало, что атмосфера, хотя и не совсем безоблачная, в целом остается достаточно солнечной.

Дебаты начались накануне вечером, и девять речей из десяти призывали к вступлению. Особого ликования не наблюдалось. Общий тон оставался здравым, практичным, осмотрительным (il faut parier [1], по выражению Паскаля), а у двух ораторов, прислушивающихся к молодежи, он обрел оттенок восторженности.

Насколько помнили Хилмортон, Райл и Седжвик, они впервые выступали в одних дебатах — причем все трое на одной стороне.

Как одно из светил палаты, бывший член кабинета, давний и почитаемый деятель консервативной партии, Хилмортон выступал четвертым в первый день. Его речь удивительно не походила на его частные разговоры — никакой иронии, ни малейшей отстраненности, почти полное отсутствие рассуждений. Она словно специально предназначалась для утешения клэров и лоримеров его партии, но странность заключалась в том, что ничего подобного в его намерения не входило — просто на трибуне он всегда бывал заметно более ортодоксален и банален, чем могли бы ожидать те, кому доводилось слышать его кулуарные рассуждения.

Это правильно, сказал он с тем жаром, с каким произносятся спичи во время официальных приемов, правительство совершенно право: иного выхода нет. Ему не хотелось бы стать свидетелем того, как его соотечественники становятся беднее их собратьев-европейцев. А другого способа воспрепятствовать этому не существует. Он полагает свой долг (это было сказано с глубочайшей серьезностью) в том, чтобы не приуменьшать трудностей. По его убеждению, в ближайшие несколько лет после вступления в Сообщество многим придется испытать определенные лишения, возможно даже пойти на жертвы. Но мужественный народ всегда готов на жертвы в настоящем, если они явятся залогом лучшего будущего. Когда он сел, последовали достаточно энергичные крики одобрения, а также записки с передней скамьи: на тех, кто сидел там, скептическая позиция «над схваткой», которой Хилмортон придерживался в частных разговорах, действовала обескураживающе.

В палате лордов в отличие от палаты общин порядок выступлений устанавливается заранее неким аппаратом, который торжественно именуется «надлежащими инстанциями». Другими словами, это решают парламентские организаторы с помощью партийных лидеров. «Надлежащие инстанции», деликатно приняв во внимание недуг Седжвика, назначили его речь на начало второго заседания. Он во что бы то ни стало хотел выступить, и это вызвало некоторую неловкость — тем, кто ценил его точную, изящную манеру говорить, было тягостно слышать, как он теперь мямлит и бормочет. Но сама речь была образцом изящества и краткости. Многие государственные мужи почтенного возраста, а также не государственные мужи и даже люди не очень почтенного возраста неколебимо верят, что длина речи должна быть прямо пропорциональна важности темы. И в этих дебатах подобало говорить не менее получаса. Седжвик же считал, что всякий человек обязан укладываться в десять минут, о чем бы он ни говорил, будь то даже конец света. Десять насыщенных минут. Он не менее любого из присутствующих убежден, что Англии необходимо вступить в Европейское сообщество. Почти все ученые придерживаются того же мнения. Они по самому своему духу

[1] Лучше играть наверняка (*франц.*).

интернационалисты. Национальное государство кажется им в лучшем случае устаревшим понятием. Европейское сообщество — всего лишь начало, и смысл его в том, что оно может стать первым шагом на пути к более разумному устройству мира.

Аплодисменты — как вздох облегчения, когда мучительные усилия языка и губ наконец завершились, и ворчливые замечания вполголоса: слишком уж академично, ученые не способны взглянуть на дело просто.

Райл, у которого не было никаких прав на особые привилегии, выступил в самый невыигрышный момент — на втором вечернем заседании около восьми часов, когда большинство лордов отправилось ужинать, а добросовестное меньшинство позевывало от утомления,— и произнес очень плохую, сбивчивую речь. Отчасти потому, что в отличие от своих друзей он относился к вступлению в Сообщество двойственно, хотя разумом уже давно признал его необходимость. Не ясно, что было тут причиной — его профессия историка, душевные склонности или, как ни странно, тот факт, что он не принадлежал ни к аристократии крови, ни к аристократии духа, но, во всяком случае, прошлое властвовало над ним гораздо сильнее, чем над Хилмортоном и Седжвиком.

Как бы то ни было, речь он произнес плохую — она не вызвала ни малейшего интереса и не была упомянута в утренних сообщениях о заседании парламента. Путаные исторические рассуждения. В XVIII и XIX веках на долю их страны выпала невероятная удача (как прежде на долю венецианцев, он вновь и вновь возвращался к этой мысли, хотя вслух ее ни разу не высказал). За последние сто лет удача иссякла. Когда страна находилась на вершине своего могущества, наши предшественники, включая наших предшественников и здесь, в этой палате, и в палате общин, были непростительно слепы к будущему, хотя не было недостатка в попытках помочь им прозреть. Теперь мы вернулись к более естественному для нас положению, но историческое наследие все еще тяготеет над нами, а кроме того, приходится расплачиваться за долги империи. Вот почему мы сами должны ковать свою удачу, оценивая свое положение с реалистических позиций. А выбор у нас ограничен: за исключением Европейского сообщества, иного реалистического выхода у нас нет.

Райл вернулся на свое место очень недовольный собой — его не слишком заботило, какое впечатление произведет его речь, но было неприятно, что она хуже, чем прочие. В палате лордов всякого, кто произнес речь, какой бы она ни была, ждали щедрые поздравления знакомых, словно всякое устное выступление само по себе было чем-то новым и поразительным, а потому и он получил свою долю, пока шел по коридорам, и потом, в буфете. Однако, сидя с Хилмортоном за угловым столиком, Райл, как в свое время Дженни после дачи показаний в суде, был бы рад услышать слова дружеской поддержки. Хилмортон вышел из положения, задумчиво заметив:

— Собственно, ничего нового во время этих дебатов сказано не было, как по-вашему? Возможно,— продолжал рассуждать Хилмортон,— столько уже сказано, что вообще нельзя сказать ничего нового. Возможно,— добавил он еще более задумчиво,— попытка сказать что-то новое была бы большой ошибкой.

Более конкретно оценивать выступление Джеймса Райла он не стал. В буфете стоял такой шум, что они перешли в гостиную, но и там было столь же людно и не менее шумно. Все ждали заключительных речей тех, кто сидел на передних скамьях.

Зал заседаний был вновь набит битком: люди сидели в проходах и на подушках перед лордом-канцлером, стояли где кто мог (на галереях негде было яблоку упасть)— и все для того, чтобы услышать заключительные речи, которые хотя и были надлежаще длинными в полном соответствии с торжественностью момента, однако, как успел предсказать Хилмортон, ничего нового в себе не содержали.

Наконец — все когда-нибудь кончается — вопрос был поставлен на голосование. Общий гул согласия. Тут и там ропот несогласия. «Мне кажется, большинство высказалось за». Вновь ропот несогласия. «Те, кто согласен, проходят справа мимо трона, те, кто нет,— слева вдоль барьера». Для того чтобы согласные прошествовали в кулуары, потребовалось добрых четверть часа (никогда еще в анналах палаты лордов ни по одному биллю не подавалось столько голосов; впрочем, причиной, в частности, было то прозаическое обстоятельство, что никогда еще она не насчитывала столько членов). «За — четыреста пятьдесят один голос. Против — пятьдесят восемь». Взрыв

одобрительных криков. Пьянящая радость. Цель достигнута. Кто-то замечает, что возбуждение царит такое, словно: а) это голосование что-то решало, тогда как все уже решено палатой общин; б) исход был сомнителен, а не предопределен заранее. Но тот, кто это сказал, был невосприимчив к групповым эмоциям.

Возбуждение не спадало. Люди праздновали это событие в буфетах так, как в свое время другие люди праздновали окончание очередной войны. От винных паров, от табачного дыма и победных восторгов в гостиной стало так душно, что пришлось открыть окна. Хилмортон и Райл встали у окна, чтобы глотнуть свежего воздуха. Над рекой висела тепловатая, туманная, грустная осенняя ночь, и Райл оглянулся на празднующих.

— И ведь это не только жалкий самообман,— сказал он.

— Не только,— согласился Хилмортон, догадываясь, что у Райла на душе не слишком спокойно. И добавил как бы между прочим: — По-моему, мы сделали все, что от нас требовалось. Может быть, пойдем?

И они пошли в туманной мгле вдоль решетки парламентского двора. Они могли бы пойти к Райлу — его квартира была совсем рядом — или в какой-нибудь из клубов Райла, в самый ближний. Но они пошли к Бруксу. В таком выборе после этого вечера Райлу могла почудиться приличествующая случаю элегичность. Однако Хилмортон никакой элегичности не чувствовал. Он сказал опять как бы между прочим:

— Ну, с этим покончено.

— Да, пожалуй.

Они стояли на перекрестке, дожидаясь зеленого света.

— Погодите десять лет. Интересно будет посмотреть, что из этого выйдет.

— Должен сказать,— не сдержался Райл,— что это очень глубокое замечание.

Хилмортон мягко улыбнулся, но в отличие от приятеля он не выдал своих мыслей. Отстраненность была надежной маской для сомнений, для чувств — как и высокопарные банальности. Годилось и то и другое.

Они свернули к Сент-Джеймс-стрит; это был почти тот же путь, который Хилмортон предпочитал днем,— почти, но не совсем. Не вдоль парка, а через Уайтхолл, совсем пустынный в этот поздний час. Только в министерстве финансов где-то высоко светилось единственное окно.

В дни их молодости эта улица таила для них что-то притягательное. Притягательность государственной власти. А для Хилмортона, пожалуй, и личной. Воспоминания не являются по заказу. Вот они идут, два солидных пожилых человека, идут неторопливо и думают. Хилмортон говорит что-то о будущем — какие-то пустяки. Они проходят Даунинг-стрит, но мысли его не обращаются к тому первому разу, когда он был приглашен сюда. И Райл не вспомнил того своего знакомого, который в тридцатых годах однажды воскликнул с жаром: «А вы отдаете себе отчет, что важнее Даунинг-стрит нет улицы в мире?» Собственно говоря, это и тогда не отвечало истинному положению вещей. Быть может, когда-то, в дни процветания, так оно и было. Но больше уже никогда не будет.

Со всем этим они давно смирились. Приспосабливаешься. И эти два последних дня они тоже приспосабливались. Надо чувствовать, когда пора уходить, и нельзя без конца притворяться, будто ты сильнее, чем есть на самом деле. И все-таки, как тщательно ни скрывал это Хилмортон, в их настроение вплеталась ностальгия. Тем не менее они не утратили спокойной уверенности людей, изведавших вкус удачи и по опыту знающих, как это бывает, когда определяешь ход событий. С ней так просто не расстаются.

Они шли, не замечая знакомых мест, чувствуя себя уютно здесь, в этой части Лондона, которая была им так привычна.

19

По вечерам в эту осень Лиз лежала в постели Джулиана, а к окнам льнула темнота, укрывая их от всего, что было снаружи, даруя ей целительные минуты, когда тревога вдруг исчезала, а Джулиан бывал с ней особенно милым — он принадлежал

к тем мужчинам, которые в эпилоге становятся ласковыми и нежными. Половой жизни он предпочитал посвящать время между чаем и ужином, и Лиз приспособилась к его расписанию. Отступив от аскетизма в одном отношении, он некоторое время с удовольствием просто лежал рядом с ней, а потом безмятежно ждал, когда настанет пора вернуться к аскетизму за ужином.

Ему нравилось смотреть, как она собирает этот ужин, расхаживая по квартире в полной наготе (это ему тоже нравилось), достает кефир, сыр, чеснок и хлеб из муки грубого помола, или же — если он решал побаловать себя — сбивает омлет. Ну и очень хорошо. В свое время она не поверила бы, что ей придется готовить для мужчины подобный ужин, но теперь это разумелось само собой.

И очень хорошо. Однако ее планы ничуть не приближались к осуществлению. Кое-что новое было — и обнадеживающее и неприятное. Она не осмелилась подтолкнуть Джулиана, как подтолкнула отца. Тут обычное мужество ей изменило. Иногда она прощупывала почву, но так нерешительно, так робко, что была сама себе противна. А Джулиан в таких случаях укрывался в тумане дразнящих неопределенностей. Нередко он отвечал, сияя простодушным блаженным оптимизмом:

— Наберемся терпения. Подождем, чтобы это дело уладилось. А тогда все будет хорошо.

В эти минуты, в его присутствии, Лиз, как это свойственно подозрительным и ревнивым натурам, легко поддавалась на уговоры, легко верила всему — куда легче, чем поддалась бы женщина попроще. Однако стоило ей расстаться с ним, и сомнения, недоверие возвращались, и порой она даже бормотала вслух:

— Можно привести лошадь к водопою, но нельзя заставить ее пить.

Но тут же заставляла себя вспоминать его слова и вновь делалась любящей и счастливой. А кроме того, она как будто добилась чего-то от отца.

Вот это и обнадеживало. Он пригласил ее встретиться с ним в гостиной палаты лордов незадолго перед заседанием, посвященным вступлению страны в Европейское сообщество. И после долгих обиняков и прощупываний сообщил ей, что «нашел способ внести свою скромную лепту». Не совсем сейчас. Это дар, который может быть реализован после того, как он проживет еще семь лет. В случае необходимости часть можно будет получить на два года раньше. Быть может, эти сведения окажутся ей «в какой-то мере полезными».

Сколько? Она задала этот вопрос прямо, на что никогда не решилась бы с Джулианом. Но лорд Хилмортон вновь прибегнул к обинякам. Точно сказать нельзя, все зависит от курса некоторых ценных бумаг, это будет лишь скромный вклад, богатой она не станет, но сказать, что сумма совсем уж незначительная, тоже нельзя.

Ему как будто нравилось нарочно все затемнять и тем не менее чувствовать, что он все-таки ей помогает. Пока он разыгрывал эти вариации, в гостиную вошел Джеймс Райл и подсел к ним. Лиз подозрительно спросила себя, не было ли это подготовлено заранее для пущего затемнения. И не знает ли Райл того, о чем ей сообщил отец. Но как бы то ни было, разговор перешел на общие темы. Ей казалось, что Райл глядит на нее так, словно принимает ее судьбу ближе к сердцу, чем отец, но о Джулиане он не упомянул.

Всю осень Джулиан был весел — в этом не было бы ничего странного, но он словно радовался про себя, как министр, приберегающий до случая сведения, которые сокрушат оппозицию, или налоговый инспектор, после долгих бесплодных усилий наконец нашедший способ разоблачить уловки миллионера. Джулиан встречал незримое (другими словами, будущее) не то чтобы восторженным «ура», но со снисходительным одобрением.

После разговора с отцом она в тот же вечер, когда они с Джулианом лежали в постели, рассказала ему — приурочив эту новость к минутам блаженного умиротворения — об отцовском обещании. Джулиан и это встретил со снисходительным одобрением. Он поцеловал ее (не так, как целовал пятнадцать минут назад) и сказал:

— Умница! — Потом загоготал и прочел ей лекцию о падении покупательной силы денег.— Нам надо оградить себя. Твой отец обязан принять меры, чтобы то, что он отдает нам, не пошло прахом. Не знаю, насколько он благоразумен.

Несмотря на такое недоверие к деловым качествам лорда Хилмортона, Джулиан

был доволен. Но эта осень ознаменовалась обстоятельством, всего одним обстоятельством, которым Джулиан доволен не был. Как и лорд Хилмортон. Оба они, наверное, очень удивились бы, узнав, что в чем-то их мнения сошлись.

Беда, как намекнул лорд Клэр на званом обеде у Суоффилда, заключалась в репортерах. Родовитые семьи вроде Хилмортонов утратили прежнее могущество и былые социальные функции, но не утратили притягательности для скандальной хроники. Имя леди Элизабет Фокс-Милнс еще обеспечивало две-три строчки во многих газетах. Не требовалось особого сыскного дара, чтобы нащупать связь между ней и проигравшей стороной в деле Мэсси. Все началось с того, что какой-то репортер увидел, как в суде она села рядом с Джулианом. Хотя из-за скаредности Джулиана они очень редко бывали где-нибудь вместе, их имена постоянно появлялись рядом на газетных страницах. У Джулиана начинала развиваться настоящая мания преследования. То он думал, что весь дом в Филлимор-Гарденс находится под наблюдением, то предполагал, что дворник подкуплен журналистами, то не сомневался, что верны оба эти предположения.

Лорд Хилмортон, который про себя винил во всем Джулиана, тоже был недоволен газетной шумихой. Райлу и другим близким людям он высказывал это недовольство почти со злостью. Возможно, это вызвало бы недоумение у тех, кто помнил, что он человек весьма житейски опытный и всю жизнь был профессиональным политиком. Однако профессиональные политики хотя и живут газетной шумихой, не утрачивают к ней восприимчивости. В большинстве они с возрастом становятся не менее, а даже более чувствительными к уколам, и их приветливое обращение с репортерами скрывает опасливое недоверие. Порой так случается и с теми из них, от кого, казалось бы, никак нельзя было ждать ничего подобного и кто весьма успешно подражал ироническому безразличию лорда Мельбурна,— ну, скажем, сам Хилмортон.

У Джулиана газетная шумиха вызывала примерно такую же злость. Это привело бы в недоумение всех, кто его знал — всех его женщин. И приводило в недоумение Лиз, которой как никому на свете было известно, что он абсолютно бесстыден. Иных критериев, кроме собственного удовольствия (при условии, что за удовольствие это не приходилось расплачиваться), он не признавал. И тем не менее его оскорбляли, нравственно оскорбляли бойкие заметки, хитро намекавшие на то, что он живет с Лиз.

Когда-то, лет десять—двенадцать назад, он фигурировал в бракоразводном процессе как соответчик. Ему не пришло в голову, что с точки зрения абстрактной справедливости он должен был бы фигурировать в таком качестве не раз и не два. Наоборот, и тогда и до сих пор он не испытывал ничего, кроме глубочайшего высоконравственного негодования. С ним обошлись возмутительно! Лицемерие? Но Лиз давно уже должна была признать, что он менее всего лицемерен. Она верила, будто понимает любое выражение его лица, однако он оставался ей совершенно непонятен. Ей пришлось прибегнуть к самым банальным объяснениям: например, что ему неприятна огласка, так как она может причинить боль его матери. Она убеждала себя в этом вопреки тому, что ни одно из замечаний судьи Бозанкета по адресу его матери нисколько (Лиз знала, что тут она не ошибается), ну нисколько его не задело.

Какой-то репортер вытащил на свет этот забытый бракоразводный процесс. Подробности были в достаточной мере пикантными. Речь шла о жене довольно видного деятеля консервативной партии, который с тех пор занял еще более видное положение. Джулиан сердился, но не только сердился, а словно бы чувствовал себя виноватым и был полон раскаяния. Лиз помнила случаи, когда он, задев ее особенно больно, не скупился на выражения притворного раскаяния, но теперь он казался искренним. Она ничего не понимала.

Лорд Хилмортон тоже был рассержен воскрешением этого забытого процесса, но он никакого раскаянья не испытывал. Разводы в его кругу не были редкостью — как и браки (в том числе, по мнению политических сплетников, его собственный), которые сохранялись только для соблюдения видимости, столь необходимой в политической игре. Но, с другой стороны, все обходилось без скабрезных скандальчиков — во всяком случае, публичных. Лорд Хилмортон мог примириться с чем угодно при условии, что тайное не становилось явным. Но уж тогда он принимал позу блюстителя нравов — правда, из самых практических соображений. С условностями необходимо считаться. Иначе будут подорваны устои общества и все рухнет. Вот почему он если и

не проникся к Джулиану еще большей неприязнью (где-то в самой глубине его души теплилось нечто вроде симпатии к человеку, по-своему не менее уклончивому и несокрушимому, чем он сам), то получил лишний повод желать, чтобы он исчез из жизни Лиз.

Лорд Хилмортон не мог знать, что как раз тогда в результате все той же огласки Джулиан именно это и предложил Лиз — исчезнуть из ее жизни, хотя бы притворно. Не следует ли им для вида порвать друг с другом? Не лучше ли ей перестать бывать у него? Они могут встречаться где-нибудь еще или же вовсе не видеться, пока сплетни не утихнут.

Успокоило бы Хилмортона это предложение, если бы он его услышал? Конечно, нет. Слишком часто ему доводилось наблюдать, как и мужчины и женщины разыгрывают этот любовный гамбит. Джулиан искренне верил, что за его квартирой установлена слежка, он даже убедил себя, что по тротуару напротив часами расхаживает человек в макинтоше. (Это был чистейший самообман.) А потому он предпочел бы встречаться с Лиз в каком-нибудь другом месте.

В остальном же он попросту наслаждался своей властью над ней. Подслушав их, лорд Хилмортон услышал бы, как захлебывается рыданиями его дочь. Хилмортон не был особенно добросердечен, но эта сцена ему не понравилась бы, и к тому же он уловил бы главное: что у них не было ни малейшего намерения расставаться — причем не только у Лиз, но и у Джулиана.

Но ссорились они довольно редко: Джулиан делал все по-своему, а она ему уступала. Ей удавалось получать кое-какие сведения о подготовке соглашения, хотя о совещаниях с юристами она узнавала из вторых рук. Она выяснила, что против доведения дела до апелляционного суда был не только Скелдинг, но и адвокат. Необходимо договориться на разумных основах, убеждали они, совсем как Суоффилд убеждал Дженни в конце своего званого обеда. Частное соглашение вне стен суда — на взаимно выгодных условиях. Каждой из сторон скорее всего придется уплатить двадцать—тридцать тысяч фунтов судебных издержек. Капитал таял на глазах. И тем не менее все здравомыслящие люди настаивали на соглашении.

Хилмортон хотел этого — конец сплетням, конец заботам (он редко писал дочери, но тут отступил от своей привычки). Миссис Андервуд, как узнала Лиз от Джулиана, хотела этого. А чего хочет он? Денег, сказал он, и она успокоилась, уверенная, что он тоже хочет этого соглашения.

Миссис Андервуд дала ей понять, что адвокаты обнаружили новое свидетельство в их пользу. Как оказалось, незадолго до смерти старого Мэсси его посетил приходский священник. Правда, прямой связи с делом это не имело, а к тому же адвокаты считали, что апелляционный суд вряд ли разрешит представлять новые свидетельства. Тем не менее лишний козырь при переговорах не помешает, и они ободрились, хотя Джулиан ни в каких ободрениях не нуждался.

В эту осень и еще одна пара обсуждала возможность соглашения, хотя обсуждение это и велось несколько односторонне, поскольку говорил только один из собеседников. Во время длительных парламентских дебатов Дженни из вечера в вечер сидела с Лоримером в гостиной палаты лордов, а когда заседаний не было, она заходила к нему домой в Пимлико и готовила ему ужин. Симингтон, вернувшийся из Дордони,— Суоффилд все еще судорожно скитался по свету — сказал ей по телефону, что они «нащупывают путь» к соглашению.

Ей это казалось само собой разумеющимся — она так и сказала Лоримеру, напомнила ему совет Суоффилда на званом обеде и добавила, что ей почти безразлично, какую долю она в конце концов получит, лишь бы все осталось позади. Как обычно, Лоример был немногословен, а вернее, почти безмолвствовал, но Дженни, к этому времени уже научившаяся различать оттенки его молчания, чувствовала за его сдержанностью что-то такое, до чего она докопаться никак не могла, хотя и задавала самые настойчивые вопросы.

Его квартира, как он упомянул в тот первый раз, когда пригласил ее в ресторан, была «тоже не слишком фешенебельной». Она находилась на первом этаже узкого дома, построенного на Лупес-стрит в сороковых годах прошлого века, когда Кьюбитт тщетно пытался сделать Пимлико модным районом. Дом давно уже приобрел запу-

щенный, обветшалый вид, который был присущ и квартире Лоримера. Правда, в ней было на комнату больше, чем в квартире Дженни,— кроме спальни с ванной в алькове за занавеской, еще гостиная, мимо окон которой то и дело проносились машины. Когда она первый раз вошла в эту комнату, каминную полку и застекленный книжный шкаф (сборник рассказов Киплинга, несколько книг Уинстона Черчилля, собрание сочинений Томаса Гарди и полдесятка романов в бумажных обложках) покрывала наждачная лондонская пыль. Но с появлением Дженни пыль исчезла, а также изменилась его манера питаться: из сыра, яиц и мяса, купленных по соседству, Дженни стряпала вполне съедобные блюда — и не только ради него, но и потому, что сама обладала завидным аппетитом.

У Лоримера не было ни тяги к уюту, ни таланта его создавать. На стенах не висело ни единой картины — только две-три фотографии офицеров среди пустыни и групповой снимок, запечатлевший выпускной класс школы настолько малоизвестной, что Дженни не знала ее даже по названию. У Лоримера не было денег — их у него никогда не было, объяснил он ей со своей обычной прямотой. По утрам он преподавал в начальной школе. Преподавал французский язык. (Когда он произнес несколько слов по-французски, он показался ей даже еще более жалким.) По понедельникам и пятницам, когда в палате лордов обычно не бывает заседаний, он возил какой-нибудь из своих классов на автобусе в пригород на маленький стадион. Эта работа давала ему скудные средства к существованию. Некоторым подспорьем служили те небольшие деньги, которые выдаются членам палаты лордов «на оплату расходов». У него были кое-какие ценные государственные бумаги, полученные в наследство, но он не знал, как извлечь из них наибольшую выгоду. Ну, значит, они одного поля ягоды, заметила Дженни, и он засмеялся, что с ним случалось редко. Однако если уж он смеялся, то от души, и горечь рассеивалась — горечь, возникавшая всякий раз, когда они говорили об окружающем мире. Они полностью соглашались друг с другом, и это было утешительно, но Дженни смотрела на мир с сожалением, а он почти с ненавистью.

Теперь она научилась его понимать. Она уже не сомневалась, что первое впечатление в тот вечер в Сохо ее не обмануло. Она ему нравилась — она не ожидала, что может внушить подобное чувство, но и не закрывала глаза на правду. Однако он был болезненно застенчив с женщинами — во всяком случае, с ней, но, вероятно, и со всеми другими. Он развелся с женой, он не был девственником, но робел и терялся куда больше, чем те девственники, которых ей доводилось видеть. Дженни знала о мужчинах совсем не так мало, как мог бы решить посторонний наблюдатель. Дэвид Марч, говоря о ней со своим другом в парке, оценил ее достаточно верно. Проницательная, деятельная, категоричная в суждениях о людях, положительная героиня Джейн Остин — вот какой она казалась людям, которым нравилась. На самом же деле Дженни блюла свое целомудрие не слишком свято. Случаев его нарушить ей выпадало не так уж много, и она их не афишировала, но зато использовала сполна и нередко черпала в них настоящую радость.

Во многих отношениях она была удивительно похожа на Лиз, своего врага, и в этом заключалась определенная ирония, о которой они, правда, не подозревали. Она могла бы показаться сестрой Лиз, старше ее лет на пятнадцать (старшая сестра Лиз в отличие от Дженни нисколько на Лиз не походила). Дженни, правда, была менее властной и более чувственной и от этого гораздо более сердечной и умудренной. Дженни никогда не очутилась бы в таком положении, в какое Лиз поставила себя по отношению к Джулиану. Не то чтобы Дженни была более гордой — тут они мало отличались друг от друга,— но духовные и телесные потребности Дженни, ее эмоции, нервы, восприятие мира находились в гораздо более гармоничном единстве. Лишь по воле случая она не стала счастливой женой — деятельной и заботливой. Только дурак, и дурак самодовольный, имел обыкновение повторять Джеймс Райл, способен отрицать роль удачи в человеческой жизни. Райл был далеко не так циничен, как Хилмортон,— подобно Дженни, он жил в ладу с самим собой. Вполне вероятно, что слепой случай, помешав им познакомиться, в очередной раз сыграл в их жизни решающую роль.

Дженни признавала про себя, что Лоример, возможно, даже любит ее. Если бы

он осмелился хотя бы на самую нерешительную попытку, она бы согласилась. И не только по доброте душевной, но и из любопытства, которого отнюдь не была лишена. Но в этом смысле она никак его не поощряла и не шла ему навстречу, что непременно сделала бы, признавалась она себе прямо и честно, если бы ее чувства к нему были иными. Да, она к нему привязалась. Да, ей его жалко. Но (тут ее мысли обретали неожиданную высокопарность) она еще не полюбила его той любовью, какой женщина должна полюбить мужчину. Рассуждение совершенно в духе героини какого-нибудь русского романа. Лиз отнеслась бы к этому рассуждению с насмешливым презрением и перевела бы на язык, более подходящий для конюхов. Лиз не признавала красивых оберток.

А ведь Дженни тоже не отличалась сентиментальностью, о сексуальной стороне жизни знала не меньше Лиз и была во всем, что касалось отношений полов, гораздо более чуткой. Однако, как и многие трезвые и практичные люди, она чувствовала, когда даже наедине с собой не следует допускать излишней резкости слов и мыслей. При этом она вовсе не была менее земной, чем Лиз. В ней просто говорил инстинкт самосохранения.

Дженни не боялась выглядеть в своих глазах жеманной недотрогой. Да, она не любит этого человека так, как хотела бы любить. Но мало-помалу она начинала признавать и другое: она все больше убеждалась, что он хочет на ней жениться.

Она не думала, что ошибается. И тут между ними встала ее собственная застенчивость, потому что где-то в ее душе копошились сомнения. Мужчинам иногда хотелось с ней переспать, и это было в порядке вещей. Но они не влюблялись в нее и уж конечно не хотели на ней жениться. Да и с какой стати? Что могла она им предложить?

Тут ей пришло в голову — и сомнения обрели всю свою прежнюю болезненность,— что вскоре у нее, возможно, появятся деньги. Обведя взглядом убогую квартирку, она подумала, что деньги были бы для него очень не лишними. Не исключено, что он уже думал об этом. И не исключено — подозрения вспыхнули, уничтожили безмятежное спокойствие этих минут,— не исключено, что именно поэтому он и не хочет обсуждать ее соглашение с Андервудами.

Вот почему она вечер за вечером останавливала его, едва он переходил на доверительный тон или явно готовился сказать что-то важное. Пусть между ними все остается как есть. Не надо ничего ломать. Они оба одиноки, приятно, что есть за кем приглядывать, им легко друг с другом, и все это лучше, чем одиночество.

20

К середине ноября в Лондон возвратились уже все суоффилдовские гости. В конторе благотворительного общества Дженни увидела и самого Суоффилда, который удивительно смахивал на загорелую, брызжущую энергией лягушку. Он поговорил с ней ласково и небрежно, явно давая понять, что ему, как и всем, вопрос о соглашении представляется решенным. Он утратил интерес к делу. Это было прошлогоднее увлечение, и он уже не приглашал ее к себе домой так часто, как прежде. Теперь он организовывал кампанию в поддержку своих благотворительных начинаний. Самый последний, самый великий его крестовый поход — и он требовал от своего окружения, в том числе и от Дженни, чтобы они тоже забыли обо всем остальном.

Как-то в промозглый ноябрьский вечер, почти точно через год после его первого письма, Дженни, только что вернувшись из Пимлико, уже готовилась лечь спать. Было одиннадцать часов. По дороге от станции метро до дома она совсем окоченела и теперь с удовольствием предвкушала, как заберется в постель.

Телефонный звонок. Всего одно слово:

— Суоффилд.

— Да, мистер Суоффилд?

— Я отправляю за вами машину.

— Но...

— Долго я вас не задержу. Мне некогда.

— Но ведь уже поздно, мистер Суоффилд. Нельзя ли отложить до завтра?

— Нет. Я послал другую машину за стариком Симингтоном.

— Что случилось?

— Через полчаса узнаете. Ну, с богом.

Пока огромный «даймлер» мчал ее по Кромвель-роуд, Дженни, борясь с ощущением, что ее везут в полицейский участок, ворчала про себя, чтобы настроиться для предстоящей встречи. Это уж слишком, хотелось ей крикнуть, это уже нестерпимо.

И совершенно напрасно он старается помучить ее неизвестностью. Раз он вытащил из дома и Симингтона, значит, речь пойдет о ее деле. Она глядела на сверкающие витрины и старалась представить себе, что же могло произойти. Но так и не нашла ответа — воображение тщетно билось в пустоте, а машина тем временем уже летела по темным и пустынным улицам Мейфейра.

Суоффилд сам открыл ей дверь. Вечерний костюм, широкая безапелляционная улыбка. Проведя ее в малую гостиную, где всего два с половиной месяца назад он принимал своих гостей, Суоффилд возвестил, что через несколько минут должен будет уехать.

Симингтон уже был тут — и больше никого, только они двое. Впрочем, им было неизвестно — Симингтон узнал это лишь утром из телефонного разговора,— что Суоффилд попытался вызвать еще Лэндера. Однако любой преуспевающий адвокат как никто другой может позволить себе держаться независимо с финансовыми магнатами, а этот преуспевающий адвокат отличался буржуазными привычками и любил ложиться спать вовремя.

Почти мгновенно выяснилось, что Симингтону было сказано не больше, чем ей. Однако держать их дольше в неизвестности Суоффилд не стал. Все трое стояли — он не пригласил их сесть.

Суоффилд объявил:

— Можете забыть все эти разговоры о соглашении. Мы пойдем до конца.

Симингтон и Дженни ошеломленно посмотрели друг на друга. Первой опомнилась Дженни:

— Но ведь вы же говорили совсем другое. Помните, вы сказали совершенно недвусмысленно вот здесь, в этом доме...

— Я передумал.

Симингтон без такого жара, как Дженни, спросил Суоффилда, учитывает ли он мнение бывшего генерального прокурора.

— Этот тип...— начал Суоффилд ровным голосом.

Если тогда он вел себя, как премьер-министр, толкующий полученную информацию в определенном смысле, то теперь он вел себя, как премьер-министр, решивший, что удобнее будет понять ее прямо противоположным образом, и заключил свою речь выводом, что «этот тип» дал им достаточно оснований не отступать.

— Вы же не будете этого отрицать,— докончил он внушительно.

Симингтон замялся. Суоффилд не так уж уклонился от истины: мнение бывшего генерального прокурора было сбалансировано очень тонко.

Потом Симингтон, улыбаясь, сказал с профессиональным апломбом, в нужной мере разбавив его почтением к патрону:

— Как ваш поверенный, я обязан сообщить вам свое мнение, не так ли?

— Это ваша привилегия.

— Я не помню случая, чтобы вы приняли неверное решение. Но не могу не сказать, что, насколько мне дано судить, это ваше решение неверно.

— Если вы действительно так думаете, то сделали совершенно правильно, что высказались.

— Значит, вы откажетесь от этого намерения?

Суоффилд свирепо ухмыльнулся:

— Да никогда в жизни!

— Извините, но я вынужден настаивать.

— Пожалуй, вам надо напомнить,— сказал Суоффилд,— кто тут решает. По счетам плачу я.

Вне себя от бешенства Дженни готова была взорваться, но перехватила предостерегающий взгляд Симингтона и только стиснула зубы.

— С этим пока все,— объявил Суоффилд.— Мне пора.

Он молча проводил их до входной двери и с непонятным торжеством в голосе сказал:

— Ну, с богом.

Симингтон, внешне совершенно спокойный, переговорил с шоферами и сказал ей, что они могут поехать на одной машине. Когда они сели, он пробормотал:

— Дженни, это серьезно.— И обнял ее за плечи, утешая не только ее, но и себя.

Для нее действительно было утешением, что человек, которого она еще ни разу не видела растерянным, сейчас расстроен не меньше ее. Какая непристойная демонстрация власти! С каждой секундой ее негодование росло. Они оба и прежде видели, как Суоффилд со смаком безобразничает, видели, как из-за очередной нелепой прихоти он унижает людей. Но до сих пор еще ни разу не случалось, чтобы прихоть брала верх над трезвым расчетом в серьезном вопросе. Суоффилд решил не доводить дело до суда второй раз, он все рассчитал и вот теперь вдруг — без всяких причин — идет наперекор собственной стратегии. Они ничего не понимали.

До Челси они ехали молча, но вылезая из машины, Симингтон пожелал ей доброй ночи и заставил себя добавить:

— Особенно волноваться все-таки не стоит.

Их обоих угнетало одно и то же чувство, хотя они не отдавали себе в этом отчета. Не совсем обида, не совсем растерянность, даже не смутные опасения. Симингтон, правда, сумел про себя определить это чувство, но этим и ограничился. А Дженни в эту ночь была не в силах разобраться не только в побуждениях Суоффилда, но и в своих собственных.

Суоффилд не объяснил им причины, но причина у него была. Он не стал ничего рассказывать, и они так никогда и не узнали, что заставило его изменить решение. Если бы им руководила злость, например, упрямое желание как можно больше насолить миссис Андервуд, он бы сказал им об этом без всякого смущения. Но тут им двигало побуждение, которого он втайне стыдился. И никому в нем не признался ни теперь, ни потом. Даже те двое, которые накануне некоторое время мирно с ним беседовали, ничего не заподозрили. Им было известно только — причем узнали они это несколько позже,— что они не сумели добиться того, ради чего приходили.

Объявляя Симингтону и Дженни свой ультиматум, Суоффилд вовсе не поддался внезапному капризу, как это могло показаться на первый взгляд. Да, он давал волю своим чувствам, но только после зрелых размышлений. Со времени этой мирной беседы миновало без малого полтора дня. А произошло вот что. Суоффилд получил письмо от видного деятеля консервативной партии, носившего издавна известную в Сити фамилию Мейнерцхаген. Не сочтет ли он возможным выбрать время, чтобы принять двух своих друзей? Суоффилд не столь изысканно и по телефону пригласил двух своих друзей побывать у него в конторе на Виктория-стрит где-нибудь во второй половине дня.

Суоффилд считал, что контора не место для вакханалии потребления. Он работал в небольшом, горчичного цвета кабинете, который вполне сошел бы для какого-нибудь захудалого инженера-консультанта, и вот туда-то явились двое его друзей. Собственно говоря, с Мейнерцхагеном он до этого дня разговаривал ровно один раз в жизни. Вторым другом оказался Хейдон-Смит, выбранный, как решил позднее Суоффилд, потому, что тут, по их мнению, требовался министр, а Хейдон-Смит числился среди его знакомых.

Разговор не длился и часа. Никто даже слегка не повысил голоса, не было произнесено ни единого слова, которое Мейнерцхаген мог бы назвать неуместным. Суоффилд, когда считал нужным, умел быть вежливым не хуже всякого другого и щеголял такой же изысканной вежливостью, как и оба его собеседника. От имени депутации говорил в основном Мейнерцхаген. Это был дородный человек с цилиндрической головой и совершенно лысый, если не считать бахромки над ушами. Голос у него был негромкий, хрипловатый и шипящий, какие нередко встречаются у выдаю-

щихся атлетов, но заметно лучше поставленный. Он начал с того, что поблагодарил Суоффилда за все услуги, которые тот оказал консервативной партии.

— Мы ценим их чрезвычайно высоко,— сказал он.— И хотели бы выразить вам свою благодарность.

— Да, хотели бы,— добавил Хейдон-Смит.

— Нам чрезвычайно нужны люди, подобные вам. Мы от всего сердца надеемся, что вы понимаете, в какой степени вы нам нужны. Ведь у нас не так уж много людей, способных сделать то, что можете сделать вы.

— Я с большой радостью сделал то немногое, что было в моих силах,— ответил Суоффилд, впадая в тот же тон.

— Вы сделали для нас очень много,— с истовой настойчивостью сказал Мейнерцхаген, словно Суоффилд нуждался в убеждении.— Нет никого, кто этого не понимал бы. Я знаю, все мои коллеги желали бы, чтобы я сказал вам это от их имени.

— О, безусловно,— добавил Хейдон-Смит.

Их коллегам было не так уж трудно понять, как велики услуги, оказанные Суоффилдом,— за последние три года он внес в фонд их партии полтораста тысяч фунтов. Ничего загадочного тут не было. Хотя Суоффилд не питал ни малейшего уважения ни к политике, ни к тем, кто ее делает, он был капиталистом и не вдавался тут в особые тонкости: капиталисты поддерживают тори. За свою поддержку он ожидал весомой благодарности. Не то чтобы с его или с их стороны были когда-либо даны какие-нибудь устные и тем более письменные обязательства. Не было произнесено ни единого слова — ни единого неуместного слова, если вновь прибегнуть к этому изящному выражению. Все, что ему деликатно давали понять, словно объяснения велись на большом расстоянии или с помощью условного кода, было не прямолинейнее и не грубее следующей фразы Мейнерцхагена.

— Мы всегда о вас помним,— сказал он, добавив истовости.— Нам чрезвычайно хотелось бы, чтобы вы это поняли. Мы всегда о вас помним.

— Вы чрезвычайно любезны,— ответил Суоффилд с такой же истовостью.

Еще несколько настойчивых заверений о неизменном пребывании Суоффилда в коллективной памяти партийных лидеров. Затем застенчивая зондирующая улыбка и искреннее, решительное, дружеское обращение:

— Так вот, Реджинальд... если вы позволите мне называть вас по имени... Так вот, мы хотели бы попросить вас о небольшом одолжении.

Суоффилд умел сразу распознать подспудную суть деловых встреч или переговоров, но на сей раз он все еще ничего не понимал.

— Я вас слушаю,— сказал он.

— Дело крайне щекотливое и конфиденциальное. Здесь, в этих четырех стенах...

— У меня в кабинете, насколько мне известно, аппараты для подслушивания покамест еще не установлены,— сказал Суоффилд, и его собеседники пришли в подчеркнутый восторг от этой восхитительной шутки.

— Здесь, в этих четырех стенах,— не отступал Мейнерцхаген,— я позволю себе сказать, что кое-кто из наших людей попал в неловкое положение. Мягко выражаясь. А вы ведь знаете, как быстро распространяются слухи. Мы не просим от вас подтверждения или отрицания, но создалось общее впечатление, что вы из обычного своего великодушия, за которое мы сегодня попытались выразить вам нашу благодарность, и, я убежден, без всякой мысли о собственной выгоде оказывали помощь тем, кто опротестовал пресловутое завещание Мэсси.

Суоффилд, набив руку во всяческих переговорах, умел в нужный момент промолчать.

— Мы хотели бы убедить вас, Реджинальд, что все это складывается крайне неловко. Вам известно, что газеты ухватились за эту историю. В нее оказываются втянутыми некоторые весьма заслуженные члены нашей партии. (Суоффилд позже пришел к выводу, что подразумевался тут не только Хилмортон, но и министр, с чьей женой в свое время спал Джулиан.) Это может иметь неблагоприятные политические последствия. Любые новые упоминания о скабрезных скандалах и деньгах даже в самом отдаленном касательстве к нашей партии крайне нежелательны.

— Вряд ли все это может иметь такое значение,— бесстрастно сказал Суоффилд.— Вы ведь немножко преувеличиваете?

Мейнерцхаген ответил:

— Кое в чем — пожалуй. Но мне хотелось бы, чтобы вы ясно отдавали себе отчет в том, что некоторые из весьма заслуженных членов нашей партии крайне расстроены. Это совершенно несомненно, и надеюсь, вы удовольствуетесь нашими объяснениями.

— А кто именно?

— Думаю, вы были бы удивлены, если бы мы уточнили.

— Я заметил, что упоминалась фамилия одной женщины. Я ничего не знаю ни о ней, ни о ее близких.— Суоффилд сохранял невозмутимость и говорил с мягким спокойствием. Он имел в виду Лиз, но ему была известна и та давняя история. Он не хуже их представлял себе, как будет резвиться пресса, если всплывут сплетни о любовницах Джулиана и особенно скандал, замятый десять лет назад.

— Реджинальд, нам нужно ваше содействие. Если дело затянется, это только причинит вред всем заинтересованным лицам. Мы просим вас позаботиться, чтобы все было улажено как можно скорее. Не нужно никаких новых судебных разбирательств. Если ему положить конец сейчас, без шума, оно через два дня забудется.

Голос Суоффилда, отжатый от всяких эмоций, оставался таким же мягким:

— Право, мне кажется, тут какое-то недоразумение, не так ли? Ведь я не имею к этому делу ни малейшего касательства. Я не истец. Я не ответчик. А потому как я могу его уладить?

Мейнерцхаген улыбнулся широко, неторопливо, уверенно.

— Несколько минут назад вы сказали нам, что мы немного преувеличиваем. Но вот теперь вы несколько приуменьшаете, не правда ли? Мне кажется, мы не ошибемся, полагая, что вам достаточно употребить ваше, так сказать, влияние, и результаты будут самыми положительными.

— Вам достаточно употребить ваше влияние,— добавил Хейдон-Смит, который, по-видимому, твердо решил взять на себя роль благожелательного хора.

— Но ведь вы вряд ли захотели бы, чтобы я употребил мое влияние, будь оно у меня, для не слишком этичных целей?

— О, конечно, нет,— сказал Мейнерцхаген с шокированным видом. С глубоко шокированным.

— Вероятно, найдутся люди,— продолжал Суоффилд словно бы в задумчивости,— которые сочтут, что это не слишком этично — просить женщину поделиться деньгами, после того как суд присудил ей их целиком. И для того лишь, чтобы избежать небольшого шума.

— Простите, но с нашей точки зрения это не совсем так.

— А как?

— С нашей точки зрения,— ответил Мейнерцхаген с неколебимой рассудительностью,— речь идет об обоюдной жертве во имя добрых отношений.

— И кто же приносит жертву?

— Она поступится частичкой денег. Вы приложите усилия, затратите ценное время и энергию. Ну, конечно, это жертвы.

— И все для того лишь, чтобы имена заслуженных людей не попали в газеты.

— Нет, Реджинальд. Нет, Реджинальд. Все для поддержания добрых отношений, для сохранения их такими, какими мы хотим их видеть.

Суоффилд ничего не ответил, и Мейнерцхаген добавил уже совсем мягко:

— Вот почему мы просим вас об этом маленьком одолжении. Нам кажется, мы не злоупотребим вашей обязательностью, если попросим вас использовать ваше влияние. Это доставило бы некоторым из нас большое удовольствие, а мы, как я уже говорил и вновь повторяю, все время о вас помним.

Суоффилд опять ничего не ответил. Мейнерцхаген улыбнулся ему и продолжал:

— Говоря между нами, мы считаем, что это и в ваших собственных интересах. То есть мы склоняемся к мысли, что ваши отношения кое с кем из наших людей могут пострадать — о, разумеется, незначительно,— если столь малая помощь окажется для вас затруднительной. Всем известно, что вы для нас делали, все вам очень

благодарны. Но может возникнуть определенная неловкость: вы ведь не хуже меня знаете, как бывают расстроены люди, когда у них создается впечатление, будто с ними не считаются...

Беседа продолжалась еще несколько минут. Мейнерцхаген вновь вернулся к вариациям на тему суоффилдовской доброты и великодушия, а также того света благодати, которым он озарит всех, оказав им это маленькое одолжение. Суоффилд пустился в общие рассуждения о том, как трудно бывает решить, в чем, собственно, заключается твой долг. Наконец Суоффилд пообещал обдумать вопрос «с максимальным тщанием». Он скоро, в самые ближайшие дни, сообщит им, обнаружил ли он возможность что-либо сделать. Они расстались, обменявшись рукопожатиями, передавая поклоны общим знакомым и рассыпаясь в выражениях самых лучших чувств.

Догадывались ли двое посетителей, в каком настроении они оставили Суоффилда? Его душила ярость, она требовала выхода, а поскольку Суоффилд, несмотря на все капризы и внезапные выходки, был человек в истинных своих чувствах постоянный — больше многих и многих,— он оставался во власти этого настроения весь следующий день, и оно по-прежнему владело им, когда он отдавал распоряжения Симингтону и Дженни. Тот, кто хотел бы принизить его, увидел бы тут нечто фарсовое: дойдя до белого каления, Суоффилд имел привычку разговаривать с собой вслух и называть себя при этом в третьем лице.

— Силы небесные! Решили, что могут откупиться от Реджа Суоффилда! Реджинальд! Да его так только священник называл, когда он в церкви венчался! Пусть Редж Суоффилд попляшет под их дудку, а они тогда подумают, не уделить ли ему кое-что! Да провались они ко всем чертям!

И вечером:

— Пусть-ка этот тип Хилмортон побережется! И Эдвард Клэр тоже. Змеи подколодные! У них хватило нахальства заявить Реджу Суоффилду, что они перережут ему глотку, если он не станет плясать под их дудку, и оставят его с носом. Посмели пригрозить ему! Тем, кто грозит Реджу Суоффилду, это дорого обходится. Черт подери, да ему тридцать лет никто грозить не смел! Редж, дружище, пошли-ка ты их всех куда подальше! Скажи — не буду плясать, и пусть подавятся. Ну и компания! Ты пробился без их помощи. И дальше будешь без них обходиться. Захочешь, так от всей их грязной лавочки и следа не останется.

Врагу, который подслушал бы его, это показалось бы особенно смешным. Как будто в такого рода сделках «вы — нам, мы — вам» было что-то новое! Да сам Суоффилд десятки раз к ним прибегал. Финансовые магнаты не должны позволять себе так глупо обижаться. Финансовые магнаты не должны позволять себе пустые жесты, за которые им же приходится расплачиваться. Ничего подобного они позволять себе не должны. Однако Суоффилд все это себе позволил. После раздумий, длившихся целый день (ярость не затуманивала его способности холодно рассчитывать и взвешивать каждый шаг), он написал Мейнерцхагену, что ему по-прежнему не вполне ясно, что именно он мог бы сделать в связи с тем, о чем шла речь накануне. Это было вполне корректное письмецо, но он предвкушал сцену, которую оно вызовет, и мысленно потирал руки.

Он принял решение и отправил письмо, никому на это не намекнув — ни своему поверенному в делах, ни Дженни, которым поздно вечером коротко сообщил свою окончательную, не подлежащую изменению волю.

21

Порой Райл не мог удержаться и спрашивал Хилмортона про Лиз просто ради обманчивого удовольствия произнести вслух ее имя. А ведь он знал, что услышит в ответ лишь упражнения в изящной уклончивости, и знал также, что Хилмортон давно уже втайне посмеивается над тем, как его старый разумный друг ведет себя — совсем неподобающе для старого и разумного человека.

Райл не искал себе оправданий, да если откинуть эти вопросы, он никаких опрометчивых поступков и не совершал, хотя его и посещали шальные мысли. Когда-то он дал Лиз именно такой совет и теперь не без удивления обнаружил, что, по-видимому,

принадлежит к тем редким людям, которые следуют собственным советам. И тем не менее порой, когда он сидел у себя в гостиной в Уайтхолл-Корте и вдруг начинал звонить телефон, сердце у него обрывалось, но оказывалось, что звонит его биржевой маклер или бухгалтер.

Вот так на закате жизни он узнал то, что не столь уравновешенные люди успевают обнаружить гораздо раньше,— что любое ожидание, даже тщетное (во всяком случае, на первых порах), все-таки лучше пустоты. Он чувствовал себя гораздо бодрее, чем год назад, когда жил спокойно и ничего не предвкушал. Например, за несколько дней до рождественских каникул он, поудобнее усевшись на своем месте в палате, почти с удовольствием слушал, как ее члены предаются самовыражению.

Райл иногда ворчал, что стойко выдерживать законодательную процедуру как в палате лордов, так и в палате общин способен лишь тот, кто с младых ногтей, с пеленок рос парламентарием. (Примерно тот же вывод сделала про себя Дженни.) Обсуждения в комитетах, поправки, доклады — парламентарии не поддавались скуке ни на одной из этих стадий (во всяком случае, судя по их виду), чего о себе Райл сказать не мог бы. Но такова была рабочая рутина. По средам они могли говорить о чем угодно. Кто-нибудь затрагивал какую-нибудь общую тему и вносил предложение рассмотреть документы, а в конце брал свое предложение назад — никто не знал, где находятся эти документы да и существуют ли они вообще, и могло выйти неудобно.

В эту среду на повестке дня стоял вопрос о сохранении среды обитания. Как обычно в таких дебатах, двое-трое из выступавших были специалистами в этой области, и Райл узнавал что-то новое. И — тоже как обычно — двое-трое выступавших говорили не совсем на тему. Один пэр сделал весьма убедительное сообщение об эскимосских языках.

В списке ораторов Райл, к своему удивлению, обнаружил Хилмортона. Чаще всего заслуженные государственные мужи — как и активные политические деятели, которыми они тоже некогда были,— в таких обсуждениях участия не принимали. И все же Хилмортон против обыкновения пожелал произнести речь, и речь эта оказалась очень для него нехарактерной даже по сравнению с его октябрьским выступлением по поводу Европейского сообщества. Она была недлинной, но неожиданно сентиментальной. Хилмортон восхвалял сельскую природу Англии и настаивал, чтобы ее, насколько это зависит от них, сохранили в полной неприкосновенности.

А Райл совсем недавно своими ушами слышал, как Хилмортон, рассуждая с обычной отстраненностью, упомянул, что вся эта сельская природа до последнего клочка земли сотворена руками человека и что ни один англичанин, живший хотя бы в XVII веке, воскресни он сегодня, несомненно не узнал бы родных мест. К тому же Райлу было прекрасно известно, что Хилмортон терпеть не может жить на лоне сельской природы — все годы их знакомства он под любым предлогом старался уехать из своего суффолкского имения как можно скорее.

Такие недоступные, укрытые дремучими лесами натуры вроде Хилмортона, размышлял Райл, по-видимому, впадают в сентиментальность с удивительной легкостью — во всяком случае, в присутствии зрителей,— что совершенно не свойственно людям более открытым.

После своей речи Хилмортон, как того требовал этикет, подождал, пока не кончил говорить следующий оратор, а затем направился к двери. Проходя мимо Райла, он провел пальцем по единорогу на деревянном барьере и сказал:

— Вам это еще не надоело?

Когда они вышли в вестибюль, Хилмортон спросил, не хочет ли Райл зайти к Бруксу. По дороге туда (было еще светло, и они выбрали любимый ностальгический путь Хилмортона — через парк) Райл, по-прежнему во власти иронически-веселого настроения, посмеивался над кое-какими из речей. Затем он заговорил о речи Хилмортона.

— Нечто новое для вас, Хэл.

— Вам так показалось?

— Насколько вы сами во все это верите?

— Откуда я знаю.

Они поднялись по лестнице герцога Йоркского и вышли на Пэл Мэл. Райл не глядя по звуку определил, что его спутник прихрамывает и слегка волочит ногу. За послед-

ние полмесяца он уже не раз замечал, что Хилмортон прихрамывает, но не обращал на это особого внимания и тем более не задавал вопросов. Пожилые люди, и особенно пожилые люди, которые гордятся своим здоровьем и моложавостью, не любят, когда им указывают на те или иные мелкие признаки подкрадывающейся дряхлости. Они шли по южной, клубной стороне Пэл Мэл, а напротив по-диккенсовски приветливо сияли рождественские витрины — среди охотничьих ружей и спиннингов блестели шары на искусственных, уютных в своей поддельности елках.

Хилмортон с некоторым усилием вернулся к тону постороннего наблюдателя:

— Есть в этом что-то милое, как по-вашему?

— Пожалуй.

— У нас дома, когда я был ребенком,— продолжал Хилмортон все тем же тоном,— на рождественском обеде подавалось жаркое. Обыкновенное жаркое.

— Верх родовитости,— отметил Райл.— Доказательство того, что ваши традиции много древнее вульгарных викторианских выдумок. Вроде рождественской индейки.

— Пожалуй. Пожалуй.

В клубе, в той же длинной комнате, где Лиз попросила у отца денег, Хилмортон заказал виски для них обоих и сразу же осушил свою рюмку. Затем он пошел взять еще одну, волоча правую ступню, цепляя носком ботинка за ковер. Это настолько бросалось в глаза, что Райл из простой вежливости не мог промолчать. Когда Хилмортон вновь опустился в свое кресло, он спросил:

— Радикулит разыгрался?

— Пожалуй.— Ответ прозвучал механически.

В комнате было как раз столько людей, сколько следует, не пусто, но и не тесно, так что все могли расположиться с полным удобством.

— Очень болит? — спросил Райл.

— Не слишком.

— Эта штука проходит так же внезапно, как и начинается.

— Пожалуй.— И тут же Хилмортон добавил небрежно: — По правде говоря, я немного расклеился.

— А что с вами?

— Да ничего. Так, легкое недомогание.

— Ну а все-таки? — спросил Райл.

Но либо никаких явных симптомов действительно не было, либо Хилмортон не желал их замечать. Райл при всем своем любопытстве не слишком интересовался чужими болезнями. Но он счел себя обязанным сказать:

— Вам надо бы показаться врачу.

— Я ведь не большой любитель врачей, как вам известно.

— И все-таки покажитесь.

— Ну, посмотрим. Если не пройдет само собой.

Они выпили еще по рюмке. Хилмортон предложил поужинать вместе. За столом Райл заметил, что Хилмортон ест с достаточным аппетитом, и перестал думать о его здоровье. Его мысли обратились к вопросу далеко не столь животрепещущему, и он принялся обсуждать его вслух.

И он и Хилмортон несчетное число раз сиживали вот так за столиками в клубных обеденных залах и вот так ужинали (на этот раз они заказали отбивные из ягненка и устрицы на жареной грудинке). Приятный способ скоротать свободный вечер. Но долго ли еще просуществуют такие клубы? Райл далеко не первым задал этот вопрос. Его часто можно было услышать в разговорах людей их положения и возраста. Клубы погубит растущая стоимость ручного труда, а никакая машина не заменит тут человека: нынешней молодежи уже не доведется узнать, что такое настоящий клуб. Но нынешняя молодежь не слишком рвется вступать в клубы и, во всяком случае, избегает здесь обедать и ужинать. Хилмортон равнодушно и рассеянно ответил, что клубы, возможно, преобразятся в дневные кафетерии на американский манер. Уж лучше их вовсе закрыть, сказал Райл.

В нем проснулось любопытство историка, и он еще раз обвел взглядом чинный, по-мужски уютный зал — графины на столиках, светлые отблески на столовых приборах, на холеных щеках. Что породило такие клубы именно в Англии? Буржуазное про-

цветание, что же еще. Нет, такое объяснение подходит для клубов XIX века, то есть почти для всех них, но только не для этого. А впрочем, буржуазное процветание одомашнило и аристократические игорные клубы. Если бы Чарльз Джеймс Фокс и его приятели воскресли через пятьдесят лет после смерти, они узнали бы фасад этого клуба, расположение комнат, но не общество, собравшееся в них,— оно показалось бы им слишком чопорным, слишком солидным, а в некоторых отношениях и слишком взрослым.

О преуспевающем англичанине, продолжал размышлять Райл, можно узнать очень много только по названиям его клубов. Хилмортон — «Брукс», «Жокей-клуб», «Прэтт». Впрочем, из «Жокей-клуба» он недавно вышел—ради экономии. Адам Седжвик — только «Атенеум». Суоффилд не состоит ни в одном. Лоример — прежде Военный клуб, но он из него вышел. Клэр — «Уайт», «Сент-Джеймс», «Карлтон», «Прэтт». Он сам — «Атенеум», «Гаррик», «Бифштекс». Тот, кто умеет читать мелкий шрифт, может извлечь из этих подробностей не меньше сведений, чем из манеры говорить.

Хилмортон и Райл ушли вскоре после ужина. После рюмки портвейна в гостиной Хилмортон объявил, что ему пора в его «каморку». Райл не понял, что он имеет в виду, а подразумевал Хилмортон спальню в доме своей младшей дочери. Выйдя на Сент-Джеймс-стрит, они остановились у бесстрастных дверей (ничуть не похожие на Шеридана и герцога Девонширского у этих же дверей на гравюре Гилрея) и пожелали друг другу доброй ночи.

До Нового года они больше не увидятся, сказал Хилмортон,—ни завтра, ни послезавтра он в палате лордов быть не собирается. Они обошлись без рукопожатия, и Райл сказал:

— В таком случае спасибо за ужин. Увидимся в январе.

Хилмортон пошел вверх по улице к Пикадилли, к станции метро, а Райл направился в другую сторону через парк.

22

Хилмортон словно исчез — ни на рождественскую неделю, ни после Нового года никто из знакомых не видел его и ничего о нем не слышал. Ни Райл. Ни его дочь Лиз, которая почти все эти короткие темные зимние дни провела в уединении джулиановской квартиры, где они были отгорожены от всего мира. Правда, один человек располагал самыми последними сведениями о нем, но, строго говоря, в число знакомых Хилмортона он не входил. Этим человеком был доктор Пембертон.

Хилмортон отвечал на вопросы Райла о том, как он себя чувствует, не просто с обычной уклончивостью. Он держался стоически, даже очень стоически, но все-таки не так, как пытался изобразить. Он действительно еще не обращался к врачу, но в то утро у него был разговор с членом попечительского совета больницы, в котором состоял и он сам. Как бы между прочим он упомянул, что «неважно себя чувствует». Конечно, пустяки, из-за которых не хочется никого беспокоить, но, может быть, все-таки стоит кому-нибудь показаться «на всякий случай», когда это будет удобно. Он говорил небрежно, и его собеседник, встречавшийся с ним только в официальной обстановке, принял все за чистую монету.

Будь на его месте Райл, он сразу понял бы, что Хилмортон опасается осмотра, что он хочет, чтобы его успокоили, и в то же время старается оттянуть решительную минуту, что он страшится накликать беду, боится. Боится нисколько не меньше тех, кто не приучил себя скрывать свои чувства. И он не признался, как не признался потом Райлу, что уже несколько недель его правая рука онемела и онемение не проходит. Наедине с собой он то и дело принимался разрабатывать кисть, убеждая себя, что к ней понемногу возвращается чувствительность.

Разговор этот закончился тем, что Хилмортон как бы между прочим получил приглашение явиться в больницу для профилактического осмотра (если бы его не мучили предчувствия, столь казенный оборот речи вызвал бы у него еще большее омерзение). Никто никого не торопил, и Хилмортон отправился в больницу в сочельник.

Вечером после семи, покончив с последним пациентом, доктор Пембертон еще сидел у себя в кабинете, и тут зазвонил телефон.

— Вас ведь интересует старик Хилмортон?

Говорил один из его знакомых, работавший в той самой больнице.

— Вы же знаете.

— Он сегодня был тут.

— По делам или так?

— Нет. У невропатолога.

— Да неужто?

— Прогноз не такой уж веселый. Мне бы не хотелось портить вам рождество...

— А, к черту рождество! — Доктор Пембертон ни в чем не обладал ни малейшим сходством с диккенсовским Крошкой Тимом.— Что у него нашли?

— Порядочную опухоль мозга.

— Какое полушарие? — Чисто профессиональный вопрос — как будто это играло хоть малейшую роль!

— Левое.

— Что они говорят?

— А вы что сказали бы?

Доктор Пембертон не ответил. Предварительный диагноз тут мог быть только один. Его коллега продолжал:

— Он бы давно должен был что-нибудь заметить. Ему следовало бы прийти много раньше.

— Ну, если это то, что наиболее вероятно, разницы не было бы никакой. Ни на йоту.

— Да, конечно.

— Все обычные анализы? — спросил доктор Пембертон.

— Рентген грудной клетки завтра.

— А почему не раньше?

— Праздники. Все графики нарушены.

— Черт побери! — И доктор Пембертон в нескольких энергичных словах охарактеризовал меру организованности и добросовестности в стране.

— Да. Но ведь вы же сами сказали... если у него это, так разницы не будет никакой. Абсолютно.

— Надо бы кое-кого выгнать в три шеи. Остальным это подбавило бы жару. Но, во всяком случае, держите меня в курсе. Мне это не безразлично, я вам объяснял.

— Я буду звонить.

Больничный врач сдержал свое обещание. На следующий день, когда Пембертон сидел за праздничным столом с женой и младшим сыном, его позвали к телефону. Он как раз пригубил единственную рюмку портвейна, которую разрешал себе в торжественных случаях. Столь ограниченное употребление спиртных напитков все еще требовало порядочного насилия над собой. Он щеголял в бумажном колпаке — также результат насилия над собой.

Разговор был кратким.

— Про вашего Хилмортона.

— Так что же?

— Два плотных фокуса в легком.

— Значит, подтверждается.

— Вы ведь этого и опасались? — сказал больничный врач.

Пембертон поблагодарил его за звонок и объяснил, что его ждут за столом.

Однако он вернулся к столу не сразу, а еще несколько минут продолжал сидеть в коридоре, который, как и весь этот дом, пропах антисептическими средствами, и машинально то надевал свой бумажный колпак на телефон, то снимал его. Значит, Хилмортон скоро умрет. Ну а как скоро, сказать не может никто. Пембертон был добросовестным врачом и избегал догадок. Он не признавал интуиции ни в других, ни в себе. Полагаться можно только на свои знания и на свой интеллект. Новообразования, выявленные в больнице, несомненно вторичны, где-то должна быть первичная опухоль, и ее, без сомнения, обнаружат в самом ближайшем будущем. Пембертон решил — конечно, это было лишь предположение, но вполне обоснованное, сказал он себе,— что примерно через полгода Хилмортон ляжет в больницу в последний раз. После этого он протянет... может быть, год, может быть, и дольше — только дурак возьмется предсказывать течение неоперабельного рака.

Доктор Пембертон не испытывал особых эмоций — и уж во всяком случае жалости он не чувствовал. Тот, кто на его месте притворился бы, будто жалеет Хилмортона, не вызвал бы у него ничего, кроме презрения. Он, собственно, даже не был знаком с этим человеком. Они виделись всего дважды, и оба раза этот человек сделал все, чтобы его унизить. Доктор Пембертон не отличался ранимостью, но свое унижение он переживал глубоко. Он не забывал и не собирался забывать.

Смерть этого человека обещает ему некоторые выгоды, давно исчисленные и обдуманные. Эта мысль давала некоторое, хотя и не особенно сильное удовлетворение. Пожалуй, среди его чувств наиболее явственным было торжество уязвленного самолюбия: верх оставался за ним. Доктор Пембертон не желал притворяться — лицемерия он не терпел.

С точки зрения доктора Пембертона, всякое выражение жалости или сочувствия по поводу чьей-либо смерти почти всегда сводилось к лицемерию. Он был убежден, что в действительности люди редко испытывают подобные чувства. Да, они притворяются, не испытывая на самом деле ничего, кроме легкого возбуждения: кто-то умер, а они живы. Выражение скорби чаще всего — глупое лицедейство. На него самого могла бы подействовать только смерть жены или сыновей, ну, разве еще женщины, с которой ему случалось переспать. Он не сомневался, что в конечном счете это относится к любому человеку.

Если бы люди действительно принимали к сердцу всякую смерть, а не просто делали вид, они не могли бы жить. А ведь живут, и еще как. Стоит только посмотреть на их лица во время похорон. Трудно было найти человека менее религиозного, чем доктор Пембертон, но никто не верил так свято, что в жизни мы ходим путями смерти, но чужую смерть принимаем к сердцу куда меньше мелких своих неприятностей.

Кроме того, доктор Пембертон верил, что все мы — лишь плоть, слабая плоть. Вероятно, Хилмортону никто не сказал правды о его положении, решил он. Ему самому доводилось сообщать больным подобные прогнозы. Пусть они держали себя в руках, пусть даже шутили и старались облегчить доктору его задачу, но все до одного они боялись. Так будет и с Хилмортоном. Доктор Пембертон слышал от многих людей, что они хотят знать правду. Да, конечно — при условии, что она будет приятной. Никто не хочет знать правду, если она означает смерть. Это известно любому врачу. Иногда приходится говорить и такую правду, но тот, кому ее говорят, испытывает ужас. В этом доктор Пембертон не сомневался. Мы все—слабая плоть, и он сам тоже будет бояться. А потому, хотя он думал о Хилмортоне, которого ненавидел, в нем, быть может, все же глухо заговорило — и было тут же подавлено — инстинктивное сочувствие.

Если бы он был его врачом, то не стал бы подавлять этого сочувствия. Скорее всего смерть будет тяжелой. Процесс умирания — штука вообще поганая. Ну а с неоперабельным раком заранее вообще ничего предсказать нельзя. Даже когда они отыщут первичную опухоль, положение вряд ли прояснится. Иногда такие раки убивают быстро. Но чаще эта смерть куда поганей остальных.

Может быть, что-то подобное ждет и Хилмортона. Но если так, то есть еще надежда. Эта пембертоновская надежда не была кроткой, она была беспощадной, как мнение доктора о ему подобных. Он надеялся, что лечить Хилмортона будет врач без нравственных ужимок, который не побоится сразу покончить со всем этим. Единственный достойный вид жалости — это жалость, проявляющаяся в конкретной помощи. А прочее — слюнявое сюсюканье. Сам доктор Пембертон убил не одного и не двух страдальцев. Он не уважал бы того, кто на его месте поступил бы иначе. Говоря с теми, кому он доверял (что сильно сокращало число его возможных собеседников), он не стал бы смягчать ни этого слова, ни самого факта. Людей, сюсюкающих о святости жизни, доктор Пембертон презирал куда больше, чем всех остальных. Они не понимают, что такое жизнь, не представляют, что такое умирание. Пусть-ка они понаблюдали бы, какие пути порой выбирает неизбежная смерть. А тогда, если они все-таки будут думать о своем душевном спокойствии и не сделают того, что сделал он... ну, люди и вообще-то жалкие твари, а уж эти...

Как всегда, обнаружив лишнюю причину презирать род человеческий, доктор Пембертон ощутил прилив веселой бодрости. Он снова надел бумажный колпак и вернулся в столовую. Жена сказала:

— Ах, боже мой. Тебя вызывают к больному?

— Нет-нет. Ничего подобного. Так, ерунда.

Его жена и дети, разумеется, знали о том, что он наследник хилмортоновского титула, но перспектива эта всегда была далекой и туманной, чем-то, что никак не сбывается и вряд ли когда-нибудь может сбыться. Пембертон был намерен поделиться этой новостью с женой, но позже, не в присутствии младшего сына. В домашнем кругу доктор Пембертон был куда менее жестким и категоричным, и его беспокоила мысль о неприязненном чувстве, которое может возникнуть между его сыновьями. Ведь младшему эта перемена в конечном счете не даст ничего, даже не титул, а только пустой довесок к имени, который, с точки зрения доктора Пембертона, был совсем уж нелеп и совершенно бесполезен.

А потому Пембертон, сев за стол, налил жене и сыну еще по рюмке портвейна, хотя сам своему правилу изменять не стал. Они были здоровые, крепкие люди, любили вино и, уже совершенно позабыв про этот телефонный звонок, пили с таким же удовольствием, с каким пил бы он сам. На миссис Пембертон была лиловая корона, а их сын щеголял в бумажной треуголке. Оба красивые, крупного сложения (сын в свои двадцать лет был уже выше отца и весил немногим меньше). Пембертон смотрел на них с приятным чувством. Сын получил в подарок к рождеству чек на двадцать фунтов, и Пембертон, обожавший давать наставления, приступил к сжатой и четкой послеобеденной проповеди на тему о принципах краткосрочного помещения капиталов.

23

В эти рождественские дни о состоянии здоровья Хилмортона знали только больничные врачи и доктор Пембертон. Однако были и другие, чье душевное состояние кое-кто (но только не доктор Пембертон!) назвал бы угрызениями совести. Доктор Пембертон считал, что люди принимают решения до того, как осознают их. Делают они то, что им хочется, а совесть — это так, пируэты, которые ничего ни на йоту не меняют.

Но Симингтоны с ним не согласились бы — после суоффилдовского курбета они не переставали обсуждать между собой, как было бы правильней поступить. Вечером 26 декабря они вновь начали тот же разговор — спором его назвать нельзя, потому что они только успокаивали и поддерживали друг друга. Второй день праздника прошел очень весело, но теперь дети отправились спать, и они готовились последовать их примеру. Элисон прилегла на кровать не раздеваясь, а Симингтон придвинул стул и сел с ней рядом. Он с любовью смотрел на по-прежнему красивое лицо жены: беременность она переносила очень легко. Но хотя глядел он на нее с любовью, заговорил он раздраженно:

— Нет, право же, нам только этого не хватало.

Он сетовал так отнюдь не в первый раз.

— Если ты не находишь выхода, значит, его и никто не нашел бы.

Они разговаривали на языке, понятном только им одним, и повторяли то, что уже не раз говорили в последние дни. Под «этим» подразумевались последствия суоффилдовского ультиматума. Суоффилд не знал, что переговоры с поверенными противной стороны не были прекращены сразу же. Симингтон никогда не допустил бы подобной оплошности, а такого рода зондирование обладает собственной динамикой. Теперь он не сомневался, что Скелдинг готов пойти на компромисс. За уклончивыми фразами сквозили конкретные цифры — точно предложение руки и сердца в осторожном объяснении между пожилыми людьми, решившими вступить в брак. Тем не менее Симингтон уже не сомневался, что тот согласится на сорок процентов или что-нибудь около того. Это означало бы, что после уплаты всех издержек Дженни получила бы почти восемьдесят тысяч.

— Ей такой суммы более чем достаточно,— сказал он.

— Еще бы! — отрезала Элисон. (Хотя Симингтоны ни в чем себе не отказывали, капитала в банке у них не было.)

— Если апелляционную жалобу удовлетворят, она не получит ничего. И по моей вине.

— Не только по твоей.

— Она моя клиентка, а не кого-то еще.

Было совершенно ясно, какой совет должен дать любой порядочный юрист, и не просто дать, а настаивать на его вьшолнении. Но ведь существовал Суоффилд, и Суоффилд изъявил свою волю.

— Он упрям, как осел,— сказал Лесли Симингтон.

— У него мания величия,— сказала Элисон.

— Он очень способный человек.

Они продолжали теряться в догадках, почему Суоффилд так внезапно и круто изменил свое решение. Они не подозревали, каким простым было объяснение, и никогда этого не узнали. Более или менее правдоподобным им представлялось одно: если апелляционная жалоба будет отклонена, он сможет наслаждаться победой, Суоффилд — триумфатор. Если же нет, убеждали они друг друга, он обязательно позаботится о Дженни. Что ни говори, а в щедрости и даже великодушии ему отказать нельзя — это было уже почти заклинание, которое они повторяли с излишним жаром. Остается ли человек великодушным и щедрым, когда он совершает ошибку — не преступление, а просто глупость,— расплачиваться за которую должен кто-то другой? Эту мысль Симингтон утаивал от жены, но она тем не менее знала, чего он опасается.

Впрочем, все это прямого отношения к делу не имело. Было совершенно ясно, что́ полагалось бы сделать уважающему себя юристу. Или хотя бы попытаться сделать.

— Надо вновь и вновь твердить ему, что он совершает ошибку, страшную ошибку. Ну прямо-таки как в деле Оскар Уайлд против маркиза Квинсберри, хотя и с несколько иной подоплекой.

— Ты ведь ему это говорил.

— Тут даже истукан понял бы. Даже такой самодовольный приапический истукан.

— Значит, остается только настаивать.

— То есть топтаться на месте.

Другие в его положении, неоднократно повторял Симингтон, хотя и не в этот вечер, просто пригрозили бы отказаться от дела. А Суоффилд ответил бы без особых церемоний: «Ну так я найму кого-нибудь другого». И кое-кто — правда, таких нашлось бы немного — поймал бы его на слове. И что бы они таким образом доказали? Свою щепетильность? Профессиональная этика требует, чтобы поверенный дал наилучший совет. Если клиент не желает ему следовать, поверенный прилагает все усилия, чтобы добиться того, на чем настаивает клиент. Но Суоффилд ведь не его клиент. Обязан ли поверенный прилагать все усилия, чтобы добиться того, чего хочет кто-то другой — магнат, оплачивающий счета его клиента? И особенно если этот магнат — его собственный патрон? Изящная проблема ситуационной этики, как выразились бы его ученые знакомые; этики казусов, сказал бы епископ Болтвуд, добавив с невинным видом, что в католические времена она именовалась казуистикой, пока протестанты не придали этому слову бранного значения. Все эти рассуждения не слишком ободрили бы Симингтонов.

— Предположим, я выйду из игры. Дженни это никакой пользы не принесет. Суоффилд тут же без малейшего труда найдет какого-нибудь старательного крючкотвора.

— Зато нам станет легче.

— Но станет ли нам легче, если мы устранимся, а это никому ни малейшей пользы не принесет? Кроме того,— продолжал Симингтон,— я вовсе не уверен, что это действительно верный путь. Многие юристы пришли бы тут к другому выводу.

— И очень многие юристы — давай посмотрим правде в глаза — просто не захотели бы платить такую цену.

Это было сказано без малейшего цинизма, хотя и с улыбкой, говорившей о взаимопонимании. Она знала, что он щепетилен не меньше ее и не меньше всякого более или менее порядочного человека. Очень легко проповедовать щепетильность, когда жизнь не ставит вас перед выбором, как постоянно ставит их. Если они приедятся Суоффилду, это может обойтись им дорого. В какой-то мере процветание фирмы, а следовательно, и влияние в ней Симингтона, и, возможно, судьба его честолюбивых замыслов зависели не столько от дел самого Суоффилда, сколько от тех юридических споров, участником которых, как это было с процессом Дженни, он становился лишь благодаря

Суоффилду. Самое же странное заключалось в том, что они не могли решить, действительно ли они приедятся Суоффилду, если Симингтон пойдет ему наперекор до конца и откажется вести дело. Это представлялось весьма вероятным. Императорам нужны послушные льстецы, а таких всегда можно найти сколько угодно. И все же... этот император капризен. Он способен в результате проникнуться к ним еще большим интересом.

Однако рассчитывать, что события примут такой оборот, было бы неразумно. И выбор из-за этого не становился легче. Однако они не привыкли унывать и заснули с надеждой, что крайности удастся избежать — Симингтону надо пустить в ход все свое искусство, и тогда Суоффилд, может быть, прислушается к голосу здравого смысла.

Несколько дней спустя, в первую неделю нового года, произошел еще один разговор почти на ту же тему. Происходил он в гостиной Лоримера на Лупес-стрит и начался примерно через час после того, как Дженни, едва переступив порог, дала волю добродетельной ярости. Она пришла сюда прямо из конторы Суоффилда. Встав боком, так, чтобы брызги летели в грязноватый коридор, куда выходили двери нескольких квартир, она обтряхивала зонтик. Ее влажное от дождя лицо раскраснелось, глаза блестели, она словно помолодела.

— Это уже предел! — объявила она.

Лоример не умел разговаривать с рассерженными женщинами.

— Что — это? — неловко спросил он.

— Как по-вашему, что произошло?

Лоример промолчал.

— Вы знаете лорда Клэра?

Здороваясь со знакомыми или говоря о них, Лоример называл их либо полным титулом, либо просто по имени, и она переняла эту его привычку.

На этот раз Лоример нашел что сказать. Да, он знает лорда Клэра.

— Последнее дерьмо,— сказала Дженни.

Лоример редко слышал от нее подобные выражения.

— Нет, правда?

— Вам ведь известно, что деньги на суоффилдовскую благотворительность слагаются из небольших пожертвований. (Это было не совсем точно — Суоффилд сам жертвовал крупные суммы и принуждал других магнатов к тому же.) Их присылают люди, которые сами нуждаются. Пожилые люди, еле сводящие концы с концами. Только они и жалеют по-настоящему других стариков, тех, у кого совсем ничего нет. (Тут она была ближе к истине: значительную долю поступлений составляли мелкие пожертвования — десять фунтов в год или около того.)

Дженни продолжала:

— И все эти деньги до последнего пенса должны тратиться на то, для чего их жертвуют.

— Понятно,— сказал Лоример.

— А вот лорду Клэру непонятно, чтоб ему ни дна ни покрышки! Он отбывает в Калифорнию с женой первым классом, а там — номера в дорогих отелях, и все его расходы оплачиваются за счет благотворительного фонда! У него хватило хамства написать письмо: дескать, он будет освещать наши цели, а потому его поездка должна рассматриваться как служебная.

— Нет, послушайте, так не годится.

— Подлость, и больше ничего. И ему это сойдет с рук.

— И Суоффилд допустит?

— А что он может? Ведь этот подонок будет клясться и божиться, что он поехал туда исключительно в интересах благотворительности.

На Лоримера вдруг снизошел дар слова:

— Вы знаете, когда мы выступаем в палате, нам порукой служит только честь. Мы ни присяги не приносим, ни клятв никаких не даем. И не обязаны, если не хотим, ничего объяснять. Нам просто честь порукой, когда мы выступаем, и больше ничего.

Дженни улыбнулась ему почти нежно. Он говорил с таким убеждением... и за одиннадцать лет еще не произнес первой своей речи. Но тут же в ней опять забушевала злоба.

— Лорд Клэр понятия не имеет, что такое честь.

— Ну, это слишком...

— Если такие люди не соблюдают самых элементарных принципов, чего ждать от остальных? Мы с вами в этой самой комнате говорили о том, что теперь даже простая честность исчезла, ведь правда? Так чему тут удивляться, раз ее нет в самых верхах?

Они сидели на диване, и она посмотрела ему прямо в глаза. Оттого, что она излила свой гнев, настроение ее сразу повысилось. А у него был такой печальный, такой измученный вид, что она положила руку ему на плечо.

— Вы же не станете его защищать?

— Нет. Я не вижу никаких оправданий.

— Просто хочется пойти в большевики.

— Мне тоже.

Они поняли друг друга — это был язык их юности. Лоример буркнул:

— Не знаю, как мы следуем принципам. А им надо следовать.

После этого Лоример надолго замолк, надолго даже для него. Она накрыла стол к ужину и продолжала говорить, а он время от времени что-то мычал в ответ, но ни разу не сказал ничего внятного. Потом она снова села рядом с ним, а его немота все не проходила. Это было что-то новое, не похожее на его обычное косноязычие. Внутреннее смятение, которое Дженни в нем чувствовала, сердило ее и нервировало. Она не спускала глаз с тикающих часов на каминной полке, с их отражения в зеркале (откуда у него такие вещи?). Наконец она не выдержала:

— Ну скажите же, в чем дело.

— Мы должны следовать принципам.

Вот так всегда: уцепится за какие-то слова и пережевывает их, раздраженно подумала Дженни. Ну вот, разевает рот, точно рыба, и молчит, опять подумала она, раздражаясь еще больше. Но когда он раскрыл рот и заговорил, она не была к этому готова.

— А следуем? Я хочу сказать, принципам. То есть... видите ли... а вы им следуете?

От неловкости и смущения лицо у него стало пепельно-серым. Сначала она ничего не поняла, но потом как будто уловила намек на смысл.

— Договаривайте,— сказала она.

— Я хочу сказать: вы уверены... насчет вашего отца? — У него чуть-чуть развязался язык.— Вы уверены, что он хотел, чтобы все его деньги получили вы?

— Как я могу быть уверена? — Внезапно она смутилась не меньше, чем он.

— Вы уверены, что он не хотел, чтобы эта женщина устроила все по-своему?

— Как я могу быть уверена? — повторила она и вдруг нашла более честный ответ: — Нет, не уверена.

— Меня это все время грызло. Вам ведь я сказать не мог.

Наконец-то она поняла, почему он мысленно шарахался, когда она заговаривала о соглашении, об апелляционной жалобе. Она судила о нем неверно. Из-за своей душевной робости. Его к ней влекла не надежда на деньги.

— И очень жаль, что не сказали.

— Не получалось.

Долгое неловкое молчание, и вдруг:

— Дженни...— Он редко называл ее по имени и вообще избегал какого бы то ни было обращения.— Мне не нравится эта суоффилдовская затея.

— Мне тоже.

— Я хочу сказать: он, может быть, добьется, что вы получите все. Но вот должны ли вы их взять? Вы понимаете, что я хочу сказать?

— Да.

— Я не берусь судить о Суоффилде. Но мне бы не хотелось иметь с ним дела, это я знаю.

Боже мой, подумала Дженни, это даже трогательно. Суоффилд в любой день способен сожрать до завтрака десяток куда более ловких людей. И тем не менее Лоример внушал ей уважение.

— Что, по-вашему, я должна сделать?

Он мялся, путался и все время возвращался к намерениям ее отца.

— Об этом нечего говорить,— сказала она.— Мы не можем этого узнать и никогда не узнаем.

Новое долгое молчание.

— Вы способны пойти наперекор Суоффилду?

— И ему, и кому угодно. Лишь бы я считала, что так нужно.

— Я вот что имею в виду: вам не следует брать больше вашей доли.

— А кто будет решать, какой должна быть моя доля?

— Вы сами, ведь так?

Дженни была практичной женщиной. И роль мученицы ее совсем не привлекала. Она сказала, что мученичество теперь не в моде. И вообще она не собирается махнуть на все рукой, чтобы другая сторона выиграла дело за неявкой истицы. Но... он задел слабую струнку. Когда они с Симингтоном возвращались ночью, выслушав монолог Суоффилда, тревожно на душе было не только у него, но и у нее.

Симингтон прекрасно понимал причину своего состояния. Речь шла о его профессиональном долге, или, если предпочесть более высокопарное наименование, о его совести. Именно это они с женой с тех пор и обсуждали без конца. Дженни ее чувства были далеко не так ясны. Ее смущали побуждения, в которых она не отдавала себе отчета. Возможно, ей хотелось вести себя в соответствии со своими представлениями о порядочности или даже в соответствии с более жесткими принципами Лоримера. Возможно, дело опять-таки было в совести. Впрочем, доктор Пембертон, будь ему известны факты, не замедлил бы указать, что Дженни как женщина разумная просто готова пойти на достаточно выгодный компромисс, чтобы избежать довольно значительного риска. Вот в таких случаях люди и призывают на помощь совесть, добавил бы доктор Пембертон.

Это пембертоновское приведение всех и вся к общему знаменателю нисколько не тронуло бы Дженни. Ей все представлялось по-другому: она вместе с человеком, которому доверяет, старается найти наиболее приемлемый выход. Ей не хотелось ощущать себя карточным шулером. Но, с другой стороны, безрассудные жесты ее тоже нисколько не привлекали. Прежние завещания вполне оправдывали трезвый взгляд на положение. А потому она вновь вернулась к мысли о компромиссе, от которого по требованию Суоффилда должна была отказаться. Материальное ее положение, как и положение Лоримера, было достаточно тяжелым. И они начинали понимать, что инфляция его еще ухудшит. Доля, выговоренная по соглашению, позволит ей избежать бедности до конца ее дней. Достаточно честное и здравое решение.

Они с Лоримером разговаривали совсем как Симингтоны. И они столкнулись с проблемой ситуационной этики, хотя этот термин им известен не был. Она даст Симингтону соответствующие инструкции, на чем бы ни настаивал Суоффилд. Но какую цену придется заплатить? Меньшую, чем заплатил бы Симингтон, если бы он отказался вести дело дальше. Суоффилд в припадке мстительности может лишить ее единственной работы, которая ей нравится, потребовать назад деньги, которые потратил на процесс. Но ей все равно останется порядочная сумма. Конечно, ссориться с ним неприятно. Не без стыда она призналась себе, что ей было бы жаль утратить свое скромное положение при суоффилдовском дворе. Однако особой беды тут, конечно, нет.

Когда она объяснила все это Лоримеру, рассказав попутно и о роскоши суоффилдовских приемов, Лоример заметил:

— Мне было бы неприятно пожать руку такому человеку.

Она решила, что Лоример ревнует, и почувствовала, что это ей приятно. Возможно, ей теперь удалось отогнать мысль, которая прежде ее вовсе не трогала,— что, хотя он был истинно благороден и никогда не пошел бы на какие-нибудь сомнительные сделки с совестью, за которые осуждал других, его благородству сопутствует горькая зависть. Но теперь она хотела думать о нем хорошо и с удовольствием поверила в чистоту его намерений.

Но ведь незачем причинять Суоффилду напрасные огорчения. Да-да, он действительно принимает такие вещи близко к сердцу. И что важнее: она не должна подтал-

кивать Симингтона. Она ему многим обязана и не хочет, чтобы из-за нее у него были неприятности с Суоффилдом.

Поскольку их ситуация была сходна с ситуацией Симингтонов, они, естественно, пришли к такому же выводу, а точнее говоря, ни к какому. И повторялись при этом не больше Симингтонов, хотя Симингтон был опытным юристом. Но даже опытнейшие юристы, лавируя между этическими капканами, склонны повторяться не хуже простых смертных. Собственно говоря, из всех четверых меньше всего толок воду в ступе Лоример, наименее умный из них, но, с другой стороны, и потерять на этом он мог гораздо меньше.

В конце концов они, как и Симингтоны, сошлись на том, что разумнее всего будет не торопить события. Дженни не исключала возможности, что Суоффилд перестанет бушевать, хотя в отличие от остальных особых надежд на это не возлагала. Но все-таки надо подождать, а уж там ей так или иначе придется принять какое-то решение.

24

В январе и феврале доктор Пембертон продолжал получать сведения о состоянии Хилмортона. Первичная опухоль была обнаружена. В предстательной железе. Как и следовало ожидать, сказал Пембертон. Но ведь он должен был бы заметить трудности с мочеиспусканием гораздо раньше, чем появились другие симптомы? Необязательно. Да и вообще старики считают это нормальным и не обращаются к врачу. Тем хуже для них.

Его облучали — услышав это, Пембертон скептически хмыкнул. Лишние страдания и, насколько ему известно, без всякой пользы. У него не было оснований изменять свой прогноз. Он по-прежнему считал, что у Хилмортона есть еще год жизни. Если это можно назвать жизнью. Все развивалось по давно знакомой схеме.

А ему уже сказали? Больничный врач точно не знал, но полагал, что нет. Во всяком случае (тут он прибегнул к бюрократическому обороту), не по форме. Пембертону все это было хорошо знакомо. Конечно, Хилмортон про себя знает правду, но время от времени поддается самообману — верит и надеется. Безнадежные больные довольно часто питают несбыточные иллюзии.

Он был недалек от истины. Хилмортон понимал, что с ним: слишком подозрительным, слишком цепким и холодным был его ум. И все же порой его утешали сомнения, розовые сомнения, возникавшие по утрам, когда он чувствовал себя совсем неплохо и смерть по-прежнему представлялась чем-то далеким и немыслимым.

Но доктор Пембертон не знал (впрочем, ему это было бы и неинтересно), что Хилмортон вел себя с какой-то особой беспощадностью. Он сознательно готовился к смерти. А потому искал опору в стоицизме, в стоицизме, который не щадил никого вокруг. Наконец-то после десятков лет самоконтроля можно было не выражать привязанности и симпатии, которых он на самом деле вовсе не испытывал. Манеры его оставались вежливыми, но за ними не крылось даже искры душевной теплоты.

Пройдя очередной курс лечения, он возвращался из больницы в маленькую спальню в доме своей младшей дочери. С ледяной корректностью он ясно давал понять, кого хочет видеть, и еще яснее — кого не хочет. Насколько было известно этой дочери, ее мать — его жена — навестила его всего один раз. И уехала с сухими глазами и непроницаемым лицом. Однако дочь была готова поверить (но, может быть, ее собственный счастливо начавшийся брак располагал ее к сентиментальности?), что леди Хилмортон была сокрушена, почувствовав себя ненужной, когда приблизился конец. Другая женщина, которую дочь никогда прежде не видела, приходила часто, оставалась долго, но хотя перед уходом порой заглядывала в гостиную и расспрашивала о предписаниях врачей, свое имя она забыла или не захотела назвать. Она казалась сломленной горем.

Так же беспощаден был Хилмортон и в отборе тех друзей, кого он хотел видеть. Джеймс Райл, случайно услышав в палате о его болезни, узнал у Лиз адрес ее отца (кроме нее, ему действительно не к кому было обратиться, и он мог утешиться этим сознанием). Райл написал ему, выражая надежду на быстрое выздоровление (в тот момент ни он, ни Лиз, ни ее сестры правды еще не знали), и предложил болтать с ним, читать ему — ну, словом, любыми способами помочь ему скоротать время. В ответ он получил письмо, написанное незнакомым, совсем детским почерком:

«Дорогой Джеймс! Вы очень добры! Добры как всегда! Простите эти каракули, но я вынужден писать левой рукой. Нет, я не стану злоупотреблять вашей добротой. Эта моя хворь ничего приятного не обещает — во всяком случае, насколько мне удалось понять. В сущности, я похож сейчас на больного зверя и не хочу быть никому в тягость. Мне лучше оставаться наедине с моими мыслями, какими бы они ни были. Тем не менее еще раз благодарю вас за доброе внимание. Ваш Генри Хилмортон».

Райл был обижен и огорчен. Даже в подписи сквозило отчуждение. Он привык, что Хилмортон подписывается «Хэл». Еще больше он обиделся (и эта обида продолжала глухо ныть, хотя теперь он уже знал, что Хилмортон болен очень серьезно), когда Адам Седжвик упомянул, что тоже написал письмо и сразу же получил приглашение заехать. Райл не мог не почувствовать, что после чуть ли не двадцатилетней дружбы от него попросту отмахнулись. А он считал, что всегда был хорошим другом. Единственно более или менее приемлемым для его самолюбия объяснением, которое он сумел подыскать, было его здоровье — в свои шестьдесят с лишним лет он оставался крепким и бодрым (год назад всякий сказал бы то же о Хилмортоне). Возможно, Хилмортону тяжело видеть здоровых людей, а к больным это, естественно, не относится. А возможно, для Хилмортона всякая дружба была всего лишь формой любезности, остальное же Райл только вообразил.

Чтобы съездить на Берил-роуд, Седжвик должен был нанять автомобиль. Был февраль, но день выдался ясный, и в три часа рыжие кирпичные дома за Бэронс-Кортом пылали в косых солнечных лучах. Эти дома, разделенные по вертикали на отдельные квартиры, были построены в начале века в расчете на людей среднего достатка, но теперь в связи с ростом цен на недвижимость их отделывали заново. Дом на Берил-роуд был точно таким же. Седжвик, человек небогатый, жил в Кембридже в типично профессорском доме, а в подобных не бывал со студенческих лет.

Если бы шофер его не поддерживал, ему вряд ли удалось бы благополучно пройти по неровным плитам тротуара. Над дверью сверкала розетка из цветных стекол. Им открыла дочь Хилмортона. Седжвик видел Лиз раза два и помнил ее довольно смутно, но ему показалось, что эта сестра не так красива и лицо у нее не такое решительное, но держится она мягче и приятнее.

— Лорд Седжвик? Как хорошо, что вы приехали. Отец вас ждет.— Она взглянула на него и добавила смущенно: — Боюсь, лестница очень крута.

— Ну, как-нибудь он меня втащит.

Сейчас не время было проявлять гордость, и шофер, подхватив Седжвика под мышки, буквально отнес его на верхнюю площадку.

Квартира состояла из двух комнат и кухни на первом этаже и трех комнат на втором. Миссис Деннис (Седжвик только сейчас узнал ее новую фамилию) провела их в маленькую спальню, и там Седжвика усадили в кресло рядом с кроватью.

— Дорогой Адам! Очень рад вас видеть!

Голос Хилмортона оставался по-прежнему звучным, но его речь утратила внятность, хотя и не до такой степени, как у Седжвика.

Их оставили одних — Хилмортон взмахом руки отослал дочь и шофера, сказав, что позвонит, когда лорд Седжвик соберется уходить.

Седжвик посмотрел на него (а затем отвел взгляд — не следует смотреть слишком долго) и подумал, что Хилмортон не выглядит таким уж больным. Щеки у него утратили округлость, и, пожалуй, кожа на висках приобрела желтоватый оттенок, но оранжевый солнечный свет скрадывал это. Под подбородком появилась складка, и углы рта были опущены. Однако Седжвик не раз видел, как они опускались точно таким же образом, когда Хилмортон бывал особенно отстранен или саркастичен.

Хилмортон лежал на спине, сохраняя почти полную неподвижность.

На тумбочке высилась стопка книг. Сверху лежал томик гревиловского дневника. Этот выбор показался Седжвику странным, и, чтобы прервать молчание, он спросил:

— Вам нравится?

— Помогает коротать время.— Помолчав, Хилмортон добавил: — Против моих ожиданий, время идет не слишком быстро. А ведь, казалось бы, должно быть наоборот, как по-вашему?

— Не знаю. Пока судить не берусь.

— Как вы себя чувствуете? — Это был вежливый вопрос, и только.

— Все так же.

— А...

На самом же деле Седжвик чувствовал себя здесь, возле этой кровати, гораздо лучше, непростительно лучше — он испытывал то эгоистическое облегчение, которое испытывает человек, когда его первым вытаскивают из разбившейся машины.

А потому, чтобы не смотреть, не наблюдать, он обводил взглядом комнату. Аккуратная запасная спальня футов четырнадцать на десять, комод у дальней стены, туалетный стол напротив узкой кровати, над комодом репродукция картины Утрилло. За окном в дальнем ее конце — мирное небо, безоблачное, уже чуть позолоченное близостью заката, и башенка, не вонзающаяся в него, а четко рисующаяся на его фоне.

— Это там что? — спросил Седжвик, снова пытаясь завязать разговор.

— Больница. Фулемская больница. Моя последняя остановка, как я полагаю.

Она ближе и удобнее той, где он лечится сейчас, объяснил Хилмортон. А впрочем, какое это имеет значение? Он говорил равнодушно, не заботясь о том, как чувствует себя его собеседник.

— А это,— продолжал он, обведя рукой комнату,— по-видимому, моя предпоследняя остановка.

— Вы думаете?

— А что мне остается думать, как по-вашему?

И все-таки где-то пряталась надежда услышать слова ободрения, но Седжвик их не нашел. Он сказал только:

— Ну зачем же так!

— А знаете, как-то странно.

— Что? Ожидание смерти тут, в аккуратной спальне? Само умирание? — Произнесено это было с легким недоумением, спокойно.

Хилмортон сказал:

— Я все еще встаю. И даже выхожу прогуляться. Правда, недалеко, до почтового ящика. Возможно, мне удастся побывать в палате.

— Стоит ли так себя утомлять?

— Я бы, пожалуй, сумел произнести речь. Недлинную. Мне хотелось бы выступить лучше, чем я выступал в последний раз.

Просто удивительно, подумал Седжвик, что это еще не утратило для него значения.

И совершенно тем же тоном, ровным, деловитым, чуть задумчивым, Хилмортон сказал:

— Я не хочу умирать.— После паузы он спросил: — А вы?

— Не хочу.

— Вы боитесь смерти?

Седжвик ответил не сразу:

— Во всяком случае, умирания я боюсь.

Еще одна пауза. Потом Седжвик продолжал:

— И пожалуй, пожалуй, я боюсь своего полного исчезновения. Во всяком случае, эта перспектива меня не манит.

Их мысли были четкими, а речь нет. Посторонний человек, возможно, не сумел бы разобрать, что они говорят — неподвижная фигура на постели и дергающееся лицо над ней. Но они понимали.

— Вы не верите, что там что-то есть? — Это было сказано бесстрастно, и все же за бесстрастием, возможно, опять пряталась тень надежды. Однако не Седжвику было ее поддержать. Или Хилмортон втайне был религиозен?

Седжвик сказал:

— Что, собственно, это значит?

— Но ведь столько людей верило в загробную жизнь.

— Для меня это звучит бессмысленно.

Губы Хилмортона неторопливо сложились в улыбку, в настоящую, насмешливую улыбку.

— При данных обстоятельствах вас нельзя назвать очень веселым собеседником, а? — Он продолжал: — Вот почему так приятно, что вы здесь. Вы ведь, несомненно, много думали обо всем этом.

— Да, немало. Последние два-три года.— Седжвик ответил такой же улыбкой.

— Адам,— начал Хилмортон и умолк. Потом сказал: — Почему мы так упорно цепляемся за жизнь?

— Вы ведь получали от своей жизни большое удовольствие, верно?

— Ну, не знаю.

— А у меня всегда было такое впечатление.

— Пожалуй, это была интересная жизнь. Большего я утверждать не берусь.— После паузы он добавил: — Я ведь мало что сделал и не оставляю после себя ничего. Вот почему я вам завидую. Вы обрели своего рода бессмертие.

— Нет,— ответил Седжвик с прежней категоричностью,— для меня и это звучит бессмысленно.

Он знавал людей, сказал он, которые многим жертвовали, лишь бы оставить после себя память,— ученые, писатели, да и не только они. Надежда не менее романтичная, чем мечта о личном бессмертии. Любой ученый нынешнего века — даже Дирак, даже Эйнштейн — через сто лет сведется к одной-двум страницам в учебнике. Наука — огромная башня, и такие, как он, прибавляют к ней по крохотному кирпичику. Если ему очень повезет, в том учебнике его упомянут в примечании.

— По-вашему, это бессмертие?— сказал он.

— Вы с собой довольно суровы! Жаль, что я не был знаком с вами ближе.— Хилмортон продолжал: — Но мелкий политический деятель не получит и примечания. А это — все, чем был я.

И тот и другой ответили бы на слова утешения ироническим пожатием плеч. Седжвик сказал, что не может представить себе, чтобы хоть один человек из тех, кого они знали, оставил по себе память. Мир уходит вперед слишком быстро. И все же, признался он (это было действительно признание), он хочет закончить одну работу, прежде чем рискнуть на операцию.

— Но почему? После того, что вы сейчас говорили,— почему? — Хилмортона явно забавляла эта мысль.

— Гордость, должно быть. А может быть, глупенькая надежда. Было бы приятно поставить перед концом какой-то росчерк.

— И много для этого потребуется времени?

— Я даю себе еще один год. Дальше откладывать операцию будет нельзя. Это мой последний шанс.

— Да, наверное.

— Я ее боюсь. Очень боюсь.

Хилмортон сказал, глядя в потолок:

— Все, что написано о смерти, никуда не годится. Слишком припудрено. Ничего общего с действительностью.

— Согласен.

— Кто-то, кажется, написал: «Жизнь, в сущности, потеря небольшая». Если бы он знал, что такое умирать, он бы этого не написал. И дальше: «Но молодые этого не знают, а молодыми были мы». Чепуха. Молодые не задумываются о смерти, они неспособны ее себе представить. В молодости я был не особенно храбрым, но куда храбрее, чем сейчас. И, наверное, вы тоже.

— Да, был.

— Об умирании из книг нельзя узнать ничего. Вот почему я читаю Гревила. Всякие пустяки, но это лучше, чем припудривать... — Он недоговорил.

— Боли очень сильные?— спросил Седжвик.

— Пока нет. Хотя приятного мало. Все потихоньку разлаживается. Но и будь боль сильнее, я все равно хотел бы жить.

— Я боюсь операции. В первую очередь того, что не перенесу ее. А во вторую — что в результате мне станет много хуже, чем сейчас. Это случается.

Хилмортон не ответил. Последние минуты они почти не слышали друг друга и каждый говорил сам с собой.

Внезапно Хилмортон вернулся из этого далека и сказал, побуждаемый то ли вежливостью, то ли чувством товарищества:

— А вы не находите, что становитесь проще, по мере того как это подходит все ближе? По-моему, с возрастом люди вообще становятся более простыми. Делаешься жестче, и все побрякушки и оборки утрачивают смысл. Во всяком случае, теперь я в этом убедился. Никто другой тебе не интересен и не нужен.

Седжвик вспоминал других смертельно больных людей, которые вели себя совсем иначе.

— А может быть,— сказал Хилмортон, вдруг ободрившись,— на самом деле мы всегда такие.

И он погрузился не то в задумчивость, не то в тупое забытье.

Немного погодя Седжвик сказал:

— Я вас утомляю.

— Не больше, чем я вас.

— Пожалуй, я пойду.

Хилмортон сказал:

— Мораль одна: ждать нечего. Вы об этом думали?

— Пока еще нет.

— Если бы можно было ждать хоть чего-то приятного. Но ничего нет.

Седжвик повторил:

— Пожалуй, я пойду.

Хилмортон, вдруг обретя былое радушие, заявил, что на прощанье они должны выпить. Седжвик заметил, что время для этого не слишком подходящее (была уже почти половина пятого).

— Ну, для нас время теперь большого значения не имеет, вы согласны?

Большим пальцем левой руки он нащупал кнопку звонка, который позаботилась установить на кровати его дочь.

— Пожалуй, самим откупорить бутылку нам уже не под силу, а?

Он улыбался сообщнической улыбкой, не считая нужным маскировать тот факт, что они с Седжвиком беспомощны, что у них на двоих более или менее действует только одна рука.

— Алкоголь прежде был источником удовольствия,— заметил он.— Но с этим покончено. Крепкие напитки для меня исключены. Я даже глотка выпить не могу.

Его дочь приотворила дверь, и голос Хилмортона разнесся по комнате не менее звучно, чем прежде по Епископскому буфету:

— Девочка моя, будь так добра, откупорь бутылку шампанского. Это будет очень любезно с твоей стороны. И сама выпей бокал.

Хлопнула пробка, бокалы были налиты. Седжвик попросил хозяйку дома прислать за ним шофера через четверть часа, и она вышла из спальни.

— За ваше здоровье! — Этот тост был настолько не в характере Хилмортона, что говорил сам за себя.

Седжвик, держа бокал обеими руками, кое-как сумел поднести его к губам и расплескал совсем немного. Он отхлебнул. Хотя в отличие от Хилмортона он никогда особенно не любил пить, шампанское ему нравилось и было приятно вновь ощутить его вкус. Хилмортон отпил крохотный глоток, словно дегустируя, и покачал головой.

— Нет,— сказал он брюзгливо,— не люблю я эту дрянь и никогда не любил. И вообще не знаю, чего бы я сейчас хотел.

Они помолчали, и вновь Хилмортон на мгновение стал радушным хозяином. Он позвонил и попросил дочь налить лорду Седжвику еще шампанского, а потом сказал:

— Приезжайте опять, Адам. То есть если способны это терпеть.— Затем с прощальной улыбкой, полудружеской-полусадистской, он докончил:— В конце концов, столько-то я для вас сделал бы.

Вечерний воздух был стылым. Седжвик, отведя руку шофера, засеменил к калитке. В машине он почувствовал облегчение, но не совсем то, которое обычно испытывал, когда уходил от других больных. Он спрашивал себя, как сам он будет переносить все это. Когда будет знать наверное — не так, как теперь, а твердо, как, по-

видимому, знает Хилмортон,— что его срок истек? Держать себя в руках в присутствии других людей способен кто угодно. Очень многие сумеют достойно умереть на эшафоте, когда вокруг толпятся зрители. Но наедине с собой?

25

По чистейшему и совершенно случайному совпадению в тот час, когда Седжвик сидел у постели Хилмортона, в другом месте происходил разговор, который, будь Хилмортон здоров, мог бы его заинтересовать. Симингтон позвонил Дженни и сказал, что откладывать «выяснение положения» больше нельзя. Надо окончательно и откровенно (ну не вполне откровенно, поскольку он намеревался умолчать о том, что Суоффилд может наложить вето на все переговоры — обстоятельство довольно-таки важное) поговорить со Скелдингом и после соблюдения всех положенных церемоний и ритуалов прямо и без обиняков выяснить, на какую цифру готова согласиться противная сторона. Разумеется, Симингтон, как и Скелдинг, знал это уже давно и почти точно. Симингтон называл примерную сумму еще в рождественских разговорах с женой. Но торопиться было незачем, а несколько процентов означали не одну тысячу фунтов.

Однако теперь Симингтон заторопился. Он хотел представить Суоффилду точные условия сделки. Они с Дженни попробуют добиться, чтобы он дал согласие. А если он откажется его дать... Но на этом планы Симингтона обрывались. Он пока не решил, как поступит в подобном случае, и думал, что Дженни тоже еще ничего не решила.

В подобного рода переговорах, как и во всяких других, необходимость торопиться играет на руку противнику. Симингтон знал это не хуже любого практикующего юриста. Он вполне прилично изобразил человека, готового ждать сколько угодно; переговоры велись без излишней таинственности, в дружеской атмосфере, и они выработали условия, которые можно было представить на одобрение клиентам. И все-таки — Симингтон, когда речь шла о его профессиональных обязанностях, отличался большой самокритичностью,— все-таки необходимость торопиться заставила его уступить чуть больше, чем следовало. Однако, если забыть про Суоффилда, по чистой совести, Дженни трудно было бы рассчитывать на лучший исход.

Доволен был и Скелдинг. Умилительная картина: довольны оба поверенных — один с давней, солидной репутацией, другой на пороге многообещающей карьеры. Скелдинг хотел поскорее представить свои рекомендации. Для этого надо было встретиться с Андервудами, а кроме того, Скелдинг решил позвать еще и Лиз. Для пущей важности он попросил их адвоката Дэвида Марча назначить совещание. Скелдинг гордился суммой, которую сумел выговорить. Его доброе сердце, идеал пастырской заботливости и скромное самодовольство были равно удовлетворены. Он не только хотел поскорее официально покончить с делом, но и был не прочь получить свою толику похвал и восхищения. И вот через два дня после того, как Скелдинг договорился с Симингтоном, все они встретились в Иннер-Темпле в конторе адвоката. Марч пригласил их к половине шестого, и один из его стажеров разливал напитки: большую рюмку — Марчу, поменьше, но вовсе не маленькие — миссис Андервуд, Лиз и Скелдингу, и совсем ничего — Джулиану.

Помещение было таким же неприглядным и запущенным, как одежда Марча (теперь, когда он снял мантию, которую носил в суде, оказалось, что рубашка на нем несвежая, а воротничок измят). Иметь такую приемную мог позволить себе только преуспевающий адвокат. Она выглядела столь же безликой, как вокзальный зал ожидания. Даже книжные шкафы зияли пустотами, а при ближайшем рассмотрении оказывалось, что в них стоят не юридические справочники, но главным образом романы. Это был, пожалуй, единственный рассчитанный эффект, который допустил человек, вообще к внешним эффектам не склонный. В небольшой соседней комнате находилась богатая юридическая библиотека. Но Марч обладал редкостной, почти феноменальной памятью и, когда был моложе, любил щегольнуть ею перед клиентами и их поверенными. Это было неоценимое подспорье в его профессии. Что же касается романов, то он держал их тут не ради эффекта, а по привычке. По преимуществу старые издания классиков XIX века — Толстой, Достоевский, Диккенс, Троллоп, Бальзак, Гальдос. Опять-таки когда он был моложе, они в сочетании с большим количеством виски слу-

жили ему противоядием от припадков депрессии, которая иногда его охватывала. Он с дидактической категоричностью не раз повторял, что ни один из писателей XX века не сообщил ему о людях ничего такого, чего бы он сам не знал лучше их всех, но их предшественники научили его многому.

— Ну-с,— сказал он, возвышаясь над всеми, массивный и в то же время рыхлый,— не сесть ли нам к столу?

Стол был большой, обтянутый зеленым сукном, похожий на те, которые стоят в служебных кабинетах многих стран Восточной Европы. Этим столом, конторкой, креслом Марча и широкой кушеткой, на которой он любил валяться с книгой, исчерпывалась обычная меблировка комнаты, но на этот раз вокруг стола были расставлены стулья, принесенные из других помещений. Они сели — Марч во главе стола, миссис Андервуд по правую его руку, Джулиан по левую, Скелдинг напротив, а Лиз и двое стажеров по сторонам между ними. Люстра над столом и лампа под зеленым абажуром на конторке освещали комнату довольно тускло, и кто-то из стажеров включил торшер у кушетки — его свет озарял лица тех, кто сидел справа от Марча.

— Если не ошибаюсь, Эрик, вы хотите нам что-то сообщить,— сказал Марч через стол.

Он не ошибался, и Скелдинг приступил к сообщению. Как и полтора года назад, когда он оглашал условия завещания, его нисколько не расхолаживало то обстоятельство, что он уже поставил миссис Андервуд в известность об условиях соглашения и что, таким образом, она, Джулиан и Лиз знали все, что он намеревался сказать, а Марч (с которым он беседовал по телефону) — значительную часть. Это нисколько не расхолодило Эрика Скелдинга и ни на йоту не уменьшило его простодушной радости. Он говорил с увлечением, так, словно сам был поражен только что сделанным открытием, так, словно ему предоставили право огласить государственную тайну.

И он ни за что не поступился бы своим удовольствием. Марч, считавший Скелдинга человеком доброжелательным, гораздо более доброжелательным, чем он сам, с сожалением думал, что доброжелательные люди умеют быть сверхъестественно нудными. Все это можно было бы изложить за пять минут. Но речь Скелдинга заняла отнюдь не пять минут. Начало переговоров с «молодым Симингтоном», прощупывание, предварительное обсуждение возможных цифр, намеки Симингтона, что они готовы предложить двадцать пять процентов,— все это было описано любовно и безжалостно. Словно ночью где-то капает вода из крана. Рассказ приходского священника. Но никто не сомневается, что апелляционный суд не примет новых свидетельств, а если бы его и представили судье Бозанкету, он вряд ли его убедил бы...

— Отчего этот рассказ и вовсе теряет отношение к рассматриваемому вопросу?— не удержался Марч.

Скелдинг просиял широкой улыбкой. Он обезоруживал своих критиков, первым соглашаясь, что, наверное, говорит скучновато. Но это не заставило его поторопиться. Он перешел к описанию тонкостей второго раунда.

— Я чувствовал, что взвинчиваю их. Взвинчиваю их,— повторил он, гордясь современной образностью своего языка.— Я всем своим существом чувствовал, что они готовы дойти до тридцати пяти процентов. Тут важна интуиция. Но тогда еще было не время предлагать что-то определенное. Мы перешли в состояние анабиоза.

Эта метафора представлялась Скелдингу чрезвычайно забавной, чего нельзя было сказать о его слушателях.

— Затем молодой Симингтон как-то встретился со мной в клубе по чисто преднамеренной случайности, если вы понимаете, что́ я имею в виду, и тут дело приняло другой оборот. Его намерения были самыми решительными, и я мог бы голову прозакла́дывать, что если мы не договоримся сейчас, то уж больше никогда не договоримся. Настало время открыть карты. На этот раз он не избегал называть цифры. Сорок процентов, сказал он. Это более чем справедливо. Я с самого начала полагал, что нам надо потребовать половину, с тем чтобы к концу уступить что-то. Не вполне, ответил я. Пятьдесят процентов — это было бы более справедливо. Но я знал и он знал, что на самом деле такая цифра нереальна. В подобной ситуации они согласиться на нее не могли. Положение обязывает. Молодой Симингтон умеет при желании идти напролом. Он сказал: «Готов встретить вас на полдороге. Сорок пять процентов». Я не хотел

ускорять события, мне казалось, что я мог бы отстоять еще процент или даже два. Но тут я подумал: а мудро ли замахиваться на слишком многое? Ну, короче говоря, я сказал молодому Симингтону, что сообщу о его предложении моим клиентам.

Скелдинг умолк, точно чрезвычайно скромный фокусник, который, завершив коронный трюк, отступает в свет рампы.

— Короче говоря, Эрик,— сказал Марч, сощурив тяжелые веки,— на большее мы рассчитывать не можем. И это лучше, чем я предполагал.

Он говорил искренне. Метод затяжки переговоров — так его называют, но он нередко дает результаты. Когда надо торговаться, скучные люди незаменимы.

— Безусловно!— сказала Лиз самым убедительным тоном.

— Превосходные условия,— с такой же убедительностью сказала миссис Андервуд.

Один из стажеров спросил, часто ли переговоры подобного рода требуют стольких этапов.

— Тут решает интуиция,— ответил Эрик Скелдинг по-прежнему скромно.

— Налейте мистеру Скелдингу еще и погладьте его по голове,— сказал Марч другому стажеру.— Ну что же, вот, собственно, и все. Мы достигли финиша, и даже не с таким уж плохим результатом.

Джулиан закинул голову и долго весело гоготал.

— Я тут занимался сложением и вычитанием,— объявил он с самым ребяческим своим выражением.

— А?— рассеянно и без всякого интереса сказал Марч.

— Конечно, я не слишком силен в арифметике,— продолжал Джулиан,— но результаты, по-моему, все-таки получил правильные.

И его мать и Лиз знали, что на самом деле он производил эти вычисления с педантичной алчностью старика Гобсека, считающего золотые монеты, или завзятого игрока, проверяющего свою систему. Но ни та, ни другая не знали, что́ он собирается сказать дальше.

— У меня выходит, что после уплаты всех грошиков, после того, как все вы, включая старшего партнера, урвете свой кус...

— Какой еще партнер?— Марч начинал терять терпение.

— Министр финансов, а вы думали — кто? Ну так после того, как вы все отщипнете по крошке, я получу примерно шестьдесят тысяч фунтов, а наша дорогая миссис Рэстал — семьдесят тысяч. Пожалуйста, поправьте меня, если я где-нибудь ошибся.

— Пока еще рано давать даже приблизительную оценку,— с отеческой осторожностью сказал Скелдинг,— но, пожалуй, можно предположить, что итог будет довольно близок к этому.

— Все согласны? — спросил Джулиан, сияя улыбкой.

Возражать никто не стал.

— Значит, все.— Джулиан снова загоготал.— Ну так с большим сожалением я должен нарушить восхитительную гармонию этого восхитительного вечера. Мне очень, очень жаль. Но я не играю.

— Ты этого не сделаешь!— вскрикнула Лиз.

С самого начала ее не покидала тревога. Он ей ничего не говорил, но она давно уже научилась распознавать сытую сладострастную усмешку, означавшую, что он втайне что-то задумал.

— Вы просто не понимаете, о чем говорите,— сказал Марч.

— А мне кажется, что понимаю. В конце-то концов наследник я. И это дает мне некоторые права, не так ли?

— Боюсь,— тон Скелдинга оставался назидательным,— что вы не учли всех последствий.

— А по-моему, я учел все, что требуется. Нам просто нужно не брать назад апелляционную жалобу. Мы выиграем дело. И привет.

— Вы не юрист,— попробовал уговорить его Марч.— И поступите глупо, если пренебрежете мнением юристов.

— О, я часто веду себя глупо, очень часто, спросите кого угодно.

— Ради бога, прекрати это,— сказала Лиз.

— Просто к порядку ведения заседания: одно время я занимался юриспруденцией.— Джулиан посмотрел на Марча широко открытыми глазами.

— Но это хуже полного невежества, как вы, наверное, знаете.

— Нет, одно я усвоил твердо: все всегда понимают всё не так.

Это было сказано с неподражаемой наглостью. Марч, против обыкновения недооценив противника, нетерпеливо отмахнулся.

— Любой юрист в Англии скажет вам, что апелляция, вероятно, будет отклонена. Более чем вероятно. Ваше мнение не стоит того, чтобы его обсуждать.

— Пожалуйста, выслушай то, что тебе говорят,— сказала миссис Андервуд сыну через стол.

— Милый, не фордыбачь,— взмолилась Лиз, от волнения употребив словцо, возможно, подхваченное еще от няни.

— Не твое дело,— сказал он с пренебрежением самца.

Произнесено это было вполголоса, но на секунду за столом воцарилась неловкая тишина.

— Разрешите лучше мне.— Марч взял команду на себя. Проницательные глазки на оплывшем лице впились в Джулиана.— Я повторяю: на этом одре далеко не ускачешь. Шансы против слишком велики. Апелляция вряд ли будет принята. Нам предлагают великолепные условия.

— Недостаточно великолепные.

— Попробуйте мыслить здраво, вы же, я надеюсь, способны на это.

Борьба шла теперь между ними двумя. А потому остальным она показалась куда более долгой, чем была на самом деле. С одной стороны Марч — массивный, несокрушимый, во всеоружии своего опыта и таланта, из соображений тактики не скупящийся на сарказмы. С другой стороны Джулиан — с манерами богатого бездельника, насмешливый, нагловатый, совершенно равнодушный к тому, что думает о нем Марч. Оба отбросили даже простую вежливость. Марч не пытался скрывать пренебрежения и более того — презрения, почти гадливости.

Джулиана это не трогало. В юриспруденции он, возможно, не силен, сказал он, но читать умеет. Судья апелляционного суда, читая материалы дела, будет оценивать их беспристрастно. Перед ним будут не личности, а факты. Факты же вполне убедительны.

— О господи!— сказал Марч.— По-вашему, вы можете судить об этом?

— А вы можете?— ответил Джулиан.— А другие могут?

— Я не в состоянии решить,— сказал Марч,— насколько план действий, который вы нам навязываете, безответствен, а насколько он попросту глуп.

Марч говорил задумчиво. Он контролировал каждое свое слово так же, как в суде, но за ними сквозило закипающее бешенство. Он сказал:

— Да, решить тут трудно. Но я попытаюсь.

— Попытайтесь, попытайтесь,— ободрил его Джулиан.— Но, по-моему, все это не слишком плодотворно, как вы считаете? Да и, во всяком случае, с меня, пожалуй, довольно. Хорошо, я объясню вам причину, которую вы, возможно, способны понять. Видите ли, шестьдесят с небольшим тысяч фунтов мне ни к чему. На такие деньги я не смогу жить так, как мне хотелось бы. С тем же успехом я могу остаться при нынешних моих средствах. Другое дело, если я получу всю сумму. Вот почему мне есть смысл рискнуть — все или ничего. Кто-нибудь не понял? — Он оглядел стол и снова уставился на Марча.— А, да! Вы как будто сказали, что я вам что-то навязываю. Но это не совсем точно отвечает положению вещей. Мне очень неприятно ставить точки над «и», но я вам ничего не навязываю, я отдаю вам распоряжение. Извините.

Лиз дернула его за рукав. Она побледнела, ее лоб пересекли глубокие морщины. Она зашептала, и остальные услышали только слово «трезво».

— Нет,— громко ответил Джулиан, но на этот раз мягким тоном.— Я смотрю на положение гораздо более трезво, чем ты.

Его мать, хранившая во время спора почти полное молчание, взглянула на Скелдинга не то с безнадежностью, не то взывая о помощи. Он поднялся со стула, как будто готовясь сделать официальное заявление.

— Я обязан сказать вам, что это будет ужасной ошибкой.

— По меньшей мере,— добавил Марч.

— Ну, ведь вы в любой момент можете выйти из игры.— Наивные глаза Джулиана сияли.— Вероятно, я сумею найти другого адвоката, который с удовольствием возьмется за это ради своего куса издержек. И наверное, мистер Скелдинг, я сумею найти другого поверенного, если для вас все это действительно так уж невыносимо. При полном взаимопонимании.

Марч грубо хохотнул.

— Ну нет. Если вам во что бы то ни стало хочется швыряться деньгами, я лично отказываться не буду. С апелляционной жалобой я справлюсь не хуже всякого другого. Тут особой квалификации не требуется. Но менять лошадей на этом этапе было бы неразумно.

На чем все и кончилось. Никто больше не спорил. Скелдинг сказал, что необходимо будет поставить в известность противную сторону. Переговоры потерпели неудачу. Соглашение не состоится. Скелдинг изложил все это округло, профессиональным тоном, доведенным за долгие годы практики до совершенства, и никто не задался вопросом, что он при этом чувствует, никому даже и в голову не пришло, что он может что-то чувствовать.

Марч безразлично кивнул, уже выбросив все происшедшее из головы. В конце концов этот дурак был его клиентом, и в отличие от Симингтона перед ним никаких этических проблем не возникало.

Остальные еще не вышли из комнаты, а он уже наливал себе новую рюмку.

Во время их традиционного обеда в пятницу он рассказал Лэндеру про это совещание, о результатах которого Лэндер как адвокат Дженни уже знал от Симингтона.

— Торжество воли! Чистой силы воли,— сказал Марч с недоуменной улыбкой.— Я не думал, что меня так легко осадить. Но у этого потаскуна силы воли куда больше, чем у меня. И чем у всех остальных, вместе взятых. Вот как можно ошибиться.

Хотя Марч и умел смотреть правде в глаза, признавался он в поражении без всякого удовольствия. Возможно, ему стало бы легче, если бы он услышал от какого-нибудь постороннего наблюдателя, что в определенном и очень узком смысле Джулиан силой воли далеко превосходил всех, кто прямо или косвенно был причастен к делу Мэсси. И именитых политических деятелей вроде Хилмортона или Райла и даже, пожалуй, Суоффилда, хотя тот уступал ему ненамного. Требовалась поистине нечеловеческая сила воли, чтобы жить так, как жил Джулиан, чтобы не делать того, чего он делать не хотел. Ничего достойного восхищения в этой воле не было, она была одновременно нелепой и разрушительной, но она существовала. Его мать знала это. С тех пор как он вышел из пеленок, во всех их столкновениях уступала она. Его женщины знали это. А Лиз особенно. Быть может, именно тут крылся секрет его власти над ними.

Об этой власти Джулиана ни Марч, ни Лэндер даже не подозревали. Но узнай они про нее, он не стал бы им симпатичнее. Во время обеда Лэндер заметил, что с большим удовольствием дал бы ему хорошего пинка в задницу. Они поговорили о том, какая причина может крыться за этим ослиным упрямством. Только ли деньги, как он сам объяснил им? Или заодно ему вздумалось учинить бессмысленную пакость? А может быть, он хотел отомстить — отомстить за то, что старик Бозанкет публично унизил его мать?

— Слишком уж тонко,— заметил Лэндер.— Много чести для него.

Марч принялся рассуждать о том, какую роль играет воля в судьбах человеческих. Он давно пришел к выводу, что вопрос далеко не исчерпывается личными взаимоотношениями. Люди что-то делают для вас не потому, что вы им нравитесь. Так думают лишь наивные простаки. И не потому, что вы сделали что-то для них. Недаром старинное присловье, кажется русское, гласит: «За что он меня так ненавидит? Я же ему ничего хорошего не сделал». Да, привязанность стоит немногого. Разве что для исключительно благородных натур. Воля значит куда больше. И еще страх. Если люди знают, что твоя воля сильнее, если они боятся тебя, то порой тебе удается взять верх. И уж совсем хорошо, если они знают или ощущают, что сам ты лишен душевного тепла. Человек подобного склада способен внушить преданность очень многим. И, вероятно, таков этот «омерзительный тип» — Джулиан.

— Ну, нам особенно надеяться не на что,— сказал Лэндер, как обычно растравляя рану.

Победа Джулиана означала, что они снова встретятся в качестве противников — на сей раз в апелляционном суде. Каждый прекрасно знал все возможности другого, и в этой инстанции некоторое преимущество было на стороне Лэндера.

— Не заключить ли нам маленькое пари?— спросил Лэндер, не любитель пари.

— По этому поводу, пожалуй, не стоит,— ответил Дэвид Марч, их любитель.

Симингтон вынужден был поставить Суоффилда в известность, что их собственное совещание, которое было намечено провести в ближайшие неделю-две, теперь не нужно. Суоффилд пришел в бешенство. И гнев его обратился на Симингтона — подобно другим абсолютным владыкам, ответственность за дурные вести он возлагал на вестников. К тому же Суоффилд подозревал, что Симингтон не подчинился его указаниям и отыскивал способ обойти их.

Суоффилд, чьи внезапные желания не сходили на нет, а, наоборот, обретали силу и устойчивость, с наслаждением предвкушал заключительный акт самоутверждения. Предвкушал он и объяснение с Мейнерцхагеном, Хейдон-Смитом и теми, кого им заблагорассудится привести с собой,— объяснение на этот раз не столь джентльменски корректное. И то и другое принесло бы Суоффилду немалое удовлетворение. А теперь выходило, что он всего только сделал жест, жалкий, ничем не подкрепленный жест. И к тому же в ущерб самому себе.

Суоффилда постоянно тянуло сделать какой-нибудь жест, но он удерживался, если только речь не шла о тех, кто от него зависел. Это было бы баловство, а в своих действиях он баловства не допускал, как бы ни соблазняло оно его мятущуюся душу чужака и выскочки. И теперь, внутренне трясясь от ярости, но вымещая ее только на своих придворных, которые оказывались под рукой, он принялся восстанавливать разрушенные каналы связи. Надо будет пригласить Мейнерцхагена, Хейдон-Смита и еще полдюжины этих вымогателей и их сучек (Суоффилд разговаривал вслух сам с собой) и закатить для них такое, чего они по скаредности сами никогда не устроят.

Таким образом, Симингтону и Дженни не представилось случая проверить, как бы они поступили в критический момент. А потому они остались со своими сомнениями и, оглядываясь назад, ни к какому определенному выводу прийти не могли. Как и самые близкие им люди. Элисон Симингтон, любившая мужа, про себя верила, что он избрал бы тот образ действий, на котором, как она предполагала, остановился Дэвид Марч. Это потребовало бы от него немалого душевного напряжения, которого он скрывать не стал бы, но тем не менее смирился бы. Он был человеком от мира сего, а у всякого чувства ответственности есть предел. И еще Элисон подумала, что когда-нибудь — возможно, всего лишь раз — он презрит все пределы. Но не сейчас. И хорошо, что он был избавлен от этого испытания.

Но Лоример, трогательно веривший в Дженни, не сомневался в том, как поступила бы она. У нее есть мужество, у нее есть чувство чести, и она осталась бы верна своим принципам. Сама Дженни далеко не разделяла его уверенности. Полный разрыв с Суоффилдом означал отказ от гарантированной обеспеченности, однако она была практична и подсчитала все плюсы. Каковы бы ни были условия соглашения, у нее осталась бы весьма значительная сумма даже после того, как она вернула бы Суоффилду его деньги. А кроме того (тут, пожалуй, она себя недооценивала, и Лоример был ближе к истине), ей нравилось быть честной и вести себя в соответствии со своими понятиями о порядочности. Может быть, она и рискнула бы. А что было бы на самом деле, известно лишь богу, в которого она не верит. Но уж тогда она насладилась бы оглушительной ссорой с Суоффилдом не меньше, чем он скандалом, которого его лишили.

Перевели с английского И. ГУРОВА и О. КРУГЕРСКАЯ.

(Окончание следует)

ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

СИЛЬВА КАПУТИКЯН

★

МЕРИДИАНЫ КАРТЫ И ДУШИ

Говорят, что на корабле Колумба «Санта Мария» был и мой дальний соплеменник по имени Мартирос и армянский был одним из тех языков, на котором сошедшие на берег мореплаватели через переводчика Тореса пытались объясниться с туземцами.

Так это или не так, спорить я не стану. Но неоспоримо то, что начиная с XVIII века на кораблях, плывущих к Новому Свету, все больше и больше оказывалось армян из городов и сел Западной Армении.

Ремесленники и крестьяне, они оставляли родные края, землю, которая не в силах была прокормить их детей, и держали путь туда, за океан, чтобы, денно и нощно трудясь на заводах Устра и Детройта, на фермах Калифорнии и Канады, экономя центы, посылать их домой измученным ожиданием жене с малышами.

Так крунку — журавлю, воспетому еще с давних веков в песнях скитальцев-пандухтов,— пришлось перелететь через океан и услышать слова, обращенные к нему не только под палящим солнцем Алеппо и Багдада, но и в небе, затуманенном сажей и копотью:

Крунк, куда летишь? Крик твой слов сильней!
Крунк, из стран родных нет ли хоть вестей?
Свой покинул сад я в родной стране,
Чуть вздохну — душа вся горит в огне.
Крунк, постой, твой крик нежит сердце мне
Крунк, из стран родных нет ли там вестей?

Но вот пробил и такой час, когда журавль, эта романтическая песенная птица, уже не смог взлететь под тяжким бременем черных вестей из тех самых благословенных «стран родных». Случилось это в начале XX века, в 1915—1916 годах, когда султанская Турция учинила кровавую расправу над безоружным, беззащитным армянским населением, когда тысячи и тысячи людей были лишены «страны родной», когда они были отторгнуты от нее силою ятагана, вышвырнуты в сирийские пустыни Тер-Зор и Мескене, ставшие огромной братской могилой.

А те, что чудом уцелели, разбрелись по миру, осели в Египте, Иране, Сирии, обосновались в Европе, добрались до Америки и Канады. В многовековом нашем словаре образовалось новое жесткое слово «спюрк», от корня «спрвел» — расселяться, расстилаться, слово, ставшее синонимом разбросанного по свету армянства.

Горестное это словообразование звучало бы еще горше и безысходнее, если бы в те же 20-е годы, в тот же многовековой словарь не вошло еще одно слово — «советская» и не соединилось бы, не слилось с названием древней нашей страны. Советская Армения! Воспрянувшая из огня и пепла, она крепла, мужала из года в год, все более и более вселяя надежду в души своих сыновей во всем мире.

С первых же дней Советской Армении американская колония через свои прогрессивные организации установила с ней тесную связь. В 1922 году члены землячества «Арабкир», рабочий, трудовой люд, собрали деньги и послали нам небольшой трактор. Вместе с первыми тракторами, бороздившими нашу жесткую землю, шел в одном ряду и этот репатриированный работяга.

Во время Великой Отечественной войны в американском спюрке по инициативе прогрессивных кругов был создан комитет «Виктория», с помощью которого патриоты-армяне отправили в Советский Союз танковую колонну «Давид Сасунский», чтобы внести и свою лепту в борьбу с фашизмом.

Счастливый исход войны вызвал новую волну уважения и веры в мощь Советской страны во всем мире. Но вот грянула «холодная война», и волны ликования застыли в этом холоде. В Америке настали пресловутые времена «охоты за ведьмами», и возглавить особый список опальных организаций, вызвавших немилость сенатора Маккарти, выпала честь той, которая начиналась с первой буквы алфавита,— «Armenian progressive League» («Армянский прогрессивный союз»). И все же «Союз» продолжал работать. Через газету «Лрабер» он поднимал голос против реакции, включился в движение сторонников мира, боролся за прекращение вьетнамской войны. Он ратовал за духовную сплоченность спюрка вокруг Советской Армении, всячески противостоя стараниям националистической партии «Дашнакцутюн» оторвать от нее армянское зарубежье.

За последние десятилетия все больше и больше расширяется сфера воздействия Советской Армении, захватывая все новые и новые пласты спюрка. Этому расширению способствует и многообразная деятельность нашего Комитета по культурным связям с армянами за рубежом, где перекрещиваются самые разные маршруты на трассе Армения — спюрк.

Рассекают моря и океаны корабли. Скоростные самолеты спешат связать друг с другом материки. Чуть сдвинешь в сторону черточку на шкале радиоприемника — и в комнату врываются голоса самых дальних далей. Телефонные провода стягивают в зажатой ладонью трубке два полушария. И через все это, соединяющее людей с людьми, и пролегает трасса Армения — спюрк. Едут туда посланцы родины — писатели, ученые, артисты, художники, музыканты, ансамбли, фильмы, выставки, издаваемые для спюрка учебники, книги и газеты. Едут к нам в Армению сотни студентов в наши институты и университеты, каждое лето в Ереван на специальные курсы прибывают школьные учителя, «репатриируются» картины, архивы и манускрипты, завещанные их владельцами, умершими на чужбине, приезжают старики, мечтающие, перед тем как навсегда закрыть глаза, взглянуть на возрожденную родину.

Крунк, куда летишь? Крик твой слов сильней!
Крунк, из стран родных нет ли хоть вестей?

Все еще звучат эти грустные слова на всех меридианах спюрка. Но совсем другие вести приносит теперь крунк из страны родной.

Во время моих зарубежных поездок я была счастлива, что могла привезти с собой эти другие вести и каждый раз заново ощутить, что такое для нашего народа само наличие, само существование Советской Армении.

Моя первая книга прозы «Караваны еще в пути» была посвящена поездкам в армянские колонии Ближнего Востока. Потом, опять-таки, как и в первый раз, по приглашению прогрессивных армянских организаций, я побывала в Канаде и Америке. Об этой последней поездке и рассказывают мои записи, которые я, возвратившись домой, делала в селе Егвард, неподалеку от Еревана, и часть которых предлагаю здесь читателям.

Воспоминания о поездке перемежаются наблюдениями над жизнью в Армении за время работы над этими страницами.

5 марта. Егвард

Канада...

Когда на школьной карте — а она была очень большая и занимала почти всю классную доску — я хотела показать Канаду, рука с трудом дотягивалась до нее. Она была высоко, почти прилепилась к полюсу, а я была ученицей третьего-четвертого класса.

Мы росли, карта постепенно уменьшалась, разноцветие ее для нас стало уже не просто коричневым, желтым, голубым, зеленым цветом, а странами с их

городами, реками и морями, с их горными хребтами и вершинами, с их историей и культурой. Вот в этом кружочке на юге жил Гомер и поднялся к небу Парфенон. Рядом на полуострове-сапожке Юлий Цезарь перешел Рубикон и основал империю, выше, на севере, явился миру великий Шекспир, на берегах Невы прорубил окно в Европу Петр Первый, а чуточку слева разрушили Бастилию. Так обживалась карта мира, ее заселяли люди и события.

Только один кусочек оставался почти таким, как и тогда, в ранние школьные годы: бескрайний, зимою — снега и льды, летом — неоглядные пшеничные поля, неосвоенные дикие степи, леса, а над всем этим без устали грохочет, пенится, низвергается со своих немыслимых высот Ниагара, белая, взлохмаченная, необузданная Ниагара...

Могла ли я думать, что выдастся такой день, когда усталая, в измятом платье, с дорожной сумкой и ереванскими гвоздиками в руках я ступлю на эту землю и далекая, необъятная, с трудом представляемая Канада в одну минуту станет обыкновенным вестибюлем в аэропорту, наполнится родным говором, привычной смуглотой лиц, одним словом, станет маленькой Арменией, на этот раз не в Бейруте, не в Алеппо, не в Египте, не в Каире или в Париже, а в Монреале...

Толпа вовлекает меня в свою круговерть, и я, смятенная и взволнованная, протягиваю встречающим гвоздики — хоть и несколько привядшие, но все же из той, настоящей Армении. Среди встречающих есть и такие, кто, пожимая руку, спрашивает:

— Не помните меня? Я из Каира...

— Мы виделись в Бейруте, забыли?

— Я слышала вас в Алеппо, в школе Гайказян...

— А мы познакомились в Париже, в гостинице «Лютеция»...

«Помню», «да, да», «как же», «возможно», «вероятно» — произношу эти слова машинально, а в душе горечь. Значит, теперь они еще дальше от родной земли — на целый океан. К понятиям египетская, сирийская, ливанская, французская, иранская, американская армянская колония прибавилась за последнее десятилетие новая — канадская.

Моя первая встреча в этой колонии произошла в арендованном здании субботней школы. День был сумрачный, дождливый, и, быть может, от этого помещение школы, просторное, бетонно-стеклянное, показалось мне холодным, угрюмым. Вместе со спутниками мы прошли через пустые коридоры и вошли в зал. В углу группа детей самых разных возрастов окружила учительницу. Ребята пели что-то. Я попросила их не прерывать пения, и мы остались стоять у дверей. То был не патриотический гимн, не грустные мелодии Комитаса, то была незатейливая народная песенка «Ой, Назан, яр» («О, моя любовь, Назан»), но — вот поди-ка — я не смогла удержать слез. Первая встреча с армянскими детьми на американском материке. Холодный громадный зал и в углу — дети, скучившиеся, как цыплята, сбежавшиеся на горсточку зерна...

Кто знает, где, в каком селе, в каких горах, на каких полях и землях, пропитанных запахом трав и хлебов, родилась эта песня, переплыла океан, долетела сюда, в высокий белобетонный зал, и вот она на устах этих одетых в джинсы и батники детей. И звучала эта идиллическая песенка сейчас в каком-то ином, непривычном, убыстренном ритме, словно она интуитивно взвалила на себя новую, не предусмотренную безвестным сочинителем задачу: заменить собою те дальние села, те поля и земли, пропитанные запахом трав и хлебов, не дать погаснуть в душах далеким, едва мерцающим огонькам родины.

Встреча со школьниками началась с того, что от группы ребят отделился коренастенький мальчик лет двенадцати и звонким голосом прочитал мое стихотворение:

Армянская страна, родная сторона,
Огромен белый свет, но я тебе верна.

Ты — стародавний храм над древнею скалой,
А небо над тобой — что купол голубой.

Голубкою бы стать под куполом твоим,
Чтоб тень его была мне кровом дорогим.

Куда б ни улететь, к тебе вернуться вновь,
Под купол голубой нести свою любовь.

Купол Армении, кровля ее сложена не только из бревен и соломы, камня и бетона, она — из первых жарких строк, пропетых язычниками-бардами о боге огня Ваагне, из строгой вязи наших древних письмен на жестких листах пергамента, из белого островерхого пламени снегов Арарата, из розового зарева Еревана, из песни «Ой, Назан, яр», из стихов, из радости, из горечи, из тоски, из мечтаний — из всего этого сложена кровля Армении.

Не знаю куда, к каким берегам, в какой Ванкувер или Сидней забросят этого коренастенького мальчика житейские бури, как повернется его судьба, но пусть всегда будет над ним этот голубой купол, эта нерукотворная кровля.

7 марта. Ереван

В Армянском обществе культурных связей с зарубежными странами сегодня встреча по случаю Международного женского дня. Женская секция общества принимала зарубежных студенток, занимающихся в учебных заведениях Армении. Меня тоже пригласили на эту встречу, и я охотно согласилась. Во время моих выступлений за границей мне часто доводилось говорить о том, что Армения, некогда посылавшая своих сынов в иностранные университеты, сегодня сама принимает студентов, приехавших из других стран, среди них примерно четыреста человек — армяне из спюрка. С армянскими ребятами мне часто доводилось встречаться. Я бывала у них на вечерах, на литературных встречах, а вот со студентами других национальностей еще не виделась. И вот нынче — возможность взглянуть и на них.

В зале вокруг низеньких столиков сидят студентки — монголки, вьетнамки, немки. После взаимных приветствий и поздравлений хозяева откупорили бутылки с шампанским, после чего потихоньку стали «откупориваться» и гости.

Первыми задали тон монголки, ученицы Ереванского музыкального училища имени Романоса Меликяна. Круглолицые, миниатюрные, одетые в брюки и курточки, они спели несколько монгольских песен, как сами объяснили, «любовного содержания». Пели непринужденно, без всякого смущения. В узких продолговатых глазах искрился молодой задор.

Потом встали вьетнамки. Они столпились застенчивой кучкой и тоже стали петь. Но голоса их звучали неуверенно, тихо. Это, быть может, оттого, что пение не было их специальностью — они учились на математическом факультете университета,— но мне показалось вдруг, что это война, тянувшаяся долгие годы, оставила на них свой истощающий след. Девочки были невысокие, бледные, с непроходящей грустью в глазах. Они донесли к нам сюда скорбь вьетнамского Тер-Зора и Герники. Не так ли пели и наши сироты, подобранные когда-то на дорогах беженства и привезенные в Порт-Саид, Алеппо, Афины, Париж, а потом в Канаду, Америку?

Я вспоминаю фотографию, вошедшую почти во все сборники стихов Ованеса Туманяна. Она была сделана в то время, когда султанский ятаган опустился на головы тысяч и тысяч жителей Западной Армении. Эчмиадзин — древний центр армянской церкви. Во дворе храма — сгрудившаяся толпа детей с голодными глазами, в лохмотьях. Среди них Туманян, высокий, сухощавый, с трудом сохраняющий какое-то подобие улыбки на лице... Поэт народа, он оставил тогда Тбилиси, где жил постоянно, и ринулся в сожженные, разоренные Ван и Муш, а затем вместе с беженцами в Ереван, Эчмиадзин, стараясь вселить в отчаявшихся людей хоть какую-то надежду. «Родина плача, родина сирот»,— писал он в своем знаменитом стихотворении «Вместе с Родиной», но нашел в себе силы и прозорливость закончить его строками о воскресшем, несокрушенном крае:

В одеждах пламенных придет заря грядущих дней,
И будут сонмы светлых душ, как блеск ее лучей...

Был бы жив поэт, зашел бы в этот маленький зал, услышал, как рослые, светловолосые. подтянутые немки — студентки физического факультета Ереванского университета стройно поют песню «Эребуни-Ереван», заменяя в конце припева армянские слова немецкими,— увидел бы все это Туманян, порадовался бы великому смыслу происходящего в этом маленьком зале...

11 марта. Егвард

С детства он ревел, грохотал в Ереване в моей маленькой комнатке на улице Амирян, уносил с собой на своих бурлящих, пенящихся крыльях, и назывался он — водопад Ниагара. Помню, когда я только-только начала рифмовать и, еще не войдя в воду, искала броду, подбирала себе псевдоним — какие только заморские имена я не заносила в свою синюю школьную тетрадку: Сьерра-Невада, Сьерра-Мадре, Амазонка, Ниагара. И хотя после этих бурных поисков имя и фамилия мои остались такими, какими и были, Ниагара сопутствовала мне всю жизнь. В особенности когда ее далекий чужеземный облик так опоэтизировал в своем прекрасном стихотворении Ованес Шираз:

Ниагара! Ты рвешься к желанной свободе —
Воплощение гнева в бессмертной природе,

Пусть и рев и стремленья твои бесполезны:
Все равно не заполнишь ты каменной бездны,—

Но грозу твоей страсти и пены кипенье
Я в груди ощущаю в часы вдохновенья...

И вот я стою перед этой кипящей лавиной воды. Воистину это прекрасно, но... это не то, что я себе представляла! Вместо дикого, ухабистого, вздыбившегося в вышину, как из кратера вулкана, а затем низвергнувшегося вниз стремительного потока передо мной кажущееся не таким уже высоким гладкое полукружье скатывающейся вниз воды. Я смотрю на него не снизу вверх, как, мне казалось, это должно быть, а сверху вниз, словно с галерки. Но это только первые минуты свидания, когда реальность и воображение противостоят друг другу. Очень скоро та, давняя Ниагара уступает в моих глазах и сознании место Ниагаре, принадлежащей миру...

Эта новая Ниагара небольшим островком разделена на две части: американскую и канадскую. Американская напротив меня: с ровного, словно отсеченного края свешивается, отвесно падает широченное белое полотно. А канадская часть справа. Это почти с геометрической точностью очерченный гигантским циркулем полукруг, с которого шестиметровой толщей медленно, величаво обрушивается многоэтажная пучина воды, обрушивается в бездну с такой силой, что вскипающая внизу белая пена заполняет весь котел. Из громокипящей низины до нас, стоящих высоко над нею за ажурной металлической решеткой, долетают холодные брызги, словно Ниагара крестит святой водой пришедших взглянуть на ее чудо паломников XX века.

А паломники и впрямь ультрасовременные. Выскакивают, как из аквариумов, из огромных, почти сплошь застекленных автобусов, из разноцветных легковушек всех марок мира и спешат к отелям и ресторанам, а то и прямо держат курс к водопаду.

Подобно водам Ниагары, чист и сверкающ и сам город Ниагара-Фолс. Каждый метр земли ухожен и приглажен словно после косметической маски.

На берегу реки, давшей имя водопаду, возвышаются две башни, две огромные бетонные колонны, завершенные какими-то сооружениями, похожими на шляпки грибов. «Гриб» имеет несколько этажей, внутри гостиница, ресторан, кафе, зрительные залы. С каждого этажа открывается вид на оба водопада, будто с самолета.

Мой номер в гостинице «Шератон» на десятом этаже, и балкон его, как наблюдательный пункт, нацелен прямо на это чудо мира.

Но конечная точка моего путешествия в тот день — не Ниагара. В десяти—пятнадцати километрах отсюда, в маленьком городке Сен-Катрин, живут армяне из тех, что первыми ступили на землю Канады. Они еще в начале века оставили свой малоземельный, полуголодный край Гехи и приехали сюда на заработки на металлургические заводы города Гамильтон. В 1912 году в этом Сен-Катрине они построили первую в Канаде армянскую церковь, которая стоит и поныне и входит в эчмиадзинскую епархию.

Сегодняшний вечер состоялся в притворе старой церкви. Пришли армяне из американской половины Ниагара-Фолс, из близлежащих Гамильтона и Колда, людей было полно.

Вечер ведет председатель приходского совета — человек лет пятидесяти. Дружелюбно улыбаясь, он произносит по-армянски несколько приветственных слов. Все в облике черноглазого улыбчивого Карапета Саркисяна настолько привычно и знакомо, что просто невозможно себе представить, что, кроме этих нескольких слов, все остальные из многотомного армянского словаря для него не существуют...

Дочь председателя, совсем еще девочка, крупная, черноглазая, как и отец, преподнесла мне букет роз и торжественно начала тоже по-армянски:

— Дорогая наша гостья...

Увы, едва начав, девочка остановилась, виновато посмотрела на отца и, отчаявшись, перешла на английский.

— Забыла,— еще больше, чем дочь, сокрушался отец,— целую неделю моя мать учила, учила. И вот забыла...

Я тоже сокрушалась, но то было в начале моего путешествия; потом, особенно в Америке, я уже этому не удивлялась.

Сидящий рядом со мной вардапет — глава сен-катринской церкви — объясняет, что на вечер пришел со своими «ребятами» лидер местных дашнаков. Еще дня два назад эти «ребята» говорили вардапету: «Знаем, приехавшая из Армении будет бросать в нас камни, однако мы придем...» И вот они здесь, хотя обычно сюда не ходят.

В конце слово предоставляется мне. Я не «бросаю камни». Я просто рассказываю, как народ Советской Армении, укладывая камень на камень, воздвигает свой отчий дом, двери которого распахнуты перед всеми его сынами, входящими с открытым сердцем. Рассказываю о Ереване и приютившихся под его сенью новых поселках — Нор-Гехи, Нор-Зейтун, Нор-Аджно, Нор-Арабкир, Нор-Себастина, Нор-Малатия, Нор-Харберт, Нор-Ерзынк,— носящих имена древних оставленных армянских городов. Рассказываю, как ежегодно 15 сентября репатриировавшиеся в Армению мусадагцы вот уже тридцать лет отмечают годовщину своей героической обороны. В 1915 году, не желая подчиниться приказу турецких властей о переселении, шесть тысяч жителей армянских сел поднялись на гору Муса-Лер (Мусадаг) и сорок дней оборонялись от вооруженных войск. Спаслись они с помощью французского корабля, появившегося здесь, у берегов Средиземного моря. Рассказываю, как и этой осенью они отметили свою дату в новом поселке Муса-Лер, названном так в честь знаменитой горы. Собралось несколько тысяч человек, и казалось, по всей Араратской равнине гремят их традиционная зурна и дап, трясется земля от круговых плясок, а чуть подальше в восьмидесяти пяти громадных котлах булькает янтарная ариса, та самая, которая вскормила когда-то Давида из Сасуна и дала ему силу вступить в бой с Мсером-Меликом...

Слова мои адресованы простым людям, сидящим в этом зале, большей частью старикам, которые хотя уже давно живут тут, в этой канадской дали, но сохранили всю свою безыскусственность, свою тоску по родной земле, камню, дереву.

В конце вечера они подходят ко мне, пожимают руку, обнимают, некото-

рые умиленно рассказывают о том, что побывали в Армении, в Нор-Гехи, в «своем» поселке и, если бог даст, обязательно приедут еще.

Ах, эти старики...

Они всюду будут мне встречаться, по всей шири Канады и Америки. Будут сидеть в залах как прикованные к скамьям и, словно бьющую из кислородной подушки струю, будут вдыхать воздух Армении — армянскую речь. И всегда и повсюду они вновь и вновь станут вспоминать свою неказистую хижину и сад, своего деда, из поношенного рукава которого высовывались узловатые, подобные сухой виноградной лозе, добрые руки.

Эти старики! Они пришли сюда, на чужой берег, еще молодыми, жилистыми. В стальных зубьях Гамильтона, на плантациях Канады, на автомобильных заводах Форда они состарились, ссохлись. Все надеялись: вот вырастут дети, выучатся, выйдут в люди и никто больше не швырнет им в лицо презрительную кличку «старвинг арминиен» — голодный армянин.

Выросли дети, выучились в школах и колледжах и год за годом, класс за классом отходили от отцов. Отцы комьями земли стелились под ногами детей и внуков, стремясь напитать их теплом и влагой родины, дать возможность прорасти родным корням. Но иссохшими были уже корни, скудны влага и тепло. И сыновья перешагнули через те выветрившиеся, растертые в пыль комья и пошли шагать по просторам, по жирному чернозему.

Они встречались мне повсюду, эти старики. И везде — в домах ли для престарелых или в полных достатка особняках, покинутые ли детьми или окруженные заботой сыновей и невесток — все равно они были одиноки. Бегущий из века в век горный ручеек обмелел и вот-вот должен был совсем уйти в песок. А где-то рядом уже взял свое начало другой ручей, звенящий на другом языке о другой жизни.

18 марта. Ереван

Сегодня утром, приехав из Егварда в Ереван, я позвонила в Комитет по спюрку, а если официально, то в Комитет по культурным связям с армянами за рубежом. Хотелось узнать, что у них нового, кто из знакомых сейчас гостит в Ереване.

Комитет этот основан в 1964 году, в какой-то мере он стал непосредственным преемником КПА — Комитета помощи Армении, возникшего в 20-х годах, но по сути своей в корне от него отличается. Нынешний Комитет по культурным связям предполагает совершенно иные маршруты своей деятельности — помощь не Армении, а из Армении.

Вот и сегодня председатель комитета Вардгес Амазаспян созвал нас, членов правления, чтобы обсудить просьбу писателя Ваграма Мавьяна, прибывшего из Лиссабона. Это отнюдь не личная просьба, она исходит от фонда Гюльбекяна, где Мавьян работает.

Этот фонд, основанный по завещанию зарубежного армянина Галуста Гюльбекяна, распределяет свои средства во многих странах мира. При нем существует и армянская секция, которая призвана помогать спюрку — его учебным заведениям, больницам, нуждающимся студентам, издавать труды по истории Армении, ее зодчества и прочее.

Ваграм Мавьян рассказал нам, что эта секция снабдила почти все школы спюрка проекторами, но у них нет слайдов по Армении. Он составил предварительный тематический перечень: история родины, ее литература, архитектура, а главное, современная Армения, ее столица, культура, наука,— и просил комитет подготовить соответствующие материалы.

Участники заседания с радостью предлагают свою помощь. Мы расходимся по домам с каким-то добрым чувством. Пусть мелочь — слайды, но что-то еще прибавится, что-то еще узнают они о нас, нашей жизни, об Армении.

На прощание мы с Ваграном сговариваемся пойти вечером вместе в театр.

Мавьян — писатель одаренный, интересный, что называется, с изюминкой. И внешность у него незаурядная. Седина, которой становится с каждой встречей

все больше и больше, прибавляет ему какую-то значительность. Два года назад Мавьян приезжал в Ереван. Мы побывали с ним в селе Уджан, где он хотел увидеть памятник полководцу Андранику. Уже лет десять как он воздвигнут на средства, собранные жителями Уджана. В селе еще живы многие из воинов армии Андраника — те самые ополченцы, которые в 1915 году встали на защиту своей земли от злодейств, чинимых турецкими аскерами. Сгорбленные, совсем уже старые, с четками в темных сморщенных руках, сидят они под сенью молодых деревьев на скамейках у памятника.

Издали с горделиво-независимым видом нас с Мавьяном разглядывают деревенские парни с длинными по моде волосами, в пестрых толстых свитерах. Это они облекли в плоть мечту стариков: вырыли возле памятника котлован для озерца, закрепили дно и стены камнем и цементом, заполнили водой, насадили вокруг деревья. На берегу этого озерца под ногами у дедов крутятся внуки, здоровенькие, с горящим горным румянцем на налитых щеках, и хоть одежда у них и новая, но штанишки обвисли, скошенные ботинки в грязи, одним словом, обыкновенные деревенские ребята...

Я вспоминаю каменного всадника на одной из могил кладбища Пер-Лашез в Париже. В ней покоится прах Андраника. Отвергнув недальновидную, вредоносную политику дашнакских властей, в 1919 году, еще до образования Советской Армении, Андраник покинул родину. Но там, в Париже, он всего лишь памятник-камень, здесь он живой, здесь его земля, его дом, его дух.

Осмотрев памятник, идем к дому, где живут уджанские учителя Мисак и Алмаст Гаспаряны. Когда приезжаешь в это село, нельзя миновать их дом. Он стоит у въезда в Уджан, на самом краю села. Словно о нем писал наш поэт Мисак Мецаренц еще в начале века: «Стать бы мне хижиной у края дороги, зазвать бы мне всех на мое тепло и свет». Это, конечно, не хижина, а новый двухэтажный дом, который, правда, еще не успели обставить. Да и как тут успеть, когда почти каждый день гости, каждый день щедро накрытый стол. Помню, когда впервые мы, группа писателей, пришли в этот дом, хозяйка его Алмаст, смуглая и сильная, лет под пятьдесят, с детской непосредственностью воскликнула:

— Клянусь детьми, даже если бы сам господь сошел на землю, я бы не так обрадовалась!

И сегодня так же радушно встречают нас в этом доме. Собралась вся родня, приехали из Еревана, из талинских деревень, где Алмаст провела свою учительскую молодость и где у нее теперь что ни дом, то свои.

Талин. Наверное, во всей многокаменной Армении не сыскать такой скупой и бесплодной земли, как в этом покрытом серыми грудами валунов горном краю. Но, пожалуй, на всей нашей земле с ее древними пергаментами и священными руинами не сыскать другого такого места, где бы так явственно ощущалась духовность, так жила бы в памяти народа его история. Оставив там, за чертой, синие хребты первозданных гор, где слагался эпос о могучем юноше Давиде Сасунском, осев здесь, в отрогах Талина, сасунцы кровно привязались к этой многотрудной, истощенной земле, вложили в нее свою нежность и тоску по силой отторгнутому, покинутому краю. Так вот и сложилось, что, с тех пор как обосновались они здесь, многое сохранилось в сасунцах от Сасуна: упорное трудолюбие, исконное чувство человеческого достоинства, в котором так естественно уживаются рядом необоримая крутость горцев с врожденной возвышенностью, наивной мудростью бардов. Ярко-красный трактор новейшей марки, уверенно вгрызающийся в трудно поддающуюся твердь земли, почтительно соседствует со своеобразным сасунским «домостроем».

Прочитав за хлебосольным столом только что сложенные им строки об Арарате, бригадир колхоза села Базмаберт, один из постоянных гостей Гаспарянов, сразу же переходит к делам житейским:

— Был у нас в селе такой никудышный человек. Взял себе в жены учетчицу из Аштарака, привез к нам. Весь клуб под свадьбу заняли. А через год — нате вам, этот дармоед, тунеядец прогнал ее. Не хочу, мол, больше жить, давай развод! Ну, я собрал сельский актив и прямо к этому молокососу—обсудить си

туацию. Словом, отдубасили мы его как полагается! «Слушай, ты, шкодливец,— говорю потом,— забыл, что ли? Жена не рукавица, с руки не скинешь да за забор не кинешь. Еще из чужой деревни привел. У тебя что, честь корова языком слизнула?! Сасунец ты или подкидыш?!» Ну, очухался он после нашего «обсуждения», пошел и как миленький водворил жену назад.

Вот, значит, среди какого застолья оказался чинный, похожий на лорда сотрудник фонда Гюльбекяна Ваграм Мавьян. Но кому-кому, а мне было ясно, что творилось за кажущейся чопорностью в душе этого человека, автора книг «Бессвязный дневник» и «Обломки рода», книг, в которых живет неистребимая боль за судьбу «обломков», рассеянных по свету. Спустя несколько месяцев я прочла заметки Мавьяна о днях, проведенных им в Армении. В этих воспоминаниях, согретых дымом дружеских очагов, выше всех поднимались клубы дыма от очага, что находился возле дороги у въезда в село Уджан...

Из театра мы с Мавьяном возвращаемся пешком. Несмотря на то, что смотрели комедию, идем, охваченные мягкой грустью весеннего вечера.

— Ну как тебе наша колония в Америке?— интересуется Ваграм.— Караваны еще в пути?

— Караваны все больше удаляются,— отвечаю я.

— Да, удаляются... И я был в Америке два раза, писал об этом. Не читала небось?

— Нет, к сожалению. Но прочту, обязательно прочту.

— А мы вас читаем от корки до корки. Правда, мы ведь «зарубежная армянская литература». Занесли нас в рубрику, но не читаете,— с легкой обидой подкалывает Мавьян.

— Ну, ты-то не имеешь оснований жаловаться. Твои книги здесь издаются, получают высокую оценку,— отбиваюсь я, хотя в душе смущена. Читать-то читаем, но не хватает той постоянной заинтересованности, которая так необходима им, одиноким воинам, отстаивающим родную культуру.

— Эта зима в Лиссабоне была для меня особенно трудной, наверно, годы дают себя знать,— говорит Мавьян.— Казалось бы, такое дело делаю, тружусь в этом самом фонде, помогаю «обломкам» сохранить себя. И вдруг выпадают дни, когда так тошно становится, так пусто. Я ведь и сам «обломок», только, на свою беду, глубже, чем другие, ощущаю все это. Как-никак писатель, хотя и зарубежный,— горько усмехается он.

Несмотря на то, что уже поздний вечер, улицы многолюдны, народ возвращается из театров, с концертов. Многие прохожие узнают меня. Но почему-то сейчас мне особенно неловко.

— Это все телевизор! И писатель, как преуспевающий футболист, словно на витрине,— оправдываюсь я.

— И, как преуспевающий футболист, счастлив!

— Ладно, не ехидничай.

— Я не ехидничаю, я правду говорю. Помнишь, в «Бессвязном дневнике» я писал о смерти Степана Зорьяна? Вы счастливые, вы живете на родине...

Придя домой, вновь перелистываю «Бессвязный дневник», нахожу страницы об Армении, перечитываю описание похорон Степана Зорьяна. «Сегодня родной народ предал земле одного из своих талантливых сыновей Степана Зорьяна. Впервые я так ощутимо, до осязаемости, понял, какое это утешение — иметь возможность быть похороненным в своей родной земле. На мгновение мне даже почудилось, что не такая уж большая разница — н а д или п о д этой землей ты. Суть в том, что в обоих случаях эта земля — твоя... Мне было грустно, но это была другая грусть, чем у тех, кто стоял рядом со мной. Это была грусть человека, который хорошо знает, что такое быть армянским писателем, но всю жизнь прожить на чужбине и умереть и быть захороненным на чужом кладбище, в чужой земле».

Но даже написав эти строки, всем сердцем и умом понимая, как много значит не умереть, а родиться на родной земле, впитывая словно живую воду то древнее и юное, что есть в ней,— все равно Мавьян завтра снова отправится

в путь. Чужие страны и дороги приучили его к другой жизни, другим нравам, к повадкам вольной птицы без гнезда. Да и, кроме того, география его героев — спюрк, и он следует за ними повсюду от Португалии до Америки.

Так и будет колесить Ваграм из города в город, от берега к берегу, как дорожную сумку, влача за собой от аэропорта к аэропорту эту свою от года к году все более отяжеляющую вольность.

21 марта. **Евгард**

В дни моего пребывания в Торонто мне неоднократно расписывали замок «Армавир» и его владелицу мадам Зепюр Бабаян. Мне тоже захотелось взглянуть на замок, хоть я и чувствовала, что мои приятели из Торонто не слишком рвутся туда. На помощь пришла Ани, жена племянника мадам Бабаян, с которой она и договорилась о нашем приезде.

Ехали мы туда в тетушкиной, как говорит Ани, громадной машине цвета слоновой кости, сверкающей изнутри и снаружи. Знаменитый замок не произвел особого впечатления: этакая западно-восточная двухэтажная эклектика. На фронтоне нечто вроде герба с одним словом «Армавир». Говорили, что и впрямь сюда можно написать просто по адресу: Торонто, «Армавир» — и письмо дойдет. Не знаю, так ли это, лично я проверять не собираюсь, но то, что Бабаяны известны в канадской колонии, факт. Добрым словом поминают умершего хозяина «Армавира», который был здешним старожилом, с участием относился к нуждам колонии, помогал людям.

Дверь нам открыла робкая немолодая женщина и, мягко улыбаясь, провела внутрь дома.

У хозяйки больные ноги, ей трудно вставать. Поздоровались, и я собралась было уже присесть рядом, поинтересоваться ее здоровьем, выразить соболезнование по поводу того, что в этом огромном мире она осталась одна. Но не успела и слова вымолвить, как мадам распорядилась немедля бросить меня на осмотр замка. Я молча последовала за Ани, тут же раскусив, что на первом месте здесь вещи, стены и колонны, разукрашенные орнаментом, и тому подобное.

А этого подобного оказалась такая уйма, что бедная Ани еле успевала пояснять, что привезено из Флоренции, а что из Вены, это вот кресло — работа китайских мастеров, этот шкаф индийский, а этот сервиз принадлежал Людовику такому-то, эти два канделябра, кажется, из Каира или Багдада, плиты бассейна из Венеции, ковры из Персии. Словом, когда после пробежки по этажам мы вернулись к хозяйке, мне показалось, что я совершила блицкруиз вокруг света, делая минутную остановку в каждой стране.

Во время «путешествия» Ани, которая была иронична и соображала что к чему, рассказала мне попутно и о владелице всех этих заморских чудес.

— Мадам не поощряет никаких намеков на ее возраст. Моим малышам запретила называть ее бабушкой.

— А как же они ее называют? Мадам?!

— Нашли выход, сократили фамилию до «баба»... Мадам жаждет прослыть знатоком всех событий, свершающихся в мире, порассуждать о политике.

— Она одна здесь живет? И ей не страшно?

— Да, одна. Как-то в дом забрался вор, но она железякой так стукнула его по голове, что он еле ноги унес... Конечно, сейчас мадам очень сдала, нуждается в уходе, но характер у нее не сахар. Та женщина, что открыла нам, ее дальняя родственница, приходит время от времени, помогает...

Ани не говорит лишнего, но за этими словами угадываются другие, подтверждающие молву о владелице замка как о человеке жестком к людям, феноменально скупом. Несмотря на миллионы, она жалеет денег даже на то, чтобы оплатить уход за собой.

— Ну, как вам «Армавир»? — спрашивает мадам Бабаян и, не дожидаясь ответа, сообщает: — Слышали, что передали по радио? В какой-то стране арестовали премьера и в тюрьме убили. Назвали еще писателя, но я не расслышала... Тяжелое положение в мире, тяжелое...

Я догадываюсь, что она «обозревает» события в Чили.

— Интересный дом у вас,— прерываю я не слишком дипломатично.

— Да, мы с мужем все это привозили из своих поездок. Раз в год я в Торонто объявляю День замка «Армавир». Приходят люди, осматривают все, а я раздаю деньги нуждающимся.

— Свои раздаете? — встрепенулась я.

— Нет, зачем свои? Посетители платят за право входа, а я эти деньги жертвую на бедных.

Придумано неплохо. Жертва, но без заклания.

— Мадам Бабаян, когда необходимо, не поскупится,— вставляет Ани,— мы ей очень признательны, она помогла нам построить дом...

О том, что взамен тетушка сверхаккуратно взимает вполне высокую плату за него, Ани тактично умолчала. Все-таки старушка «перспективная»: восьмой десяток на исходе.

— Да, но только когда необходимо,— вносит ясность хозяйка.— Помилуйте, к чему эти щедроты нашего государства — пособия безработным?.. Приучают только к безделью! Вот они и не желают трудиться, эти рабочие.

После краткого экскурса в социологию нас приглашают в гостиную.

Сижу в разузоренном кресле черного дерева с таким чувством, словно я в Эрмитаже на троне какого-нибудь из фараонов. Мадам восседает в таком же. Ее волосы покрашены в ярко-рыжий цвет, губы подмазаны. В ушах жемчужные серьги, платье из легкого шелка с огромными цветами. Но из всех средств, призванных реставрировать владелицу замка, этой цели служат воистину одни лишь очки с толстыми стеклами. Как бы строго мадам ни запрещала называть себя бабушкой, она, увы, не в силах запретить глазам слабеть...

Тихо, бочком входит уже знакомая нам дальняя родственница, вносит малюсенькие рюмочки с ликером, коробку с несколькими шоколадными конфетами. Ее приход как-то очеловечивает угнетающую музейным безучастием гостиную.

— Ну, рассказывайте, как вы? — продолжает беседу хозяйка.

— Благодарю, немного устала. Сами знаете, путешествие, встречи, — отвечаю я, на секунду забыв, что интересы моей собеседницы не могут ограничиться одной личностью.

— Да нет, народ! Народ Армении как живет? — уточняет гостеприимная мадам.

— Народ?.. Ничего. Живет.

— Доволен?

— Доволен.

— Серьезно?

— Серьезно,— отвечаю, уже ясно понимая, что серьезного разговора здесь и не жди.

— А порядки ваши как, привыкли к ним?

— Привыкли.

— Ну конечно, куда вам деваться!

Меня так и подмывает оборвать: дражайшая, занялись бы своими делами. Пора, как говорится, и о душе подумать. Ну что вам до наших «порядков», до того, привыкли мы к ним или не привыкли?

— А я была у вас в Ереване. И к вам приходила в гости.

— Ко мне? — удивляюсь я. — Когда, с кем?

— Не то в шестьдесят седьмом, не то в шестьдесят восьмом, нет, пожалуй, в шестьдесят девятом, точно не помню... Приезжала с большой группой из Америки, с ними же была и у вас дома. Как это вы забыли?

Хозяйка явно уязвлена, а я, что греха таить, довольна тем, что из памяти моей начисто вылетел визит этого феномена.

В ту минуту сей факт показался мне не только свидетельством моей забывчивости, а показателем иной меры человеческих ценностей, иного отсчета. В Ереване бабаяновские миллионы «не сработали», не вызвали должного эффекта.

От встречи в «Армавире» у меня остался неприятный осадок. Досадно,

когда речь о «порядках» в Армении заводят такие люди. Люди, для которых прибыль в один цент дороже всей Армении, которые в своей торгашеской суете и не упомнят год первой встречи с нею, словно это одна из того множества стран, откуда они волоком волокли свой разномастный антиквариат. Эти «порядки» — наши, наши и радости и боль. И чтобы разделить эту радость и болеть этой болью, нужно иметь право на это, нужно заслужить его...

22 марта. Егвард

Я захватила с собой из Еревана в Егвард горшок с бегонией, порядком уже засохшей, пожухлой. Поставила здесь на окно, к солнышку, полила — и вот вижу, бегония потихоньку приходит в себя. Уже третий день слежу за каждым распрямляющимся листком, и этот оживающий с моей помощью, на моих глазах цветок доставляет большую радость, чем любой преподнесенный пышный букет. Все это не ново. Кто не знает, что нет для садовника большего счастья, чем раскрывающиеся весной первые почки, первый плод, снятый с посаженного им дерева. Ведь в этом дереве — его труд и старания, в нем обретает свою видимую форму, свою «материальность» прожитый вчера день. И если можно так привязаться к одному цветку, к одному деревцу, потому что ты выходил его, потому что в нем частица тебя самого, то каким же множеством нитей ты должен быть связан с той землей, которая поднялась из небытия, приоткрыла глаза и с твоей же помощью встала на ноги. В ее нынешней жизни, в ее преображенном «сегодня» — твой вчерашний день, вся твоя молодость, вся прожитая, выстраданная тобой жизнь.

За границей я часто ловлю себя на том, что любое, даже подчас справедливое замечание по нашему адресу как-то особенно задевает меня. Те проблемы и промашки, о которых я дома откровенно говорю сама порою с резкостью, может быть, с избыточной эмоциональностью поэта, там, за чертой, как-то отходят в сторону, и в свои права вступает властная ревнивая любовь к родной земле, гордость за все то дорогое, что осталось дома. Что же это такое? Слепой инстинкт стадности, инстинкт самозащиты от предполагаемых нападок или иное, более сложное многослойное чувство?..

Родина — не только география, история, памятники и великие имена, но и живущие рядом люди, те, кто, неся в себе ее прошлое, в то же время растит будущее. Более того: родина — это время, тот отрезок многовековой биографии народа, который совпадает с твоей биографией. Именно с наблюдательной точки своего времени и глядишь ты на прошедшие века, на грядущее народа, на многовековую панораму его жизни. Каким бы ни рисовалось тебе прошлое твоей земли и тем более ее будущее, все равно ты крепче всего связан именно с этим отрезком, с родиной своего времени.

Наверное, очень славны были времена Тиграна Великого, блистательны смотры войск и пиры в стенах Ани, столицы рода Багратуни, возможно, еще блистательнее дни будущего, но я слита с Арменией моего времени; именно она — моя реальная, живая, пульсирующая родина, мои именно эти ее пятьдесят пять лет с голодными и счастливыми днями, с юношеским восторгом от первого воздвигнутого здания, с наивным ликованием ребенка от первой подаренной ему игрушки — открытия крохотного Ширканала, с победным гарцеванием Давида Сасунского, вышедшего из древней пещеры на площадь Ленина в Ереване в дни своего тысячелетнего юбилея, с улицами, затемненными, ссутулившимися от войны и горя, с необузданным языческим ликованием 9 Мая, с торжествами в честь 2750-летней годовщины Эребуни-Еревана, когда открылись погребенные под пылью века, а также с горечью беспримерных испытаний и лишений, со смятением и отчаянием и с вновь и вновь врачующей надеждой.

Это мое время, это Армения моего времени, и мне трудно отделить друг от друга эти понятия и любить родину вообще, вне времени... Вот, наверное, из-за этого сложного, объяснимого и необъяснимого, чувства я так чутка к каждому опрометчиво произнесенному слову и каждой небрежно оброненной оценке моего времени...

25 марта. Егвард

В Канаде армяне в большинстве своем живут в Монреале и Торонто. Поэтому в моей канадской программе целая неделя была отведена на Торонто.

В отличие от монреальской армянской колонии в Торонто бразды правления в руках молодежи. Среди них особенно активен Грач Пояджян, редактор еженедельной передачи для канадских армян «Текеян дзайн» по радио и телевидению, необыкновенно энергичный и деловой. Из моего крайне перегруженного времени он буквально выдрал несколько часов и повел в студию, чтобы записать мое выступление.

До этого мы вместе с ним ходили в оффис продлевать срок моего пребывания.

В канцелярии было довольно многолюдно, мы встали в очередь, и когда подошли ближе, из окошечка прямо на нас взглянуло неприветливое лицо пожилой женщины-служащей.

— Боже, спаси нас от деловых женщин,— полушутя-полусерьезно шепнула я Пояджяну,— попади только в их руки. Не то что продлят, а сократят...

Сгоряча я даже предложила перестроиться на ходу и перейти к окошку, за которым восседал мужчина, но Грач уже протянул мой паспорт. Женщина молча взяла его, и, пока я с трепетом ждала, что вот-вот она возвратит его с вежливым отказом, на ее утомленном лице вдруг мелькнуло нечто подобное улыбке, которая быстро переросла в откровенную благожелательность. Женщина перекинулась несколькими словами с Грачем и, повернувшись к сидящей рядом сотруднице, показала мой паспорт, потом к ней подошли еще сослуживцы, брали паспорт в руки, разглядывали. Наконец Грач оторвался от окошка и в ответ на мое удивление объяснил, что их заинтересовал советский паспорт, поэтому он и переходил из рук в руки, и что они даже сказали, что он очень красив. Я тут же вспомнила Маяковского: «Берет — как бомбу, берет—как ежа, как бритву обоюдоострую». Да, все течет, все изменяется, и, как видим, к лучшему...

Юношеская энергия Грача Пояджяна не знает предела. Кроме армянских дел, он живо участвует в здешней общественной жизни. Сейчас же он изо всех сил старается расширить сферу моих наблюдений.

— Завтра у вас встреча с мэром Торонто, это, между прочим, будет небесполезно и для нашей колонии,— объявляет мне Грач.

Я охотно согласилась, тем более что здание городской мэрии Торонто произвело на меня сильное впечатление и мне было интересно увидеть его изнутри, так сказать, «в рабочем комбинезоне»...

Построено это здание по проекту финского архитектора Вильо Ревелла, победителя в международном конкурсе, объявленном мэрией Торонто. Оно считается одним из шедевров современного зодчества. Две неравные полуокружности — одна двадцати-, другая тридцатиэтажная. Они стоят друг против друга и частично входят одна в другую. В центре низкое круглое строение с выпуклой крышей. Словно высеченный белый колодец, дно которого на земле. Перед ним газоны, выложенные плитами площадки, водоемы с перекинутыми через них легкими мостиками, скульптуры. Все так ослепительно бело, такая точность отделки, что кажется — это не мощное строение из камня и бетона, а великанский белый макет. Слева от входа на постаменте некое металлическое многоствольное сооружение — работа знаменитого английского скульптора Генри Мура. Вспоминаю, что дома у моего сына я видела фотографию этой скульптуры. Что и говорить, занятно было повстречаться с оригиналом. Спешу увековечить себя возле этой скульптуры, хотя, признаюсь, мало что понимаю в подобного рода искусстве.

Прежде чем пойти в мэрию, заглядываем в парламент штата Онтарио.

У входа на высокой деревянной тумбе громадная корзина, где, помимо цветов, победные штыки колосьев пшеницы, литые ости которых словно изваяны из меди. На корзине надпись: «Береги природу Канады». Ну что ж, если даже Канада, так сверхобильно наделенная лесами и нивами, озабочена охраной своей природы, то как надо стараться нам на нашем гористом пятачке

Чтобы войти в зал заседания, нужно было иметь пропуск. Грач тут же его получил. Мы вошли в зал, вернее в ложу, которая предназначалась именно для таких любопытствующих. Сели. Внизу шло заседание одной из секций парламента, наверное секции социального обеспечения. Председатель парламента за столом в центре. По одну сторону амфитеатра восседали министры, по другую — депутаты. Высокий мужчина доказывал что-то. Мой спутник перевел: жалуется на недостаточность пособия.

— В семье четверо детей, а пособие получают ничтожное... Попробуйте вы прожить на эту сумму, господин министр социального обеспечения...

Господин министр, тщедушная флегматичная личность, откинувшись на спинку кресла, слушал и жевал жвачку...

Полным антиподом этому министру оказался мэр Торонто господин Крамби — невысокий, рыжеватый, подвижный и от этого кажущийся совсем молодым. Он, широко улыбаясь, вышел нам навстречу. Трудно было представить, что у такого огромного внушительного здания такой веселый, непринужденный хозяин.

Нас было четверо — известный в Канаде художник-фотограф Арто Гавукян, инициатор этой встречи Грач Пояджян, глава приходской общины Торонто и я.

Чтобы начать разговор, я сразу же завела речь о здании мэрии и его удивительной архитектуре. Желая доставить удовольствие «отцу города», я рассказала и про увлечение моего сына Генри Муром, про фотографию скульптуры в нашем доме и, несколько лукавя, даже добавила, что очень рада встрече с оригиналом, этим шедевром современного искусства, за который мэрия Торонто не поскупилась уплатить семьдесят тысяч долларов.

— Это было до меня, — быстро перебил господин Крамби, — я лично привержен классическому искусству. Мне непонятны эти фокусы...

Так мгновенно потерпела поражение моя попытка вести беседу в светском стиле. Весь же наш дальнейший разговор — о городе, традициях здешней жизни, первых моих впечатлениях — протекал вполне неофициально и добросердечно, в полушутливом тоне. В конце встречи мои спутники, видимо чтобы придать мне весу, сообщили, что я не только поэтесса, но и «депутат ереванского парламента». Хочешь не хочешь, но, очутившись на этом пьедестале, я прониклась сознанием своего представительства и, во-первых, пригласила господина Крамби посетить Ереван, а во-вторых, выразила искреннюю благодарность за то, что Торонто так радушен к армянской колонии.

Радушие Торонто — конечно, свидетельство не только расположенности к армянам. Бескрайние, далеко еще не освоенные земли Канады требуют приложения человеческих рук. Поэтому эмиграция поощряется здесь с давних пор. Создаются благоприятные условия, чтобы привлечь в страну трудовые ресурсы. Армянская колония тоже выросла за последние десятилетия главным образом за счет приезжих из Стамбула, Египта, Греции. Нынче численность ее примерно тридцать пять — сорок тысяч человек, рассеянных по всему этому неоглядному краю. Но главные центры скопления — Монреаль и Торонто. Крепнущая день ото дня связь с Советской Арменией способствовала оживлению национальной жизни, сохранению родной культуры. Организованы общества и землячества, при которых существуют молодежные и женские секции. Эти общества устраивают вечера, посвященные Советской Армении, отмечают юбилеи наших писателей и деятелей искусств, в празднованиях нередко принимают участие гости с родины — литераторы, артисты, общественные деятели. Открываются школы, в бюджете которых, правда, несколько символично, но присутствует и доля местных муниципалитетов.

При всем том в Канаде в отличие от Америки пытаются как-то сохранить самобытность не только национальных меньшинств, но и самой страны, ее «лица необщее выраженье», памятники истории, хоть и не такой уже древней. Но преобладает, конечно, ориентация на новизну, самоутверждение через свой вклад в современный мир, его культуру и экономику.

Если на Монреале, самом большом городе французской Канады, лежит отпечаток традиционного французского лоска, артистичности, легкости, пристра-

стия к развлечениям, то, напротив, Торонто, подобно англичанину, серьезен, подтянут. Это промышленно-финансовый и административный центр. Очень органичен для Торонто, для его деловито-собранного облика созданный здесь «Центр наук», который воистину превыше всех похвал, хоть и не является научным центром в прямом смысле слова, а скорее чем-то средним между музеем, грандиозной выставкой и витриной. Это недавно воздвигнутый комплекс, где отдельные здания соединяются друг с другом стеклянными переходами, эскалаторами и лифтами. Девиз «Центра» — «видеть то, что видели все, и придумать то, чего еще никто не придумал».

Чего только нет в этих бесчисленных павильонах и залах! Здесь все, что имеет отношение к физике, химии, астрономии, естествознанию, всевозможные экспонаты, знакомящие с промышленностью, связью, дорогами, транспортом. Ко всему можно прикоснуться, попробовать, соорудить. По маленькому телефонному аппарату дети набирают номер и связываются со своими товарищами в соседней кабине. Группа других ребят окружила телевизор и тут же, не сходя с места, видит себя на экране. В другом зале приводят в действие ветряную, затем водяную и, наконец, электрическую мельницы. В смежном электричество представлено осязаемо и ощутимо: можешь сам высечь искру и регулировать напряжение. В зале химии, если захочешь, ставь опыт и получай разные соединения. В павильоне астрономии от одного нажатия пальца над твоей головой разверзаются просторы автоматически «организованной» Вселенной, зажигаются и гаснут любые звезды и планеты. Словом, весь путь науки — от кремня до атома и космического корабля — проходишь за несколько часов.

И сегодня, как всегда, «Центр наук» набит битком. И взрослые, и школьники с учителями, и дети с родителями. Одна молодая пара даже катит перед собой коляску с младенцем. Ребятишки в экстазе бегают от одного экспоната к другому, присаживаются к тому или иному аппарату и экспериментируют. Таким образом, «сухая» наука становится «мягче», «приручается», превращается в игру, в удовольствие и незаметно проникает в сознание.

В зале физики — лекция о лазере. В углу у маленьких кабин необычайное оживление — это комната света и тени. Посетители входят туда и на миг останавливаются перед белым экраном, а после на экране остается их тень, которая исчезает лишь через несколько секунд. Я тоже постояла там и, отойдя, имела счастье лицезреть свой далеко не идеальный силуэт. Юноша и девушка решили более рационально использовать опыт: они нежно поцеловались. На экране в течение нескольких секунд оставалось легкое очертание тянущихся друг к другу губ. Наверное, их эксперимент преследовал цель — проверить и утвердить извечные основы любви в условиях научно-технической революции...

1 апреля. Егвард

Сегодня, как говорится, день обманов — 1 апреля. В последние годы с легкой руки «Клуба двенадцати стульев» это даже как-то узаконилось, только название изменилось — День смеха. Лучше бы, конечно, найти компромиссное решение, к примеру, назвать Днем смешного обмана — ведь не всякий обман смешон, чаще совсем наоборот... Ладно, примем эту «узаконенную» разновидность и посвятим сии страницы тем курьезам, смешным положениям, в которые я попадала из-за незнания иностранных языков во время этой моей поездки.

В своей книге «Караваны...» я писала, что на долю нашего поколения выпало много лишений, и одно из существенных — это, пожалуй, то, что у нас мало было возможностей учиться языкам. Хорошо, что русский так непроизвольно вошел в нашу жизнь, что он с детства звучит в устах ребенка. А чтобы освоить английский, к примеру, нужны усилия.

Я знала, конечно, что мой мозг уже несколько «очерствел» для подобных усилий, но то, что это «очерствение» достигло такой степени, безжалостно обнаружилось в моем путешествии. За четыре месяца я еле смогла усвоить четыре насущно необходимых мне английских выражения «сенк ю», «плиз», «мэри крисмас», «хеппи нью еар»; впрочем, два из них я с грехом пополам знала и раньше.

Разумеется, поскольку я в Америке в основном общалась с армянами, моя лингвистическая бездарность была не столь ощутима, но когда я оставалась одна...

Однако расскажу по порядку.

В Монреале меня поселили в гостинице «Лореншен». Она была в центре города, отнюдь не шикарная, но вполне удобная, поскольку, как поспешили обрадовать меня, среди обслуживающего персонала есть несколько армян. При первом же удобном случае нас познакомили. Они недавно приехали из Египта. Бывали на моих вечерах и в Каире и здесь, в Монреале. В равной мере довольны и своим переездом в Канаду и моими возвышенными рассказами об Армении.

— О, армяне... Весь «Лореншен» держится на армянах. Если бы не они, «Лореншен» не стал бы «Лореншеном».

Это говорилось так, будто «Лореншен» если не ООН, то уж во всяком случае не меньше, чем ЮНЕСКО!

Большую часть времени из моей четырехмесячной поездки я провела под сводами этой гостиницы. Обширный вестибюль ее всегда бурлил. Все время в нем то в том, то в этом углу, то посредине валялись кофры, сумки, рюкзаки, а владельцы их, вернее, владелицы... По моим расчетам, их возрастная диаграмма начиналась с цифры шестьдесят и затем кривая резко взлетала вверх. Вычертить диаграмму по признакам пола значит рядом с двадцатидвухэтажным «Лореншеном» нарисовать стодвухэтажный Эмпайр билдинг и все сто два этажа заселить женщинами... Не то что ста двух — одного этажа с дамами такого типа достаточно, чтобы мужчины здесь и след простыл. Не считаясь ни с возрастом, ни с кривыми ногами и сутулыми спинами, они усердно наводили красоту и наряжались. Кожаные расклешенные брюки и меховые куртки, ситцевые мини и суконные макси, гирлянды бус, многоэтажные серьги и главным образом — всевозможные краски палитры на лицах. На мое неослабевающее удивление, кто эти без конца здесь появляющиеся и спустя несколько дней исчезающие неутомимые поклонницы покровителя бога дорог Гермеса, мне объяснили, что это американки, поженившие своих детей и даже имеющие внуков, но не желающие свыкнуться с мыслью, что они как-никак уже бабушки. Сначала я думала, что они путешествуют просто так, чтобы убить время. Оказалось, что очень многие бабушки и временами даже дедушки — из числа овдовевших и разведенных — включаются в это «переселение народов» с некой «сверхзадачей» завязать знакомство, найти себе спутников жизни. В Америке прочно вошли в быт женитьбы пожилых людей. Дети, как только взрослеют, сразу покидают родителей, часто уезжают в другой город, а если даже живут в одном городе, то навещают «предков» лишь по праздникам. И бог Гермес по совместительству принял на себя обязанности Гименея. Ну что ж, пожелаем им, как говорится, успеха в личной жизни.

На первом этаже «Лореншена» — несколько магазинов, из которых мне больше всего приглянулся самый маленький, почти лоток с фруктами. Я совершенно равнодушна к сладостям, но не могла спокойно проходить мимо выставленных в магазинчике огромных, прямо с детскую головку яблок, крупного черного винограда и гроздьев спелейших бананов; кстати, все это было вполне по моим финансовым возможностям. Вот я и решила зайти в этот магазинчик и в мире «свободного предпринимательства» хоть раз что-нибудь предпринять самой. Кроме фруктов, там можно было выпить и чашечку кофе. Владелец магазина с готовностью бросился мне навстречу, чтобы услышать, чего я желаю. Бедняга, он еще не знал, что вместо слуха ему понадобится в первую очередь зрение. Я ткнула пальцем в яблоки, кивнула в сторону бананов и винограда. Но мне еще предстояло пояснить, сколько чего я хочу. В ответ на вопрос единственное, что я могу, это улыбаться. Хозяин с французского переходит на английский, но ничего не меняется. Переходит на итальянский — то же самое, прибегает к греческому — час от часу не легче. Несколько мужчин, оставив кофе, жаждут помочь, усердно расспрашивают, кто я, персиянка или арабка. Из Эфиопии? На все вопросы твердо отвечаю:

— Но, но, но.

— А-а-а! Рашн (русская)! — наконец догадываются болельщики...

Я удовлетворенно киваю головой. Конечно, надо было бы попытаться объяснить, что не столько «ращн», сколько «арминиен», но тут уж не до точности.

После этого я стала завсегдатаем магазинчика. Уже объяснила, что я «арминиен», владелец ответил, что он грек. И тут, забыв начисто о своих языковых возможностях, я поспешила провести историческую параллель, произнеся: «Grek and armenian — antique people» (мол, греки и армяне — античные народы). Я, конечно, с удовольствием дошла бы до стен Трои, где согласно преданию воевал и армянин-полководец Зармайр Нахапет, но руки (вернее, язык) оказались коротки...

Пришло время моего перелета из Канады в Америку, а точнее из Монреаля в Нью-Йорк. Монреальские мои соотечественники после всех таможенных формальностей перепоручили меня работнику аэропорта. Он «пропустил» меня через всякого рода «рентгены», целью которых было установить, нет ли в «ридикюле» или в карманах бомбы, и затем, в свою очередь, передал девушке в униформе. Спустя десять — пятнадцать минут она знаком велела следовать за нею. Мы вошли в самолет. Приветливая стюардесса проводила меня на место. Двигатели были уже запущены, когда появились летчики, радостно кивнули стюардессам — одной рыжей и смешливой, другой чернокожей и строгой. Рыженькая все время над чем-то посмеивалась, поддразнивала, пилоты живо реагировали, острили в ответ и в то же время проверяли приборы. «Ума не приложу, как лететь с этими парнями, у которых на уме только девчонки»,—скаламбурила я мысленно и вдруг очень захотела произнести это вслух. Вот поди ж ты — и двух слов связать не могу, а тут игрой слов решила заняться.

Летчики уже давно в кабине, а в салоне только я и еще один пассажир. Лишь перед самым вылетом, за две-три минуты до него, вошли остальные и заняли свои места. Рядом со мной пожилая дама, элегантно одетая и, видимо, словоохотливая. Еще не усевшись как следует, она не теряя времени приступила к беседе, но, наткнувшись на мои глухонемые улыбки, со вздохом умолкла.

Так началась моя первая «воздушная немота» на американском полушарии, периодически повторявшаяся затем во время моих частых перелетов из города в город с разной продолжительностью. На этот раз согласно расписанию она должна была длиться всего час, однако...

Из Монреаля почти ежечасно поднимаются самолеты в Нью-Йорк. Случается, что в самолет входят без билета и покупают его уже там, как у нас в автобусах. Билет для меня, конечно, был взят заранее; через несколько минут после взлета чернокожая стюардесса собрала билеты, взяла мой, оставив красную обложку с корешком. Я сидела спокойно, пребывала в состоянии «вещи в себе», когда возле меня возникла фигура негритянки. Я со страхом почувствовала, что ее сердитый голос относится ко мне. Она что-то говорит и хмуро ждет ответа. Вот те и на! Женщина, сидящая рядом, вступает в разговор, к ним присоединяется рыженькая стюардесса. Все трое смотрят на меня, спрашивают о чем-то. Ничего не понимаю. Отчаявшись, гляжу по сторонам и, как утопающий, хватаюсь за соломинку.

— Здесь никто не говорит по-русски? — И гляжу в дальние ряды.

— Я говорю,— прямо возле меня раздается голос моей соседки.

— Вы?! — захлебываюсь я от радости и удивления.

Сразу же со своего «английского» перехожу на русский и наконец узнаю, о чем идет речь: мол, у меня нет билета и я должна приобрести его. Боже мой, какое это, оказывается, блаженство — понимать то, что тебе говорят. Хоть говорящий и не прав, но и это я приняла с радостью, будто речь шла о каком-то подарке. Сразу повеселев, ответила, что уже предъявила свой билет, достала обложку с корешком, стюардесса посмотрела, убедилась и ушла, после чего мы с соседкой, словно долго не видевшиеся подруги, с жадностью кинулись друг к другу, всячески стараясь за двадцать минут наверстать упущенные нами сорок. Я успела узнать, что она из Польши. Муж, вернее его родители, из России. Вый-

дя замуж, решила изучить язык мужа и довольно-таки преуспела в этом. А после переезда в Канаду освоила и язык своих детей, и также, по ее словам, «отличница».

— Если б я не знала английского, мои дети смотрели бы на меня свысока, а я не хотела этого. Мой сын — видный профессор, кардиолог, жена из известной американской семьи. И что же вы думаете? Мой английский ни в чем не уступает их английскому. Сын говорит: «Я благодарен тебе, мама, ты не заставляешь меня краснеть». Мой сын был приглашен в Россию читать лекции, сейчас уже возвратился. По телефону сказал: «Приезжай, мама, я расскажу тебе о России» — и вот я еду. Сейчас они, наверное, ждут в аэропорту — сын, невестка, внуки. Любо посмотреть на них. Ну что говорить, сами увидите...

Так моя «подруга» мгновенно разложила передо мной пасьянс на узеньком самолетном столике, и поскольку у меня не было с собой ответных карт — ни профессора-сына, ни знаменитой невестки, ни отличного знания языка сына и мужа,— я вынуждена была извлечь из сумки и положить на столик изданный «Огоньком» маленький сборник стихов, чтобы доказать, что «и мы не лыком шиты». Соседка очень воодушевилась и сказала, что любит русскую литературу, особенно Достоевского. Мы обменялись визитными карточками и взаимными любезностями. Так душа в душу и прилетели в Нью-Йорк. Казалось, наша дружба будет длиться до конца дней. Но как только вышли из самолета, мы потеряли друг друга с такой же легкостью, с какой и обрели. Я не увидела ни профессора-сына, ни так заманчиво обрисованной великосветской невестки, ни внуков. Увидела лишь неизвестно каким образом пробравшегося к трапу самолета своего давнего знакомого восьмидесятилетнего Тачата Терлемезяна, крепко обнявшего меня, и с этого началось мое пребывание в Америке.

Из вспомнившихся мне сегодня самый первоапрельский, кажется, казус произошел со мной опять-таки в самолете по дороге из Сан-Франциско в Лос-Анджелес. На сей раз моим соседом был мужчина лет пятидесяти, лощеный, с истинно голливудской внешностью и, видимо, очень общительный. С первой же минуты он создал такой доброжелательный микроклимат, что я, несмотря на свои языковые «микровозможности», настроилась на развитие армяно-американских контактов. Сказав «арминиен», я предприняла попытку объяснить, что я поэт. Была уверена, что, если произнесу «ай эм поэт», мой артистичный собеседник непременно поймет меня. Но велико было мое разочарование, когда после многократного повторения слова «поэт» он так и не разобрал, с кем имеет дело. Что же мне оставалось? В сумке моей лежала книжка, которую накануне мне подарили в Лос-Анджелесе. То был сборник стихов, автором которого являлся Арташес Исраелян, имя, честно говоря, мне неизвестное. Я достала эту книжицу, показала на автора и, чтобы упростить задачу, представила дело так, будто я и есть Исраелян и что стихи мои. Выдумка дала неожиданный результат. Сосед мой тут же воскликнул: «А, по́уэт!» (выходит, ошибка заключалась в ударении) — и с уважением взглянул на меня. Я просто была счастлива, особенно оттого, что попутчик так вдохновился моей профессией и немедля изъявил желание посмотреть книгу вблизи. Я, ликуя, передала ему сборник. Он стал листать, и вдруг вижу: оторопев, он недоуменно разглядывает то меня, то страницы. Наконец не выдержал и протянул мне раскрытую книгу. Я взглянула и — о ужас! — под стихами значатся даты 1904, 1911, 1912... Мне ничего не оставалось делать, как рассмеяться. Никаким искусством мима, даже если бы я была самим Марселем Марсо, невозможно было объяснить, какую шутку я сыграла сама с собой...

4 апреля. Егвард

Редко в моей егвардской комнате дает о себе знать дверной звонок. Однако сегодня он зазвенел, причем звенел долго, требовательно. Открыла. Пришли подключать плиту к магистральному газу.

— Чья это квартира? — спросили и, когда ответила, удивились: — Как это случилось, что вы здесь?

А случилось так. Лет пять назад в егвардском Доме культуры был мой вечер. Под конец председатель ни с того ни с сего оповестил, что «население Егварда избирает товарища Капутикян почетным гражданином села Егвард».

— Ну что ж, если так, то гражданину полагается и жилплощадь,— пошутила я.

— Пожалуйста,— с готовностью улыбнулся сидящий рядом в президиуме Размик Петросян, директор машиноиспытательной станции. — Мы строим много домов, у местных свои собственные, так что спрос у нас не столь уж велик.

Так шутка неожиданно обернулась ордером на «однокомнатную квартиру со всеми удобствами на четвертом этаже новостройки МИС». Вот уже четвертый год эта небольшая комната стала моей обителью и спасительницей. Если мои ереванские душегубы-звонки, дверной и телефонный, сливаясь с уличным шумом, неотступно преследуют меня, не позволяя и полчаса провести у письменного стола, то здесь все наоборот: я сутками бываю наедине с собой и листом бумаги. Даже не выхожу на улицу — так жажду одиночества. С миром общаюсь лишь с балкона и через соседей, живущих на той же площадке, через семью Маркосян.

С балкона видна гора Ара, она так близко, такая маленькая, такая домашняя, что, кажется, входит в квартиру, вписывается в интерьер. Видна и древняя церковь Егварда. Несколько лет она была в строительных лесах, а сейчас, сбросив их, стоит посветлевшая, обновленная. И невзирая на свой почтенный тысячелетний возраст, обгоняет ростом юнцов — молоденькие новостройки села. Древний Егвард обновляется изо дня в день. Деревня, пятьдесят лет назад не отрывавшая глаз от неба, молящая о дожде, ныне приглядывается ко всему новому, что есть у соседей, с тем чтобы и самим иметь все это — и водопровод, и каналы, и сады, и добротные дома, и широкие улицы, а также больницу, школу, сыновей-студентов, а главное, побольше детишек. И все это в Егварде уже есть. Особенно дети. Они шумят у меня под балконом — все разные, всех возрастов и мастей, — но, как ни странно, совершенно мне не мешают.

Иногда деревня затихает. На улице ни души. Догадываюсь, что все сидят по домам у телевизоров. И как бы я ни была равнодушна к футболу, считала его просто упражнением для ног, все равно на сердце у меня теплеет, когда со всех балконов и окон подобно птицам, взлетающим из гнезд, несутся возгласы, свистки, аплодисменты. «Еще один гол!» Я прерываю работу и считаю очки, забитые «Араратом». Но больше всего я радуюсь тому, что радуется Егвард.

В деревне, кроме местных старожилов, есть и переселенцы, те, что, спасаясь в пятнадцатом году, бежали из Муша и Битлиса и обрели здесь приют. Есть и семьи, которые в последние годы переехали из Ахакалани, Ахалцихе, Карабаха, Кировабада. Скалистая земля Егварда нуждается в трудовых руках, в людях, которые освободят ее от камня, вырастят пшеницу и виноград.

Я вижу с балкона, как холмы, не так еще давно изуродованные грудами труб для канала Арзни — Шамирам, избавились от своего временного груза и приняли на себя добрый вечный груз плодоносных садов. Вижу, как деревня взбирается уже на соседние бугры, карабкается вверх, а впереди шагают стройные подтянутые мачты электропередач. И как все это движение останавливается у четырехэтажного, не завершенного еще корпуса сельской больницы. Вижу спешащих в новую школу мальчиков и девочек в пончо и джинсах и, наконец, с балкона, как с галерки, вижу внизу, во дворе, Сируш. Ее дом прямо напротив нашего.

Когда я приехала в Егвард, Сируш с семьей занимали половину одноэтажного домика. Во дворе была конура, курятник и, конечно, тондир под навесом. За эти три-четыре года рядом с домом у Сируш появилось семь «подсобок», и все они уже заселены: коровой, телятами, овцами, свиньями, курами, легковой машиной, которая попала к ним, правда, после не такой уж легкой жизни — вся она в свежевыкрашенных заплатах. Даже собак стало две вместо одной. (Если к этому добавить, что младший сын Сируш, который в школе занимается в круж-

ке аккордеонистов и своей игрой и пением — при полном отсутствии слуха — ежевечерне собирает ораву деревенских мальчишек, а также и то, что рядом за моей стеной недавно появившийся на свет малыш чрезвычайно бурно протестует против только ему ведомого неустройства мира, то, как бы ни была я преисполнена толстовского всепрощения, трудно все-таки счесть мою здешнюю обитель сейчас самым тихим уголком на свете...)

Не так давно пополнилась и семья Сируш. Старший сын, работающий, как и отец, шофером, похитил (!) из соседней деревни Ара девушку (правда, не без согласия «похищенной»). Его отец и мать ринулись туда, чтобы утихомирить разъяренных родичей. И вот теперь, когда Сируш уходит на работу, вместо нее, прикрикивая на путающуюся под ногами свою двухлетнюю Гоар, хлопочет по хозяйству ее быстроногая невестка с короткой городской стрижкой...

По воскресеньям у крыльца дома появляется пятнадцати-шестнадцатилетний паренек с ниспадающими на плечи волосами, в туфлях сабо. Я догадываюсь, что это тот самый мальчик, о котором еще года два назад рассказывала Сируш:

— Ну, а мой средний учится в аштаракской русской школе. Когда был маленький, он заболел, и совхоз послал его в Анапу в санаторий. Там он и учился на русском. А выздоровел, привезли домой и решили: этот пускай учится в русской школе. Нам повезло — отдали в интернат в Аштараке...

Все это Сируш поведала мне с победной улыбкой, и я понимала ее простодушную гордость. Но вот гляжу с балкона на сына, приехавшего погостить к родителям. Они копают огород, мать таскает тяжеленные ведра камней, извлеченных из земли, а сынок стоит тут же как посторонний. Родителям и в голову не придет поручить ему что-либо. Как можно, а вдруг увидит кто из аштаракских ребят?!

Итак, растет, ширится Егвард, уже второй год он не деревня, а центр недавно созданного района Наири. Растет из месяца в месяц, но при этом иногда бывают промашки...

Несколько дней назад арестовали какого-то продавца сельмага.

— За что его взяли, Седа? — спрашиваю я соседку, жену учителя Маркосяна.

— Видите ли, тикин[1] Сильва, — охотно объясняет Седа, — и хапать тоже ведь надо в меру... Я вам так скажу: главное — это совесть и доброе имя. Ну, к примеру, директор совхоза «Зейтун» Ноемберянского района Баграт Варданян. Жаль, что умер человек... Весь район, кого ни спросишь, клянется его именем... Мои родители там живут, знают. Подруга у меня — жена агронома совхоза «Зейтун». Говорит: «Седа-джан, такого человека не было и не будет. Он болел, и мы решили взять со склада два ящика персиков и пойти проведать его. Приходим, жена накрыла на стол, поставила коньяк, печенье. А мы боимся сказать, что привезли ему кое-что... Наконец муж решился: «Товарищ Варданян, ты болен, мы тут тебе малость персиков принесли». Не успел он это сказать, как Варданян вскочил и прямо к ящикам, пронумеровал их и приказал: «Сейчас же отнесите обратно на склад, завтра проверю»... Вот, тикин Сильва, потому народ и чтит имя Варданяна. А этот наш продавец — ну скажите, чего ему не хватало? Дом как дворец, участок приусадебный, машина «Волга»... Хапают и думают, что управы на них нет, в крайнем случае всучат взятку, отделаются... Так ведь и с тем шофером было. Десять лет ему дали за две жизни...

Бодрый голос Седы вдруг сник, она опять вспомнила о своем горе...

Сама Седа из села Садахлу, а муж из села Чардахлу. Познакомились в Ереване, поженились. Оба и работали и заочно учились — она на английском отделении института имени Брюсова, а он в сельскохозяйственном. Вот уже много лет учительствуют в егвардской средней школе. Давно встали на ноги, жили счастливо со своими четырьмя детьми, как вдруг грянула беда. Старшая дочь Амест шла с подругой на репетицию школьного хора. И вдруг — грузовик. Го-

[1] Почтительное обращение к женщине.

ворят, водитель был пьян, ехал по деревне с недозволенной скоростью и наскочил на девушек, идущих по тротуару. Обе погибли. Маркосяны были надолго выбиты из жизни. Их вернуло к ней время.

Как-то я заметила, что платье соседки тесно ей. Спросила. Седа покраснела, как девчонка. Сейчас в семье Маркосянов еще одна дочка. Новорожденную назвали Амест. В соседней квартире плачут, шумят, смеются, просят поесть, ходят в ясли, детсад и школу снова четверо детей. Седа все больше и больше погружается в заботы о них, но и все больше и больше берет часов в школе. Муж жалуется: «Ох, эта женская ненасытность, интересно, придет ли ей конец?» — и потчует кашей Нунэ, укладывает спать Аместик, проверяет дневник Астхик, пока жена не вернется из вечерней школы...

Четырнадцатилетний сын Маркосянов Гамлет, отличник, послушный и молчаливый паренек, летом подрабатывает в сельской пекарне и каждый вечер возвращается домой с румяным хлебом — матнакашем — под мышкой.

— Есть люди, осуждают нас, — жалуется Седа, — мол, не хватает, что ли, у них денег, мальчишку заставляют работать? Дело не в нехватке. Пускай смолоду привыкает к труду, разве я не права, тикин Сильва?

Хватает, всего хватает Маркосянам. Четыре комнаты обставлены новой мебелью, только что куплено чешское пианино марки «Петров», посуды и белья — навалом («Ах, женская ненасытность, интересно, придет ли ей конец?»). Но, как говорит Седа, дело не в хватке или нехватке. В этой семье чувствуется какая-то извечная сила, почерпнутая из земли и укоренившаяся здесь, на четвертом этаже, какая-то вошедшая в кровь основательность, трудолюбие, ставшие неколебимой нормою жизни. И родители, получившие высшее образование, и дети сохранили тот удивительный сплав скромности и достоинства, тот врожденный такт и душевную культуру, которые вырабатываются веками и которыми наделены лишь подлинные люди из народа.

За эти три-четыре года между мной и семьей Маркосянов установился тесный контакт. В мое отсутствие они хозяева моей квартиры, и я знаю, что она в верных руках. Когда я в Егварде, при всех больших и малых неполадках они тут как тут. После моего возвращения из Америки функции «скорой помощи» Маркосянов возросли. Когда мне необходимо для работы что-то срочно перевести — проспекты, подпись на плакате, — я уповаю на Седин английский. Правда, она не Даль, не Ачарян, но... Начавшая с этой весны ходить Аместик тоже вовлечена в помощь «малоразвитым странам» и, выполняя наказ матери, приносит мне то мацони, то лаваш. А пока я писала книгу, платье Седы что-то опять стало ей тесновато...

Как из раскаленного тондира тянется из квартиры Маркосянов в мою комнату горячий запах хлеба, добрая теплота — и, пожалуй, именно это больше, чем усердно рекламируемое количество ученых степеней и премий, наполняет меня верой в душевное здоровье и постоянное обновление нашего народа, в его извечную силу.

11—12 апреля. Тбилиси

Еще в конце марта я узнала, что грузинское телевидение организует в Тбилиси большой вечер армянской поэзии с участием наших поэтов. Хотя и дала себе зарок, пока не закончу книгу, не отрываться от письменного стола, сразу же решила этот обет нарушить.

Мы выехали из Еревана 10 апреля после обеда на машинах. В нашей группе Рачия Ованисян, Геворг Эмин и еще несколько поэтов и артистов. В Ереване было солнечно, в машине тепло, и когда после перевала на дилижанских поворотах перед нами открылась самая настоящая зима с густо падающими снежными хлопьями, мне почудилось, что мы сидим в нагретом театральном зале и резко раздернутый занавес вдруг открыл мастерски сделанную декорацию зимы. Наша «портативная» Армения умудрилась все в себе собрать: есть в ней своя Сахара и Чукотка, своя Кубань и Памир. Не беда, что все это только в размерах «пробы».

Итак, немного «попробовав» зимы, мы проскочили Иджеван, Казах, мост через реку Храм и к полуночи добрались в Тбилиси.

С самого утра в гостиницу пришли мои давние друзья — грузинские поэты Иосиф Нонешвили и Реваз Маргиани. Я знаю их уже чуть ли не три десятилетия. Познакомились в 1947 году в Москве, когда мы с Рачия Ованисяном были участниками первого Всесоюзного совещания молодых писателей и наш семинар вел известный русский поэт Павел Антокольский. Это было вскоре после войны, воздух был наполнен радостью ожиданий, надеждой, открытостью сердец. Мы были молоды душой и молоды «костью», а кость смолоду, как известно, срастается быстро и крепко. И наша дружба срослась так крепко, что и трещины не дает... Конечно, в Москве мы встречаемся чаще, чем в Ереване или Тбилиси, и, как всегда, выручает нас русский язык. Но во всех наших встречах присутствуют Ереван и Тбилиси, наши акценты и характеры, у одного армянский, у другого грузинский.

— Слушай, Силва, знаешь, что случилось? — Это в Москве в Центральном доме литераторов навстречу мне идет Нонешвили, и громко, на все фойе, гремит его своеобразный русский без следа мягкого знака.— Я толко вчера прилетел из Чили... Из всего Советского Союза нас было толко двое, и один из них я. И где бы ни оказался, твои армяне всюду нэходили меня... В Сантьяго был один по имени Жирайр и один наш, Мирабашвили, так вот они вдвоем организовали армяно-грузинское общество. Армянская колония устроила вечер Ованеса Туманяна. Слушай, я встал и такое сказал про Туманяна — все плакали. Сказал, что Туманяна породил Тифлис, что он и наш, грузинский писател. Наизуст прочитал «Старое благословение» в переводе Гришашвили, пят минут аплодировали, не отпускали... Я утолял их тоску по Армении. Слушай, Силва...

Вечер армянской поэзии начался приветственными словами Константина Гамсахурдия: «Не много на земле народов, которые были бы так связаны друг с другом, как армяне и грузины... Конечно, и среди грузин и среди армян есть люди бездушные, не видящие, не понимающие этого многовекового общего пути. Но только неразумный человек может настроить против себя друга, а умный человек старается не потерять его».

Затем полились песни, стихи, читали и пели артисты Грузии и Армении. Звучали, ликовали, наставляли и благословляли Саят-Нова, крестный отец высокого родства народов Закавказья, Туманян, Церетели, Гришашвили. Грузинские поэты читали свои переводы армянских стихов, гостям преподнесли только что изданную «Антологию армянской поэзии» на грузинском языке.

Пришла и моя пора выступать. Первое выступление в такой широкой тбилисской аудитории у меня было в 1967 году, когда Грузия с присущим ей размахом праздновала восьмисотую годовщину со дня рождения великого Шота Руставели. От армянской делегации произнесла речь я. Кажется, получилось неплохо, грузины остались довольны, особенно той частью, где я говорила об их прекрасном крае, об их высоком чувстве национального достоинства.

Что греха таить, малочисленные народы особенно чутки к тому, когда воздают должное их истории. И это объяснимо. Англичанину, к примеру, нет нужды доказывать, что они дали миру Шекспира. Все это знают. Французу никому не надо напоминать о Великой французской революции. Мир и так не забыл этого. А Толстой и Достоевский? Отблеск их гения до сих пор озаряет дороги человечества. Малочисленные народы стремятся заявить о себе, самоутвердиться, чтобы чувствовать себя увереннее, ощутить свою нужность. Это, видимо, им жизненно необходимо.

Торжество восьмисотлетия Руставели передавалось по телевидению, вошло в каждый грузинский дом, каждое село. На следующий день мой двоюродный брат, который живет в Тбилиси, приехал за мной. По пути он остановил машину у многоэтажного здания какого-то учреждения и зашел в магазин. Только успел отойти, как ко мне, тяжело ступая, подошел пожилой грузин, наверное, комендант, и грозно сказал, что посторонним машинам здесь останавливаться запре-

щено. Я ответила, что прошу прощения, но ничего не могу поделать, ибо водитель вернется только через несколько минут. Я еще продолжала оправдываться, как вдруг этот человек пристально взглянул на меня и спросил:

— Это вы вчера выступали на Руставели?

— Да, да, — обрадовалась я, — выступала, я из Армении...

20 апреля. Егвард

...«Говорит «Голос Америки», по вашингтонскому времени одиннадцать часов две минуты. У нас в Вашингтоне ясная, солнечная погода... После последних известий о положении на Голанских высотах сделает сообщение наш сотрудник Арсен Саян».

И знакомый голос с западноармянским произношением рассказывает о столкновениях между Израилем и Сирией... Из далекой Америки, о таких далеких высотах, а голос со знакомыми интонациями здесь, рядом, в моей егвардской комнате. Странно, невообразимо — и грустно, необъяснимо грустно...

Арсен Саян — руководитель армянского хора «Кнар» («Лира») в Филадельфии. Пять-шесть лет назад он приезжал в Армению, учился в Ереванской консерватории на хоровом отделении у Татула Алтуняна. За это время Арсен несколько раз бывал у меня, с жаром рассказывал о консерватории, о своих планах. Потом вернулся в Филадельфию, а в мой почтовый ящик частенько опускали длинные нарядные конверты. Саян периодически присылал печатные свидетельства деятельности своего хора: броские афиши, программки, разукрашенные фотографиями певцов и певиц «Кнара». Настал и тот долгожданный день, когда Саян привез свой хор в Армению. Для художника из спюрка что может сравниться с радостью встречи со зрителем, слушателем, читателем на родной земле?

В Филадельфии именно об этом чувстве рассказала мне певица Тагуи, приезжавшая тогда с «Кнаром». На следующий день после приезда в этот город меня пригласил филадельфийский врач Тигран Микаэлян. Среди гостей был и Арсен Саян, с которым мы встретились как давние знакомцы.

— Сколько дней я уже в Филадельфии, а ты не показываешься.

— Я был в Вашингтоне. Прости, что на твой тамошний вечер не смог прийти. Но ребята наши были, рассказывали.

«Какие ребята?» — хочу спросить, но к нам приближаются знакомые с бокалами в руках, с разговорами, и Саян, мне показалось, доволен тем, что беседа прервалась.

— Выпьем, Сильва-джан,— предлагает он.

А когда отошел к бару, чтобы снова наполнить бокал, Тагуи, стоящая рядом, тихо сказала:

— Здесь, в Филадельфии, у него дела шли неважно. Работа хормейстера тут не кормит. Занялся было коммерцией — не получилось. Не тот характер. Предложили заведовать музыкальной частью «Голоса Америки» на армянском. Долго колебался, да и ехать не хотел в Вашингтон, однако... хлеб-то насущный требуется.

— А «Кнар»?!

— Он его не бросил. Вашингтон не так уж далеко отсюда, уедет — приедет... Завтра на вашем вечере будем петь.

Саян снова подошел, и я не удержалась:

— Значит, сотрудничаешь в «Голосе Америки»?

— Да, заведую музыкальной частью, а что?

— Ничего.

— Решил, что и там могу быть полезен своему народу... Буду знакомить с армянской музыкой.

— Рассчитываешь из Вашингтона знакомить Армению с армянской музыкой?

— Почему только Армению, в спюрке тоже слушают.

— Но основной адрес, кажется, Армения.

Смеющиеся глаза Саяна тускнеют.

— Выпьем, тикин Сильва...

И опять наполняет опустевший бокал.

Поблизости от меня сидит архимандрит Завен Арзуманян — глава филадельфийской армянской церкви. Одновременно он слушатель исторического факультета Колумбийского университета. Серьезный, собранный, он увлеченно рассказывает о последних изданиях Матенадарана, недавно полученных им. Нашу беседу прерывает пьянеющий голос Арсена Саяна. Стоя в центре комнаты с бокалом в руке, Арсен громко возглашает какой-то тост. Лицо возбужденно пылает, он не может сосредоточиться, в его тосте все: и зарубежные армяне, и тяжкая судьба зарубежного армянского художника, и Армения, и гостья из Армении. Кое-как справившись со всем этим, Саян подходит ко мне:

— За тебя, за Армению... Ты что, не хочешь пить со мной?

— Почему не хочу, пожалуйста.

Уже поздно, около часу ночи. Нужно собираться домой, тем более что плавное течение вечера нарушено. Саян по-прежнему в центре комнаты и все время с бокалом в руке. Блестящие глаза его окончательно помутнели, в голосе какие-то грубовато-вызывающие интонации. Я понимаю, что сдружился он с бокалом не от добра, а чтобы потопить в вине тревожащие его голоса, и сейчас больше, чем с окружающими, он сражается с собой, со своей совестью, со своей слабостью...

...«Говорит «Голос Америки». Сейчас наш сотрудник Гурген Асатрян сделает небольшой обзор внешней политики Америки...»

С Гургеном Асатряном я познакомилась после литературного вечера в Вашингтоне. Он сказал, что видел меня в Ереване в дни американской выставки и, значит, наше вашингтонское знакомство — перезнакомство, правда на этот раз в «американской зоне». Ему около пятидесяти, подвижной, с хитроватыми глазами. Он уроженец Ирана, и говор у него протяжный, по-персидски мягкий. Вот так, между прочим, мягко, вкрадчиво он и пригласил меня посетить «Голос Америки».

— Нет, — сказала я.

— Почему? Видно, очень заняты? Но наш оффис близко к тем местам, где вы завтра должны быть.

— Не в этом дело, просто нет охоты наносить визит «Голосу Америки».

— Наверно, вы нашу станцию путаете с другими.

— Не путаю.

— Мы теперь изменились, тикин Капутикян, Америка и Советский Союз теперь друзья.

— Знаю. Но погожу — еще немножко изменитесь, тогда...

— Ну как, пришлась вам по душе Америка, Вашингтон? — после паузы интересуется Асатрян.

— Я уже сегодня на вечере говорила, что нельзя не отдать дань взлету человеческой мысли, рукам человека, создавшим все это.

— Значит, не так уж гнильцой попахивает? — раздается сбоку чей-то иронический голос.

— Когда входишь с парадного подъезда, то ступаешь только по коврам, по мраморной лестнице. Но что касается меня, предложи мне все эти ковры и мраморы, эти небоскребы, ничего не получится. Я должна ступать по своей жесткой, каменистой земле, по ней, иначе задохнусь.

— Кому что, конечно, — язвительно улыбается Асатрян, — я, к примеру, задохнулся бы, если бы должен был жить, зажав себе рот, заглушив свой голос.

«Тем более если это «Голос Америки», — вертится у меня на языке, но ни к чему тут, на ходу, в этой сутолоке вступать в пререкания...

Но вот сейчас, в Егварде, передо мной газеты, присланные из спюрка. В них сообщение о том, как в подкомиссии по защите прав человека при ООН представитель Турции резко выступил против того, что в статье 37-й, осуждающей ге-

ноцид, истребление армянского населения в 1915 году султанской Турцией определено как первый геноцид, свершившийся в XX веке. Он предложил снять это определение. Другие державы (кроме Советского Союза) поддержали турецкое предложение, в том числе и Америка. И мне хочется поглядеть в глаза диктору, бодро вещающему в эти минуты о великой миссии Америки утвердить в мире справедливость, и сказать ему: можешь, даже очень можешь, по твоему собственному выражению, жить, зажав себе рот. Знаю, понимаю, ты бессилен изменить что-либо, тем более бессилен поднять свой голос через «Голос Америки». Тогда лучше не хвастайся!

...У Акопа Карапетяна тоже акцент армянина из Ирана. Только говор попроще, что так не вяжется с его тонкой, фиксирующей каждое душевное движение прозой.

С Акопом Карапетяном, по книгам — Акопом Карапенцем, я незнакома. В Вашингтоне говорили, что он уехал в Ереван сопровождать выставку «Отдых и туризм в Соединенных Штатах». Я жалела, что не встретилась с человеком, о котором знала больше, чем о тех, с кем мне пришлось провести там немало дней.

Ведь он настоящий писатель и, значит, он — в своих книгах. Их строки — кардиограмма биения его сердца, рентгеновский снимок самых сокровенных помыслов о последней станции скитаний — Ереване.

Вачик и чернокожий Джордж были друзьями. От деда, иранского армянина, Вачик без конца слышал рассказы о далекой Армении. Мальчиком завладела мечта — увидеть ее, от него она передалась и маленькому Джорджу. И вот мальчики достали билет на пригородный поезд, прочли надпись: «Final destination» («Последнее пристанище») — и отправились в путь.

Вачик родился в Нью-Йорке. «У него большие черные глаза, в которых Нью-Йорк не смог высушить ручейки печали. Чем дальше, тем больше он ощущал в себе свою изначальность: хотел смести все границы и заглянуть за эти небоскребы, дойти до Техаса, до Индии, до Арарата. Особенно до Арарата. Про Арарат и Аракс он слышал постоянно и теперь решил на изумрудных крыльях жар-птицы долететь до Еревана». И вот, «освободившись от тесных пригородов Нью-Йорка, поезд повернул к заливу Лонг-Айленд, стремительно несясь среди густо-зеленых лесов.

— Вон то море видишь? — сказал Вачик. — На другой его стороне — Ереван...

Джордж испугался, он не умел плавать, но Вачик утешил друга:

— Плыть не понадобится, через море есть мост. Он тянется до самого Еревана. На поезде и доберемся туда.

— А если мост рухнет?..

— Не рухнет, он крепкий.

— Ты уверен?

— Уверен.

— Клянешься?

— Клянусь».

Невозможно без волнения читать этот маленький рассказ и удержать слезы в конце, когда счастливые мальчики подъезжают к последней станции и с отчаянием обнаруживают, что это «Последнее пристанище» — всего-навсего маленький приморский городок Порт-Джефферсон в нескольких часах езды от Нью-Йорка.

«Незнакомые души» — так озаглавлен сборник рассказов Акопа Карапенца. В нем мне впервые приоткрылся сложный, исполненный противоречий внутренний мир родившегося и выросшего в Америке молодого человека, в душе которого противоборствуют Америка и Армения, английский и армянский, скрежещущая металлом улица и дом, рассказывающий старые сказки, реальность и мечта... Причем эти реальность и мечта сосуществуют и в самом понятии «Армения». Реальная, входящая в Советский Союз, состоящая из заводов, земли, туфа, зерна, электрокабелей, живая, из плоти и крови Армения — и та, иная, оторван-

ная от нее историей и пространством, Армения мечты, которая манит тебя жар-птицей, огненным скакуном, деревянным конем, обыкновенным поездом... несущимся к Порт-Джефферсону. Вот такая постоянная многослойная борьба происходит в душах его героев. Сложные, едва уловимые движения души, тонкие сердечные нити, тянущиеся через океан к родной земле, родным горам и долинам, и сухие, безразличные слова, также через океан летящие из этих же уст, к той же земле, тем же горам и долинам...

Я сама не слышала, но мне говорили, что, возвратясь из Армении, Карапенц по «Голосу Америки» систематически рассказывал о своих впечатлениях, причем весьма доброжелательно. Хотелось бы, чтобы каждая его новая встреча с реальной Арменией помогала талантливому писателю приблизиться к ней больше, чтобы с каждой встречей еще одна тяжелая волна откатывалась назад от его беспокойной души.

...«Говорит «Голос Америки». А сейчас, дорогие слушатели, наш нью-йоркский корреспондент Норайр Степанян расскажет о событиях культурной жизни армян в Нью-Йорке...»

Снова ирано-армянский говор, но какой-то еще более равнодушный, с ленцой. Будто сам говорящий витает где-то совсем в иных сферах.

Норайра Степаняна я увидела на приеме в ресторане «Арарат» в Нью-Йорке. Он хотел договориться со мной об интервью. Были уже последние дни моего пребывания здесь, и единственный удобный час выкраивался в крайне неудобное время: в тот же день после приема, около одиннадцати вечера.

— Только пусть не будет никаких интервью, — сказала я. — Очень уж устала сегодня.

Условие было принято, и мы на такси отправились в кафе «Сахара».

Называлось оно «Сахара», но принадлежало иранцу и обставлено было в соответствующем стиле. Полумрак, восточная музыка. Наш столик — на некотором возвышении, каком-то подобии балкона, прямо против оркестра.

— Что будем пить? — осведомился Степанян. — Виски, коньяк?

— Коньяк, — не колеблясь отвечаю я, решив, что коньяк, пусть даже не армянский, во всяком случае, не подведет.

Мой спутник оказался верен слову, и наша беседа протекала без особых «проблем», без напряжения. Какая-то восточная дремотность витала вокруг, и трудно было представить, что за окном — Нью-Йорк, вскипевшая бетоном и металлом пучина. Оркестр играл, молодой смуглолицый певец исполнял какую-то тягучую песенку.

— Армянин,— сказал Норайр,— тоже из Ирана. Я его сюда пристроил. Ара Ованесян — вы, наверное, о нем слыхали — тоже здесь пел и тоже по моей рекомендации. Сейчас он вроде бы в Калифорнии.

Что же, ваша дашнакская партия, хочу спросить я, которая претендует на главную роль в сохранении нации и так кичится этим, особенно в Иране, оказалась бессильной сохранить там прочную колонию? Ведь в тех местах и школы, и печать, и даже церковь в ваших руках.

Певца сменяет певица, в задачу которой входит воздействовать на зрителя совместными усилиями приятного голоска и до предела откровенного декольте. Во мне ее ультрабодрое пение вызывает обратную реакцию.

— Когда я вижу таких, становится грустно. Жалко их. Кто знает, с какой мечтой начинали они жизнь: стать Марией Каллас или Эдит Пиаф.

— Жалко, — подтверждает Норайр, — в конце концов, они несчастны. Несчастны, как и мы все...

Легкая наша беседа уже давно незаметно перешла в изредка прерываемое молчание. Мой собеседник все больше и больше во власти коньячных паров.

— Я только вернулся из Испании. Ездил по своим личным делам. Конечно, мог и не ехать, распорядиться отсюда, но... никак окончательно не привыкну к Америке. Наверное, Восток очень силен во мне... Если хоть раз в году не махну за океан, просто загнусь тут.

— В Армении были?

— Нет.

— Почему?

Минуту он колеблется и с улыбкой, обозначающей тысячу и один оттенок, произносит:

— И меня ведь тоже жалко.

Поздно. Зал почти опустел. Певица, а за ней и оркестр уже сошли со сцены. Вдруг где-то в полутьме зазвучала песня. Женский голос, тихий, прозрачный. Оборачиваемся на голос: вокруг столика несколько парней и девушка.

— По-персидски поет,— говорит Норайр,— наверное, персиянка.

— Подойдем к ним,— прошу я,— в конце концов, мы тоже с Востока.

Тихонько пристраиваемся у края их столика. Девушка поет, и, кажется, все пространство вокруг заткано тоской. Когда она кончила, Норайр по-персидски благодарит ее.

— Вы армяне? — вдруг по-армянски спрашивает она. — Я тоже армянка. По матери. А отец персиянин.

Зовут ее Сабрина. Смуглая, крепкотелая, она похожа на деревенскую девушку. Глаза беспокойные, ищущие. Ребята вокруг — персы.

— Армянский знаете?— спрашиваю.

— Знаю и даже петь могу, мать научила, она очень любит вашего ашуга Ашота.— И, не дождавшись моей просьбы, девушка начинает:

Эх, ашуг, не знаешь ты,
Где твоя любимая...

Смотрю на нее, на едва проступающее из сигаретного дыма лицо. Норайр уже весь в алкогольном тумане. Щепки, качающиеся на воде близ берега, не могут они ни пристать к нему, ни вернуться назад, на глубину... Как напоминают они — до сих пор! — тех бездомных и отверженных, о которых еще сто лет назад писал болгарский поэт Пио Явров:

Изгнанники, жалкий обломок ничтожный
Народа, который все муки постиг,
И дети отчизны, рабыни тревожной,
Чей жертвенный подвиг безмерно велик,—
В краю, им чужом, от родного далеко,
В землянке, худые и бледные, пьют,
И сердце у каждого ноет жестоко;
Поют они так, как сквозь слезы поют.

...«Говорит «Голос Америки». По вашингтонскому времени одиннадцать часов две минуты. У нас в Вашингтоне ясная и солнечная погода...»

Странно, очень странно звучит по-армянски это «у нас в Вашингтоне». И еще притом «ясно и солнечно».

Нет, не так уж ясно и солнечно для вас в Вашингтоне.

26 апреля. Егвард

Наша машина — в самой сердцевине Манхаттана, и хоть над ним и сереет полоской небо, все равно небоскребы, тянущиеся ввысь, создают впечатление, что это не улица, а туннель. Медленно, завязнув в пестром клубке машин, то останавливаясь, то чуть-чуть увеличивая скорость, мы наконец добрались до 33-й авеню, до гостиницы «Мэк Алпин». Я собралась уже выйти из машины, но мои спутники решили подкатить прямо к входу. И что же? Этот переезд с одной стороны улицы на другую, который пешком можно было одолеть за одну минуту, длился около часа... Бедная Алис, сидящая за рулем, измучилась, кружа вокруг да около гостиницы. Время уже близилось к пяти, начался час пик, и не то что яблоку — иголке в этой гуще машин упасть было некуда.

Наконец я все же в гостинице. Семнадцатый этаж, уютный двухкомнатный номер с одним, правда существенным, «пятном». Подтвердить истину, что и на

солнце бывают пятна, в данном случае я не могла бы, так как в моем номере солнца не было видно никогда. Окна выходили во двор, и прямо на носу у моего окна — стена такого же высокого дома. Декабрьский и без того тусклый свет бессилен проникнуть в комнату. Как бы там ни было, в этом тихом номере я отдохнула до вечера. Потом, с торжественного ужина, созванного в ресторане «Дарданеллы», началась моя американская жизнь.

Я с умыслом употребила слово «созванный», ибо в Америке подобные обеды и ужины равнозначны собраниям, конференциям, съездам и прочим солидным мероприятиям. А прилагательное «равнозначный» здесь не совсем точно, потому что, когда я объяснила, что предпочитаю просто литературные вечера, без всяких церемоний, друзья мне совершенно серьезно объяснили:

— Не будет банкета, никто не придет, ты еще не знаешь этих американцев.

Сегодняшний ужин был просто ужином, первым, как говорится, знакомством. За столом люди из всех здешних армянских кругов. Среди них Ваган Казарян и Шушаник Шагинян. Казарян, редактор прогрессивной газеты «Лрабер» («Вестник»), приложил несказанные усилия, чтобы переправить гостью, то есть меня, из Канады в Америку. Я даже не представляла, что оказалась такой нетранспортабельной. Приглашения «Армянского прогрессивного союза» было недостаточно. Требовалось еще кое-что другое. Среди прочих формальностей в Монреале для получения американской визы я заполнила анкету, в которой еще не успели стереть строку: «Коммунистам и инфекционным больным въезд в Америку запрещен». Было также необходимо, чтобы кто-нибудь из американцев принял на себя миссию попечителя и с этой целью положил в банк девять тысяч долларов на случай, если — боже упаси — с приезжим приключится что-нибудь непредвиденное: болезнь, авария и т. д.,— словом, чтобы я в этом случае не пошла по миру.

Вот эту-то задачу и решили братья Шагиняны по распоряжению матери семейства Шушаник Шагинян.

Я знала их давно, познакомились мы в Ереване на ступеньках Матенадарана, когда их семья — отец, мать, двое сыновей, невестки, внуки — заполнила почти всю широкую лестницу. Это знакомство продолжилось, семья не раз приезжала в Ереван, с которым они связаны сердечными и родственными узами.

Тикин Шушаник, уже седая, в летах, в свое время была одной из заметных деятельниц «Армянского прогрессивного союза». Неутомимая, энергичная— такой знали ее в те давние годы. Сейчас она остепенилась, хотя ее волевое лицо говорит о сильном характере. Алис, жена старшего сына, рыжая, с ясными прозрачными глазами, представляет мне Андраника Шагиняна:

— Пожалуйста, познакомьтесь, мой муж.

— Перед тем как стать твоим мужем, он был моим сыном, — мгновенно обрывает ее Шушаник, и я сразу вижу, из какого крутого материала скроена эта «свекруха».

Андраник, «перед тем как стать мужем», во время второй мировой войны вместе с братом служил в авиации, а до этого учился в американском колледже. А еще до этого родился в Ереване. Его отец — уроженец Вана, в 1915 году вместе с беженцами добрался до Еревана, там и женился. А потом с группой западных армян переселился в Америку. Здесь стал переплетчиком, а затем открыл маленькую мастерскую — типографию с двумя-тремя машинами. Вечерами после работы их дом становился клубом. Приходили друзья, родственники. Сам глава семьи Вагаршак-ага[2], высокий, плечистый, был еще полон Ваном, песнями, сказаниями, красно-розовым кипением его персиковых садов. Сыновья-школьники Андраник и Геворг, один на скрипке, другой на ванском бубне-дапе, с жаром подыгрывали песням отца. И стандартный широкооконный домик в штате Нью-Джерси превращался в дедовскую горницу, где в далекие годы гремела лихая

[2] Почтительное обращение.

пляска айгестанских парней и откуда разносились песни по ночным притихшим улицам Вана.

Сейчас Андранику сильно за пятьдесят, он, как и отец, высокий, статный, похожий на него лицом, но уже другой, «цивилизовавшийся». За ужином он сидит чинный, официальный, однако немного погодя, когда застолье разгорелось, когда и гости и все сидящие решили дать волю своему «исконно ванскому», к нам присоединился и Андраник. И как присоединился! Он знал все ванские песни, шутки-прибаутки. Наша эрудиция была уже на излете, а Андраник с братом все еще пели, выкапывали, извлекали из памяти все новые и новые строки и строфы.

— Это все отец! — хвастает Андраник.

Итак, мой первый вечер в Америке оказался самым армянским за все время пребывания там и таким привычным, что когда мы вышли из ресторана и на меня навалилась громада города, я на миг опешила — только сейчас вспомнила, где я.

Сели в машину, и, несмотря на усталость, я решила хоть чуточку «подегустировать» Нью-Йорк. Мы проехали по Бродвею, Рокфеллер-центру, Мэдисон-авеню, сделали остановку в Кеннеди-центре, на площади Метрополитен-опера. Но даже эта легкая «дегустация» заняла около часа. Когда мы вернулись, я с удивлением обнаружила, что Шагиняны ждут меня в вестибюле гостиницы. Живя в пригороде, они должны были бы первыми отправиться домой.

— Мы решили, что тебя не следует оставлять одну, хотим захватить с собой.

— Почему? — недоумевала я. — Ваш дом за городом, а я хочу жить в центре.

— Наши озабочены, — объясняет Шушаник, — как ты будешь здесь одна ночевать. А вдруг что-нибудь случится.

— Да я всю жизнь ночую одна, что может случиться?

— Да, но...

— Опасаетесь за свои девять тысяч? — острю я. — Ну-ну, не сквалыжничайте.

Потом только я узнала, на чем зиждились опасения Шагинянов. Гостиница «Мэк Алпин» в последние годы стала чем-то вроде пансионата, где в основном жили негры. Мне не сказали об этом, но если бы даже и сказали, вряд ли это внушило бы тревогу. Это чисто американский «комплекс», и мы, слава богу, далеки от него...

Видя, что переубедить меня нельзя, Шагиняны распрощались, оставив свои номера телефонов.

— Если нужно, — сказала Шушаник, — позвони Андранику, место его работы близко от гостиницы.

— Пусть тогда он приедет утром, позавтракаем вместе,— обрадовалась я.

— Андраник, сможешь?

— Что ты, мама! А кто за меня будет работать?

Я смекнула, что мое предложение на какие-то полчаса оставить работу и позавтракать со мной для него так же невероятно, как если бы я вдруг пригласила его завтра утром отправиться в межпланетное путешествие.

Что греха таить, мне, человеку из Армении, привыкшему к несколько иным нравам, когда частенько из-за гостя (стоит он этого или не стоит) всячески «выбивают» отгул и кейфуют с ним почем зря, странным показался в первую минуту этот категорический отказ. Ведь Андраник — владелец типографии, вроде бы сам себе голова. И какие-то полчаса. Но... как говорится, дружба дружбой, а служба службой. Правда, иногда, может быть, и стоило быть чуточку поменьше «службистом».

Начиная с того дня, как дела перешли в руки сыновей, маленькая мастерская Вагаршака выросла в довольно крупное предприятие, которое имеет несколько этажей, ультрасовременное оборудование, около трехсот рабочих.

Мы обошли все этажи. Андраник с превеликим удовольствием демонстрировал машины, новейшие способы печатания, показал свой кабинет и просторную гостиную-приемную — все должно быть в полном ажуре, и реклама и сервировка на приемах, чтобы снискать уважение заказчиков к фирме.

Был конец декабря, канун Нового года.

Рабочий день кончился, люди собрались отметить праздник и выпить. Тут я впервые увидела американских рабочих: хорошие приветливые парни в синих комбинезонах, веселые, уже чуточку под градусом. И нас пригласили принять участие в новогоднем празднестве. Андраник нехотя подошел, взял бокал, весьма сдержанно пожелал всем удачного Нового года и быстро отошел. Я же пустила в ход фразу, выученную мной в те дни по-английски:

— Хеппи нью еар (счастливого Нового года)!

— Хеппи нью еар, хеппи нью еар! — живо откликнулись в ответ мне.

Мы еще не вышли из цеха, как я не удержалась:

— Ай-ай-ай, что же сталось с вами, с такими прогрессистами? Где же ваш хваленый демократизм?

— Тс-с-с, — резко одернул меня Андраник, — среди них есть армяне, услышат.

— Да, видимо, армяне армянам рознь, — поддела я своего респектабельного спутника.

Уже стемнело, когда мы выехали в Нью-Джерси, домой к Шагинянам. Андраник сидел за рулем. Включил мотор, нажал кнопку, и в обтянутый мягкой кожей салон американской машины вдруг ворвались возгласы, смех, хоровые песни, ритмичный перестук каблуков и хоровода. Ванская дедовская горница словно перекочевала сюда. Заводилой в хороводе снова был отец, он вел всех за собой, подпевал, а другие вторили ему. Время от времени в пение включался и Андраник, сидящий за рулем, подтягивая в лад со всеми на чисто ванском диалекте. И я тоже включалась.

Оба мы были уроженцами одного города — Еревана, родились в одном и том же году, оба были, как говорится, одного корня. Потом между нами простерся целый океан и разделил нас. И не только Атлантический. Целый океан различий: стран, жизненного уклада, цели и содержания жизни. Но сейчас, в эти минуты, нас внезапно сблизило далекое озеро, зеленеющий вдали покинутый город Ван — то, что было еще до нашего рождения.

Роза распустилась над Ваном в саду.
Господи, дорогу как туда найду?
Мнлая малютка, скажи мне: ты чья?
Целый мир ответил: ты — моя, моя!

Вокруг нас век космических кораблей, а в ушах:

Сто снопов — тяжелый воз.
Вол другой его б не свез.
За тебя, мой вол рогатый,
Жизни мне не жаль своей.
Потрудись на поле брата,
Не ленись, хэй, хэй!

Сворачиваем на Бродвей.

Баю-бай, идут овечки,
С черных гор подходят к речке,
Милый сон несут для нас,
Для твоих, что море, глаз.

Выбрались на набережную Гудзона.

Сердце мое — что разваленный дом,
Груда камней над упавшим столбом,
Дикие птицы устроятся в нем,
Эх, брошусь в реку весенним я днем...

Странной, незабываемой была эта поездка. Вокруг сутолока непонятной жизни: разинувшие свои бетонные рычащие пасти улицы, красноглазое, желтоглазое буйство машин, Гудзон, широкий, густой, черный, еле вбирающий в себя мутный отблеск электрических огней. Подъезжаем к мосту Джорджа Вашингтона и сворачиваем. Двухэтажный громадный мост втянул нас в свой зубчатый хобот и выпустил на другом берегу. А из нашей машины все неслись и неслись песни. Словно колесница опустилась с какой-то другой планеты и растерянно мечется с одной улицы на другую, никак не может оторваться от этого насыщенного металлом и электричеством магнитного поля...

После того как мы проехали мост, шум постепенно ослаб, обессилел, и свежая зелень Нью-Джерси поспешила стереть пот со стеклянного лба машины.

— Эх, ты бы посмотрела раньше на моего отца, — вздыхает Андраник, — сейчас он очень постарел. Склероз проклятый. Редко попадается теперь такой человек, как он. Нет сейчас таких.

Машина остановилась перед освещенным домом.

— Добрый вечер, Вагаршак-ага.— Андраник кладет руку на плечо отцу.— Как живем, старина? Есть еще порох в пороховнице?

Отец, несмотря на свои восемьдесят лет, выглядит недряхлым, улыбается сыну доброй улыбкой:

— Здоров я, здоров!

— Что скажешь, не опрокинуть ли нам по рюмочке?

Андраник, по-видимому чтобы скрыть тайную боль, избрал для разговора с отцом шутливый тон. Отец же только улыбается и молчит. Ребенок, огромный ребенок... Подлинный Вагаршак, задорный, горластый, остался лишь на ленте магнитофона да в памяти близких...

Шушаник уважительно подводит отца семейства к его обычному месту — во главе стола. Сыновья и внуки, собравшиеся в отчем доме, рассаживаются вокруг, болтают, шутят, а дед молчит, и мысли его где-то далеко-далеко, он только благодушно, по-детски улыбается, когда Андраник подшучивает:

— Вагаршак-ага, ты опустошил весь стол, хоть одну лепешку нам оставь.

Только раз отец принял участие в том, что происходило вокруг. Это было на следующий день в землячестве «Амаваспуракан». В уголке зала вместе с Шушаник и детьми сидел он безмолвный и безучастный. И лишь по окончании вечера, когда начались ванские круговые танцы и песни, я заметила: губы старика шевелились в ритм песне «Караван прошел, звеня». Лицо его преобразилось, словно откуда-то на него упал луч света. С горы ли Вараг струился этот свет, от зари ли, занявшейся над озером Ван, или из оконца-ердыка отцовской избы?..

Несколько дней спустя я была в гостях у Андраника. Двухэтажный особняк из десяти — двенадцати комнат по сравнению с домом Вагаршака выглядел так же, как нынешняя типография Шагинянов по сравнению с маленькой мастерской отца. Были приглашены «сливки» армянской колонии в Нью-Йорке. Андраник, импозантный, самоуверенный, встречал гостей. Он был доволен — доволен собой, своей судьбой, своим умением управлять этой судьбой, своим особняком, картинами Айвазовского, которыми были увешаны стены, своей семьей.

Дети, встреченные мною когда-то на ступеньках Матенадарана, уже выросли, стали юношами. Старший учился в университете в другом городе, трое других — в Нью-Йорке. Знакомство с Матенадараном мало чему помогло. Передо мной были типичные молодые американцы.

Но в конце вечера, когда отец взял старую скрипку, младший сын, в потертых джинсах, с заплетенной косой на затылке, такой густой, что хватило бы на нескольких девочек, примостился у его ног и, уловив ритм мелодии «Распуракан», вошел в раж и с упоением колотил в дап-бубен. Танцевали все — и гости и хозяева.

— Хороший дом у Андраника, — сказала я его матери.

— Да, — удовлетворенно кивнула бывшая деятельница «Прогрессивного союза». Но, видимо, она не поняла меня или что-то другое вкладывала в мои слова. — Жаль, что ты не побывала у Геворга, его дом еще больше и богаче...

12 мая. Егвард

Случилось так, что в один из самых разгульных, самых легкомысленных городов в мире, Лас-Вегас, можно сказать, в город-тунеядец, я приехала с одним из самых сдержанных, самых серьезных и самых трудолюбивых среди попадавшихся мне в жизни людей — писателем и редактором прогрессивной газеты «Нор ор» Андраником Андреасяном. В отличие от многих прочих западноармянских деятелей Андреасян умудряется зарабатывать свой хлеб только редакторским трудом. Если представить себе, что такое для редактора здешней армянской газеты существование лишь на зарплату, особенно когда сей редактор дерзнул обзавестись пятью детьми, и если при этом хоть чуточку вообразить, что такое Лас-Вегас, то сразу станет ясно, что пригласил меня туда не мой уважаемый собрат по перу, а его друг, владелец магазина радиоприборов Нубар Костанян. Сам Андраник, прожив в Америке свыше сорока лет, а в Калифорнии — последние двадцать, еще не бывал в Лас-Вегасе. Да и сейчас сомневался, сможет ли поехать.

— Очень хочется, но едва ли получится. Кто выпустит завтрашний номер «Нор ора»?

— Это сделает кто-нибудь другой, например ваш заместитель, — уговариваю я.

— Какой заместитель?! Нас всего три человека, включая наборщика.

Кое-как Андреасян уладил свои редакторские дела, и мы отправились в путь из Калифорнии в штат Невада, в знаменитый Лас-Вегас. Дорога длилась часа четыре. Она пролегала по неприглядной, скудной, серой земле Невады. И, видимо, чтобы хоть как-то возместить несправедливость природы, в Неваде придумали привилегии, с помощью которых можно было превзойти другие штаты. Так, прежде всего здесь облегчен развод, и теперь в эту своеобразную Мекку совершают паломничество из других штатов те, кому—нож к горлу!—приспичило развестись. А потом на месте заросшего бурьяном пустыря воздвигли Лас-Вегас, город — игорный дом, куда слетаются не только из других штатов, но со всего мира, чтобы дать волю своим слабостям и расстаться на этот раз не с мужьями или женами, а с содержимым своих карманов, хотя на самом-то деле все они, конечно, надеются умножить здесь это содержимое.

Использовать первую предоставляемую штатом Невада привилегию было для всех нас троих начисто исключено. У меня лично «нож к горлу» был приставлен еще тридцать лет назад, и проблема эта без помощи Невады в скромных условиях нашего Еревана хоть и не без сложностей, но вовремя была решена. Андраник Андреасян, как бы пылко он ни сражался на гражданской ниве, переходя подчас границы дозволенного, в семейных делах не позволял себе, как у нас говорят, даже ручеек перепрыгнуть. Нубар Костанян сравнительно недавно женился и боготворил жену. Следовательно, нам оставалось воспользоваться лишь вторым преимуществом Лас-Вегаса.

Прибыли мы в это благословенное место к вечеру. Нубар еще загодя заказал нам два номера в одной из самых комфортабельных гостиниц, «Хилтоне», один мне, другой ему с Андраником. Едва мы устроились, как Нубар, лысеющий, но весьма энергичный и сияющий молодой человек, деловито сказал:

— Теперь мы спустимся.

— Куда?

— Вниз.

И мы спустились в этот «низ». С этого момента вокруг забурлила иная жизнь — стремительный затягивающий водоворот, который мог, словно щепку, закружить вас и не выпустить, если бы, конечно, в лапы ему попали не такие отрешенные от страстей Лас-Вегаса субъекты, как Андраник Андреасян, и такая «охотница до зрелищ», как я, во все глаза наблюдающая за этим потусторонним миром, но только наблюдающая...

Наш наставник Нубар немедля приступил к обучению. Начал он с самого примитивного. Купил на несколько долларов металлических жетонов-кругляков, похожих на монеты, высыпал их в два бумажных стакана и, как два стакана мо-

лока, протянул нам, молокососам. Из его слов выяснилось, что это какой-то вариант виденной мною уже в Японии игры «пачинко». Нужно было бросать эти кругляки в щелку игрового автомата, затем нажимать на рычаг. На стеклянном ящике — рядами клетки с различными картинками. Если после нажатия засветятся сразу в одном ряду четыре одинаковые картинки — значит, счастье вам улыбнулось: автомат «выстреливает» массу таких же кругляков, которые со звоном вылетают из нижнего отверстия. Игрок может начать все сначала, и если повезет, он на целые часы останется прикованным к этому металлическому искусителю. В игру включались самые «неимущие» — студенты, а чаще всего пожилые дамы.

Когда было исчерпано все наше «молоко», Нубар перевел нас во второй класс. Здесь научно-техническая революция ничего не изменила. «Колесо счастья» вращалось, как и в прошлые века.

Счастье улыбнулось мне, и я вместо одного доллара стала обладательницей пяти. Напрасно наш «учитель» убеждал не «топтаться на месте», а неуклонно «двигаться вперед». Только перспектива игры на рулетке смогла оторвать меня от колеса. Рулетка улыбнулась мне как старой знакомой. В Бейруте в «Казино де Ливан» я впервые в жизни попала в игорный дом, и в первую же минуту рулетка обласкала меня. Вместо взятых у меня пяти ливанских лир она выдала мне в тридцать пять раз больше. С той же надеждой на взаимность я подошла и к ласвегасской рулетке, но... с сожалением вновь убедилась, что первая любовь не повторяется.

Вечером того же дня мы ужинали в гостинице «Стандус», в зале, напоминавшем знаменитое парижское «Лидо». На десерт здесь обычно шоу — концерт: пение, акробатика, танцы, юморески, все на уровне мировых стандартов.

Когда шоу кончилось, было одиннадцать вечера. Весь первый этаж «Стандуса» наполнен тем же азартом игры, что и в «Хилтоне». Я чувствовала, что Нубар мечтает избавиться от обязанностей опекуна: научил нас «летать» — и хватит, теперь сами машите крыльями. Он привел нас к «колесу счастья» и сбежал. Я была очень довольна. Тут же включилась в игру, пустила в ход свои однодолларовые монеты. Молчаливость крупье при моем знании английского была очень кстати. Все шло как в немом кино. Андраник Андреасян попробовал заняться тем же. Но делал это нехотя, без всякого аппетита, так что колесо, будто почуяв сие, воздало ему такой же неприязнью. У нас говорят—«как слепец взирает на бога, так и бог взирает на слепца»...

Было уже поздно, когда мы решили покинуть «Стандус», предварительно разыскав нашего воспитателя-дезертира. Нашли его у длинного стола среди картежников. Игральные карты словно магнитные плашки приковали к себе головы игроков, не позволяя им даже оглянуться. Кое-как мы привлекли внимание Нубара к себе, дали ему понять, что пора и честь знать. Наконец мы двинулись к выходу.

Мимо нас стремительно прошел какой-то мужчина в летах, толстый, с широкополой шляпой над круглым висломясым лицом.

— Один из техасских миллионеров, я его знаю. Завсегдатай Лас-Вегаса,— просвещал нас Нубар,— играет на пятьдесят, сто тысяч долларов. Смотрите, смотрите, сейчас начнется...

Толстый техасец со взглядом, в котором было: если захочу, куплю и всю эту компашку и крупье в придачу.— подошел, бросил на стол свои тысячи, взял карты и через минуту, как это вышло, не знаю, словно фокусник, снял куш — собрал со стола все деньги и стремительно продолжил свой путь.

Еще несколько раз техасец приближался то к тому, то к другому столу, железно повторял ту же процедуру и наконец с той же победоносной небрежностью вышел вон из гостиницы. На улице его ждала тележка с чемоданами, портье и швейцар, которые проводили его до машины. Даже перед самым отъездом он не хотел потратить зря ни одной минуты.

Мы тоже сели в машину и отправились смотреть ночной Лас-Вегас.

Токио славится ночным освещением своей главной улицы Гиндзы. Говорили, что весь Лас-Вегас освещен, как Гиндза, и даже больше. Но поди же, именно в

это время в Америке начался энергетический кризис. На призыв президента экономить электроэнергию оперативнее всех откликнулся именно Лас-Вегас, явно стремясь утвердить свою крайнюю законопослушность. Огни зажигались лишь в строго определенной очередности. Таким образом, я насладилась вечерним Лас-Вегасом, как говорится, только местами. Однако и эти «места» позволяли составить представление в целом.

Лас-Вегас — особый мир, не знающий себе подобного. Если классическое Монте-Карло — огромный, но всего лишь один игорный дом, то Лас-Вегас — это игорный город, тянущийся на километры. Улицы, площади — все строилось и приспосабливалось именно к этой цели. «Игровые точки» не только в игорных домах, но повсюду — в гостиницах, ресторанах, кинотеатрах, парикмахерских, магазинах, на улицах, на стенах домов. Даже все сувениры символизируют игру и игорные дома. В качестве самого редкостного сувенира продаются «бывалые», прошедшие огонь и воду, истершиеся карты... А в одном магазине я увидела пирамидку, сложенную из поблескивающих металлических центов. В другом — с виду кучка серебряных долларов, а сверху несколько настоящих долларовых ассигнаций, и все это залито прозрачной пластмассой. Своего рода наглядные пособия, каждодневно вдохновляющие на «делание денег».

— Как вам спалось? — спросил на следующее утро Нубар.

— Спасибо. А вам?

Нубар мнется. Бедняга, он, оказывается, вечером, освободившись наконец от нас, снова спустился «вниз».

Сегодня Нубар и вовсе решил спровадить нас с Андраником подальше.Название игорного дома «Циркус» оправдывали лишь несколько колец, свисающие из-под купола, и сетка, растянутая под ними. Все остальное — и партер, и амфитеатр, и ложи, и ярусы — было заполнено тем же: многозвучным жужжанием разноцветных электроглаз ненасытных автоматов и всеми остальными игорными аксессуарами.

Здесь бывают цирковые представления, и Нубар повел нас в одну из лож, откуда удобнее смотреть на кольца.

— Когда приезжаем сюда с женой и детишками, всегда сажаю их в эту ложу,— говорит Нубар.

Он и нас усадил в ложу как своих «детишек» и, успокоенный тем, что нам есть чем заняться, исчез. Мы с Андраником оказались точно в таком же положении, как герои рассказа О. Генри, где отец специально устраивает на перекрестке пробку, чтобы сын имел время сделать предложение сидящей с ним рядом в машине девушке.

Мы познакомились лет десять — пятнадцать назад во время пребывания Андраника в Армении, издалека узнавали о жизни и делах друг друга, а вот когда снова встретились в Лос-Анджелесе, ни у него, ни у меня все не выкраивалось времени спокойно посидеть и поговорить. То, что мы были заперты в ложе этого «Циркуса», оказалось удобным случаем, чтобы объясниться в любви если не друг другу, то общему предмету нашего поклонения — Армении. Под куполом уже летали вверх и вниз артисты, играл оркестр, малыши вокруг блаженствовали, ликовали, визжали, а мы все о том же. И только когда артисты в знак благодарности выпустили в зал для ребятишек разноцветные воздушные шары и один из шаров попал в нашу ложу, только тогда мы опомнились, сообразили, где находимся, и даже удивились: а зачем мы здесь?

День уже кончался, на вечер у нас были билеты в оперу в Лос-Анджелесе, а мы все еще в «Циркусе». Нашего «блудного отца» Нубара мы опять обнаружили у длинного стола впившимся в карты. Он глядел на нас, как лунатик, передвигающийся по карнизу крыши. Было жалко и даже опасно окликнуть его. Однако мы рискнули. Нубар пробормотал: «Еще немножко посмотрите цирк, я сейчас приду» — и снова пошел по карнизу. Но мы не вернулись в цирк. Слонялись по закоулкам игорного дома.

Неожиданно в сутолоке перед нами остановился уже немолодой человек и с

ним разодетая рыжая дама. На какое-то мгновение просветлев, он посмотрел на нас.

— Вы армяне?

— Да, армяне,— обрадовалась я, почуяв в этой всеобщей чуждой сумятице что-то родное.

— Где родилась? — Наш новый знакомый, как истый американец, тотчас же перешел на ты, соединяя при этом армянский деревенский диалект и американское произношение. Так же смешаны были в нем крестьянская внешность и суперамериканское его внешнее снаряжение.

— Я из Армении,— похвалилась я.

— Я тоже был там... По приглашению землячества гаджнинцев. Я из Гаджна.

— Понравилось вам? — накинулась я на него.

— Ничего... Но пробыл там только три дня. Много всяких дел, не мог остаться.

— А чем вы занимаетесь? — Мой порыв постепенно гаснет.

— Я?.. Я — Магалян. Не слышали? Во Флориде у меня большая фирма «Домашняя мебель».

— А это Сильва Капутикян, поэтесса,— говорит Андраник и, увидев, что собеседник не совсем точно представляет себе мою «фирму», поясняет:— Книги, книги пишет. О судьбе Армении, о спюрке.

— А-а, очень рад, — покровительственно, но вполне равнодушно произносит господин Магалян и протягивает руку для прощанья. — Будь здорова. Спешу. Дело есть дело.

Ничего не скажешь! Эта встреча двух «сокровников» была вполне созвучна Лас-Вегасу. Автомат увидел нас, мгновенно сработал, одновременно зажглись в ряду четкие схожие картинки, кругляки со звоном провалились вниз, обрадовав было игрока. И все... Понапрасну радовались. Больше картинки одновременно не зажглись.

16 мая. Егвард

Мягкая, благодатная и благодарная земля в Калифорнии. Изначально это были дикие места, и сколько же пролилось пота, сколько потребовалось мускулов и сил, чтобы земля эта покрылась виноградниками, абрикосовыми и миндальными садами! В этих садах, особенно под Фресно, есть труд и армянских скитальцев-пандухтов, которые вынуждены были покинуть дедовские земли и приехать сюда в поисках заработка. Говорят, что именно армяне впервые привезли сюда абрикосовые косточки и вырастили в здешних краях абрикосы. Правда это или нет, не знаю, однако то, что армяне привезли с собой во Фресно и другие «семена» — жажду знаний, стремление жить сообществом, жить вместе,— видно хотя бы из того, что начиная с 1892 года в этой колонии, насчитывавшей всего четыре-пять тысяч человек, открывались школы, издавались газеты, было создано множество союзов и организаций. Одни названия этих союзов: «Армянское литературное объединение Фресно», «Чрагянская музыкальная школа», «Юношеский веселый клуб», «Дискуссионный клуб друзей», «Битлисское благотворительное общество», «Артистическая труппа «Евфрат», «Библиотека Акнуна» — свидетельство многообразной и поистине бурной национальной жизни. Надо полагать, что здесь разгорались дискуссии между разными партиями не только в «Дискуссионном клубе друзей», но и вне его стен, в том числе и в так живо описанном Уильямом Сарояном кафе «Аракс».

Я долго искала это кафе «Аракс», мне вообще хотелось увидеть ту среду, которая вырастила Уильяма Сарояна, питала его великолепные рассказы. Но от того Фресно почти ничего не осталось. Не было тогда там — увы! — и самого Уильяма Сарояна.

От старой колонии во Фресно остались несколько стариков, сухощавых, горбоносых, говорящих по-армянски на сугубо деревенском диалекте, стариков, которым так не подходило понятие «фермеры», хотя именно фермерами они и были.

Во Фресно жили несколько армянских писателей, и среди них — хорошо известный мне Ваге-Гайк. Скромный и молчаливый, он жил довольно далеко от центра, в лесистом месте, в просторном, но, как и он сам, «сдержанном» и молчаливом доме. Самой «несдержанной» частью его дома была библиотека, заполненная армянскими изданиями разных лет и разных мест. Среди железобетонной грохочущей Америки эта заставленная книгами комната напоминала мне тайник в монастыре, берегущем, защищающем наши древние письмена и пергаменты от чужеземных набегов. Вероятно, именно здесь, за письменным столом — маленьким боевым бастионом, — и написал Ваге-Гайк свои знаменитые книги о его родном крае, о Харбарде: «Золотое поле Харбарда», «Дым отечества», книги о том, как здесь, за океаном, рушатся привычные устои народной жизни, меняется ее уклад, как постепенно от ветра неотвратимой ассимиляции рассеивается «дым отечества», исчезает в беззвездном небе страны, на флаге которой рассыпано так много звезд.

Боль и протестующий крик слышатся во внешне спокойном увещевании, с которым писатель обращается к старухе матери, отдающей последние центы сыну-бакалейщику за бутылку молока и кусок масла: «Мама, милая, покинутая мама, в следующий раз, когда придешь покупать молоко, не забудь напомнить этому твоему горе-сыну, чтобы сам он сперва уплатил за то давнее молоко, которое по каплям было выжато из твоего естества, из твоей плоти и вливалось в него. Вливалось бессонными ночами, колыбельными песнями, тихими сказками».

Эти строки из рассказа «Не забудь деньги на молоко, мама» я все время вспоминала, придя в дом для престарелых армян во Фресно.

В Америке дома для престарелых прочно вошли в обиход. Семья в классическом смысле этого слова, я бы сказала, перестраивается. Создаются нового типа семейные связи, складываются новые отношения между детьми и родителями, когда дети, едва переступив порог юности, стремятся к полной самостоятельности и независимости. После женитьбы эта независимость доходит до такой степени, что родителей покидают совсем, в лучшем случае сохраняются лишь внешние связи и денежные обязательства. И так как ослаблены нити, связующие сердца, то в старости, если мать и отец нуждаются в уходе и заботе, лучшим выходом из положения считается дом для престарелых. Там находят себе приют не только нуждающиеся старики, но зачастую и люди со средствами, которые, уплатив определенную, довольно высокую, сумму, обеспечивают себя жильем, уходом и питанием. В зависимости от вносимой суммы определяется и степень комфорта.

Помню, года два назад мы получили из Америки от нашей дальней родственницы письмо. Конверт лопался от набитых в него цветных фотографий. На фоне новеньких современных вилл смеющиеся лица, модно одетые женщины и молодые люди, дети в пестрых платьицах и костюмчиках. На каждой фотографии родственница старательно надписала: «Это моя дочь перед своим домом», «Это мой старший сын рядом со своим автомобилем», «Это мои внуки в своем саду», «Это моя невестка», «Это мой старший внучек»... После долгого описания обеспеченной жизни своих сыновей и дочерей в конце письма родственница сообщала: «Теперь я живу в доме для престарелых в Детройте»...

В Америке я уже перестала удивляться, сталкиваясь с подобными случаями, однако все-таки с трудом приноравливалась к этой, быть может, и вполне разумной, но странно непривычной для нас форме решения вопроса. Всякий раз, приходя в дом для престарелых (здесь их называют «Домом покоя для стариков»), как бы я ни была подготовлена к этому визиту, все равно что-то тревожно сжималось во мне. Тусклые глаза стариков, хоть и опрятно одетых и живущих в чистых, прибранных комнатах, но все же таких одиноких, лишенных тепла семьи, детей и внуков, эти глаза то просяще смотрели на меня, то, словно ожидая чего-то, глядели в окно, будто искали, надеялись.

В детройтском доме для престарелых был намечен обед вместе со стариками. Все тут было как полагается — и дом, и часовня, и гостиная, и обед, — но

еда застревала у меня в горле, я с трудом могла проглотить кусок. После обеда состоялось нечто вроде встречи. Говорили опекуны «Дома покоя», говорил директор, говорила я. Все мы были взволнованы. Это волнение перешло в гнетущее, давящее чувство, когда старая женщина с высохшим острым лицом резким, дребезжащим голосом запела «Крунка». А потом поднялся трясущийся худой старик.

— У меня вопрос, — сказал он. — В Армении есть яблоки?

Я не знала, плакать мне или смеяться.

— Есть, отец, конечно, есть.

— У меня еще вопрос. Ты на чем прилетела в Америку, на «МИКе»?

Это был один из тех случаев, когда ложь называют святой.

— Да, отец, на «МИКе», на чем еще я могла прилететь?

Старик сел, успокоенный тем, что в Армении есть яблоки и что я прилетела оттуда на «МИКе» — самолете, созданном армянином. Кто знает, в каких глубинах мозга сохранились эти «яблоки» и этот «МИК», с каких времен, из каких источников информации? И вдруг теперь неожиданно всплыли, смешно соединенные, до слез смешно соединенные.

В «Доме покоя» Нью-Джерси я долго стояла в комнате № 23 на первом этаже. Стояла безмолвно, с тяжестью в душе: здесь провела последние годы своей жизни видная писательница Заруи Галамкерян. В маленькой, с бело-холодными стенами комнате высокая по-больничному кровать, рядом низенькая тумбочка, настольная лампа. Из окна виден замкнутый колодец двора и какое-то неприглядное строение. Ни неба, ни горизонта. На двери мемориальная доска, а рядом другая, поменьше, — упоминание о том, что комната эта обставлена на пожертвования дочери и зятя Заруи Галамкерян. Пока директор, захлебываясь, рассказывал о щедрости зятя-миллионера, я с болью думала: неужели здесь должна была кончать свою долгую жизнь эта талантливая женщина, «последняя из могикан» в блестящей плеяде западноармянских писателей?

«Когда пойдешь за молоком, мама, в следующий раз, не забудь деньги... Да, не забудь!..»

Нет, даже казной всего мира не расплатится сын с матерью, не погасит свой долг за материнское молоко. Этот долг можно погасить только сыновней любовью, только взаимным человеческим теплом.

Авторизованный перевод с армянского Т. СМОЛЯНСКОЙ.

(Окончание следует)

ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

М. М. ГРОМОВ,
генерал-полковник авиации,
Герой Советского Союза

★

ЧЕРЕЗ ВСЮ ЖИЗНЬ*

Завели самолет, как только позволяла ровная полоска земли, на самый край ее. Запустили и опробовали моторы. Тряски не чувствовалось. Вынули из-под колес бревно. Взлет — прямо на Днепр. Дал полный газ, и мы благополучно успели взлететь до воды. Не успел набрать и ста метров, как рядом со мною в проходе в пилотской кабине появился Андрей Николаевич. Протянув мне открытую коробочку с леденцами, он с хитроватой одобряющей улыбкой угостил меня конфеткой — премия за удачный взлет. Такая оценка и одобрение запоминаются на всю жизнь.

До Киева долетели без происшествий. На другой день в прекрасную погоду все вернулись в Москву.

Самолет готовился к полету по Европе.

Я занялся амортизационной установкой компаса. Поставил его на губчатой резине, прикрепил к вырезанному из камеры кругу. Круг, в свою очередь, крепился в четырех отростках к пульту. Таким образом, компас полностью покоился на резине и заработал отлично. Винты были окованы.

Экспедицию возглавлял товарищ Зарзар. Среди пассажиров находились: А. А. Архангельский, писатель Михаил Кольцов, его брат художник Б. Ефимов, видные журналисты и писатели.

На 10 июля 1929 года назначили вылет самолета «АНТ-9» «Крылья Советов» в Берлин. Расстояние — тысяча шестьсот километров без посадки. Погода выдалась отличная, но с очень сильным встречным ветром. Накануне я учел все эти условия и установил для себя особый режим еды и питья, поскольку был единственным летчиком на трехмоторном самолете (на втором пилотском сиденье находился механик Русаков) и мне пришлось управлять машиной ровно десять часов. Удивительное явление: сознание необходимости и неизбежности сидеть неподвижно, не снимая ног с педалей, помогает не ощущать утомления от однообразности позы. Попробовал бы кто-нибудь просидеть в театре, например, десять часов, не изменяя позы и не шевеля ногами. Видимо, основа этого — самовнушение. Кроме того, мне пришлось одновременно выполнять штурманские обязанности при отсутствии приводных средств. В моем распоряжении — магнитный компас и карта-десятиверстка.

Вылет, конечно, задерживался из-за провожающих...

Ветер внизу не так силен, как наверху, поэтому пришлось держать высоту сто метров. Через пятнадцать минут я посмотрел в кабину самолета, чтобы проверить самочувствие пассажиров. Увидел бледное, с зеленоватым оттенком лицо Михаила Кольцова. Я всегда поражался выдержке этого человека: он стоически переносил муки «воздушной болезни» и летал безотказно. Другие пока были в порядке, хотя болтало сильно, и это обстоятельство, разумеется, не доставляло удовольствия моим пассажирам.

---

* Окончание. Начало см. «Новый мир» №№ 1, 2 с. г.

Пока все сидели на своих местах, я сбалансировал самолет, и лететь было просто. Но вот вдруг почувствовал давление на штурвале — это означало, что кто-то пошел в уборную. Я оглянулся, изобразив «неодобрительную» мину, снял давление со штурвала тримером (особым приспособлением, регулирующим нагрузки на рычаги управления). Пассажир вернулся. Опять пришлось балансировать. И так как хождения изредка повторялись, я вновь и вновь изображал «недовольство». По этому поводу незамедлительно появилась карикатура Бориса Ефимова: на ней я за штурвалом с грозным видом. Подпись гласила: «Опять кто-то пошел в уборную?!»

Лететь было нетрудно. За тридцать минут до посадки я предупредил нашего главу Зарзара об окончании первого этапа. Он написал шутливую записку, которая обошла всех: «Уберите себя и возле себя». Все настроены весело.

Нас радушно встретили в Берлине. Взлетели пробки шампанского, но не все из нашего экипажа могли пить.

Хвост нашего самолета поставили на электротележку, и один-единственный человек завел его в ангар. Чистота и порядок в ангаре нас поразили. Позади него находилась мастерская сборки и ремонта моторов. Люди все в белых халатах, и нигде ни капли масла. Чистота, опрятность, аккуратность доведены до высшего предела.

Пожалуй, самым впечатляющим в этот первый вечер в Берлине и была повсеместная опрятность. На всех балкончиках цветы, словно умытые дома, тротуары.

Мы осмотрели город и ознакомились со многими его достопримечательностями. Кроме того, нам предложили осмотреть немецкую авиабазу в Травемюнде. Полетели туда на нашем «АНТ-9». Пригласившие нас хозяева летели туда же на своем трехмоторном пассажирском самолете, имевшем явно меньшую скорость, чем наш.

Пробыв несколько дней в Берлине, полетели в Париж и опустились на знакомом уже мне аэродроме Ле-Бурже. С трудом удерживаюсь от описания Парижа, понимая, что ничего не смогу добавить нового к современным гимнам об этом волшебном городе.

Через несколько дней, проведенных содержательно и весело, мы вылетели в Рим. Полет над Южной Францией, над побережьем Средиземного моря. Курс на Рим. В воздухе сильная густая дымка. Над морем я снизился до бреющего полета. Мои пассажиры забеспокоились, не переходя границ порядка. Над морем и в Италии стояла жара 42—45 градусов. Шли очень низко и только у берега быстро набрали тысячу двести метров. Вскоре увидели залитый солнцем Рим и опустились на аэродром.

Встреча в Италии мне показалась особенно помпезной. На аэродром прибыл командующий воздушными силами Италии генерал Бальбо. Молодой, рыжий, заряженный, казалось, атомной энергией.

На другой же день, несмотря на жару, мы побывали в соборе Петра. Памятники древности, искусство — основные объекты нашего внимания. Все увиденное в те дни — грандиозность, мастерство, бессмертные творения искусства — слилось в одно гармоническое целое, прекрасное произведение человеческого гения.

Следует оговориться, что наше посещение Рима являлось ответным воздушным визитом. Бальбо устроил прием, на котором нам представили тогдашнего рекордсмена, обладателя мирового рекорда дальности полета без посадки Маддалена. Он же, поднявшись в Италии на летающей лодке, разыскал Нобиле, потерпевшего аварию на дирижабле около Шпицбергена. Мы осматривали специальную дорожку с горкой для рекордного взлета специального самолета, построенного для установления дальности полета без посадки. Побывали в Научно-исследовательском институте авиации. В то время итальянцы подняли престиж своей авиации рекордными полетами на дальность и скорость. 22 самолета в строю перелетели Атлантический океан в США и вернулись обратно через Азорские острова.

Маддален всюду сопровождал меня, давая через переводчика пояснения. Это был молодой, высокий, красивый брюнет, обаятельный, скромный пилот. Вскоре после нашего отлета он погиб на этом же рекордном самолете, перегоняя его с ремонтной базы в исследовательский институт: над морем самолет разлетелся на мелкие части. То был один из первых случаев флаттера — особо опасный вид вибрации.

Наш визит завершился замечательной прогулкой в Неаполь. Из Рима мы проехали на автомашинах до берега моря, пересели в гидролодки и долетели вдоль берега до Неаполя.

Через два-три дня нас представили Муссолини. В сопровождении Бальбо мы подъехали на автомашинах к его летней резиденции, утопающей в зелени и цветах. Бальбо шел впереди, за ним Зарзар, затем я и далее все остальные. Вошли в виллу. Перед входом в приемный зал мы взглянули на лестницу, ведущую на второй этаж. По ней быстро сбегала молодая девушка, жгучая брюнетка с громадными черными блестящими глазами. Не ожидавшая, видимо, встречи с незнакомыми людьми, она остановилась на мгновенье будто пораженная, затем, улыбнувшись, так же молниеносно взлетела снова наверх.

— Дочь Муссолини,— шепнул нам Бальбо.

Мы всей экспедицией прошли в круглый зал. Через несколько минут вошел Муссолини в светлом чесучовом костюме. Поздоровавшись и пожав всем руки, он встал в привычную для него позу со скрещенными руками на груди. Это был человек средних лет, небольшого роста, широкоплечий, могучего сложения. Круглое лицо с большими черными блестящими глазами, мощной, выдающейся вперед челюстью. Побеседовав минут пятнадцать, он ушел из зала. Бальбо, подняв правую руку вверх, с восхищением воскликнул:

— Вы понимаете теперь, что мы готовы умереть за него!

Мы промолчали, но кто из нас не подумал тогда: куда ведет вас это чудовище, за кого и, главное, за что вы готовы умирать?

На другой день Бальбо устроил прощальный банкет на аэродроме на открытом воздухе. На банкете присутствовали наиболее известные итальянские летчики.

Пришло время прощаться с Италией, готовить самолет к дальнейшему пути. Жара стояла 45 градусов. Машина раскалилась до предела. Наш механик, чтобы не запачкаться, надел поверх трусиков легкий комбинезон. Когда он залез на фюзеляж и, забывшись, лег на крыло, намереваясь открыть капот мотора, он вдруг подскочил, как карась на сковородке: живот был в ожогах.

Решили лететь в Марсель, произвести там посадку для дозаправки самолета, чтобы далее взять курс на Лондон без посадки. Полет до Марселя запомнился как прекрасная воздушная прогулка. Там мы успели позавтракать и попробовать лучшие в мире марсельские сардинки. Но настроение понизилось — нам сообщили об ухудшении погоды на пути дальнейшего следования.

При вылете из Марселя с северо-западной стороны появилась высокослоистая облачность — плохой предвестник. Я поднялся с одной тревожной мыслью: как бы успеть пролететь гористые места — и тогда, выскочив на равнину, при любой погоде сумею долететь хотя бы до Парижа. Облачность понижалась, но горы мы проскочили. До Парижа оставалось километров двести. Далее шли на высоте трехсот метров, под самыми облаками. Лететь над облаками или в облаках было невозможно: погода в месте посадки нам неизвестна, а так как приводные радиостанции отсутствовали, то нельзя точно ориентироваться. Потому, естественно, я вел самолет, ориентируясь визуально, над рекой.

Облачность все более и более понижалась. По опыту знал, что над рекой препятствия маловероятны. Вдруг самолет перешел мгновенно в пикирование. Быстро взял штурвал на себя, но мне мешал его выбрать полностью картодержатель. Быстро отбросил его. Механик, видя, что мы сейчас упадем на лес, так как высота небольшая, закрыл газ, чем усугубил пикирование. Я снова полностью открыл газ и выбрал штурвал до отказа на себя, при этом еще успел погрозить кулаком Русакову, чтобы он не вмешивался. Самолет вышел в горизонтальный полет метрах в тридцати над деревьями. На ножных педалях и на штурвале от руля высоты чувствовались очень сильные удары. Штурвал я выбрал на себя настолько, что между ним и моей грудью осталось пространство не более дюйма. Мгновенно оценив положение, начал искать глазами площадку для посадки, так как понял, что по неизвестной мне причине возникла сильнейшая вибрация типа бафтинг. Слева увидел площадку, подходящую для посадки, но на ней паслись бараны. Еще через полминуты показался сероватого цвета лужок за рекой, как мне показалось, вполне годный по размерам для приземления. Штурвал и педали рвало со страшной силой. Я устремился на луг и благополучно, хотя и с большим трудом, наконец приземлился. Сероватый цвет луга сулил наибольшую вероятность благополучного приземления, ибо он обычно гарантирует сухой луг, а ядовито-зеленый указывает на то, что грунт может быть сырым и вязким или даже болотистым.

Приземлившись, я не выключил моторы: жаль было тратить сжатый воздух баллонов для нового запуска. Моторы работали на малом газе. Выйдя из машины, обратил внимание на то, что люк на верхней центральной части крыла открыт. Сначала я не придал этому значения. Мне думалось: раз самолет перешел в пикирование, то, возможно, что-то случилось со стабилизатором. Осмотрели. Все оказалось в полном порядке. Попробовали увеличить мощность моторов каждого в отдельности. Тоже все в порядке. Механик полез на центроплан, осмотрел тросы управления рулями и закрыл люк. Все вопросительно смотрели на меня. Я спросил Архангельского:

— А вы ощущали толчки в самолете?

— Нет, ничего не чувствовалось. Наверное, просто погода плохая, болтало, тебе что-нибудь показалось.

Зарзар тоже смотрел на меня как-то недоверчиво.

— Садитесь,— сказал я.

Самолюбие мое было сильно задето, и я принял чудовищно опасное и необоснованное решение, поддавшись чужому влиянию. До сих пор не могу себе простить такого поступка. Мы снова взлетели, и я повел самолет над рекой, но настороже. Эта настороженность оправдала себя.

Минут через пять после взлета вдруг вновь повторилось то же явление. Как только самолет мгновенно опустил нос, я выбросил картодержатель и, еле-еле справившись с управлением, повернул самолет назад, ощущая сильный бафтинг на рулях. Проверенная площадка вернее, чем какая-либо другая, подходила для повторного приземления. Сел. Выключил моторы, вышел из самолета и увидел, что люк вновь открылся. Я обратился к Александру Александровичу Архангельскому:

— Вы видите, что люк опять открыт?

— Да, вижу,— ответил он.

— Так вот я теперь убежден на все сто процентов, что бафтинг вызван изменением потока воздуха из-за открытого люка.

Занялись внимательным осмотром. Оказалось, что одна труба моторной установки лопнула. Александр Александрович развел руками и согласился с моим мнением.

В полутора километрах от места нашей посадки находился небольшой городок. В нем, как и во всех городах Франции, была гостиница с гаражом, а там, конечно, нашлось все необходимое для сварки. Утром трубу заварили. Люк скрепили так, что сомнений в его надежности больше не возникало. Дело в том, что крепление его оказалось ненадежным: конусные шпильки входили в ушки, а сильно разреженный воздух над люком в полете несколько сгибал шпангоуты люка и шпильки выезжали из своих гнезд. Теперь все сделали на совесть.

Погода как по заказу с утра стояла отличная. Мы взлетели, с тем чтобы проследовать в Лондон. Над аэродромом Ле-Бурже Александр Александрович пытался уговорить меня сесть, чтобы проверить крепление люка перед перелетом через Ла-Манш. Я решительно отказался, уверенный теперь в полной надежности этой части. Подлетели к Ла-Маншу. Шли на высоте двадцати метров. Пассажиры мои притихли и, казалось, боялись пошевельнуться.

Вскоре все увидели меловые берега Англии. Погода здесь оказалась другой, но вполне позволяла лететь на высоте трехсот метров. Благополучно опустились на аэродром Кройдон под Лондоном. Нас встретил Андрей Николаевич Туполев. Он расспросил, что случилось в пути, и, выслушав нас, конечно, подтвердил предположение о возникшем бафтинге из-за открывшегося люка. Тут же рассказал, что у англичан на одном из опытных самолетов случилась такая же история и пилот с трудом справился с самолетом.

Словом, все хорошо, что хорошо кончается.

Прямо с аэродрома нас доставили в одну из лучших гостиниц Лондона — «Сесиль». Здесь царила полная тишина. Солидный мрак темных стен, чопорность обстановки и сдержанность прислуги нисколько не повлияли на наше веселое настроение. Здесь нас встретил Александр Александрович Микулин. Будучи по природе остроумным и жизнерадостным человеком, он составил нам хорошую компанию.

Кроме музеев и увеселительных развлечений, англичане предложили нам поездку на завод, находившийся от Лондона в двухстах километрах, производивший авиамоторы фирмы «Роллс-Ройс».

Завтракали утром в поезде, который шел со скоростью сто двенадцать — сто пятнадцать километров в час, нигде не сбавляя ее, с одной только остановкой. Поездка заняла менее двух часов. На станцию подали автомобили «роллс-ройс», как известно, в то время лучшие в мире. Таковы же были и моторы этой фирмы.

На заводе нам продемонстрировали на станке авиационный мотор в восемьсот лошадиных сил в работе — опытную новинку. Показывая нам кузнечный цех, англичане с гордостью заявляли, что закалку стали у них ведет из поколения в поколение один род, не помню, к сожалению, фамилию. Как известно, завод славился качеством и надежностью выпускаемой продукции на весь мир.

Осмотрев производство, после ленча мы к восемнадцати часам вернулись в Лондон. Темпы восхитили нас.

Побывали мы и на самолетном авиационном заводе «Фэйри», познакомились с конструктором «Фэйри», человеком громадного, баскетбольного роста, с орлиным носом, в модных по тому времени брюках необыкновенной ширины внизу. Его истребитель «фэрфлай» тогда славился как самая передовая машина. Борис Ефимов не преминул изобразить эту колоритную фигуру в дружеском шарже.

После теплых приемов и проводов перелетели из Лондона в Варшаву. Здесь пробыли недолго и благополучно вернулись в Москву. Об этом путешествии участники экспедиции М. Кольцов и другие написали немало очерков, а Ефимов не поскупился на карикатуры.

Сейчас, когда я вспоминаю вынужденную посадку во время этого рейда, то полагаю, что, как принято говорить, само провидение спасало нас. Случись катастрофа — никто никогда не узнал бы ее причины.

Снова потекла обычная испытательная работа. Обычной она называлась, если все шло удачно, привычно.

Появился «И-4» (истребитель) Андрея Николаевича Туполева. Самолет быстро прошел испытания. Летал просто, надежно, и его приняли в серийное производство. Я с удовольствием вел его испытания.

Но вот появился «ТБ-3» — четырехмоторный крупный бомбардировщик. Мне предложили его испытания.

Самолет стоял на аэродроме перед ангарами, повернув нос в поле. Мне предстояло совершить на нем первый испытательный полет. Со мною шел тот же Русаков, механик, летавший на «АНТ-9» по столицам Европы.

Сел в кабину, взялся за штурвал, взглянул на землю и застыл ошеломленный. Мой глаз над землей находился не как обычно на высоте двух метров, а... четырех! Казалось, аэродром уменьшился в четыре раза. Земля выглядела так далеко и непривычно, что я не мог себе представить, как буду совершать посадку. Взял штурвал на себя, глядя на землю, как это требовалось во время выполнения посадки, и ничего не понял...

Сошел с самолета расстроенный. Как же быть — ведь отказываться нельзя, все равно кто-то должен же лететь и благополучно приземлиться! Сел в самолет еще раз. Снова взял штурвал на себя и начал смотреть на землю, как во время посадки. Как будто начал привыкать. Но вдруг на том месте на земле, куда был устремлен мой взгляд, появился механик. Он виделся мне необычно далеко и вроде даже уменьшенным. Опять все стало непонятным. Снова я сошел, а через несколько минут еще раз сел за штурвал и принялся смотреть на землю. Посидев минут пять, наконец почувствовал, что теперь ясно отдаю себе отчет: посадка возможна. Теперь я был уверен в себе.

Предварительно перед первым взлетом я обычно выруливал, включая на полную мощность двигатели. Проверял реакцию самолета на действия рулей, доводя разбег до скорости, какую только позволяли размеры аэродрома. На «ТБ-3» при первой такой пробежке заметил, что самолет начинает разворачивать. Прекратил разбег и обнаружил, что сектора не в одинаковом положении: они сползают от обычной легкой вибрации. Закреплены явно несовершенно. Попросил механика, когда я снимаю руки с секторов, придерживать их до того момента, пока снова не возьму их сам. При первом же полете он точно выполнил мою просьбу. Но когда самолет оторвался от земли, я взглянул на механика и заметил, что он необыкновенно бледен, видимо сильно волновался. Через минуту я взял сектора сам и управлял штурвалом одной рукой.

После первого испытательного полета посадил самолет отлично, а сектора быстро усовершенствовали.

Вспоминаю: с тех пор как вылетел на «вуазене» самостоятельно, я не имел ни одного «провозного» полета. Выручала постоянная выработка чувства самостоятельности. Радиосвязи летчика с землей тогда еще не существовало. Никто никогда не проверял мою технику пилотирования (управления самолетом). А после случая с «ТБ-3» всегда, испытывая новый самолет, перед вылетом я сидел в кабине какое-то время для освоения видимости земли, расположения приборов.

В испытательную работу порой вклинивались интересные полеты по специальным экстренным заданиям.

Летом 1930 года на самолете «АНТ-9» установили более мощные моторы — каждый по триста лошадиных сил, а в первом варианте его выпустили с моторами по двести двадцать лошадиных сил, на которых мы и летали по городам Европы. Самолет с этими более мощными моторами испытали полностью, кроме расхода горючего.

Однажды днем меня вызвали к телефону. Говорили из секретариата начальника Военно-Воздушных Сил товарища Баранова:

— Товарищ Громов, вам завтра утром нужно лететь с товарищем Барановым в Сочи. Приготовьте «АНТ-9».

На «АНТ-9» тогда работал великолепный механик Вася Бердник. Я ему объявил приказание тут же, чтобы он успел подготовить самолет самым внимательнейшим образом. Да он иначе и не умел работать — только на отлично. Позвонил я Погосскому, заместителю Туполева, и спросил, какова же теперь дальность — с новыми моторами. До Берлина мы летели тысячу шестьсот километров против сильного ветра на моторах в двести двадцать лошадиных сил. До Сочи — то же самое расстояние. На пути у нас Ростов-на-Дону, до него девятьсот километров. Иван Иванович сказал так:

— Летите на той же скорости, что и в Берлин, расход примерно такой же.

— Хорошо. На всякий случай сяду в Ростове и пополнюсь горючим.

— Правильно,— подтвердил Иван Иванович.

После разговора с ним я пришел к самолету. Бердник как раз кончал заправку бензином. Мы оба убедились, что горючее наполнено по пробку, подготовлено к ответственному заданию.

Рано утром на аэродром приехали Петр Ионович Баранов и Михаил Кольцов. Петр Ионович всегда задавал пилоту только один вопрос:

— Можете лететь?

— Так точно, могу.

В самом начале полета Баранов всегда читал газету, потом ложился спать. Так было и на этот раз. Погода стояла отличная. Выше трехсот метров уже не болтало. Я поднялся на тысячу пятьсот метров, где было совершенно спокойно.

Летелось отлично. Я уже видел аэродром Ростова, до которого оставалось километра четыре. И вдруг все три мотора внезапно остановились. Выбрал полоску (под нами был полигон) и сел благополучно.

— Что же случилось? — спросил Баранов.

В первые мгновения трудно было объяснить, почему столь нежданно кончилось горючее: ведь мы с Бердником своими глазами убедились в полной заправке. Я рассказал о своей консультации с Погосским.

— Как же вы объясните себе такой повышенный расход горючего?

— Видимо, эти моторы с другим удельным расходом, к тому же лобовое сопротивление их значительно больше и поедает больше горючего.

Баранов согласился с моими доводами. В добросовестности экипажа он не сомневался, его спокойный тон подтверждал это. Пока шло объяснение, мы увидели автомобиль и автозаправщик. С аэродрома Ростова видели все происходящее, догадались, в чем дело. Заправку сделали быстро, взлетели и без приключений прибыли в Сочи.

Нас встретил Б. И. Россинский. Утром следующего дня я был приглашен на завтрак к Клименту Ефремовичу Ворошилову. Баранов прилетел к нему по делам. Завтракали втроем. Климент Ефремович спросил меня:

— Надежен ли «АНТ-9», можно ли брать семьи?

Я ответил утвердительно, и такой полет состоялся. Всем он очень понравился.

Через два дня Баранов вылетел в Кисловодск, а на третий день мы вернулись в Москву.

Петр Ионович Баранов был государственным деятелем крупного масштаба. Всегда спокоен, очень прост в обращении с людьми и, главное, ровен как с людьми, занимающими большие посты, так и с подчиненными — летчиками, штурманами, механиками. Но если что-нибудь возмущало его, то распекал обычно, находясь в сильно возбужденном состоянии. Это происходило редко. Удивительно обаятельный человек. Его настроение мы всегда угадывали сразу: если он начинал разговор со знакомых «дате-с», «нуте-с», это означало «все спокойно». Я уже рассказывал о его удивительном хладнокровии и спокойствии, которые он проявил, когда пришлось совершить вынужденную посадку — в первый раз в полете из Одессы в Киев и во второй раз из Москвы в Сочи. Характерно, что он выслушивал причины происшествия хладнокровно и относился к людям с большим доверием. Правда, к людям, которые были проверены временем и на деле. Но, увы, это доверие его однажды и погубило.

Стоял туман, сплошной до земли, от Москвы почти до Харькова, куда предстояло лететь Баранову с комиссией. С ним летела и его семья. Самолет «Р-6» был плохо оборудован для полетов в облаках, да и пилот не имел опыта подобных полетов. Тем не менее он не отказался и сел за штурвал. Баранов, как всегда, задал ему вопрос:

— Можете лететь?

— Могу.

В нашем деле мужество требуется не только для того, чтобы сказать «да», но и для того, чтобы сказать «нет». У летчика не хватило мужества отказаться. Полетел он не по приборам, а просто прижимаясь к самой земле. И в конце концов под Лопасней самолет зацепился за макушки деревьев. Произошла одна из тех катастроф, которые совершались не раз в таких условиях. Баранов и все летевшие с ним погибли.

При таких же условиях блестящий летчик Рыбальчук полетел с комиссией во главе с товарищем Триандафилловым на самолете «АНТ-9». Летчика Рыбальчука хорошо знал конструктор С. В. Ильюшин и рекомендовал как отличного летчика — спокойного, уравновешенного, никогда не торопящегося. Я видел — летал он безусловно отлично. Когда мне приказали выпустить Рыбальчука на самолете «ТБ-3», я предложил ему сразу сесть на основное левое пилотское место, а сам сел для контроля на правое. Объяснил ему, как нужно смотреть на посадке и при выруливании. Он поднялся, сделал весь полет и приземлился отлично. Я не дотронулся до штурвала. Блестящий был пилот Рыбальчук. Он, видимо, тоже из самолюбия не отказался от полета в сложных метеоусловиях и в тумане зацепил деревья. Результат тот же. В подобных же обстоятельствах погибли летчики Писаренко и Межерауп.

В 1931 году командующим ВВС был назначен Я. И. Алкснис.

Прошло немного времени. Снова звонок. Нужно лететь со специальной комиссией в Магнитогорск. Никто тогда не спрашивал меня, по какому маршруту я полечу, где буду садиться по дороге. Такие полеты представлялись мне романтичными и интересными, и я всегда брался за них с увлечением. Тот же самолет «АНТ-9». С вечера его тщательно подготовили. В этих подготовках я неизменно участвовал сам, тщательно проверяя все и требуя неукоснительного исполнения; порой меня обвиняли в излишней придирчивости, чуть ли не в капризах, но я мало обращал на это внимания и во всех случаях настойчиво и до конца поступал по-своему. Спорить в этих случаях со мной безнадежно: я твердо усвоил — лучше сделать по-своему и если уж ошибусь, так не на кого будет и пенять, но с себя спрашивал всю жизнь строже, чем с других.

После подготовки самолета получил карту и, как всегда, занялся ее подготовкой. На карту ничего не наносилось, кроме прямой линии между аэродромами взлета и посадки, расстояний и магнитного курса без всяких поправок.

Приходилось тщательно изучать каждый километр с точки зрения рельефа, наличия там лесов, болот. Я старался предусмотреть всевозможные каверзы погоды и варианты решений в могущих произойти изменениях. Воображение и ясное представление всего предстоящего в целом и в деталях до мельчайших подробностей неизменно сопутствовали мне в полетах. Если я брался за решение какой-либо задачи, то прежде

всего со страстным увлечением силился изучить с возможно большей глубиной и с различных сторон обоснования. Позже я убедился, что ни одна отрасль науки никогда в жизненной практике не решает до конца любого вопроса. Только комплекс соприкасающихся между собой наук дает должный исчерпывающий эффект. Да простят мне читатели эти философские отступления. В свое оправдание скажу, что страсть к анализу не только в моем природном духовном складе, но развитию ее способствовала и та строгая обстановка, в которой протекала моя жизнь.

Итак, в пять часов утра я вылетел с государственной комиссией на «АНТ-9», взяв сначала курс на Оренбург. Туда мы прибыли без всяких происшествий. Нас встретил начальник воздушных сил округа товарищ Лопатин, образец лаконичности, строгости, собранности — все, что можно было заметить в столь короткую встречу.

Самолет быстро заправили, и вскоре мы продолжили путь. Тогда в Магнитогорске было всего две домны, небольшой поселок для рабочих из маленьких деревянных домиков. Огромное впечатление производила плотина, образовавшая большое озеро.

На другой день мне предстояло поднять комиссию в воздух для обследования района реки в пределах десяти — пятнадцати километров выше плотины. Когда же шла работа наземная, я получил возможность выехать на автомобиле поохотиться на озерах Урала. Охота охотой, но своеобразие и красота Уральских гор южнее Магнитогорска так поразительны, что порой забывал о ружье. А на вечерней заре, когда менялись краски, сказочная красота заставляла буквально неметь от восторга.

Тем же маршрутом отбыли в Москву.

Еще один полет по экстренному заказу. Осенью шли маневры в районе Гомеля. Мне приказали подготовить самолет «Фоккер С-5», с тем чтобы на рассвете вылететь с Яковом Ивановичем Алкснисом, тогда еще заместителем командующего Военно-Воздушными Силами, в район маневров. Погода стояла осенняя. Выше трехсот метров подниматься на всем пути было невозможно. Яков Иванович, как всегда, явился на рассвете, в точно назначенное время. Я знал, что он не завтракал, так же как и я, хотя во всех авиачастях по его же приказу завтрак был обязателен.

— Ну как?

— Все в порядке, все готово.

— Ну, значит, полетим.

Он сел во вторую кабину, я в первую. Поднялся с аэродрома в юго-восточном направлении с левым разворотом. Поставил компас с предполагаемым курсом. Развернул в воздухе самолет недалеко за Петровским дворцом и дал ему такое направление, при котором должен увидеть и шпиль Петровского дворца и церковь в селе Крылатское за Москвой-рекой. Эти два ориентира стали для меня створом. Пролетая шпиль дворца, я нацеливал и ставил самолет таким образом, чтобы он прошел потом над церковью. В этом положении я сличал курс на компасе и делал на нем поправку на снос. Дальше лететь в смысле ориентировки не представляло никакой трудности. По пути следования так часто попадаются заметные ориентиры, что поправок на компас не приходилось делать: на сто километров пути более двух-трех километров отклонения не бывает. Весь полет проходил на высоте от трехсот метров и ниже. За двадцать минут до цели я предупредил Якова Ивановича, что прибываем точно в такое-то время. Приземлился, подрулил к ангару. Яков Иванович сошел с самолета и, улыбнувшись, сказал:

— Ну, знаете, я все время следил за полетом с картой в руках. Чтобы с такой точностью лететь на такой высоте! Да еще с такой точностью предсказать время прилета! Это класс!

Похвала не столько обрадовала меня, сколько породила чувство неловкости — столь простым представлялся мне полет.

— Что вы, Яков Иванович, это очень просто. Я вам потом расскажу, как это делается.

Алкснис летал сам, и вряд ли нужно было показывать ему, как все это делается.

На аэродром Яков Иванович приказал мне прибыть через десять минут, к началу слушания доклада о готовности начать маневры.

Алкснис руководил и контролировал организацию и выполнение первых двух дальних полетов со сбрасыванием грузов за полторы тысячи километров от места взлета на

четырехмоторных самолетах «ТБ-3» А. Н. Туполева. Я и Юмашев, как командиры двух этих кораблей, после удачного выполнения задания были представлены Яковом Ивановичем нашему правительству во время первого физкультурного парада на Красной площади на Мавзолее Ленина.

Сталин поблагодарил нас и поздравил с удачным выполнением задания.

Несколько раз я упоминал о своих встречах с Я. И. Алкснисом. Но мне хотелось бы подробнее рассказать о нем.

Образ Якова Ивановича Алксниса, командующего Военно-Воздушными Силами СССР, сохранился в моей памяти на всю жизнь. Алкснис заслуживает самого достойного внимания как человек, отдавший всю свою энергию, знания, мысли и стремления на служение трудовому народу. Он был подлинно пламенным борцом за коммунизм. В нем сочетались необычайная сила воли, изумительная энергия, страстный темперамент и дальновидный творческий государственный ум. Вступление его в командование Военно-Воздушными Силами ознаменовалось введением настоящей, подлинной внутренней и внешней воинской дисциплины и порядка. Насаждение этого стиля в работе он начал прежде всего в своем штабе и управлении. Точность исполнения в работе по содержанию и времени. Бритое лицо, чистый белый воротничок, начищенные сапоги и воинская выправка стали неукоснительным законом. Законом не только писаным, но и воплощенным в повседневную воинскую жизнь. Вначале опоздавшие на три — пять минут получали предупреждение, а явившиеся небритыми отправлялись в парикмахерскую, тоже с предупреждением. Повторений не было.

Срок исполнения задания сначала точно устанавливался, и при этом весьма внимательно принимались соображения исполнителей. Но потом никакие оправдания в случае невыполнения уже не принимались во внимание. Устные распоряжения его на практике распространялись с быстротой, которая иногда опережала его официальные приказы и наставления.

Самый большой вклад в Военно-Воздушные Силы внес Я. И. Алкснис тем, что создал организованную структуру Военно-Воздушных Сил — службы, их организацию, их обязанности, подчиненность и прогрессивную направленность. Он создал службы инженерно-авиационную, штурманскую и т. п. до авиационной медицины включительно. Научно-испытательный институт ВВС при Алкснисе значительно разросся, укрепив научно-техническую базу, организацию испытаний и порядок военной приемки самолетов, моторов и авиаоборудования. При нем четко определилась и осуществилась организация подготовки кадров от начальных авиашкол до специальных и высших учебных заведений. Все было приведено в стройную систему.

Можно и должно сказать, что именно Яков Иванович благодаря его энергии, труду и творческому таланту организатора способствовал превращению воздушного флота в настоящую грозную силу, которая могла противостоять и дать отпор любому врагу. Он умел убедительно раскрыть сущность организации Военно-Воздушных Сил и необходимых мероприятий для укрепления их мощи перед партией и правительством.

Целеустремленный, инициативный, творческий стиль в работе был поднят на высоту, достойную поставленной задачи: летать дальше всех, быстрее всех и выше всех.

Передовые и лучшие люди увлекали за собой остальных, и творческий энтузиазм охватил всех. Я. И. Алкснис умел окружать себя наиболее способными, инициативными и одаренными людьми всех специальностей, соприкасающихся во взаимосвязи единого целого в авиации. Он умел их находить сам, а не только через службу кадров.

Проникая лично в суть работы, он изучал и самих людей. Подхалимство, бахвальство, формализм он снимал, как стружку. Яков Иванович был вездесущ, и не только своими приказами, но и участием, личным руководством, контролем и постоянным вниманием в своей области сверху донизу. Люди, часто с ним общавшиеся, хорошо помнят его излюбленное изречение: «Доверяй, но проверяй».

Работа военных частей, научных институтов, маневры контролировались не столько присутствием его, а его личным творческим участием и вниманием. Он увлекал всех

своим энтузиазмом, необычайной энергией и трудоспособностью. Начинал он свой день в пять часов утра на аэродроме, где обучался полетам. В этом обучении он общался с самыми передовыми летчиками, штурманами, инженерами, техниками. Успевал вникнуть в сущность работы механика, готовящего самолет, улавливал трудности организационной работы инженера во всем ее многообразии при подготовке в кратчайшие сроки моторной части авиационных подразделений.

Изучая на практике полет, штурманское дело, техническую подготовку, он до тонкости понимал сущность и цель организации отдельных служб. Он обладал тем чувством в решении, которое формируется не только из чужих мнений и докладов, а главным образом из личного опыта, наблюдения и изучения.

После ранних полетов он являлся в свой штаб и управление до начала установленного срока. В начале своего командования он лично проверял готовность людей своего аппарата к работе и являлся к «проверке». Но только вначале. Люди быстро поняли, восприняли и усвоили его строгий, живой, творческий стиль работы, и надобность в личной проверке отпала.

Яков Иванович был необыкновенно доступен. С поразительным умением находил он время для личного общения с работниками всех категорий и степеней звания. Личным встречам с людьми он придавал большое значение, предпочитал живое общение, не связанное никакими промежуточными инстанциями, мешающими непосредственности впечатления и восприятия облика людей. Это помогало ему глубже узнавать их условия работы, их возможности.

Особенно он заботился о перспективном развитии авиации во всем ее многообразии — интересовался строительством баз, институтов и прочих учреждений, я уж не говорю о совершенствовании и организации боевой подготовки военных авиационных частей и подразделений. Ко всему относился не только со всей глубиной понимания значимости, но с любовью и страстностью.

Мне лично приходилось видеть его в самой разнообразной обстановке и по самым различным мотивам: при участии в строительстве авиационных баз, при обсуждении причин аварийности, перспектив развития типов самолетов, обучении кадров военных авиационных специалистов и т. п.

Вспоминается также, что Яков Иванович очень помог В. П. Чкалову. Когда Валерия уволили из воздушного флота за недисциплинированность, то сколько мы с Юмашевым ни просили начальство, всегда получали ответ:

— Хороших летчиков теперь сколько угодно, а недисциплинированности нам не нужно.

Однажды на аэродроме мы с Юмашевым подошли к Алкснису и откровенно все объяснили:

— Мы ведь тоже повинны в тех нарушениях, за которые поплатился Чкалов, но мы похитрее, делаем все, что диктует нам наш молодой темперамент, не на глазах, а поодаль. А Чкалову скучно в части, он полон энергии и не знает, во что ее вылить. Дайте ему настоящую работу летчика-испытателя. Вот там ему придется голову поломать.

— Вот это, пожалуй, аргумент убедительный,— согласился Алкснис.

— Он же храбр и полон энергии,— продолжали мы.

— Правильно, вы меня убедили.

Чкалов был возвращен в авиацию и получил работу испытателя.

Я. И. Алкснис вникал и руководил организацией по подготовке к рекордному полету самолета «АНТ-25» при полете по замкнутому кругу на дальность без посадки. Он внимательно выслушивал соображения экипажа о режиме, условиях работы и специальной тренировке экипажа перед совершением полета. Предстояло лететь по замкнутому кругу в течение трех суток. В самолете «АНТ-25» все предусмотрели для совершения трехдневного полета трех людей — двух летчиков и одного штурмана. Все вопросы о технической и бытовой сторонах были ему доложены. Он сам утвердил план подготовки и периодически выслушивал об этапах исполнения его, присутствовал при первой, второй и наконец третьей попытках установления по тому времени мирового рекорда дальности по замкнутому кругу. Дело в том, что во время этих ис-

пытаний были совершены две вынужденные посадки в исключительно сложных и тяжелых условиях. На место вынужденной посадки Яков Иванович прибывал первым.

Мы уже привыкли, что он везде и всегда успевает находить время для личного вмешательства. Немедленно была назначена специальная комиссия для выяснения причин. После этих двух случаев третья попытка была удачной. Яков Иванович прибыл на аэродром вновь первым. Выслушав наш доклад о мировом рекорде — 12 411 километров за 75 часов,— он приказал по тревоге собрать личный состав авиагарнизона, произнес краткую речь о нашем образцовом выполнении правительственного задания и поставил в пример нашу самоотверженную работу по испытанию. Вскоре мы узнали, что по представлению Якова Ивановича экипаж награжден высшими правительственными наградами. Мне как командиру корабля присвоили звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина. Мои спутники — второй пилот инженер авиации Филин и штурман Спирин — были награждены орденами Ленина.

То же было и при перелете через Северный полюс при установлении двух мировых рекордов по прямой и ломаной линиям. Мы всем экипажем приняли решение, исходившее из его энергичного постановления: «Вперед и только по прямой!»

Перед тем как перейти на работу летчиком-испытателем из НОА в ЦАГИ в 1930 году, мне пришлось выполнить последний испытательный полет в НОА, решивший судьбу четырехмоторного бомбардировщика Григоровича. Самолет был оснащен множеством приборов, вокруг моторов укреплено много заборных трубочек, ведущих к соответствующим приборам. Машина представляла собой моноплан с высоким расположением крыльев. С каждой стороны под крылом по два мотора, расположенных тандемом (один за другим — один спереди крыла, а другой сзади). Моторы — воздушного охлаждения. Перегородка отделяла переднюю кабину от хвостовой части. Два пилотских места. На одном разместился я, на другом — штурман, записывавший различные показания приборов. В хвостовой части разместились двое: Макс Аркадьевич Тайц и Александр Васильевич Чесалов, ставшие впоследствии крупными учеными. На хвосте еще одна турель, там находился инженер Даниил Степанович Зосим. Сообщения, связи между экипажем передней кабины и задней не было, более того — нас разделяла сплошная стенка. Мы взлетели с Центрального аэродрома и, постепенно набирая высоту, облетели Москву с юга, дойдя до ее юго-западных окраин. Определив потолок, начали спуск, обходя Москву также с юга, то есть оставляя ее справа от нашего самолета. Когда полет совершался уже над южной окраиной Москвы на высоте примерно пятисот метров, я вдруг услышал душераздирающий крик механика:

— Михал Михалыч, пожар! Горим!

Оглянулся влево назад и увидел, что задний мотор левого крыла объят пламенем.

— Закрой бензин!

Механик молниеносно юркнул к себе в кабину, и в момент закрытия доступа бензина в моторы я почувствовал какой-то удар. Винты продолжали вращаться. Отдав приказание механику, мгновенно перевел самолет в правое скольжение, чтобы пламя не зажгло фюзеляж. Через несколько секунд выглянул еще раз. Пожара не было, но и заднего мотора я не увидел. Неужели мотор оторвался и убил кого-нибудь на земле? — пронеслось в мозгу. Штурман, сидевший рядом, влез с ногами на сиденье и приготовился выпрыгнуть на парашюте. Я ему погрозил кулаком: сидеть! Планирую и вижу, что дотянуть до Московского аэродрома не могу, так как на скольжении потерял много высоты. Иду на аэродром в Фили. Остается сто метров высоты. Под нами провода с током высокого напряжения, пасется скот. Вижу, что и до аэродрома в Филях немного не дотягиваю. Кричу механику:

— Включай бензин!

Мы над границей аэродрома. Выключаю моторы. Приземляемся.

Схожу на землю, и, о чудо,— мотор застрял на шасси и не зажал колеса. Никто не убит! Какая радость! Но бледный Макс Аркадьевич Тайц мне сообщает, что, когда отвалился мотор от перегоревших труб, Александр Васильевич Чесалов выпрыгнул с парашютом.

— Мы видели, что парашют раскрылся.

От ангара в это время к нашему самолету бежали почти все механики, работавшие около самолетов. Они наблюдали всю картину нашего «спектакля» в воздухе: громадное пламя, затем прыжок с парашютом и вот посадка с мотором на шасси. Меня подхватили на руки и начали качать.

Мне и на этот раз, и не в последний, конечно, повезло.

Когда меня спрашивают: «Сколько часов вы налетали?» — то мне хочется ответить строками из стихотворения Вероники Тушновой:

Ведь жизнь измеряют —
знаете сами —
когда годами,
когда часами.
Знаете сами —
лет пять или десять
минуте случается перевесить.

Часы бывают разные и по-разному насыщены событиями. Кроме того, я просто никогда не считал и не записывал, тем более что один полет совершенно не похож на другой по содержанию. В хорошую погоду воздушная командировка куда-нибудь далеко не представляет никакой трудности, а скорее приносит удовольствие, потому что можно увидеть и познакомиться с чем-нибудь не виданным до сих пор. Но бывают и такие — очень короткие по времени, исчисляющиеся минутами, но ставящие пилота в такое положение, что минуты кажутся вечностью и посчитаешь за счастье, что остался цел и снова ходишь по нашей чудесной планете.

Например, первый полет на самолете «Р-6». Взлетаю. Как всегда, летчик определяет нормальное поведение самолета направлением давления, возникающего на рычагах, и, разумеется, контролирует реакцию самолета на действие рулей. С самого отрыва от земли у меня на штурвале начали расти нагрузки до допустимых величин. Штурвал нужно отталкивать вперед. Постарался уменьшить нагрузки на него. Но давление, вместо того чтобы упасть, стало расти. Противоестественное положение. Перестал сейчас же подкручивать штурвал для перестановки положения стабилизатора. Всегда лучше разобраться на земле, а не решать в воздухе. Перестал экспериментировать, облетел по кругу над аэродромом и сел с небольшими прыжками. Объясняю Ивану Ивановичу Погосскому в присутствии А. Н. Туполева все явления, какие были в полете. Проверяем: стабилизатор движется правильно на соответствующие действия штурвала, регулирующего его положение. Что же тогда могло вызвать давление на штурвале управления в противоположную сторону? Иван Иванович пришел к заключению:

— Вот что могло быть — перекомпенсация руля высоты.

Для выхода из положения решили увеличить немного площадь руля высоты путем наращивания по задней его кромке полоски дюраля.

На другой день снова воздух. Взлетаю. Все прекрасно. Иду с набором высоты по краю аэродрома. Но что такое? На правом моторе сразу закипела вода. Рычаг регулировки открыт до отказа. Круг левый, а правый мотор остановился. На одном моторе полет удавался с трудом, так как «не хватало» руля направления. Пришлось лететь с левым креном (помог опыт), а то сидеть бы мне на крыше домов. Еле справился с управлением. Сел благополучно. Оказалось — радиатор совершенно развалился (!) в своей нижней части, причем мгновенно. Два дня подряд сюрпризы в полетах, которые длились по пять — семь минут.

Или самолет «АНТ-16». Шестимоторный бомбардировщик. В первом же полете я обнаружил очень большие нагрузки на ножные педали. Ведущий инженер Владимир Михайлович Петляков решил увеличить компенсацию на руль направления. После переделки взлетаю. На втором сиденье справа от меня сидит второй пилот Коля Журов. Над ангарами слегка начинаю заворачивать самолет вправо, чтобы держаться в воздухе поближе к аэродрому, и вдруг ощущаю, что правая моя нога уходит вперед и без нагрузки, а на левой педали, наоборот, такая нагрузка, что я еле сдерживаю самолет в правильном крене. В первый момент подумал, что правый мотор сбавил обороты. Я их

надбавил, а нагрузка на левой педали стала такой, что я еле держу ее левой ногой не столько силой, сколько сознанием, так как чувствовал — если сдам, то мы перейдем в правый штопор. Показываю Журову на левую педаль, чтобы он мне помог, а он не понимает, в чем дело. Тогда я снял правую ногу с педали и переставил ее на левую, так как левая нога предельно устала. Он наконец догадался. И помог. Мы еле облетели круг. Но все и на этот раз обошлось благополучно. Когда я сел, то мне показалось, что никогда не был я так близок к катастрофе. Кажется, что именно в этот раз... но сколько же их было...

Таких моментов в моей практике было предостаточно. Я опускаю описание многих испытательных полетов, которые прошли гладко. В них ощущаешь лишь моменты волнения, как всегда перед первым испытательным полетом опытного самолета или когда нужно проверять прочность и превышать на 15 процентов максимальную скорость... Иногда подобные волнения усугубляются непредвиденными оттяжками. Например, лето. Стоит жара, но так как кабина открытая, а на высоте пяти тысяч метров холодно так же, как и зимой, то надеваешь теплый комбинезон, унты и потный садишься в самолет. Ожидаешь. Все кругом ходят в легких костюмах. Время тянется, а ты словно в парилке. Проходит несколько минут, и вдруг механик объявляет:

— Михал Михалыч, сегодня ничего не выйдет.

Значит, что-то неисправно.

Когда меня спрашивают, на скольких системах самолетов я летал и какие мне больше нравятся, легче ответить, на каких я не летал. Во всяком случае, до появления реактивных самолетов я мог летать на любом — летал почти на всех. Когда Наполеон спросил маршала Нея, какой масти лошади ему больше нравятся, тот ответил: «Когда я сижу на серой, мне кажется, что лучше гнедая, когда сижу на гнедой, мне больше нравится рыжая».

Начал я обучение на «Фармане-4». Это один из самых первых самолетов, появившихся в авиации. Теперь его вряд ли можно найти в сохранившемся состоянии, разве только увидеть на фотографии. Мне было одинаково интересно и просто летать на всех самолетах разных конструкторов, от самых маленьких до самых больших, вплоть до «Максима Горького». Ни величина, ни количество моторов меня не смущали. Все самолеты летают одинаково надежно и просто, если они устойчивы по всем осям, хотя и все они, как и люди, выделяются своей индивидуальностью. На каждой машине, как раньше говорили, взлет опасен, полет приятен, а спуск труден. Это определение родилось на заре авиации.

В 1933 году вышел на аэродром самолет «АНТ-25». Хочу упомянуть сначала историю заказа этого самолета.

Андрей Николаевич Туполев рассказывал, что его вызвал И. В. Сталин и предложил создать самолет, который мог бы подойти к мировому рекорду дальности. Рекорд, установленный французскими летчиками, тогда равнялся девяти тысячам ста километрам. Туполев согласился посчитать и подумать. А подумать нужно было о многом. Какой мотор — его вес, расход горючего. Какую роль играет вес конструкции. Какова должна быть наивыгоднейшая лямбда (отношение размаха крыла к его средней хорде). Какой длины дорожка для разбега. Какова допустимая скороподъемность при начале набора высоты (после взлета) с полным полетным весом. Я был в то время шеф-пилотом у А. Н. Туполева.

Самолет «АНТ-25» — моноплан с невиданным до того времени удлинением и гофрированной поверхностью крыльев. Нечего и говорить, что за созданием его я начал следить, как только он появился на рисунке Кондорского, шеф-художника ЦАГИ, затем в чертежах.

Переднее место — шеф-пилота, а посередине — штурманское для работы с солнцеуказателем (солнечным компасом); тогда уже я мечтал о полете через Северный полюс, где магнитный компас не работает, а нужно пользоваться солнцем, а если солнце закрыто облаками, то гиромагнитным компасом, требующим поправки каждые пятнадцать минут. За штурманом место второго пилота, с приборной доской, полностью обеспечивающей полет в облаках. И, разумеется, полное дублирование управления самолетом. Радиотелеграф.

Особое внимание уделял я расположению приборов на пилотской доске, учитывая рациональность их расположения для облегчения и надежности полетов в облаках и в условиях обледенения. О рациональности работы в кабине, об отсутствии тормозов, о возможности установки неуправляемого заднего колесика-баллона и о многих других вопросах Андрей Николаевич много советовался со мной.

Когда самолет находился еще в стапелях, я ежедневно следил за тем, чтобы все в кабине делалось так, как было договорено и установлено с А. Н. Туполевым. Когда же машина вышла на аэродром, я с большим удовлетворением узнал, что испытание ее поручается мне. Удовлетворение, конечно, не то слово, которое давало бы представление о моем душевном состоянии.

Так же часто наблюдал я за работой мотора, когда он еще был на станке. Особенно интересовали меня сточасовые контрольные испытания на сильно обедненной смеси горючего. Максимальную степень обеднения определяли тогда по желтоватому оттенку выхлопных газов, выбрасывавшихся из патрубков. Позже на самолете установили специальный прибор для определения степени обеднения смеси.

Машина обладала простотой, устойчивостью, но имела своеобразие в управлении благодаря необычной лямбде крыла, с хорошим «запасом» рулей. Основные характеристики сняли быстро, но самые трудоемкие испытания заключались в определении расхода горючего.

Но как найти график наивыгоднейшего полета, то есть узнать, на какой высоте, с каким весом, с какой скоростью лететь в каждый момент в продолжение семидесяти часов и каковы будут расходы горючего при этом? Как проверить практически длину разбега при максимальной загрузке? Самолет мог садиться на гладкую поверхность аэродрома лишь с весом восемь тонн, а взлетный вес равен примерно 10,5—11,5 тонны. Какова будет скороподъемность с разным предельным весом и какова должна быть длина аэродрома и дорожки для разбега? Все это поддавалось лишь теоретическим расчетам, но для практической проверки в воздухе потребовалось добавочно много времени, чтобы разрешить эти проблемы. Инженер Д. С. Зосим сделал самодельную длиннофокусную камеру, для того чтобы заснять практическую скороподъемность при взлете. Сделали специальный прибор для замера расходов горючего на различных высотах с разным весом. Пришлось летать с различными полетными весами на пяти разных высотах, на пяти различных скоростях (от минимальной до максимальной) и замерять расходы горючего специальным прибором, определявшим быстроту протекания горючего в короткий по времени срок.

Когда наконец построили график, то выяснилось, что дальность полета самолета — около девяти тысяч километров, то есть немного не дотягивала до мирового рекорда дальности полета по прямой без посадки.

Итак, полученные данные оказались скромными. Решили проверить практическим полетом. В организации его деятельное участие принимали К. Е. Ворошилов и, конечно, Я. И. Алкснис. Решили сделать пробный полет из Москвы в Севастополь и из Севастополя в Москву без посадки. И так дважды. Не совсем еще была ясна скороподъемность при взлете и длина разбега. Полет удался не полностью. Мы (то есть экипаж в составе Громов, второй пилот — инженер-летчик Филин и штурман Спирин) вылетели из Москвы, долетели до Севастополя, вернулись в Москву, снова дошли до Севастополя, но, возвращаясь в Москву, уже пролетая Сиваш, увидели, что горючего до Москвы может не хватить, так как ветер на высоте был сильный и встречный. Пришлось вернуться и произвести посадку в Севастополе. Кроме того, мы решили не рисковать, так как тормозов на самолете не было. После этого полета испытания временно прекратили.

За зиму внесли некоторые существенные изменения. Крылья обтянули полотном и отлакировали. Особую роль для улучшения аэродинамики играла хорошо полированная передняя кромка крыла. Но по этой причине нельзя было ставить на крылья антиобледенитель: он испортил бы аэродинамику самолета. Антиобледенители сделали лишь на винте самолета.

Профессор Александров рассчитал, а И. М. Лещенков сделал этот винт (трехлопастный), сыгравший огромную положительную роль во время обледенения при полете через Северный полюс.

Ион Михайлович Лещенков — удивительная личность. Он отдал сорок лет жизни авиации. Моторы и особенно винты — его стихия. Только в семьдесят три года, будучи заместителем главного конструктора по винтам, в год пятидесятилетия советской власти он оставил любимое дело и вышел на пенсию. Огромная жизнь Иона Михайловича тесно связана со становлением и укреплением советской власти. Участник штурма Зимнего, участник обороны Царицына, он вел большую общественную работу. Не раз Ион Михайлович встречался с В. И. Лениным, но особенно дорога ему встреча на Финляндском вокзале в Петрограде.

А. А. Микулин, конструктор мотора, внес существенные изменения в свой мотор «АМ-34», повысил сжатие в рабочей камере цилиндров мотора и сделал редукторную передачу на винт. Мотор повысил мощность до девятисот шестидесяти лошадиных сил, и коэффициент полезного действия винта значительно вырос. Все, вместе взятое, значительно улучшило качество самолета в целом, и дальность его сильно возросла. Летом началась снова проверка характеристик, и к осени 1934 года мы смогли сделать попытку сначала побить мировой рекорд дальности по замкнутой кривой. Этой первой попытке предшествовала наша постоянная тренировка полетов в облаках, а кроме того, я со штурманом Спириным облетел весь маршрут предстоящего полета «АНТ-25» на «У-2» по треугольнику Москва — Рязань — Тула — Москва. Облетая этот маршрут, я сначала с воздуха определял возможность посадки для «АНТ-25» на попадавшихся по пути площадках. Потом садился на них на «У-2», измерял и проверял пригодность поверхности. Впоследствии я не пожалел об этой проделанной работе.

И наконец началось испытание «АНТ-25» на практическую дальность по замкнутому треугольнику.

Для взлета «АНТ-25» (РД) построили специальную взлетную бетонированную полосу. В начале ее сделали горку. На нее и ставился самолет для взлета.

Осенью 1934 года экипаж в том же составе (Громов, Филин и Спирин) с весом 10,5 тонны поднялся в воздух и взял курс на Рязань. Первая попытка завоевать рекорд дальности по замкнутой кривой.

Мы дошли до Рязани и набрали высоту двести метров. Повернув от Рязани на Тулу, мы летели уже на высоте трехсот метров.

Я забыл упомянуть, что для установления мирового рекорда дальности необходимо было соблюдать как можно точнее график полета. Лететь предстояло все время на минимальной скорости и изменять высоту полета, начиная со ста метров до шести тысяч метров к концу полета.

Вскоре под нами поплыл наземный туман. Мы летели уже над ним, как вдруг мотор задрожал, чуть сбавил обороты, и мы услышали выстрел в карбюраторе. Я думал, что переобеднил смесь, и поэтому убавил корректор, чтобы смесь стала богаче. Опять выстрел. Корректор был убран совсем, при этом самолет немного потерял высоту. Положение становилось опасным. Высота всего двести метров, под нами сплошной туман, запаса мощности почти не остается. Я начал разворачивать самолет обратно, чтобы увидеть землю. Периодическая стрельба в карбюраторе продолжалась. Если бы мотор сдал и самолет вошел в туман, нам ничего не оставалось бы как выброситься на парашютах как можно поспешнее, ибо перегруженный самолет без мотора снижался очень быстро. Цепляя туман, мы наконец увидели землю. Стрельба в карбюраторе все учащалась. Мы поняли, что до Рязани можем не долететь: нужно приземляться. Мне удалось повернуть назад, так как мы только что перед туманом проходили местечко Серебряные Пруды, где наметил я «запасной аэродром». Выстрелы продолжались, и мы решили садиться.

Аэродром представлял собой заливной луг, и сесть на него с почти полным весом было нельзя: шасси завязло бы в мягком грунте и мы поломали бы машину. Перед посадкой следовало слить предварительно горючее через специальные большие отверстия в крыльях, открыв так называемый аварийный слив. Отверстия же можно открыть только при выключенном моторе, иначе мог произойти взрыв. Перевожу самолет в планирование, выключаю мотор и открываю слив. Справа слив потек полностью, а из левого крыла бежала лишь струйка. Мелькает в голове: успеем ли сесть, хватит ли элеронов удержать самолет в поперечном горизонтальном положении? В довершение к нашему неприглядному положению вижу, что снижение столь стремительно, что я

не перетяну реку. Катастрофа неминуема. Можно свернуть влево, но тогда разобью самолет, решение проблемы отодвинулось бы на долгое время. Включил мотор, дал на несколько секунд полный газ. Этого оказалось достаточно. Выключил мотор снова. Взрыва не последовало. Ребята оба на заднем сиденье, чтобы центр тяжести самолета оттянуть как можно больше назад. Самолет катился по земле, мягкость зеленого луга его сильно тормозила, он не скапотировал. Колеса увязли почти по ось. Бензин продолжал литься. Справа слив скоро прекратился, а слева он лился часа два. Риск оправдал себя. Самое главное — самолет цел. Замысел не осуществлен, но идея спасена. Борьба до конца — честь летчика-испытателя.

Дали телеграмму из ближайшей деревни. На место посадки уже во второй половине дня прибыла специальная комиссия во главе с Алкснисом. На моторе сменили жиклеры, и на другой день на запасном бачке мы вернулись в Москву.

Через два дня мы снова поднялись. На этот раз все шло хорошо. Наступила ночь. На тридцать четвертом часу мы шли от Рязани на Харьков, где следовало перейти по сигналу с земли на другой треугольник. Отойдя от Рязани на сто двадцать километров, на высоте три тысячи пятьсот метров и летя над облаками, я переключил кран питания горючим на крайние крыльевые баки. Давление в бензосистеме от этого повышалось. При испытании все обстояло нормально, а в данный момент произошло пренеприятное явление: правый блок мотора вдруг стал работать беспорядочно. Из него летело громадное пламя, касаясь кромки крыла самолета. Левый блок работал нормально, но из выхлопных патрубков летели искры, он был явно перегружен. Я мог лететь исключительно по приборам, ослепляемый огнем и искрами. Мощность мотора упала, самолет стал снижаться. Что делать? Этот вопрос всегда мгновенно возникает в подобных неожиданных опасных ситуациях. Даю приказание:

— Осмотреть парашюты! Подготовить люки на случай необходимости покинуть самолет!

Беру курс на ближайший аэродром — Рязань. Спирину:

— Уточняйте курс до Рязани и определите время полета до аэродрома.

Филину:

— Шасси не выпускать. Следите за землей — ищите возможность посадки. Сообщите о подготовке аэродрома по радио.

Дело было ночью.

Кто-то предложил — прыгать с парашютами, ведь самолет вот-вот может загореться и взорваться. Но я распорядился:

— Пока не загорится, всем быть на своих местах!

Тридцать пять минут продолжалось снижение. Когда до Рязани осталось минут пятнадцать полета, высота упала до семисот метров. Мы уже летели в разорванной облачности. Снижение самолета становилось все менее интенсивным. Земля почти не просматривалась. Десять минут до Рязани. Облачность выше нас, высота пятьсот метров. Снижение стало еле заметным. Показались огни города. Запаса мощности не было. Самолет мог лететь уже не снижаясь, но на довольно малой скорости. Теперь вся трудность посадки в ночных условиях заключалась в том, чтобы выпустить шасси лишь в последний момент. Если выпустить его раньше, можно, не рассчитав, зацепить за какое-либо препятствие на подходе к аэродрому. Промазать нельзя, то есть в случае ошибки в расчете уйти на новый заход невозможно: аэродром мал, что называется, в обрез.

— Выпускай шасси! — скомандовал я, приближаясь к границе аэродрома.

Расчет на минимальной скорости планирования был настолько точен, что Филин, не выдержав, закричал:

— Зацепишь!

— Нет! — мог только выкрикнуть я, настолько сосредоточился на расчете.

Прожектор освещал узкую полосу аэродрома. Чтобы не зацепить препятствия, на самолете зажгли фары. Наконец наступил решительный момент — граница аэродрома. Я выключил мотор. Касаемся земли.

— Открывай люки! — скомандовал я.

В конце аэродрома резкий уклон к реке. Мы ждали: остановимся или скатимся в реку? Остановились!

Когда на другой день командующий Военно-Воздушными Силами Алкснис вместе с нами осмотрел следы касания самолетом земли и место остановки, он резонно заметил:

— Ну, знаете! Второй раз даже днем так сесть не удастся!

Он был прав: нервы были так напряжены, так мобилизована воля на борьбу за точность, что действительно посадка казалась неповторимой! Самолет стоял на том месте, где остановился, под охраной часовых до приезда специальной государственной комиссии. Через сутки причины установили. Выяснилось: поплавковая камера карбюратора не выдержала давления бензина, переполнялась и блок работал на неполном сгорании. Кромка правого крыла слегка обуглилась. Дефект карбюратора устранили. Мы, экипаж, радовались, что вторично удалось спасти самолет, спасти идею и колоссальный труд громадного коллектива, создавшего этот самолет.

Через несколько дней после второй вынужденной посадки, последовавшей на тридцать пятом часу полета, мы вновь, в третий раз, предприняли попытку побить мировой рекорд дальности полета по замкнутому кругу. Это было последнее и окончательное испытание самолета. Перед вылетом, чтобы, очевидно, подбодрить нас, на аэродром приехал, как всегда, Я. И. Алкснис в сопровождении главного метеоролога Альтовского. Подбадривание заключалось в том, что Альтовский показал нам синоптическую карту, усеянную большими кружками. Это означало, что вся европейская часть СССР залита солнцем и никаких признаков ухудшения погоды не предполагалось. Наши улыбки, очевидно, выдавали нашу догадку о приказании Алксниса нарисовать такую чудную перспективу предстоящего полета.

10 сентября 1934 года мы поднялись в рекордный полет. Снова летели по маршруту Москва — Рязань — Тула. В соответствии с графиком полета сначала мы летели на высоте сто метров на очень малой скорости, постепенно поднимаясь все выше и выше по мере выгорания горючего. Полет протекал нормально во всех отношениях включительно до третьей ночи. От почти непрерывного наблюдения за приборами и бессонницы белки глаз стали розовыми. Неприятное ощущение немытого и небритого лица дополнялось приевшейся холодной пищей. Наступила третья ночь, когда мы получили сообщение: «Уходите на юго-запад: погода портится». На западе перед заходом солнца появилась высокослоистая облачность — предвестник плохой погоды. На высоте четыре тысячи двести метров мы взяли курс на Харьков. Далее полетели на Днепропетровск. Но здесь погода настолько ухудшилась, что мы развернулись снова на Харьков. Долетев до него, начали летать снова по небольшому треугольному маршруту. Наступил рассвет. Семьдесят два часа! До Москвы мы уже не могли долететь, и через семьдесят пять часов 13 сентября 1934 года приземлились на аэродроме в Харькове. За это время мы пролетели 12 411 километров. В самолете оставалось всего тридцать килограммов бензина. После полета легли спать и проспали ровно десять часов.

Прилетел Я. И. Алкснис. Он поздравил нас с мировым рекордом. На следующее утро по тревоге собрал весь авиационный гарнизон Харькова. Все построились, и тогда Алкснис объявил об образцовом выполнении экипажем задания партии и правительства!

В тот же день вернулись в Москву. Летели на своем «АНТ-25».

Установленный рекорд не был официально оформлен. В то время СССР не состоял членом Международной авиационной федерации (ФАИ). В нашей печати об этом полете поместили небольшую заметку на последней странице.

Правительство высоко оценило всю эту испытательную работу, закончившуюся установлением мирового рекорда дальности полета по кривой. Как я уже писал, мне присвоили звание Героя Советского Союза («За Ваш героический подвиг и самоотверженную работу, проявленные во время полета по кривой на расстояние 12 411 километров в течение 75 часов без посадки»). Мои товарищи по полету А. И. Филин и И. Т. Спирин были награждены высшей наградой страны — орденом Ленина.

Зимой 1934/35 года имелось уже два самолета, полностью практически испытанных и годных для официального установления мирового рекорда дальности полета по прямой без посадки. В то время это был самый почетный и практически самый важный рекорд. У многих летчиков, в том числе и у меня, вызревало желание перелететь Северный полюс, и, конечно, с установлением мирового рекорда дальности по прямой.

ГОДЫ ИСПЫТАНИЙ, ТРЕВОГ И НАДЕЖД

Весной 1934 года на аэродроме ЦАГИ появился «АНТ-20» — «Максим Горький». Мне выпала честь испытания и этого удивительного детища А. Н. Туполева.

Не буду описывать, как следил я за его созданием от рисунка Кондорского до выхода на аэродром, тщательно вникая во все детали его конструкции.

Но вот самолет был выведен из ангара, поставлен носом к аэродрому, и я сел в кабину, чтобы привыкнуть и освоиться с ней, привыкнуть к тому необычайному большому расстоянию от кабины до земли, чтобы не допустить просчета при предстоящей посадке. Вид на взлетную площадку был совершенно необычным. Я чувствовал себя сначала, как кот на заборе: уж очень высоко находился летчик над землей. Потом освоился и почувствовал себя готовым к первому испытательному полету.

В один из дней перед стартом к самолету подъехал автомобиль и из него вышли двое — Надежда Алексеевна Пешкова и Алексей Николаевич Толстой. Они попросили меня познакомить с самолетом, и я рассказал им все — и про размеры, и про летные данные, и про оборудование. Во время этой встречи неожиданно выяснилось, что Надежда Алексеевна — моя дальняя родственница. Даже весьма дальняя: ее сестра Вера Алексеевна была замужем за моим двоюродным дядей Михаилом Яковлевичем Громовым. Я этого не знал. Так началось наше знакомство, о котором я хочу рассказать, хотя это и не имеет прямого отношения к полету «Максима Горького».

Получив приглашение Надежды Алексеевны и Алексея Николаевича бывать в их домах, я познакомился с очень интересными людьми нашего общества: писателями, художниками, артистами, музыкантами. Всколыхнулось в душе многое, пережитое в юношеские годы! Надежда Алексеевна была человеком высокой культуры и всегда окружена людьми искусства, литературы, науки. Я у нее близко познакомился с художником Павлом Дмитриевичем Кориным, в творческой судьбе которого в свое время принял горячее участие Алексей Максимович. Нечего говорить, как пришлось мне по душе это знакомство — моя любовь к живописи никогда не покидала меня. Я заинтересовал Корина, и он нарисовал мой портрет. Кстати, Надежда Алексеевна тоже была художницей и написала портрет моей жены. Портрет настолько удачный, что попал на одну из выставок московских художников в Центральном выставочном зале Москвы.

У Алексея Николаевича Толстого тоже всегда собирались передовые люди, главным образом люди литературы и искусства. Он был большим хлебосолом и очаровательным хозяином.

Обычно, когда собирались у Пешковой или Толстого знакомые и друзья, они делились своими творческими замыслами, знакомили присутствовавших со своими творениями. Помню, как у Алексея Николаевича играл Шостакович. У него же проиграл отрывки из своей новой оперы «Декабристы» Шапорин. Пел Иван Семенович Козловский, Ираклий Андроников, спрятавшись за занавеску, имитировал разговор Алексея Николаевича с Качаловым. Писатели зачитывали отрывки из своих новых произведений...

Также интересны были встречи у Надежды Алексеевны.

Наше знакомство домами продолжалось много лет и оборвалось только тогда, когда Надежды Алексеевны и Алексея Николаевича не стало. Для нас с женой это было тяжелой утратой.

Первый испытательный полет привлек к себе большое внимание. Собралось все конструкторское бюро во главе с Андреем Николаевичем Туполевым. Приехал, конечно, и Я. И. Алкснис. Я сделал предварительную пробежку по аэродрому для уточнения положения стабилизатора перед взлетом. Все было готово. Алкснис, осведомившись о готовности самолета у Туполева и ведущего инженера, спросил меня:

— А как вы считаете?

— Все в порядке,— ответил я.

Затем он дал сигнал, и событие совершилось. После полета мне рассказывали: когда самолет взлетел, все присутствовавшие кричали «ура», махали шапками. Самолет летел отлично, был устойчивым по всем осям, прост в управлении. Я пролетел два больших круга над аэродромом и отлично приземлился. Доложил о полной готовности само-

лета к дальнейшим полетам. Этот памятный день закончился банкетом в ресторане «Гранд-отель».

Самолет «Максим Горький» был показан во время первомайского парада на Красной площади. Я летел на нем, возглавляя авиационные соединения. С двух сторон в нескольких метрах от концов крыльев летели два истребителя «И-4», для того чтобы контрастом размеров усилить впечатление. Появление «Максима Горького» над площадью, говорят, произвело фурор. Все аплодировали.

А перед этим полетом произошло событие, которое заставило меня потом выйти из строя на долгое время. Накануне парада я присутствовал на торжественном собрании в Художественном театре. После собрания состоялся спектакль. В конце его я почувствовал себя плохо: у меня вдруг открылось язвенное кровотечение. Я полежал в одной из комнат театра, почувствовал себя лучше и, несмотря на протест администрации ЦАГИ, настаивавшей на оказании скорой помощи, сел в свой «фордик» и уехал домой на Беговую улицу. Администрация ЦАГИ была сильно взволнована: смогу ли я завтра полететь на «Максиме Горьком», полетит ли этот самолет во главе воздушного парада или нет? Ни один ведь летчик не летал еще самостоятельно на «Максиме Горьком», кроме меня, а не летавшего ни разу поставить во главе парада, конечно, нельзя.

Приехав домой на Беговую улицу, я лег спать. Утром съел сырое яйцо, выпил стакан молока и пошел пешком на аэродром. Чувствовал некоторую слабость из-за потери крови накануне, но на аэродроме я всех успокоил. Полет над Красной площадью «Максима Горького» состоялся и произвел, как я уже говорил, фурор. Но для меня этот день закончился плохо. Вернулся домой, плотно поел и через несколько часов оказался в госпитале в Серебряном переулке.

На традиционном вечернем банкете в Кремле в этот день Климент Ефремович Ворошилов заметил мое отсутствие и спросил:

— А где же Громов?

Ему сказали, что я в тяжелом состоянии в госпитале. Доложили Сталину. Он приказал немедленно организовать консультацию самых больших авторитетов медицины. Не зная об этом приказе, я был поражен, когда ко мне в палату вошли возглавляемые начальником госпиталя П. В. Мандрыкой профессора Кончаловский, Певзнер, Плетнев и другие светила того времени. Состоялась консультация. Мнения разошлись лишь в одном: делать или не делать переливание крови. Петр Васильевич Мандрыка решил:

— С его здоровьем он обойдется без переливания крови.

Петр Васильевич Мандрыка личность настолько незаурядная, что я не могу не сказать хотя бы нескольких слов о нем.

Изумительный хирург, властный, страстный, безоговорочно требовательный и вместе с тем такой приветливый, что когда он входил в палату к больным, то как бы завораживал их, поднимал настроение. Больные шутили: «Скажи он: «Я вам должен отрезать голову» — и согласишься, дашь!»

Ко мне он относился особенно тепло и, я думаю, чувствовал мою любовь и уважение к нему. Он многое сделал для того, чтобы восстановить мое здоровье. К моему большому удовлетворению, память о нем увековечена тем, что Краснознаменному Центральному военному госпиталю присвоено его имя.

Восстановление моего здоровья и сил протекало медленно, и из госпиталя меня долго не выписывали. А пока я был на излечении, произошло много событий. И прежде всего страшная катастрофа с «Максимом Горьким».

Это произошло в выходной день. Самолет «Максим Горький» пилотировали Журов и Михеев. Когда «Максим Горький» пролетал над Центральным аэродромом в направлении от Москвы к северо-восточной стороне, к нему вдруг приблизился истребитель «И-4» и начал делать мертвые петли вокруг него. Присутствовавший Алкснис был потрясен и взбешен, но без радиосвязи прекратить воздушное хулиганство не удалось. На одной из петель истребитель «И-4» сорвался в верхней точке петли и врезался в крыло «Максима Горького». Самолет стал ломаться в воздухе, и все летевшие на нем погибли. Разбился и виновник этой страшной катастрофы пилот-истребитель К. Благин.

В этот период встревожило меня и другое, хотя и не трагическое событие. Во время моей болезни изъявил желание лететь через Северный полюс в Америку на самоле-

те «АНТ-25» Леваневский. Кто об этом только не мечтал! Самолет проверили, подготовили к полету, а Леваневскому разрешили осуществить этот полет. Вторым пилотом у него был Байдуков. Долетели они до Ледовитого океана, но в это время в кабину пилота стало протекать масло. Естественно, Леваневский решил, что это ненормальное явление, вернулся и сел в Ленинграде. Причина появления масла оказалась очень простой и, в сущности, неопасной: масла налили в бак слишком много и оно начало пениться, а излишки его выбрасываться. От дальнейших попыток полета на «АНТ-25» Леваневский отказался, считая, что на одномоторном самолете лететь ненадежно.

После этого Байдуков поступил разумно. Он учел: кому-кому, а Чкалову разрешение на полет дадут (к этому времени Чкалов стал любимцем Сталина) — и рекомендовал поручить полет ему. Чкалов сначала отказывался, так как летать по приборам в облаках не умел, но Байдуков его уговорил: сам Байдуков великолепно летал по приборам и вообще летал отлично.

Сталин решил, что сначала нужно ознакомиться с полетами над Северным Ледовитым океаном, и сам дал маршрут, который и был назван «сталинским маршрутом». Как известно, полет этот состоялся. Из-за плохой погоды экипаж сел вынужденно на острове Удд. Этот остров в честь Чкалова переименован и назван его именем, а самому Чкалову и членам экипажа Г. Байдукову и А. Белякову присвоено звание Героя Советского Союза.

В 1936 году я снова вошел в строй. Испытав самолет «АНТ-35» (пассажирский), я совершил на нем скоростной полет из Москвы в Ленинград и обратно. Эксплуатационная скорость самолета — триста шестьдесят километров в час — по тому времени считалась выдающейся. «АНТ-35» решили показать на XV Парижской выставке. По решению правительства пилотирование самолета из Москвы в Париж поручили мне. В начале ноября мы вылетели в Париж через Кенигсберг, Берлин, Кёльн. Вторым пилотом был Корзинщиков, штурманом — Данилин, механиком — Аникеев.

Долетели до Кенигсберга и застряли: в Берлине стоял туман и нам не разрешали вылет. Когда наконец разрешение получили и вылетели, на половине пути вновь встретили туман, но прошли верхом над ним.

Вечером того же дня прилетели в Кёльн. Незадолго до посадки правый мотор стал сдавать, и пришлось сбавить его обороты. 7 ноября мы провели в Кёльне в гостинице. Отметили праздник очень скромно, были озабочены состоянием правого мотора — хватит ли мощности для взлета?

Утром следующего дня перед полетом зашли на метеорологическую станцию. С метеокартами к нам вышел молодой человек с фашистской свастикой в петлице. На карте был обозначен около самого Парижа метеофронт. На наши вопросы о прогнозе фашист пожимал плечами, явно не желая с нами разговаривать. Что ж делать, какая бы погода ни была, а лететь нужно. Полетели. В пути правый мотор начал давать перебои, мощность его постепенно падала. Видимость из-за проливного дождя упала до двухсот метров. И мне и Данилину пришлось напряженно контролировать точность прохождения по земным ориентирам. Наконец показался аэродром Ле-Бурже, и мы приземлились. Но рулить уже не могли — правый мотор остановился. Но ни отказ мотора, ни ливший дождь не могли омрачить нашего настроения: свою задачу мы выполнили, «выйдя сухими из воды». Самолет водворили в ангар, а мы отправились в гостиницу.

На Парижскую выставку, кроме нас, прибыл экипаж Чкалова. Он остановился в той же гостинице, что и мы. Вечерами мы вели беседы с Чкаловым о полете через Северный полюс. Пришли к обоюдному согласию лететь на двух самолетах и, конечно, просить об этом Сталина, так как в подобных вопросах последнее слово оставалось всегда за ним.

В Париже провели время весело, содержательно, дружно и вместе вернулись в Москву.

Весной 1937 года я находился в госпитале для профилактики и там узнал, что Чкалов подал заявление И. В. Сталину с просьбой разрешить полет через Северный полюс в Америку и получил согласие. Выйдя из госпиталя, я в тот же день тоже подал заявление с просьбой о разрешении такого же полета.

На следующий день меня вызвали в Кремль. Там встретил А. Н. Туполева и инженеров его конструкторского бюро. На совещании присутствовали представители ВВС, Сталин, Молотов. Открыл совещание Молотов. Обращаясь ко мне, он спросил:

— Почему вы тоже хотите лететь через полюс?

Я ответил:

— Хочу лететь потому, что я испытывал этот самолет от начала до конца и убежден, что сделаю такой перелет не хуже, чем кто-либо.

— Так это только ваше самолюбие?

Тут подал реплику Климент Ефремович Ворошилов:

— И правильно, а как же?

Я готов был обнять его в этот момент за такую поддержку. Сталин задал мне вопрос:

— А почему через полюс, а почему бы не через Гренландию, например, или еще каким-либо маршрутом?

Я ответил, что это наиболее короткий путь между нами и Америкой и в будущем — перспективное воздушное сообщение. Кроме того, я обосновал свое желание тем, что полет из Москвы через Северный полюс является маршрутом, который дает возможность сесть в районе Лос-Анджелеса и установить мировой рекорд дальности. Я попросил, чтобы мы полетели почти одновременно — оба экипажа.

— А как же вы думаете это осуществить? — спросил Сталин.

— Очень просто: Чкалов взлетит, а мой самолет после этого тут же будет поставлен на дорожку, и не более чем через полчаса я смогу взлететь.

Туполев и Алкснис поддержали меня. Сталин поднял руку и с улыбкой произнес:

— Я за.

Оба самолета начали одновременную подготовку. Для этого потребовалось длительное время: на вновь поставленных моторах предстояло налетать двадцать пять часов.

Вторым пилотом в моем экипаже был Андрей Борисович Юмашев, а штурманом Сергей Алексеевич Данилин. Юмашев — первоклассный пилот, отлично летавший по приборам в облаках. Обладал решительным характером и высоким интеллектом. Данилин, на мой взгляд, лучший из лучших штурманов и никогда не «блуждал» в воздухе, работал быстро, точно, четко и уверенно. Оба мои спутника обладали смелостью и большой выдержкой.

Во время испытаний мы держали строгий режим, регулярно занимались физподготовкой, а когда проезжали на аэродром мимо Медвежьих озер, всегда останавливались, купались и плавали. Работа у нас начиналась рано утром и заканчивалась в сумерки.

Испытания подходили к концу.

Но в одно далеко не прекрасное утро, войдя в ангар, мы увидели, что самолет стоит без мотора: его передали, как нам сказали, на самолет Чкалова для замены менее надежного. Можете понять наше состояние, но духом мы не упали — хоть и позже, чем намечено, но полетим обязательно и обязательно выполним свою задачу с честью. Не собираюсь скрывать нашего огорчения. Что и говорить, хотелось разделить с нашими товарищами триумф, который ждал их. Но, поразмыслив, мы пришли к выводу, что этот триумф советской авиации мы можем приумножить. Одновременный прилет двух наших самолетов через полюс в Америку стал бы только одним эпизодом в истории авиации, демонстрирующим нашу готовность к таким перелетам. Но теперь, когда экипаж Чкалова осуществил эту задачу, наш экипаж мог развить успех, показать новые возможности в освоении этой очень трудной и вместе с тем очень перспективной воздушной трассы. Какие именно? Прежде всего увеличить дальность полета и вместе с тем обеспечить точность в выдерживании указанного маршрута в условиях коварной арктической погоды. Эта задача нас увлекла, и мы решили во что бы то ни стало ее осуществить.

Подготовку к полету провели очень тщательно, продумали и сделали то, что первоначально и не предполагали. После долгих расчетов мы сочли возможным влить в самолет на полтонны горючего больше, чем Чкалов. Это давало громадное преиму-

щество в дальности. Для облегчения веса самолета мы отказались брать с собой надувную резиновую лодку (на случай вынужденной посадки в океане), не взяли ружья, соль, теплую одежду, запас продовольствия, запасное масло и прочее, всего на двести пятьдесят килограммов. В процессе испытания мы установили, что увеличение количества бензина на килограмм увеличило дальность на километр, что если убрать какие-либо предметы и уменьшить вес конструкции на килограмм, то это увеличивало дальность на три километра. Игра стоит свеч. Мы даже отсекли кусачками излишки болтов и болтиков, выступавших из гаек.

МОСКВА — СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС — США

Вечером накануне старта наш экипаж прибыл на аэродром. Легли спать в одиннадцать часов. Нашу комнату охранял часовой, чтобы никто (главным образом журналисты) не нарушил наш сон. Заснули скоро, часов в двенадцать, причем снотворного не принимали. Ровно в три часа нас разбудили. Я завтракать не мог от волнения, но с удовольствием выпил горячего чаю. Мысли о большой ответственности перед родиной, естественно, волновали.

Поразились, что пришло так много людей нас провожать. Пройти к самолету оказалось нелегко. Задавались на ходу вопросы, от которых наши мысли были далеки, сыпались словечки вроде «ни пуха ни пера», «даешь Америку!» и т. п. В печати, как мы узнали впоследствии, сообщалось, что при отлете все очень волновались, один только Громов оставался спокоен. Это сообщение я принял за комплимент: просто я хорошо владел собой в этой сложной обстановке. Мысли сосредоточились на последовательности и четкости предстоящих действий в неторопливом темпе, обеспечивающем точность и успех. Прощание в таких случаях — совершенно излишняя процедура: слишком контрастно психологически состояние у провожающих и улетающих. Провожающие ведут себя так, как будто бы ты садишься в поезд дальнего следования, когда тебя ожидает комфорт, успокаивающий стук-разговор колес, бесконечные закусывания и виды, виды в окнах.

Многие, если не большинство, не учитывают наше желание сосредоточиться, а некоторые задают в такой ответственный момент самые пустяковые, самые ненужные вопросы, сыплются пожелания, которые иногда, честно говоря, только раздражают.

Последним прощался Я. И. Алкснис. Он был краток, и его слова соответствовали нашему настроению, нашему девизу: «Вперед и только по прямой!»

Я подал сигнал рукой к запуску мотора. Когда кабину самолета закрыли и когда ко мне уже не было доступа, я почувствовал облегчение и очутился, как говорят, в своей тарелке, то есть в привычной обстановке. После опробования двигателя, убедившись, что все в порядке, вынули колодки из-под колес.

Наконец взвилась зеленая ракета — старт! Мотор на полной мощности, но самолет так тяжел, что, несмотря на наклонную плоскость горки, начал разбег еле-еле. Сто метров пробежки, только тогда чувствуешь «облегчение хвоста».

Юмашев наготове — за моей спиной держит рычаг уборки шасси, ожидая моего сигнала. На половине дорожки скорость еще так мала, что секунды казались минутами. Но вот уже скоро конец дорожки. Толчки стали очень мягкими, и наконец я крикнул:

— Давай!

Конец дорожки мелькнул под нами. Мы тяжело поплыли, а не полетели. Пролетаем фабричную трубу на уровне ее высоты.

Далее высота пятьдесят метров... Сто... Двести. Проходит пятнадцать минут, и мы минуем Загорск. А за Загорском входим в низкую слоистую облачность, и я веду самолет по приборам с курсом, который мне дал Данилин.

Обстановка стала обычной. Я почувствовал аппетит — верный признак успокоения — и с удовольствием позавтракал.

Мы летели то в облаках, то между слоями облаков, внимательно следя, как бы не попасть в кучевую облачность: самолет в эти минуты обладал очень небольшим запасом прочности и сильная болтанка в кучевых облаках ему противопоказана.

Прошло четыре часа. Мы постепенно поднимались, как этого требовал график. Земли все это время из-за облачности не видно.

Вскоре облака над нами и под нами стали редеть. Начала проглядываться тундра. Мы вышли точно к полуострову Колгуев. Данилин молодец — дал точный курс. Снизились, сбросили вымпел (это снижение необходимо было по условиям для установления рекорда по «ломаной линии»). Вновь набирая высоту, полетели над океаном. Над нами чистое небо, сбоку сияло солнце, а океан выглядел при солнечном освещении темно-синим, как Черное море.

Две тысячи метров. А вот и Новая Земля. Мы любовались ее светлыми красками — картина при солнце тоже напоминала юг. В середине острова на западном берегу — пункт со спортивным комиссаром для фиксации нашего полета. Мы снова снизились и сбросили второй вымпел.

Набирая снова высоту, я вдруг обнаружил, что термометр, показывающий температуру воды в системе охлаждения мотора, не работает. Система охлаждения была открытой, а показания термометра играли важную роль. Чем дальше, тем выше мы должны лететь, но вода там закипает уже не при 100 градусах, а при более низкой температуре. Нас в известной мере выручал масляный термометр: его показания зависели от температуры в водяной системе. Ранее на тренировках я наблюдал перепад между показаниями этих двух термометров и мог теперь иметь представление о температуре воды. Однако эта неисправность осложняла полет. Но что делать? За свою жизнь я могу вспомнить так мало случаев, когда весь полет матчасть работала бы безупречно.

За Новой Землей стояла сплошная стена облаков от самой воды до высоты две тысячи метров. Мы поднялись на три тысячи метров. Проходя Землю Франца-Иосифа, увидели проглядывающие сквозь облака темные макушки гор.

Впереди нас ожидало самое неприятное явление — обледенение. Вскоре показалась стена облачности выше нашего полета. Температура воздуха минус 17 градусов, высота три тысячи двести метров. Для того чтобы ослабить обледенение, я начал набирать высоту — чем выше над землей, тем ниже температура и обледенение обычно слабее. Казалось, еще бы метров триста — пятьсот — и мы бы шли над облаками без всякого обледенения. Но вес самолета не позволял подняться выше, стекла кабины как-то сразу стали матовыми, непрозрачными. Дали антиобледенительную жидкость на винт. Я открыл левое окошечко кабины, чтобы наблюдать за передней кромкой крыла. Она уже слегка побелела. Что же будет дальше? Летим по приборам. Через несколько минут внезапно очутились между двумя слоями облаков — пронесло.

Лететь по приборам на очень малой скорости в облаках не очень весело. Нет такого прибора, который показывал бы минимальную скорость. Если я перешагну предел допустимого, мы неизбежно свалимся в штопор. Щеки мои, чувствую, покраснели от волнения. Вся надежда на чутье, о котором я уже говорил раньше.

Высота не прибавляется... а падает. Значит, обледенение сказывается на аэродинамике. Слой на кромке уже не матовый, а белый, и стекла стали не ледяными, а снежно-белыми. В таких тревожных условиях мы пролетели в облаках и между ними час сорок пять минут. К тому же нельзя было определить, идем мы поперек метеофронта или наискось.

И вдруг стена облаков кончилась. Сбоку светило солнце, над нами снова синее небо. Настроение сразу поднялось. Все повеселели. Мы поняли, что если теперь и встретим метеофронт, то не ранее чем примерно через полторы тысячи километров, а тогда мы уже сможем подняться до пяти тысяч метров (горючее убавится, вес самолета уменьшится), температура воздуха будет ниже и обледенение слабее. Антиобледенитель на винт выключили. Он сработал отлично.

Прошли метеофронт между Землей Франца-Иосифа и Северным полюсом. К полюсу стекла уже отошли ото льда: помогла теплая кабина. Вскоре и кромка крыльев освободилась от белого налета. Данилин сообщил по радио: прошли Северный полюс на четырнадцать минут раньше расчетного времени. Это оттого, что мы некоторое время летели на высоте выше, чем рассчитано по графику.

За полюсом снова увидели впереди себя фронт. Я набрал высоту пять тысяч

метров. Снова в облачности, но обледенение не столь интенсивное, как в первый раз, и мы благополучно миновали препятствие в сорок пять минут.

Полет осложнялся еще и тем, что задолго до полюса катушка магнитного компаса начала вдруг крутиться и показаниями магнитного компаса стало невозможно пользоваться. Мы перешли на смешанный способ. Пока видели солнце, летели по солнечному курсу-указателю, и Данилину приходилось показывать образцы своего искусства. Но в облаках летели по гиромагнитному компасу, поправляя его показания каждые пятнадцать минут.

После второго фронта за полюсом шли над сплошными облаками и только временами видели внизу лед и воду между трещинами. Солнце стояло низко и освещение хоть и казалось красивым, но в то же время каким-то тусклым, зловещим.

Под монотонный звук мотора хотелось спать. Даже удивительно, что ни разу не мелькнула мысль о том, что вдруг мотор откажется работать. Вероятно, я сознательно или подсознательно, судить об этом трудно, отбросил такое опасение, потому что раздумывать тут нечего: если откажет мотор — гибель неизбежна. И мы сами лишили себя возможности спастись, заранее отказавшись от того, что могло для этого пригодиться.

Куда ни кинешь взгляд — картина бесконечно однообразная. Так длилось несколько часов, когда наконец с высоты три тысячи семьсот метров мы увидели впереди какое-то пятно. Сначала еле заметное, но постепенно оно росло и приближалось. Что это такое? Данилин, которому Юмашев дал за блестящую работу титул «профессор», объяснил нам, что под самолетом остров Принс-Патрик, а это подтверждало, что мы шли точно по курсу, намеченному заранее.

Подлетали к Канаде. Качалась канадская тайга, и мы увидели темно-зеленый ковер густого леса. Светило солнце, под нами поблескивала река Макензи. А вот и Большое Медвежье озеро с громадной льдиной посередине.

Вскоре погода испортилась. Мы входили в циклон как раз в таких краях, где магнитный компас очень пошаливает, что, кстати сказать, явилось причиной некоторого отклонения самолета Чкалова от задуманного маршрута. Болтанка в облаках и временами полет по приборам усложняли обстановку. Но наш «профессор» превосходно справлялся со своей задачей и мы шли точно по заданному курсу.

Начали появляться под нами селения, а потом и городки.

Справа показались горы, и мне не понравились появившиеся над ними кучевые облака, пока редкие, но я все же предложил товарищам изменить курс и пересечь горы. Было еще то раннее утро, когда облачность над горами не становится еще такой сплошной и мощно кучевой, как это бывает днем, а сильные восходящие и нисходящие потоки воздуха не делают полет опасным. Но Юмашев, увлеченный успехом полета, настоял на своем:

— Не будем сворачивать, идем по прямой.

Я уступил свое место Юмашеву, а сам пересел на заднее сиденье. Воспользовавшись этим, стал завтракать. Юмашев, управляя самолетом, набирал все большую высоту, чтобы выбраться из облаков, но через несколько минут началась такая болтанка, что я стал опасаться за прочность самолета. Хуже того, появилось такое обледенение, что у нас стали отказывать некоторые приборы, кроме тех, которые работали на принципе гироскопа. В переговорную трубку я сообщил Юмашеву, что у меня отказал показатель скорости.

— И у меня тоже,— ответил он.

Продолжали работать только авиагоризонт, высотомер и указатель поворота.

Данилин сообщил, что отказало радио — антенна обледенела — и связь с землей потеряна. В этот момент я ругал себя в душе на чем свет стоит за то, что согласился не перелетать горы вовремя.

Начали снижение, чтобы избежать обледенения. Болтало зверски. О скорости мы могли только судить по вариометру и несколько по авиагоризонту да по шуму.

Высота падала. Когда она начала подходить к трем тысячам метров, возникла опасность столкновения с горами. Но нам повезло: появилось окно в облаках. Пересел на переднее сиденье и стал набирать высоту. Лед стал отлетать, и все части самолета

постепенно освобождались от него. Заработал указатель скорости, и вскоре включилась антенна.

Пока набирал высоту, мы сообща решали, что делать дальше. Юмашев снова настаивал на прямом курсе, а Данилин предлагал снизиться, ориентируясь на реку, которая текла к Сиэтлу. Но ни то, ни другое я не мог принять: мы уже испытали, к чему привело предложение Юмашева, а лететь по реке внизу, среди высоких гор опасно из-за тумана, который всегда мог появиться. Товарищи меня спрашивали:

— Скажи по крайней мере, что ты хочешь делать?

Я ответил:

— Хочу выйти к океану: там холодное течение и облачность наверняка не выше двух тысяч метров, а мощные кучевые облака сейчас только над горами.

Я набрал высоту пять тысяч метров и заметил просвет в облаках в направлении океана. Устремился туда, и через несколько минут мы увидели сзади себя стену облаков над горами, а под нами значительно ниже лежала сплошная ровная облачность, как это было уже над Ледовитым океаном. Взяли курс на юг, и дальше лететь стало легко. С этого момента я тринадцать часов не сходил до посадки с переднего сиденья и не ощущал усталости.

Наступила ночь. К двадцати четырем часам мы были в районе Сан-Франциско. С земли нам предлагали сесть там на ночной аэродром, так как далее на рассвете все аэродромы побережья покроются туманом. Я чуть не поддался соблазну, кроме того, смущало наличие горючего — хватит ли до утра? Мировой рекорд к тому же уже установлен. Но Данилин сообщил, что горючего вполне достаточно для продолжения полета, и Юмашев тоже настаивал лететь всю ночь. Я согласился.

Все спокойно: справа черный океан, над берегом бесконечные огни мчавшихся по прибрежным автострадам автомашин. Так мы идем на юг. Перед отлетом спорили с Андреем Николаевичем Туполевым: мы утверждали, что долетим до границы Мексики и сядем в Сан-Диего, а он на это говорил: «Хотя бы до Сан-Франциско».

Но пересекать границу Мексики нам перед стартом не разрешили. Нужно показать именно американцам, стране с наиболее передовой авиационной техникой, нашу технику, наши достижения.

Начало светать. Подходим к Лос-Анджелесу. Изумительна картина перед восходом солнца. Слева начали вырисовываться черные зубцы скалистых гор на фоне желтеющего, а затем красного неба, а внизу под нами голубой туман. Подлетели к мексиканской границе. Горючего хватило бы до Панамы! Но приказ есть приказ, и мы начали решать, что делать. До того, как рассеется туман, нужно ждать часов шесть, не меньше. Нас не устраивало такое ожидание, и мы решили искать площадку для посадки на склонах гор. И вот в местечке Сан-Джасинто мы увидели пастбище, правда в пятнадцати километрах был учебный аэродром, обеспечивающий, на наш взгляд, посадку облегченному «АНТ-25», но вот беда — там пасутся два теленка, как бы их не раздавить. Я сделал три захода, снижаясь до десяти метров над землей, чтобы прогнать телят шумом мотора. Они задрали хвосты и, отбежав в сторону, освободили нам место для посадки.

Делая круги, заметили появившийся легковой автомобиль. Из него вышли трое американцев в синих брюках на помочах и в больших соломенных шляпах. Они глядели на диковинную машину с узкими крыльями, на которых большими буквами написано: «USSR». Я зашел наконец на посадку. Оба мои товарища поместились на всякий случай на заднем сиденье.

Самолет катился по полю, и мы ощущали жесткие мелкие толчки от травы, росшей пучками. Но самолет благополучно остановился.

Исторический перелет завершен. Мы пролетели дальше, чем кто-либо до нас, на тысячу километров! Был установлен новый мировой абсолютный рекорд дальности полета по прямой, равный 10 148 километрам.

Но вот к нам подошли те трое американцев, которые наблюдали за нашим полетом и приземлением. Мы приветствовали их и вручили им заранее приготовленную записку, в которой содержалась просьба сообщить нашему послу в Америке о том, где мы находимся.

— О'кей! — весело сказал хозяин пастбища и убежал на телеграф.

Через полчаса, несмотря на раннее утро (пять часов по местному времени), начал стекаться народ к нашему самолету. Немедленно посыпались просьбы дать автографы. Приходилось писать на папиросных коробках, шляпах, манжетах. Давка вокруг нас образовалась неимоверная. Упавшую перчатку разорвали на мелкие куски, которые достались «счастливчикам».

Хозяин немедленно обтянул канатом круг, в котором очутился наш самолет, и стал брать входную плату. Его бизнес во много раз возрос, когда он получил наше разрешение использовать оставшийся бензин. Он начал наполнять им большое количество принесенных пузырьков и продавать. Дело в том, что у американцев существует поверье: бывшие у человека вещи при удачном деле должны и дальше приносить удачу.

Если бы через полчаса после нашей посадки не прилетел на «нортропе» американский офицер, мы были бы в весьма затруднительном положении. Он пробился к нам и объявил после приветствия, что через несколько минут придет машина с солдатами. Действительно солдаты прибыли. Нам, кроме того, прислали легковую машину с ближайшего аэродрома.

Наконец первый этап эпопеи кончился. Через полчаса мы имели возможность послать телеграмму правительству с сообщением о выполнении задания, об установлении двух мировых рекордов и благополучной посадке.

Мы жаждали отдыха и просили хоть на какое-нибудь время нас оставить в покое. Конечно, мы объяснялись жестами, прикладывая руку к щеке, склонив голову в сторону, закрывали глаза, что означало — мы хотим спать. Нас поняли и уложили в белоснежные постели. Учебные полеты на аэродроме прекратили, у дверей поставили часового. Не проспали мы и трех часов, как к нам ворвался товарищ из советского торгпредства и крики восторга наполнили комнату. Мы побрились, затем отправились на первый после приземления завтрак, с наслаждением съели яичницу на беконе и выпили молока.

После завтрака откуда ни возьмись появились фоторепортеры, журналисты, которые буквально нас атаковали. Перед нами вырос как из-под земли радиомикрофон. Пришла приветственная телеграмма от Центрального Комитета нашей партии и правительства СССР: «Восхищены вашим героизмом и искусством, проявленным при достижении новой победы советской авиации».

Из Вашингтона прибыл советник посольства СССР в США К. А. Уманский. На его автомашине мы отправились в Сан-Диего купить костюмы взамен измятых в пути. А оттуда тронулись в солнечный, тогда еще не отравленный промышленными отходами Лос-Анджелес. Остановились в советском консульстве, в небольшом двухэтажном коттедже. За утренним завтраком мы могли наблюдать сквозь шторы, как собралась громадная толпа, в которой больше всего было журналистов, вооруженных фотоаппаратами и блокнотами. Многие пытались прильнуть к стеклам, чтобы хоть что-нибудь увидеть.

От бесконечных интервью нас избавило приглашение мэра города Лос-Анджелес. К мэру ехали на открытой машине, и нас эскортировали лихие полицейские-мотоциклисты с грандиозными кольтами, болтавшимися на поясах. Нас предупредили о том, что когда мы будем доставлены к месту назначения, то должны поблагодарить каждого из них, пожав им руки. По пути следования на тротуарах Лос-Анджелеса стояли толпы народа, приветствуя нас криками, взмахами рук, шляп, платков. Проезжая мимо строящегося дома, мы услышали, как один из приветствовавших нас рабочих выкрикнул:

— Вот это ребята!

Когда мы приехали к мэру, он после церемонии встречи познакомил нас с планом развития города. Затем нам преподнесли специальные эмблемы и поздравили с избранием почетными гражданами города. После этого мы вместе с мэром вышли на балкон. Всю площадь заполнили сотни людей. На митинге пришлось выступить нам всем троим, всему экипажу.

Из Лос-Анджелеса отправились на автомашинах в Сан-Франциско. Выехали в десять часов утра и приехали в восемь часов вечера (семьсот пятьдесят километров

за десять часов!). Мы ехали по автостраде, самой ближней к океану и самой живописной.

В Сан-Франциско в этот день проходил баскетбольный матч киноактеров. Мэр города в момент нашего приезда был там и пригласил нас к себе в ложу. Перед началом матча он попросил меня от имени экипажа приветствовать игроков и собравшихся. Я сказал, что мы так спешили на этот матч, что пришлось лететь через Северный полюс, и очень рад, что мы успели вовремя. Американцам понравилась речь— они любят шутку.

В перерыве к нам зашел красавец киноактер, сел на борт ложи против мэра города, свесив ногу вниз, а другую поставив на борт, обхватил колено руками и в такой позе весело беседовал со всеми.

Из Сан-Франциско мы полетели на пассажирском самолете в Лос-Анджелес и оттуда в Вашингтон. Как только мы взлетели и набрали высоту, пилот включил автопилот и пришел нас приветствовать как хозяин дома. Стюардесса вела себя также как хозяйка дома. После получасового салонного разговора нам предложили отдохнуть и лечь спать на местах, отведенных для этого за занавесками. Было уютно, воздух кондиционированный, и мы собрались наконец-то хорошенько отдохнуть. Но... не пришлось. Нас вежливо разбудили и попросили одеться — на предстоящей промежуточной посадке в пустыне будем фотографироваться.

Самолет совершил ночную посадку. В пустыне стояла неимоверная духота и жара 43 градуса. Фотографировали ночью, при вспышке магния. В пустыне тоже оказалось немало людей, захотевших посмотреть на нас. Снова автографы, возгласы, приветствия.

Утром побрились и приготовились к прилету в столицу США. Вот и Вашингтон. После той встречи, какую нам оказали на пустынном аэродроме, читателю не надо объяснять, как встретили нас на столичном аэродроме. Это был триумф, о котором мне и говорить как-то неудобно. В сопровождении людской лавины мы с трудом добрались до автомобиля Уманского. А затем приемы, приемы и приемы.

После многочисленных встреч состоялась самая значительная — встреча с президентом США.

Рузвельт сидел во вращающемся кресле за громадным письменным столом. Полиомиелит отнял у него ноги, но оставил голову, которой американцы вручили свою судьбу. Он производил впечатление оптимистичного и энергичного человека.

Комната, в которой он сидел, походила больше на жилье богатого американского спортсмена-рыболова, чем на комнату президента. Стены громадного кабинета украшены картинами, изображавшими рыболовные снасти, тунцов и сцены из жизни рыболовов. Рузвельт, страстный любитель ловли тунцов на спиннинг, соответственно украсил свой кабинет, стены и стол, вся окружающая его обстановка отражала страсть, не покидавшую его, несмотря на вынужденную неподвижность.

Радушно встретил нас, живо интересовался всем, что касалось перелета, расспрашивал, какое впечатление сложилось у нас об Америке и ее образе жизни. Мы отвечали откровенно, хотя, разумеется, соблюдали необходимую осторожность и такт, говорили о том, что нам нравится и не нравится. Он слушал внимательно, иногда переспрашивал. Разговор длился более часа и закончился неким резюме, высказанным присутствовавшим на этом приеме американским министром. Он сказал:

— Никакая работа дипломатов не могла бы сделать за десять лет того, что сделали вы своим перелетом для сближения народов Советского Союза и Америки.

Рузвельт утвердительно закивал головой. На этом аудиенция закончилась. В хорошем настроении мы вышли из Белого дома.

Пробыли мы в Америке около месяца. Но с каждым днем нас все более неудержимо влекло на родину. Попросту говоря, мы устали от шумихи вокруг нас и вынужденного безделья, устали от совершенно неприемлемого для нас образа жизни и хотелось поскорее вернуться к себе, к своим людям и делам. Домой, домой!

На огромном комфортабельном океанском пароходе мы поместились в двухкомнатных каютах-люкс. Танцевальный зал, зал-ресторан, кино, теннисная площадка, беговая дорожка, тир для стендовой стрельбы по тарелочкам, небольшие бассейны для плавания, библиотека — доступ ко всему этому имели пассажиры первого и второго

классов, но только не третьего. Конечно, комфорт приятен — кто откажется от него? Но контраст в жизни людей — блеск и нищета,— который мы видели в Америке и на этом огромном корабле, тревожил и волновал нас, как дурной сон. Мы чувствовали себя неловко и стремились поменьше быть в увеселительных местах. Развлекались игрой в теннис, плавали в бассейне, а я еще любил пострелять в тире по тарелочкам. И старались поменьше показываться на глаза — наши фотопортреты были опубликованы почти во всех газетах, а привлекать внимание к себе нам не хотелось.

Но вот и Франция, Гавр, а потом Париж. Снова встречи. Цветы, приемы, поздравления и приветствия. Я не хочу повторяться и описывать их. Но все-таки расскажу об одной.

В Париже нам посчастливилось встретиться с нашим Художественным театром и его руководителем В. И. Немировичем-Данченко. Пожимая мою руку, Владимир Иванович говорил о нашей победе как о победе советского народа, идущего к высотам техники и культуры, о большой радости и чести, выпавших на нашу долю, продемонстрировать перед всем миром, что могут делать и делают советские люди. Это был гимн отчизне, а не комплименты, которые мы привыкли слушать. В тот вечер МХАТ ставил «Любовь Яровую». Когда опустился занавес, раздались аплодисменты. Вспыхнул свет. Я вдруг увидел, что аплодируют не только артистам, но и нам, стоящим в ложе. И я особенно ярко почувствовал, как прав был Немирович-Данченко,— все эти овации были гимном нашей отчизне!

Простившись с прекрасным и гостеприимным Парижем, мы сели в поезд и наконец-то прямым сообщением, без остановок в других городах отправились к себе домой, в Москву.

Поезд медленно подошел к Белорусскому вокзалу. Мы выходим из вагона. Объятия, поцелуи, слезы радости.

Выходим из вокзала на площадь. Она, как море, волнуется от рукоплесканий и приветствий заполнивших ее людей. Митинг. Выступаем все трое и говорим с тысячами людей как с самыми близкими друзьями. Потом едем в Кремль. Там, где мы проезжали, по обеим сторонам улиц стояли люди. Они были на балконах, на крышах, выглядывали из окон, бросали нам цветы. В воздухе летали листовки-приветствия.

По прибытии в Кремль нас провели в Георгиевский зал, там стояли столы, накрытые и готовые к приему. Через несколько минут открылись двери, и в зал вошли руководители партии и правительства. Сталин подошел к нам, обнял и поцеловал меня, Юмашева и Данилина и пригласил нас к столу. Начались тосты, здравицы, приветствия.

Я был награжден орденом Ленина, Юмашев и Данилин удостоены звания Героев Советского Союза. Международная авиационная федерация (ФАИ) присудила нам медаль де Лаво за лучшее мировое достижение 1937 года: два мировых рекорда дальности полета по прямой и ломаной линиям без посадки. Перед этим медаль три года никому не присуждалась из-за отсутствия достойных кандидатов. Много лет спустя медаль де Лаво присудили Юрию Гагарину...

Высшая аттестационная комиссия утвердила присвоение мне ученого звания профессора по «технической эксплуатации самолетов и моторов».

Так завершилась наша эпопея.

Что же касается присвоения мне звания профессора, я хочу сказать несколько слов. Не буду оспаривать точность формулировки аттестационной комиссии, но считаю нужным сделать одно существенное примечание. Я считаю особенно важным в «технической эксплуатации» самолета физиологическую и психологическую подготовку к ней летчика. Мой девиз: чтобы управлять и владеть авиатехникой, нужно научиться управлять и владеть собой. Этим девизом, как, вероятно, заметил читатель моих мемуаров, я руководствовался всегда и им всегда определял мой успех в авиации. Я пронес его через всю свою жизнь, и он никогда не изменял мне. Генеральной проверкой правильности этого девиза был перелет через Северный полюс, когда наш экипаж «АНТ-25» преодолел очень серьезные испытания не только потому, что хорошо овладел техникой, но и прежде всего потому, что в минуты грозной опасности хорошо владел собой. Размышлениями об этом девизе я заканчиваю свой рассказ о перелете Москва — Северный полюс — США.

МОЕ КРАТКОЕ ПОСЛЕСЛОВИЕ

Моя жизнь в авиации началась, когда мне было восемнадцать лет. На моих глазах свершалось чудо XX века. Любуясь авиагигантом «ТУ-144», я вспоминаю о малыше «Фарман-4» — поистине чудесное превращение произошло в авиации за эти годы. Волнующая панорама событий развертывается передо мной, когда я пишу эти строки. В этих событиях довелось участвовать и мне, и, конечно, обо всем пережитом рассказать невозможно. Предлагаемые вниманию читателя страницы моих воспоминаний далеко не исчерпывают то, что я задумал написать и пишу. Это, как говорят литераторы, сокращенный журнальный вариант. Перелистывая написанные страницы, я отобрал только те, которые дают представление о том периоде жизни, когда я мечтал стать летчиком, стал им и сделал то, что не прошло бесследно для истории авиации, для развития искусства пилотирования.

Должен сказать, что накануне и в дни Великой Отечественной войны я занимал руководящие и командные должности (директор летного института, командующий воздушной армией и др.) и в моей жизни начался новый этап, по-своему интересный и значительный. Но это уже тема для последующих глав. Скажу только, что я никогда бы не смог справиться с теми новыми задачами большой сложности и важности, которые были поручены мне, если бы не накопил тот опыт, то знание техники, то понимание людей авиации, которые дала мне летная практика. Все лучшее, что я выработал в себе в годы юности и зрелости, дало мне моральное право воспитывать молодых летчиков и руководить ими.

Прошли те дни, когда при моем появлении на улице, в театре, в парке раздавались рукоплескания, когда люди, знавшие меня по фотографиям, окружали меня и буквально не давали мне прохода, добиваясь получения автографа. Появились новые герои авиации, герои космонавтики, окруженные заслуженной славой. Но и меня не забывают, о чем свидетельствуют письма, которые я получаю, просьбы выступить с докладом на заводе, в школе, в военном училище, в научном институте, по телевидению. Наши современники не хотят и не могут предавать забвению те события в истории советской авиации, свидетелем и участником которых я был.

В 1969 году мне исполнилось семьдесят лет и я был награжден орденом Ленина. Меня поздравили по телефону Леонид Ильич Брежнев и министр обороны СССР Маршал Советского Союза А. А. Гречко. Нужно ли говорить, как это взволновало и растрогало меня. Орден вручил мне Н. В. Подгорный одновременно с вручением награды А. Н. Туполеву в связи с его восьмидесятилетием и с вручением маршальской звезды главнокомандующему ВВС товарищу Кутахову. Как старший по званию, маршал авиации ответил за всех нас благодарственной речью, в которой говорил о нашем пламенном желании отдать все силы, знания и энергию за дело КПСС, за нашу Родину, на благо советского народа. Многое вспомнилось мне и А. Н. Туполеву при вручении нам наград — долгие годы работали мы вместе и вот теперь, в эту торжественную минуту, стояли рядом.

В канун моего семидесятипятилетия раздался телефонный звонок. Я услышал голос моего боевого соратника и друга Николая Павловича Дагаева, бывшего начальника штаба, продолжающего и после семидесяти лет работать в министерстве с не меньшей энергией, чем в годы молодости.

— Михаил Михайлович,— сказал он,— здравствуйте! Вам надлежит прибыть двадцать четвертого февраля в Министерство обороны СССР к двенадцати часам дня. За вами заедет офицер.

Я думал, что ослышался.

— Николай Павлович,— говорю я,— ведь завтра воскресенье.

— Вот и хорошо,— ответил он.— Всего вам доброго.

На другой день за мной заехал офицер, и мы прибыли в министерство. При входе в громадный кабинет меня расцеловал Николай Павлович, а затем подошли ко мне, тепло приветствуя, Главные маршалы авиации товарищи Кутахов и Голованов. За длинным столом сидели генералы всех рангов. Кутахов усадил меня за стол и начал речь. И тут только я понял, что, несмотря на воскресный день, маршалы и генералы собрались в этом кабинете поздравить меня в день моего рождения. А в конце

речи Главный маршал авиации зачитал приказ министра обороны СССР А. Гречко: «За заслуги перед Вооруженными Силами... генерал-полковнику авиации в отставке Громову Михаилу Михайловичу объявляю благодарность и награждаю именными золотыми наручными часами».

Вместе с золотыми часами мне вручили поздравительные адреса. Особенно меня тронул адрес моих друзей и спутников в жизни Данилина и Юмашева, а также Байдукова. В радостном настроении я вернулся домой. А здесь меня ожидали телеграммы, письма друзей, знакомых и незнакомых ветеранов войны и труда, комсомольцев и пионеров. О телефонных звонках я уж и не говорю.

Получил я тогда и письмо моих бывших учлетов: «Мы — вышускники 1923 года. Нас осталось немного: Ларский, Ванюшин, Писаренко, я да еще Юнгмейстер Виктор... Дорогой Михаил Михайлович! Вы дали нам путевку в большую летную жизнь. Вы не только учили нас летать, но требовали от нас находчивости, инициативы, смелости, умения идти на разумный риск. Все ваши указания мы всегда помнили и старались вышолнять. Примите нашу и мою личную благодарность, дорогой учитель! Ваш А. Туржанский».

Но одно письмо особенно дорого мне. Я получил его в 1969 году, но не в день моего семидесятилетия, а в День космонавтики. Написала его мать Сергея Павловича Королева Мария Николаевна Баланина.

Когда-то, а точнее после моего полета через Северный полюс, она пришла ко мне на Большую Грузинскую с просьбой помочь ей встретиться с влиятельными людьми, которые могли бы устранить трагическую несправедливость, угрожающую ее сыну. Я это сделал.

Привожу текст письма в несколько сокращенном варианте:

«Дорогой Михаил Михайлович!

Пусть Вас не удивит это письмо. Сегодня День космонавтики. Я была во Дворце съездов, в Аллее Космонавтов и у Кремлевской стены — жизнь Сергея пробежала перед глазами. И вот вспомнился мне Громов Михаил Михайлович... Я не хочу сказать, что, не будь Королева, ничего не было бы. Но когда? И если Сергей через все испытания тех лет смог пронести свою мечту, свою целеустремленность и если на граните памятника я видела сегодня не только роскошные цветы, но и просто зеленые веточки — благодарность народа,— так доля этой благодарности принадлежит Вам, Михаил Михайлович».

Найдутся люди, которые скажут — Громову изменила скромность, присущая ему на земле, а не в небе, мог бы, мол, воздержаться от публикации некоторых документов и писем, в которых сказаны добрые слова, обращенные к нему. Признаться, я сам задумывался над этим: может быть, умолчать? А потом решил, что такое умолчание было бы излишним. Не из-за тщеславия же я пишу эти воспоминания. К чему оно мне? Как и всегда в таких случаях, люди, и особенно молодежь, хотят знать, как тот или иной человек сумел сделать что-то нужное, важное для народа, как он готовился к этому, как воспитывал в себе те свойства, то умение, ту нацеленность и настойчивость, которые определили успешное завершение задуманного. И если об этом человеке люди говорят доброе слово, то почему же ему не вспомнить о них с чувством глубокой благодарности? Я прожил трудную и счастливую жизнь, и мне захотелось рассказать о ней все от начала и до конца, от детства до сего времени. Я летчик, но, мне кажется, опыт моей жизни пригодится для любого человека и физического и интеллектуального труда — успех дается не волею судеб, а волею самого человека, который должен уметь управлять и владеть собой при решении самых трудных задач, возникающих перед ним. Эти раздумья и побудили меня написать воспоминания.

НИКОЛАЙ ЛЕБЕДЕВ

★

СМОЛЬНЫЙ... «ИЗВЕСТИЯ»

Старейшей советской газете, органу Советов депутатов трудящихся СССР, исполняется в нынешнем году шестьдесят лет. Первый ее номер под названием «Известия Петроградского Совета рабочих депутатов» вышел 28 февраля (13 марта) в Петрограде. В первые дни после победы Великой Октябрьской социалистической революции «Известия», руководимые партией большевиков, находились в штабе революции — Смольном.

Спустя год, с переездом Советского правительства в Москву, «Известия» стали издаваться здесь. Первый номер, вышедший в Москве, открывался статьей В. И. Ленина «Главная задача наших дней».

О том, как работала газета в первые месяцы Октября, вспоминает один из ветеранов-известинцев Николай Алексеевич Лебедев.

Несколько слов об авторе публикации. Весть о революции застала его в одном из полков под Одессой. Отсюда по его настоянию он был направлен в Петроградский военный округ, а затем с помощью студенческой организации при Петроградском комитете РСДРП (большевиков) послан на работу в Смольный, в редакцию газеты «Известия».

Н. Лебедев — член Коммунистической партии с 1918 года, один из зачинателей, теоретик, историк и социолог советской науки о кино. В недавно вышедшей книге «Внимание: кинематограф!» он пишет о себе:

«Я принадлежу к тому поколению советской пролетарской интеллигенции, которое сформировалось в огне Октябрьской революции и гражданской войны, в духовном климате и пафосе той великой эпохи,— поколению, которое с первых дней революции закалялось в политических, военных, идейных боях за социализм».

Итак, я очутился в цитадели революции — Смольном.

Вестибюли, лестницы, коридоры заполнены непрерывно движущимися людьми: солдаты, матросы, рабочие с вещевыми мешками за плечами, с сумками, портфелями, связками газет. Многие солдаты с винтовками, матросы и штатские с кобурами на поясе. Все спешат: кто-то озабоченно ищет нужную ему комнату, группа торопится на заседание, самокатчик бежит к выходу с толстым пакетом в руках.

Бывшие классы, гостиные, дортуары до отказа забиты учреждениями — партийными, совнаркомовскими, Петроградского Совета. Тесно настолько, что на долю некоторых из них приходилось по одной комнате.

В этих условиях редакция «Известий» жила почти «роскошно»: на втором этаже за дверью под номером 49 я обнаружил целую квартиру из трех комнат: в первой — самой большой, в два окна — располагались хозяйственная часть и канцелярия (включая машинисток), во второй, поменьше,— секретариат, то есть собственно редакция, и в третьей, совсем маленькой, редколлегия.

В комнате секретариата за письменным столом, поставленным боком к окну, сидел взлохмаченный человек лет сорока пяти, с донкихотской бородкой. Это был ответственный секретарь газеты В. Мордвинкин, с которым я договаривался о своей

работе. Против него за другим столом сидела пожилая женщина, как я узнал позже — литературный редактор, старая большевичка Куделли. Третий находившийся в комнате стол был пуст.

Мордвинкин, приветливый, любящий шутку человек, расспросив меня и выяснив мою полную неосведомленность в редакционно-журналистском деле, показал на свободный стол:

— Никогда не работали в газете? Вот здесь и научитесь. Не боги горшки обжигали. Главное — хотеть, остальное приложится. Будете работать в вечернюю смену, с четырех до десяти — одиннадцати. Завтра и начинайте.

На другой день я сидел в редакции, пристально всматриваясь в процесс формирования тех десятков страниц машинописного текста, который завтра станет содержанием очередного номера «Известий».

Вместе с пятью другими сотрудниками секретариата Мордвинкин делал от начала до конца ежедневную четырехполосную газету большого формата. Он работал за десятерых: планировал содержание каждого номера, привлекал авторов, заказывал и правил статьи, читал гранки, давал разметку выпускающему, бывал в типографии, просматривал верстку и успокаивался, только подписав полосы к печати. Работал он споро, весело, с прибаутками, никогда не жалуясь на усталость. Ко мне относился по-отечески. Учил без менторского тона, журил, не повышая голоса, подбадривал, когда я оказывался в затруднении.

Собственного информационного аппарата «Известия» не имели — ни городских репортеров, ни корреспондентов в провинции. Почти вся информация поступала из двух источников — из Петроградского телеграфного агентства (сокращенно ПТА) и из Бюро печати при Совете Народных Комиссаров.

Трудностей было невпроворот, так как старые корреспонденты отказались сотрудничать с советской властью. Агентству приходилось пользоваться случайными источниками: буржуазными передачами и иностранными газетами — о событиях за рубежом, периферийной печатью — о событиях внутри страны.

Бюро печати при Совнаркоме — учреждение новое, оно размножало и снабжало редакции (главным образом петроградские) правительственными материалами: текстами декретов и постановлений Совнаркома и наркоматов, отчетами о заседаниях и постановлениях съездов Советов, ВЦИКа, Петроградского исполкома.

За исключением передовых статьи и обзоры писались внештатными авторами, которые либо забегали в редакцию и писали их в комнате редколлегии, либо заносили готовые рукописи.

Большинство статей печаталось без подписи. Среди авторов, подписывавшихся чаще других, можно было встретить имена П. Керженцева, М. Ольминского, М. Рейснера, В. Павловича. Несколько статей по вопросам внешкольного образования опубликовала в этот период Н. К. Крупская.

Передовые писались ответственным редактором Ю. М. Стекловым. Как и другие руководящие работники тех бурных месяцев, он все время находился в движении: ежедневно выступал на митингах, на рабочих собраниях, в воинских частях, заседал в партийных комитетах и советских комиссиях, составлял проекты резолюций и постановлений ВЦИКа, Петросовета, других организаций.

Из членов редколлегии больше других проводил времени в редакции Борис Малкин, левый эсер, порвавший затем с эсерами и вступивший в партию большевиков. Невысокий брюнет с длинным худым лицом и грустными глазами, он был застенчив, считал себя плохим оратором и уклонялся от выступлений на митингах и больших собраниях. Бывая подолгу в редакции, он фактически выполнял обязанности зам-редактора.

Из авторов мне особенно запомнился П. М. Керженцев, почти ежедневно заходивший в редакцию и много писавший для газеты. В сером, из грубошерстного сукна с искоркой пиджаке, каких до того я ни на ком не видел, в столь же необычных по тому времени коричневых башмаках с массивной подошвой, в толстенных окулярах, сквозь которые на вас смотрели увеличенные во много раз наивные глаза, Керженцев походил на западноевропейского туриста, каким-то чудом попавшего в центр русской революции. Это впечатление усугублялось его иностранным ак-

центом: он только что вернулся из Англии, где долго жил в эмиграции, и оттуда вместе с костюмом и окулярами вывез и английский акцент. Человек большой и разносторонней культуры, Керженцев был великолепным газетчиком. Ему заказывали статьи на жгучие актуальные политические темы, зная, что через полтора-два часа статью можно будет посылать в набор. Он присаживался к углу стола кого-нибудь из сотрудников секретариата, внутренне отключался от шума и покрывал одну бумажную полосу за другой четкими и ясными строчками.

Частым посетителем редакции был коренастый молодой человек в голубой шинели солдата австрийской армии. С красным, обветренным от мороза лицом, постоянно простуженный, он тем не менее всегда находился в великолепном расположении духа. Приветливо улыбаясь, он протягивал Мордвинкину очередную статью.

— Простите, я все еще не очень карашо пишу по-русски,— говорил он с каким-то новым для моего уха акцентом,— пожалуйста, редактируйте.

Это был Бела Кун, деятель венгерского рабочего движения, два года пробывший в Сибири в лагере для военнопленных, теперь организатор интернациональных красногвардейских отрядов. В «Известиях» он писал либо о положении в Австро-Венгрии, либо о революционном движении среди военнопленных.

...С точки зрения наших современных представлений «Известия» того времени (как, впрочем, и все другие советские издания первых лет революции) в плане газетного мастерства оставляли желать много лучшего. Они не блистали ни литературно-стилистическими достоинствами, ни изобретательностью в расположении материала, ни разнообразием в полиграфическом оформлении. Не было у нас, молодых, и необходимого революционно-газетного опыта. Материал набирался одним шрифтом, верстался длинными серыми лентами под повторяющимися изо дня в день заголовками: «За рубежом», «Сообщения из-за границы», «С периферии», «Положение в провинции».

По делам газеты мне приходилось бывать в разных находившихся в Смольном учреждениях, встречаться со многими людьми, видеть и слышать руководителей партии и революции. У меня сохранились краткие записи о встречах с В. Д. Бонч-Бруевичем и М. С. Урицким.

Один из старейших большевиков, связанный с В. И. Лениным еще с дореволюционных лет, В. Д. Бонч-Бруевич с первых дней Октября работал управляющим делами Совнаркома. Его подпись встречается на большинстве декретов и постановлений тех лет. Ему были подчинены комендатура и хозяйственная часть Смольного, в том числе хозяйство «Известий». Он шефствовал также над одним из основных источников нашей информации — Бюро печати при Совнаркоме. Поэтому имя Бонч-Бруевича звучало каждый день и в разных контекстах:

— Бонч-Бруевич распорядился отпустить нам дополнительно столько-то пудов бумаги,— докладывал заведующий конторой «Известий».

— Товарищ Бонч-Бруевич просит обязательно опубликовать завтра это постановление,— говорили мне, когда я заходил в Бюро печати за вечерним выпуском бюллетеней.

— Звонил Бонч-Бруевич. Передает, что Владимир Ильич считает, что о покушении на него вовсе не нужно было печатать,— объяснял нам Мордвинкин, опуская телефонную трубку.

Помимо своих основных обязанностей по Совнаркому, Бонч-Бруевич возглавлял находившуюся в том же коридоре, что и «Известия», Чрезвычайную комиссию по охране порядка. Первое время я думал, что эта комиссия и есть та самая ВЧК по борьбе с контрреволюцией, о которой со злобой писали буржуазные и меньшевистско-эсеровские газеты. Поэтому в моем воображении Бонч-Бруевич рисовался в виде «железного комиссара» в черной кожаной тужурке и с кольтом за поясом.

Каково же было мое изумление, когда я увидел однажды быстро вышедшего из «Чрезвычайки» и поспешившего в сторону Совнаркома большого грузного мужчину с профессорской бородкой, в добротной купеческой шубе и меховой шапке, с туго набитым портфелем под мышкой. Он больше походил на частно практикующего врача или гимназического учителя, чем на политического деятеля.

— Это и есть Бонч-Бруевич,— сказал мне товарищ по редакции.— Потрясающей энергии человек.

С М. С. Урицким мне пришлось не раз уезжать из Смольного на дежурной машине после вечерней смены. В городе строго соблюдался комендантский час. После десяти вечера трамваи не ходили, и все работники Смольного, задерживающиеся после этого часа, развозились по домам автомашинами объединенного гаража ВЦИКа и Совнаркома. После какого-нибудь затянувшегося заседания приходилось по полчаса и больше сидеть в диспетчерской в ожидании отправки.

Там я и познакомился с комиссаром по делам Учредительного собрания Моисеем Соломоновичем Урицким, небольшим сутулым человеком с близорукими насмешливыми глазами, в старомодном пенсне со шнурочком. Живой и общительный, балагур и неутомимый рассказчик анекдотов, он в любой компании сразу же оказывался в центре внимания. Я любил слушать его веселые истории и норовил попасть в ту же машину, что и Урицкий, даже если для этого приходилось уступать очередь и выезжать позже.

* * *

Начало моей работы в «Известиях» совпало с тревожными днями созыва и роспуска Учредительного собрания.

Открытие его назначили на 5 января (по старому стилю). Это событие ждали все, во всяком случае, вся политически активная часть страны. Но ждали с разными чувствами.

К нам стали поступать сведения о назначенном на день открытия собрания контрреволюционном выступлении. И как бы в подтверждение слухов на стенах домов и заборах появились воззвания «Союза защиты Учредительного собрания» с призывом к организации 5 января широкой «народной» демонстрации. В ответ на эти маневры были приняты меры. В обращении «Ко всем рабочим, солдатам, всем честным гражданам» Петроградский Совет призывал жителей столицы не принимать участия в демонстрации как организуемой с целью свержения власти рабочих и крестьян. В опубликованном в печати постановлении ВЦИК недвусмысленно предупреждал:

«Вся власть в Российской республике принадлежит Советам и советским учреждениям.

Поэтому всякая попытка со стороны кого бы то ни было или какого бы то ни было учреждения присвоить себе те или иные функции государственной власти будет рассматриваться как контрреволюционное действие».

И советская власть не ограничивалась предупреждениями.

Накануне открытия Учредительного собрания в Таврическом дворце и вокруг него были размещены наиболее дисциплинированные красногвардейские отряды и отряды моряков с приказом не допускать к дворцу никаких демонстраций.

5-го (18-го) было воскресенье, редакция не работала, и с утра я отправился на Невский посмотреть, что же творится в центре и на основных по направлению к Таврическому дворцу магистралях.

Невский был полон народа, но в отличие от обычного для воскресений праздничного настроения на лицах прохожих можно было прочесть разные оттенки тревоги, настороженности, ожидания. В районе Литейного я увидел хвост демонстрации, завернувшей с Невского на Литейный и медленно двигавшейся в северном направлении. Среди демонстрантов господствовала молодежь из мелкобуржуазной интеллигенции. У многих в петлицах красные ленточки. На плакатах лозунги: «Да здравствует Учредительное собрание!», «Вся власть Учредительному собранию!», «Да здравствуют избранники народа!» Небольшие группки пытаются петь «Марсельезу», но, не поддержанные другими, замолкают. Не чувствуется ни наступательного порыва, ни веры в победу.

Гораздо больше, чем в рядах демонстрантов, было публики на тротуарах — господа в добротных шубах, щеголеватые чиновники с кантами разных ведомств, хорошо одетые дамы. Толпа явно сочувствовала демонстрантам, но предпочитала держаться на расстоянии.

Вдруг колонна остановилась. Потопталась на месте. Пронесся слух: «Голова демонстрации столкнулась с матросами! В Таврический не пускают!..» Толпа в растерянности продолжала топтаться на месте. Затем параллельно с основной колонной появилось небольшое движение в обратном направлении Сначала группка в 15—20 разъя-

ренных молодых людей. Они шагали от Литейного в сторону Адмиралтейства, потрясая древком от порванного плаката. Вслед за первой появились другие разрозненные группы. Помню, как, взобравшись на пьедестал одного из клодтовских коней, истерически кричала гимназистка, призывая идти к Таврическому дворцу.

— Да здравствует Учредительное собрание! — провозглашала она.

Недалеко от клодтовских коней на деревянном ящике бился в истерике бледный бородатый юноша в синей университетской шинели. Он тоже призывал идти к Таврическому дворцу «поддерживать избранников народа».

Около юных ораторов останавливались на время группы прохожих и, покачав головой, шли дальше, не проявляя ни малейшего желания следовать их призывам. Наоборот, хвост демонстрации подался назад, затем колонна начала стремительно редеть и в течение нескольких минут бесследно рассосалась, смешавшись с толпой на тротуарах. Стало ясно, что атака со стороны Литейного захлебнулась и потерпела поражение.

Вечером в редакции я узнал, что, кроме наступления со стороны Литейного, были попытки прорваться к Таврическому дворцу и с других сторон. Но кончились они провалом.

Мне не удалось попасть на открытие самого Учредительного собрания. Число пропусков для печати ограничили, и, естественно, мне, только что начавшему работать в газете, пропуск не достался.

Но в редакции я узнал подробности этого трагифарса. Он многократно описан в исторической литературе.

* * *

Через четыре дня после разгона «Учредилки» — 10(23) января — в том же Таврическом дворце открылся Третий Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов. Он призван был подвести итоги двух с половиной месяцев революции и решить важнейшие вопросы дальнейшего ее развития. Вместе с другими сотрудниками редакции мне поручили вести отчет, и это дало возможность присутствовать на большинстве заседаний съезда.

Явился пораньше, чтобы осмотреть дворец и занять место получше. Мне удалось обосноваться в первом ряду ложи печати, против президиума и трибуны для ораторов. Это позволило не только хорошо видеть и слышать выступающих, но и обозревать весь зал.

Свыше десяти лет здесь заседал маргариновый парламент царской России — буржуазно-помещичья Государственная дума. Пять дней назад скончалась, не расцветя, контрреволюционная «Учредилка». И вот теперь впервые в истории в комфортабельных креслах дворца — народ, люди в пропахших потом солдатских шинелях, в подбитых ветром пальто, в замызганных крестьянских тулупах. Есть от чего фыркать желчным буржуазным и псевдосоциалистическим журналистам!

В ожидании открытия зал возбужденно гудел. От съезда ждали решения вопросов, которыми отказалось заниматься мертворожденное Учредительное собрание.

Страна бурлила. Если в крупнейших городах и рабочих районах Советы уже победили, то во многих губерниях и особенно на национальных окраинах еще шла трудная борьба за установление советской власти. А на Украине и в Прибалтике, на Дону и Кубани, в Закавказье и Средней Азии либо уже возникли антисоветские правительства, либо зрели очаги контрреволюционных мятежей и восстаний.

Мирные переговоры с немцами в Бресте зашли в тупик. Экономика страны была подорвана. Промышленность и транспорт работали вполсилы. В деревне шла жесточайшая борьба за землю. Население крупных городов голодало.

Выхода из этого положения и ждали от Третьего съезда Советов. На трибуну вышел Свердлов в поношенной кожаной тужурке. Поблескивая пенсне в черной металлической оправе, сильным, легко перекрывающим шум зала, звонким, веселым голосом от имени Центрального Исполнительного Комитета объявил съезд открытым. Председатель ВЦИКа сообщил, что уже прибыли 625 делегатов с решающим голосом, то есть больше, чем было на Втором съезде Советов, и это позволяет считать его вполне

правомочным представителем воли трудящихся Советской России[1]. Зал загремел от бурных аплодисментов. Раздались звуки «Интернационала». Съезд приступил к работе.

В небольшом вступительном слове Я. М. Свердлов охарактеризовал вкратце задачи, стоящие перед делегатами.

Первое заседание было посвящено главным образом приветственным выступлениям гостей — представителей зарубежных рабочих и революционных партий. От имени левых швейцарских социал-демократов выступил Фриц Платтен[2].

— Мое сердце радуется,— с глубоким волнением сказал оратор,— что во главе революционной России стоит правительство, выдвинутое восставшими под знаменем социалистического переворота рабочими и солдатами, правительство, которое своей героической политикой будит народные массы западных стран на такую же борьбу... Угнетенные классы Европы с восхищением следят за движением в России, покуда единственной во всем мире стране, имеющей подлинный революционный парламент.

После Платтена выступили: норвежец Эгиде-Ниссен (впоследствии один из основателей и руководителей норвежской компартии), поляк Лещинский, представители британской социалистической партии, румынских социал-демократов, Литовской социалистической конференции. Выступили американские журналисты Альберт Рис Вильямс и Джон Рид.

Из русских делегатов съезд приветствовали: только что прибывший из Лондона Г. В. Чичерин, представитель Всеукраинского ЦИКа В. Затонский, Михаил Иванович Калинин, начальник отряда моряков матрос Анатолий Железняков.

С особым вниманием выслушал съезд выступление Г. В. Чичерина. Революционер-эмигрант рассказал о влиянии Октябрьской революции на рабочий класс Великобритании, о симпатиях, несмотря на бесстыдную кампанию травли и клеветы, широких масс английского пролетариата к Советской России, о подъеме революционных настроений в Европе.

В ту пору мы каждый день ждали начала революций на Западе, и всякое слово человека, только что прибывшего оттуда и подтверждавшего наши надежды, встречалось с величайшим энтузиазмом.

Одним из ярких впечатлений была речь в те годы еще мало кому известного человека крепкого, спортивного вида, лет тридцати, с открытым взглядом и юношеской улыбкой — Джона Рида.

Его представил съезду американский социалист Рейнштейн, говоривший по-русски. Рейнштейн рассказал, что Рид как сотрудник недавно закрытого в США революционного журнала «Массы» заочно отдан под суд. Его с товарищами обвиняют в агитации против набора в войска и пропаганде восстания в американской армии. Обвиняемым грозит сорокалетнее тюремное заключение. Несмотря на это, Джон Рид решил вернуться в Америку и там продолжать борьбу с реакцией.

Появление на трибуне Д. Рида вызвало бурю аплодисментов. Среди делегатов послышались реплики:

— Американец, а с нами! Едет к черту в лапы! Вот это парень!

Растроганный и смущенный овацией зала, Рид произнес небольшую речь. Он сказал, что черпает глубокое удовлетворение в сознании, что победа пролетариата в одной из крупнейших стран мира не сон, а действительность. И обещал рассказать американским рабочим обо всем, что делается в революционной России.

Как известно, Джон Рид свято выполнил свое обещание, написав замечательную, разошедшуюся в миллионах экземпляров по всему земному шару книгу «Десять дней, которые потрясли мир».

Во время заседаний 13(26) января в съезд влились в полном составе делегаты параллельно созванного III Всероссийского съезда Советов крестьянских депутатов, и

---

[1] К концу съезда общее число делегатов за счет прибывших с опозданием достигло 1587 человек.

[2] Известно было, что весной 1917 года он явился одним из главных организаторов переезда В. И. Ленина и его соратников из Швейцарии в Россию. В 1919 году Платтен участвовал в создании III Коммунистического Интернационала, был членом президиума I его конгресса, позже работал в Исполкоме Коминтерна.

с этого дня он стал именоваться съездом рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Кроме большевиков и стоявших тогда на платформе советской власти левых эсеров, в нем участвовали и некоторые представители обанкротившихся мелкобуржуазных партий: меньшевиков, правых эсеров, эсеров-максималистов, анархистов, которые пытались отстаивать свои позиции. Их выступления дали возможность делегатам воочию убедиться в антинародности этих позиций.

Доклады и речи руководителей Советского правительства горячо одобрялись залом. Часто звучал «Интернационал». Царила атмосфера подъема, радости.

Но самыми волнующими были вечера, когда мы слушали Ленина. На протяжении восьми дней съезда он выступал трижды: с докладом о деятельности Совета Народных Комиссаров, с заключительным словом по докладу и с заключительным словом перед закрытием съезда.

До того я неоднократно видел Владимира Ильича в коридорах Смольного. В нескольких десятках метров от нашей редакции, на том же этаже, в левом крыле здания жили в двух небольших комнатках В. И. Ленин и Н. К. Крупская. И мне не раз приходилось встречать Ильича, своей стремительной походкой — одно плечо чуть вперед — спешащего на очередное заседание или возвращающегося домой. Но до сих пор я не слышал Ленина.

И вот на второй день съезда Свердлов объявил о предоставлении слова для доклада Председателю Совета Народных Комиссаров. Его встретили громом аплодисментов. Начал он удивительно просто.

— Товарищи! — сказал он, чуть-чуть картавя.— От имени Совета Народных Комиссаров я должен представить вам доклад о деятельности его за два месяца и пятнадцать дней, протекших со времени образования советской власти и Советского правительства в России...

Манера, с которой были произнесены эти слова, не столько поразила, сколько удивила своей необычностью. Мне приходилось слышать крупных политических деятелей, адвокатов, лекторов, среди которых были блестящие трибуны, в совершенстве владевшие приемами ораторского искусства и умевшие вызывать энтузиазм слушателей. Но в этих выступлениях всегда чувствовался какой-то элемент актерства, профессионального ремесла. В Ленине не было ничего от этого «профессионализма». Ленин говорил деловито, раскрывая грандиозность событий, свидетелями и участниками которых мы являлись.

— Два месяца и пятнадцать дней,— чуть повышая голос, сказал Ленин,— это всего на пять дней больше того срока, в течение которого существовала предыдущая власть рабочих над целой страной, или над эксплуататорами и капиталистами,— власть парижских рабочих в эпоху Парижской Коммуны семьдесят первого года...

Суть не в сроках, развивал свою мысль докладчик, а в неизмеримо более удачном положении советской власти в сравнении с Парижской коммуной, несмотря на неслыханно сложные условия в обстановке войны и разрухи... Мы находимся в гораздо более благоприятных обстоятельствах, заражая своей уверенностью в победе тысячную аудиторию, утверждал Ленин, потому что русские солдаты, рабочие и крестьяне сумели создать советскую власть и эта власть пользуется сочувствием и самой горячей, самой беззаветной поддержкой гигантского большинства масс. Поэтому советская власть непобедима.

Постепенно голос Ленина крепнул, наливался физически ощутимой энергией. Слова оставались простыми, понятными, насыщенными могучей волей и величайшей убежденностью гения, они убеждали слушателей своей неотразимой логикой. Моментами, когда речь касалась врагов революции — буржуазии, саботажников, псевдосоциалистов,— в голосе возникали нотки иронии, переходившие в сарказм.

Зал слушал затаив дыхание.

В полуторачасовом докладе Владимир Ильич затронул много вопросов: о значении советской формы диктатуры пролетариата, о важности союза рабочего класса и крестьянства, о необходимости защиты завоеваний революции и создании сильной Красной Армии, о рабочем контроле в промышленности и налаживании производства, о национализации банков.

Но особенно врезались в сознание два мотива, неоднократно возникавших в вы-

ступлениях Ленина: массы, революционный народ — вот источник силы и непобедимости советской власти; интернациональное значение Октября как важнейшего этапа мировой революции.

Он призывал трудящихся смелее брать в свои руки управление государством и всей общественной жизнью страны.

Рабочие и крестьяне, говорил Владимир Ильич, еще недостаточно верят в свои силы, еще слишком привыкли ждать указки сверху. Но мы убеждены в том, что с каждым шагом советской власти будет выделяться все большее и большее количество людей, освободившихся от старого буржуазного предрассудка, будто не может управлять государством простой рабочий и крестьянин.

— Может и научится, если возьмется управлять!—под гром аплодисментов сказал Владимир Ильич.

Каким жалким и пошлым лепетом прозвучали выступления представителей оппозиции, пытавшихся полемизировать с Лениным.

Выступил лидер меньшевиков Ю. Мартов. Долго и нудно убеждал он делегатов, что Парижская коммуна была «правильней» Октября, так как-де она избегала насилия, и призывал советскую власть вернуться к тактике Парижской коммуны.

В заключительном слове Владимир Ильич не оставил камня на камне от аргументации Мартова и других «возражателей». Под смех всего зала с непередаваемой иронией он высмеял «жалких человеков в футляре», которые все время стояли далеко от жизни, спали и, заснув, под подушкой бережно держали старую, истрепанную, никому не нужную книжку, которая является для них путеводителем и учебником в деле насаждения официального социализма...

Как негодную ветошь Ленин отбросил в сторону попытки кабинетных политиков остановить революционную поступь народа, воздвигнув перед ним баррикаду из устаревших догм. И здесь Ильич снова подчеркнул гигантскую роль творческих сил трудящихся.

— Ум десятков миллионов творцов,— сказал он, и в его голосе зазвучал пафос,— создает нечто неизмеримо более высокое, чем самое великое и гениальное предвидение...

На последнем, заключительном заседании съезд принял Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа, одобрил деятельность ВЦИКа и Совнаркома, а также предложенные партией большевиков резолюции по национальному вопросу, «О федеральных учреждениях Российской республики», принял за основу «Закон о земле», избрал новый состав ВЦИКа.

Съезд закрылся заключительным словом Владимира Ильича.

Высоко оценив значение съезда как высшего органа, закрепившего организацию новой формы государственной власти, его огромную роль для международного революционного движения, В. И. Ленин нарисовал увлекательную перспективу, открытую Октябрем перед нашим народом, а впоследствии и перед всем человечеством.

Воодушевленные пламенной ленинской верой в непобедимость революции, вооруженные решениями съезда, делегаты «пролетарского Учредительного собрания» разъехались по необозримой стране подымать народ на борьбу за создание невиданного в истории социалистического государства.

* * *

18 февраля стало известно о начале немецкого наступления: был занят Двинск (нынешний Даугавпилс) и отмечено продвижение немецких частей на других участках фронта.

19-го Совет Народных Комиссаров отправил радиограмму правительству Германской империи о согласии подписать мир на немецких условиях. Немцы продолжают наступление, заняты Минск, Луцк, Ровно...

У нас в редакции подавленное настроение. Мы продолжаем читать, править, размечать, но знаем не больше наших читателей. Не знаем ни что происходит в ЦК, ни что творится на фронте. Стеклов забегает на час, пишет передовую и, никого не информируя, исчезает до завтра. Малкин целыми днями сидит за столом редактора, зажав голову руками (он страдает мигренями), и механически листает гранки.

В ночь на 22 февраля из Бюро печати принесли бюллетень с только что принятым правительством декретом с заголовком, который до боли резанул сердце:

«СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ ОТЕЧЕСТВО В ОПАСНОСТИ!

Чтоб спасти изнуренную, истерзанную страну от новых военных испытаний, мы пошли на величайшую жертву и объявили немцам о нашем согласии подписать их условия мира.

НАШИ ПАРЛАМЕНТЕРЫ 20(7) ФЕВРАЛЯ ВЕЧЕРОМ ВЫЕХАЛИ ИЗ РЕЖИЦЫ В ДВИНСК, И ДО СИХ ПОР НЕТ ОТВЕТА.

Немецкое правительство, очевидно, медлит с ответом. Оно явно не хочет мира. Выполняя поручение капиталистов всех стран, германский милитаризм хочет задушить русских и украинских рабочих и крестьян, вернуть земли помещикам, фабрики и заводы — банкирам, власть — монархии.

Германские генералы хотят установить свой «порядок» в Петрограде и в Киеве.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА СОВЕТОВ НАХОДИТСЯ В ВЕЛИЧАЙШЕЙ ОПАСНОСТИ».

Через три дня «Правда» опубликует статью В. И. Ленина «Тяжелый, но необходимый урок»:

«Мы — оборонцы теперь, с 25 октября 1917 г., мы — за защиту отечества с этого дня. Ибо мы доказали *на деле* наш разрыв с империализмом. Мы расторгли и опубликовали грязные и кровавые империалистские договоры-заговоры. Мы свергли *свою* буржуазию. Мы дали свободу угнетавшимся *нами* народам. Мы дали землю народу и рабочий контроль. Мы — за защиту Советской социалистической республики России».

Но как защищаться без армии или, что еще хуже, с вконец разложившейся армией, панически бегущей с фронта?

Н. В. Крыленко, выполнявший обязанности верховного главнокомандующего, докладывал на заседании Петроградского Совета: войска отходят стихийно, не оказывая сопротивления. Волны беженцев запрудили железные дороги и грозят парализовать весь транспорт. Надвигается голод. Необходимо поднять энергию масс, мобилизовать рабочих и организовать отпор. Необходимо навести порядок. Нужно мобилизовать лучших пропагандистов и направить в армию и на места...

Объявляется запись добровольцев в Красную Армию, открываются вербовочные пункты. Впредь до особого распоряжения приостанавливается демобилизация армии.

23 февраля становится известно о полученной накануне радиограмме генерала Гофмана: ответ германского правительства вручен в Уцянах нашему курьеру, который немедленно отправился в обратный путь.

В ночь на 24-е состоялось бурное обсуждение новых, значительно ухудшенных условий мира на заседании ВЦИКа. Ленин и его сторонники защищали необходимость принятия их. Пусть этот мир угнетательский и несчастный, но нам надавили коленом на грудь и наше положение отчаянное. Сопротивление в настоящее время невозможно. Приходится принять этот мир как передышку, которая даст нам возможность подготовиться к решительному отпору буржуазии и империализму.

Незначительным большинством (116 за, 86 против, 25 воздержавшихся) ВЦИК поддержал точку зрения Ленина.

24 февраля Берлин извещается о принятии Советским правительством новых немецких условий мира. В Брест-Литовск выезжает наша мирная делегация для его подписания.

Но германское наступление продолжается. 24-го и в последующие дни, несмотря на протесты советской мирной делегации, части генерала Гофмана продолжают продвигаться на восток.

24-го ими заняты Юрьев (Тарту), Остров, Псков.

25-го — Борисов и Ревель (Таллин).

На северном участке фронта угроза нависла над столицей страны и цитаделью революции.

На рассвете 26 февраля Петроград проснулся от прерывистого, взволнованного рева фабричных гудков: партия созывала рабочих на предприятия, чтобы предупредить о грозной опасности и призвать к мобилизации всех сил.

На предприятиях начали срочно создаваться добровольческие отряды для отправки на фронт и рытья окопов на подступах к Петрограду. Была объявлена мобилизация автомашин и других видов транспорта. Было введено круглосуточное движение трамвая.

Город ощерился и готовился к бою.

Смольный не прекращал работы ни на час: непрерывно подходили представители фабрик и заводов, красногвардейских и матросских отрядов, райкомов партии, райсоветов с сообщениями о положении на местах, числе записавшихся добровольцев, наличии оружия, за распоряжениями о дальнейших действиях, за информацией...

Но с информацией дело обстояло из рук вон плохо. Особенно о положении на фронте. Вчера немцы вступили в Псков. Где же они сегодня? Ни у нас в редакции, ни в ПТА, ни в Бюро печати СНК никто не знает.

По поручению Мордвинкина я пробую получить сведения у председателя Петроградского совета Г. Е. Зиновьева. Его кабинет на том же втором этаже наискосок от «Известий». Вход свободный, секретарь куда-то отлучился. Взволнованный Зиновьев сидит один в глубине комнаты, просматривая бумаги.

— В чем дело? — раздраженно, высоким тенорком спросил он, взглянув на меня.

— Григорий Евсеевич, я из «Известий». Редакция просит вас сказать несколько слов о текущем моменте, о положении на фронте.

— Интервью! — вскипел Зиновьев.— Мы не знаем, доживем ли до завтра, а вы тут лезете с интервью. Скажите Стеклову, чтобы не посылал с пустяками!

Я сообщил ответственному секретарю редакции о неудачном визите.

— По-видимому, он тоже ничего не знает,— утешил Мордвинкин.— А не попробовать ли нам приступить к организации собственной информации? — сказал он, подумав, и вопросительно уставился на меня.— Утром вы говорили, что собираетесь записаться в Красную Армию, идти на фронт. А почему бы не поехать от нас корреспондентом? Будете первым собкором «Известий», да еще военным собкором. Не правда ли, здорово?

Этот разговор был 27 февраля. Я действительно собирался записаться добровольцем в только что начавшую формироваться Красную Армию. Но предложение Мордвинкина мне очень польстило, и после короткого размышления я согласился...

Через два дня, снабженный мандатом и прикомандированный к штабу путиловско-юрьевского отряда, отправляющегося на ямбургско-нарвское направление, с головным эшелоном отряда я ехал на запад, навстречу наступающим немцам.

* * *

Эта первая корреспондентская командировка оказалась непродолжительной.

В день отъезда из Питера положение на фронте оставалось неясным. По одним сведениям немцы продолжали нажимать. 1 марта они даже совершили налет на Петроград: бомбы упали на Фонтанке — трое убитых, пять раненых. Однако по другим данным наступление как будто приостановлено. Нарвский ревком рапортовал по прямому проводу, что в городе спокойно, идет формирование отрядов Красной Армии, настроение боевое, готовы к отпору врагу! На поверку рапорт оказался излишне оптимистичным. Когда через полтора дня, утром 3 марта, наш эшелон подошел к Ямбургу (двадцать километров не доезжая Нарвы), выяснилось, что Нарва оставлена защищавшими ее отрядами Дыбенко и они отходят к Ямбургу.

Связи с Дыбенко не было, и о происходящем на фронте имелись самые туманные сведения. Пришлось разгружаться в Ямбурге, и наш путиловско-юрьевский отряд с ходу занял оборону вокруг города.

Я отправился в ревком. Председатель ревкома эстонский большевик Кингисепп, спокойный, медлительный человек лет тридцати, объяснил обстановку:

— Что сейчас на фронте, мы не знаем. Позавчера шли бои к западу от Нарвы, но пришлось отступить. Телефонная связь прервана, разведка не вернулась. По непроверенным данным, город ничейный. Мы эвакуировались, а немцы не вошли. Готовимся к отпору на новом рубеже.

Согласовав с Кингисеппом текст, я отправил свою первую телеграмму в два адреса: в редакцию «Известий» и в Бюро печати Совнаркома. В ней я сообщил о сосредоточении наших сил у Ямбурга, об объявлении в городе осадного положения и привлечении местной буржуазии к трудовой повинности. «Настроение бойцов,— заканчивалась телеграмма,— несмотря на потери, бодрое. Есть надежда на успех».

Однако уже на другой день прошел слух, что мирный договор подписан и военные действия прекращаются.

6 марта было получено официальное подтверждение о подписании мира. В отряде Дыбенко, в большинстве состоявшем из «левых» коммунистов, левых эсеров, анархистов, началось брожение:

— Позор! Лучше умереть в бою, чем мир на коленях! Не допускать ратификации! Едем протестовать к Крыленко!

Эти настроения были широко распространены и в других отрядах.

На митинге была выбрана делегация с наказом: срочно выехать в Смольный, добиться свидания с главковерхом, потребовать разрыва с немцами. На следующий день специальным поездом делегация отбыла в Петроград. С ней выехал и я за указаниями: что же делать дальше? Но инструкций получать было не у кого: шла срочная эвакуация в Москву. Редколлегия и Мордвинкин уже уехали, оставшаяся часть редакционного аппарата готовила последние петроградские номера.

С очередным эшелоном отправили в Москву и меня...

Так закончилась моя работа в Смольном.

Так началась моя журналистская деятельность в качестве корреспондента «Известий», ПТА, Бюро печати СНК, РОСТА...

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Н. ГЕЙ

★

СЛОВО ПОЛНОЦЕННОЕ И СЛОВО ОБЕСЦЕНЕННОЕ

Размышления о стиле

1

Если хотя бы бегло просмотреть периодические и непериодические издания последних лет, то за обширностью тематики и проблематики не сразу можно выделить ведущие линии в разговоре, расположить в определенном отношении эти статьи и рецензии, критические и писательские выступления, дискуссии и обсуждения.

О чем только не пишут и не спорят!

Сам по себе этот факт достаточен, чтобы засвидетельствовать несомненное повышение литературно-критической и литературоведческой активности. Круг мнений обширен. И, разумеется, есть своя логика в живом обмене идей. Более того, вполне возможно сгруппировать обширный материал, обратившись к определенному критерию отбора.

В данном случае, не претендуя на исчерпывающую систематизацию критических выступлений, на всестороннее их рассмотрение, отметим, что устойчиво и явственно внимание стягивается к двум-трем большим тематическим областям. Каждая из них имеет свой особый предмет и свои повороты мысли, и вместе с тем они представляют в той или иной мере интерес и для обсуждения темы, означенной в подзаголовке данной статьи.

Наметим в самых общих чертах эти области.

Сейчас трудно найти общественно-литературное издание, которое не отдавало бы должного актуальности комплексного рассмотрения многих подчас далеких и, несмотря на это, связанных между собой аспектов общего разговора. В первую очередь такой разговор обращен к судьбам планеты, жизни всего человечества. Перед нами, безусловно, одна из существеннейших проблем, о которой говорят общественные деятели, ученые, писатели, критики, всесторонне обсуждая действенную роль культуры, идей гуманизма в век НТР. Эта проблематика чрезвычайно тесно, многими нитями связана с исследованием смежных вопросов, и в частности современной литературы, ее героя, ее целенаправленности. Пишущие на эти темы размышляют о месте искусства в жизни современного человека, об этических и эстетических идеалах эпохи, о «деловых» и «неделовых» людях, о национальном характере, об историзме и историческом содержании народной жизни и т. д. и т. п.

Другой не менее актуальной, весьма обширной областью обсуждений и споров является непрекращающийся диалог о науке и искусстве, о внутренней корреляции критериев истины и красоты, о взаимоотношениях научного и художественного сознания, научной и художественной картины мира в их притяжении и отталкивании друг от друга, о месте точных знаний в изучении искусства и интуитивных, фантастических начал в научном постижении природы вещей, о парадоксе как принципе мышления о мире и человеке в научных и эстетических категориях, о пределах количественной интерпре-

тации художественного и эстетического содержания искусства, о «секрете художественности» и т. д. и т. п. И наконец, узел тем и проблем, постоянно затрагивающихся на страницах периодики. Здесь встретишь обсуждение закономерностей творчества и индивидуальных художественных решений, необходимого и неповторимого в них. И в этой связи, конечно же, разговор о богатстве и многообразии писательских решений, о назревшей потребности художественного синтеза и нехватке обобщения и осмысления изображаемого.

Отражая стремительный стилевой взрыв в литературе, критика переживает, в свою очередь, взрыв интереса к проблематике, трактующей это явление. Появляются все новые статьи и книги о содержательности художественной формы, о поэтике и стиле, внутренних связях и соотношениях стилевых и поэтических структур, о творческих течениях и индивидуальных стилевых разновидностях, о стилевом своеобразии отдельных прозаиков, поэтов, драматургов, об особенностях так называемой лирической, документальной, интеллектуальной, деревенской литературы, о романтическом направлении в современной литературе, о художественной условности, о показе жизни в формах самой жизни, о выражении национального своеобразия искусства. Перечень этот не так уж трудно продолжать и дополнять, дифференцируя хотя бы только названные аспекты.

Критическая мысль столкнулась с натиском живого процесса литературного развития, оказалась перед стремительным возникновением новых форм и разновидностей письма, жанров, индивидуальных манер, ритмов повествования, эмоционального настроя и общей атмосферы произведений. Возникла потребность обсудить эти явления, методы их классификации, систематизации и обобщения при заботливом учете индивидуальной неповторимости найденных художественных решений.

Другими словами, образовался целый ряд крупных проблемно-тематических регионов, «проблем-галактик», охватывающих самые разные уровни творчества от предмета изображения и художественного содержания до мельчайших элементов формы, поэтики, языка писателя.

Вопросы достаточно масштабные. И вполне возможно, что в иных случаях трудно уловить существование связей и соединительных звеньев между неутихающими баталиями, например, «лириков» и «физиков»[1] и, скажем, исследованиями природы классического стиля Пушкина. Более того, казалось бы, тут нет и не может быть соприкосновения в каких-то общих точках.

И тем не менее это не так. Стоящие за «проблемами-галактиками» реальные жизненные, гносеологические, общественные закономерности столь всеобъемлющи, а в чем-то и универсальны, что было бы скорее странно видеть названные проблемы изолированными и обособленными друг от друга.

Да, обсуждаемые вопросы по-своему всеобъемлющи. Они подсказаны и обусловлены потребностями жизни и литературного развития. И, возможно, мы получим известный прирост знаний, если задумаемся и о внутренней их обращенности друг к другу.

2

Трудно представить «Войну и мир» Толстого и получить достаточно полное понимание романа без того, чтобы не вторгнуться в области философии, истории, исторической науки, и в частности военной истории, от ее самых общих политических, социальных аспектов и до сугубо конкретных стратегических и тактических. Творчество другого крупнейшего писателя, Достоевского, оказалось в непосредственном соприкосновении с комплексом психологических и социальных дисциплин, изучающих внутренний мир, поведение и поступки человека, детерминированность и подсознательные уровни человеческих отношений и многое другое. Литература XX века, и в частности творчество Томаса Манна, выдвинула в качестве реальной художественной проблемы безвозвратно ушедшие в прошлое, как думалось многим, приемы мифотворчества. Современники романа «Иосиф и его братья» увидели в возрожденном и совершенно обновленном способе воссоздания художественного мира огромный гуманистический и политический потенциал.

Творческий опыт Горького, Маяковского, Блока, Есенина, Шолохова и других совет-

[1] В данном случае мы пользуемся этими метафорическими терминами для обозначения не тех поверхностных словопрений, которые носили по преимуществу экстравагантный характер, но для обозначения серьезных по своему предмету точек зрения, нашедших выражение, например, в книге английского писателя и ученого-физика Ч. П. Сноу «Две культуры» (М. «Прогресс». 1973).

ских писателей, продолжая сделанное Толстым, Достоевским, Некрасовым, по-новому, в новых исторических условиях поставил во главу угла социальное содержание изображаемой жизни, заставил заговорить о социологическом изучении самого искусства.

Наконец, совершенно особый круг вопросов возник и вызвал горячие дискуссии в связи с новым подходом к пониманию и изучению искусства с позиций системного, структурного анализа его содержания и формы.

В результате постоянных поисков происходит расширение границ творчества, а также путей и средств исследования самого искусства. И тут возникает и властно требует обсуждения еще целый ряд специальных проблем и вопросов.

Рождение искусствометрии сопровождалось распространением точных методов на рассмотрение художественного творчества. Однако автоматическое перенесение методологических принципов, добытых наукой при изучении неэстетических систем, на интерпретацию произведения искусства ведет зачастую к тому, что последние выступают лишь как «частный случай» всеобщего правила. Собственно говоря, прироста знания при таком повороте дела не происходит. Исследователь находит в предмете исследования лишь своеобразное подтверждение исходного постулата, то есть найденного и разработанного на «территории» науки и примененного к искусству. В этой связи довольно широкое хождение получила такая трактовка проблемы, согласно которой высокая культура мышления — принадлежность именно научной мысли, что же касается искусства, то оно раскрывает выявленные тенденции на материале жизни. И удел искусства — «работать на науку»[2].

Однако искусство, естественно, подтверждая самые общие закономерности как на материале изображаемой жизни, так и на «территориях» собственно художественного ее освоения, вместе с тем не исчерпывается лишь этим. В противном случае тотчас обнаружилась бы «ненужность» совместного многовекового и, как свидетельствует история, плодотворного сосуществования научной и художественной интерпретации мира. Наука и искусство, постоянно взаимодействуя и взаимоотталкиваясь, идут рядом, никогда не заменяя без остатка одно другим: «...искусство — это самостоятельная область духовной жизни, а не нечто дополнительное к завоеваниям науки»[3].

Не вдаваясь далее в круг во многом не решенных вопросов теории познания и эстетики, обратимся к конкретному суждению интересно думающего армянского критика А. Григоряна. Он прямо и непосредственно связал некоторые принципы научного и художественного мышления с конкретным пониманием и изучением природы и специфики литературного стиля. Если «исходить, — говорит он, — из того, что человеческое сознание едино и в конечном счете вбирает в себя все формы сознания — научного, философского, логического, эстетического, мифологического, художественного, — придется, очевидно, признать, что художественное сознание вписывается в этот ряд не полностью и не исчерпывает себя в нем. Оно свободно, неожиданно, парадоксально, неканонично даже в самых строгих своих построениях». Продолжая свою мысль, критик пишет: «Именно в этом таинственном и в то же время содержательном «остатке» и следует искать разгадку художественного стиля»[4].

Мысль верная в существенном своем повороте, потому что стиль в искусстве представительствует и от предмета изображения и от творческой индивидуальности, раскрывая неповторимое и вместе с тем значимое, смысловое целое самого этого сопряжения объективного и субъективного.

Но есть в приведенном суждении и неточность. А. Григорян сводит природу стиля лишь к «остатку», лишь к тому в искусстве и литературе, что лежит за пределами научной сферы, не имеет с ней точек соприкосновения. Но по природе своей стилю свойственно проникновение в сферы целостного освоения мира, и потому стиль не изолирован последовательно и «повсеместно» от постижений и таких сторон жизни мира и человека, с которыми приходится иметь дело науке; мир по-своему становится содержа-

[2] См., например, полемику по этому поводу Б. Рунина с И. Забелиным (Б. Рунин, «Пути творчества. Заметки о соотношении научного и художественного мышления». «Вопросы литературы», 1964, № 8).

[3] П. Н. Федосеев. Плодотворная инициатива. В сборнике «Художественное и научное творчество». Л. 1972, стр. 7.

[4] А. Григорян, В. Кожинов, «У истоков стилевого многообразия (Критический диалог)». «Дружба народов», 1975, № 8, стр. 263.

нием и научного познания, и по-своему — содержанием художественного.

И тут мы подходим вплотную к выводу о невозможности ни отождествления этих разнородных сфер, ни их абсолютного разграничения. Собственно говоря, значение эстетических предпосылок для проникновения в самую глубь научных основ мироздания, «миродержавных» принципов заявляет о себе с настоятельной очевидностью. Однако именно здесь и возникают самые большие и до конца не преодоленные трудности. Обойти их, преодолеть как бы единым броском в известной мере естественное стремление. И все-таки оно приводит иной раз к эффектным, но облегченным утверждениям вроде следующего: скрипка, дескать, у Эйнштейна «была не только любимым музыкальным инструментом, но и в какой-то степени инструментом познания»[5]. Однако существо рассматриваемого нами соотношения не может быть выведено наружу с помощью хотя бы заманчивой метафоры. Нерасторжимая связь целостного ядра познания и с искусством и с наукой, собственно говоря, и начинается с того момента и в той точке, когда улавливается, зачем нужна ученому скрипка именно как музыкальный инструмент, то есть в своем собственном непосредственном проявлении, что она вносит «от себя» в процесс познания, какой дополнительный свет проливается при этом на совместное сосуществование и науки и искусства.

Весьма определенно и ясно на их принципиальную взаимосвязанность указывалось еще Луначарским: «...музыка с необыкновенной силой и чистотой отражает некоторые важнейшие законы и космоса, и человеческого общества, и человеческой натуры»[6].

И здесь требуется не схематическое разграничение и не внешнее «наложение» друг на друга сферы науки и сферы искусства. При таком наложении несовпадающее как раз и бросается прежде всего в глаза. Но, доставляя хлопоты и затруднения сторонникам исчерпывающих, логически завершенных построений, даже совпадающие объемы сохраняют специфичные особенности каждой из сфер. Они не сливаются вместе, а скорее «просвечивают» одна сквозь другую. И поэтому не только «остаток», но и то, что находится на общей «территории» и принадлежит потому как бы одновременно и той и другой сфере, все-таки выявляет разные свои стороны, способствует взаимообогащению этих сфер.

Правда, гораздо легче представить, что́ может дать наука искусству, его изучению, менее ясно, хотя об этом существует немало соображений и гипотез, — что́ дает искусство науке. Эйнштейн в музыке видел прообраз миродержавного гармонического принципа. Считая Нильса Бора человеком гениальной интуиции, творец теории относительности определил эту интуицию как наивысшую музыкальность в области мысли. Он писал о Ньютоне как о человеке, сочетавшем в одном лице «экспериментатора, теоретика, мастера и — не меньше — художника в изложении», с восхищением говорил о простоте и «поистине художественном стиле, присущем всем работам Планка». Возникла целая литература, посвященная высказыванию Эйнштейна по поводу творчества Достоевского, предлагается множество истолкований и объяснений удивительных слов: «Достоевский дает мне больше, чем любой мыслитель, больше, чем Гаусс». Интерпретации ошеломляющего высказывания начинаются с рассмотрения устремленности к гармоническому идеалу великого русского писателя и его исследовательского пафоса и кончаются прослеживанием приверженности автора «Братьев Карамазовых» к парадоксу и контроверзе на фоне гармонического принципа мироздания[7].

Уже из этих гипотез (далеко не всегда точных) намечается представление о корреляции научной истины и принципов гармонии, простоты, красоты в их эстетическом изменении. Красота научной теории, по мнению П. Дирака, получившему широкое распространение, один из несомненных показателей ее истинности. Макс Борн еще более решительно утверждал, что математики исходят из логических, но также и из эстетических точек зрения и развивают из них удивительные образы.

Необходимым продолжением сказанного, естественно, должно быть признание плодотворности сотрудничества «двух культур» — научно-технической и эстетико-художест-

[5] И. Забелин, «О культуре мышления». «Новый мир», 1961, № 1, стр. 165.

[6] А. В. Луначарский. В мире музыки. Статьи и речи. М. «Советский композитор». 1958, стр. 124.

[7] См. об этом Б. Г. Кузнецов, «Эйнштейн и Достоевский» в кн.: Б. Г. Кузнецов Эйнштейн. Жизнь, смерть, бессмертие. М «Наука». 1972.

венной. И действительно произошли и происходят несомненные сдвиги к сближению, казалось бы, противоположного и несоединимого. Физики, электроники, конструкторы атомных реакторов, самолетостроители, градостроители, архитекторы и деятели других специальностей чаще и настоятельнее сходятся в признании, что для всесторонних решений научных и технических задач в наше время уже недостаточно усилий только ученых и только инженеров. «В этой работе должны участвовать и художники. Со свойственной им интуицией они должны даже принимать участие в решении самых сложных конструктивных задач» [8].

Но речь, видимо, может и должна идти о большем. Становится возможным говорить как о плодотворности сотрудничества, так и о принципиальной соотнесенности научной и художественной картины мира, о чрезвычайно существенном значении эстетического начала в создании универсальной научной теории. Все здание научной истины можно возвести, любил говорить Эйнштейн, из камня и извести ее же собственных учений, расположенных в логическом порядке. Но, продолжал он, чтобы осуществить такое построение и понять его, необходимы творческие способности художника.

Дело не ограничивается, таким образом, познавательной спецификой искусства, функционированием научной, «точной» структуры знания внутри эстетического и художественного отражения жизни. Суть вопроса предполагает также, что в «художественность» уходят многие корни мышления и процессов творчества. И, однако, многое еще надолго останется не разгаданным до конца, коль скоро специалисты вынуждены констатировать «загадочную гармонию природы» [9] и не менее загадочную природу гармонии. Из сказанного возникает предпосылка для дальнейшего: наличие взаимной сориентированности истинного и прекрасного, объективного и творческого начала. И без этой взаимной обращенности друг к другу, видимо, не могут обойтись ни наука, ни искусство, о чем свидетельствуют крупнейшие авторитеты научной мысли. Эйнштейн стремился к созданию целостной универсальной теории поля, она не представлялась ему осуществимой без всеобъемлющего творческого опыта человечества.

Итак, речь идет о научном синтезе, который немыслим без учета таких общеэстетических категорий, как целое, прекрасное, гармоничное и простое. В них зафиксированы необходимые моменты «осуществления истины», на которых покоится критерий «внутреннего совершенства» теории. Речь идет вместе с тем и о художественном синтезе как сугубо эстетическом феномене, о целостном и ценностном свойствах произведения, а следовательно, и о таком феномене творчества, как стиль. В стиле и находит осуществление и завершение произведение искусства. В неразложимом стилевом единстве реализуется обязательное закономерное начало творчества и неповторимое индивидуальное его выражение. Другими словами, в стиле реализуют себя особые явления, которых не знает научное мышление. Субъективное, индивидуальное и неповторимое в средствах и способах познания истины со всей очевидностью остаются за пределами научного содержания, за рамками предмета науки.

И трудность заключается в идее необходимого сосуществования науки и искусства, сосуществования плодотворного, но глубоко противоречивого одновременно благодаря их внутренней обращенности друг к другу и одновременно с этим их противостоянию и даже противоборству. Вот это принципиальное несовпадение при наличии принципиальной же соотнесенности и представляет особый интерес именно в связи с предметом настоящего разговора — проблемой стиля. Оно получает существенные для себя аспекты, будучи поставлено в самый широкий методологический контекст исканий современной мысли.

Напомним принадлежащие Эйнштейну характеристики специфики научного постижения мира, которое в сравнении с художественным его освоением может, по-видимому, быть сведено к двум моментам. Первый — утверждение математического и логического формализма в структуре научной мысли. Второй связан с утверждением объективированно-обобщенного научного содержания, свободного от всего случайного и индивидуального («Содержание науки можно постигать и анализировать, не вдаваясь в рассмотрение индивидуального развития ее создателей»).

---

[8] Мишель Рагон. Города будущего. М. «Мир». 1969, стр. 177.

[9] А. Эйнштейн. Физика и реальность. М. «Наука». 1965, стр. 108.

Хотя бы частичное распространение этих принципов на искусство ведет не к сближению его с научной сферой и выявлению некоего общего для них основания, а к умалению искусства, к отрицанию его самобытной природы и того, что мы назвали бы художественным самоосуществлением. Так и получается, когда считают, например, что лучшая поэзия — это «замысел» поэзии, а лучшая проза — это «замысел» прозы, то есть как бы ее проект, ее внутреннее, бесплотное существование, как чистая эманация, которая теряет в своей истинности, когда отягощается материей и формой[10].

Перед нами выражение тоски по «чистому» смыслу искусства, объективированному и абстрагированному в суммарно-обобщенном замысле, как формула целого; стремление свести произведение к одной или немногим общим истинам, а все остальное отнести к разряду литературного оформления или иллюстрации истины, природа которой уловима в константных точках посредством только научного фиксирования и зыбко-неуловима в художественном слове, в его живом бытии.

Подобная позиция в конечном счете ведет к умалению искусства и ставит под сомнение его самостоятельное значение. Горький неоднократно отмечал невозможность проникнуть в некоторые сферы и аспекты человеческой жизни иначе чем посредством искусства, потому что только оно может дать представление о таких вещах, которые для науки просто не существуют. И в этом смысле ценностная, аксиологическая сторона искусства не свод оценок, не иерархия их, не табель о рангах, а как раз одно из проявлений во внутренних характеристиках произведения подлинных жизненных и человеческих ценностей. И смысл эстетической истинности произведения реализуется в его целостном осуществлении и тем самым, в частности, в его стиле.

Если наука, как уже говорилось, не существует без свойственного ей языка, понятий и символов, без математического и логического формализма, то искусство также невозможно без своего, так сказать, «художественного формализма», без особых средств освоения и осмысления жизненного содержания, без которых оно, это содержание, для нас просто не существует.

Содержательная художественная форма совершенно не похожа на искусственную конструкцию. В отличие от последней она представляет не преграду на пути к истине, а предстает как бы самим этим путем к постижению сущностных сил бытия. При этом существенно содержательными оказываются и индивидуальные различия писательских решений. И стилевое решение в подлинно художественном произведении становится необходимым моментом поэтического освоения мира.

Чтобы конкретизировать сказанное, сошлемся на художественную практику Пушкина.

У настоящего писателя его художественный мир не просто аналог большого мира человеческой жизни и жизни человечества, но и особая интерпретация мира и человека. Первоначальная интерпретация действительности, естественно, происходит уже на уровне языка, в его строе, в его логике. Хотя нельзя согласиться со взглядами, согласно которым, подчиняясь закону «вербализации», сознание видит прежде всего не реальный предмет, а проекцию языка на умопостигаемый мыслью мир. Объективные константы мира, человеческого бытия входят не только в язык писателя, но и в его поэтику, в его стиль. Пушкин не хотел «мечтою... целый мир назвать». Его искусство — с прочными объективными константами. В нем предмет изображения и художественная идея, особое художественное видение мира и человека оказываются необходимо сопряженными в самой своей сущности.

Сейчас исследователи глубже и глубже постигают фантастические, по существу, возможности, открывающиеся в бесконечной простоте и безыскусственности художественной формы, в гармоническом принципе классического стиля. Простота в стиле Пушкина оказывалась действеннейшим средством постижения сложнейших, почти не объясненных при его жизни исторических эпох, народных характеров, а гармонический принцип позволяет охватить в целостном виде динамику противоборствующих процессов и сшибку противоречий. Оставаясь неразложимым свойством языка, поэтики, стиля, художественной формы, пушкинская простота и гармония несомненно нечто теряют при переводе на другие языки (особенно в плане своей уни-

[10] См. «Иностранная литература», 1973, № 1.

версальной всесторонней содержательности). В результате возникает некая преграда для пушкинского наследства при его вхождении в контекст мировой литературы. Открытия пушкинского стиля в чем-то очень существенном далеко не всегда доступны для иноязычного читателя.

Методологическое значение гармонического и целостного «открытия мира» Пушкиным становится особенно очевидным, если иметь в виду, что многие философские системы, будь то неокантианство или «философия жизни», неопозитивизм или прагматизм, лишены возможности целостного осмысления бытия. Исходя из недоступности якобы мирового целого сознанию, соотнеся действительность и опыт как бесконечную непрерывность и конечную дискретность, многие философы считают целостность мира, его единство «вечной загадкой», чудом, которое выше всякого разумения. Всякий раз когда с этих позиций пытаются все-таки сформулировать понимание принципа единства, то сразу уходят от богатства и множественности к однозначной бедности схемы. Особое значение категория целого приобрела в «философии ценностей» применительно к области человеческой культуры[11]. Альберт Швейцер в книге «Культура и этика» подчеркивал, что понятие целого наиболее труднодоступно для современного состояния западной культуры, которая развивается в условиях антагонизмов. Он писал: «И поскольку нам недостает осмысленного представления о том ц е л о м, которое надлежит реализовать, наша активность капитулирует перед понятием естественно протекающего события».

Пушкин своим стилем, своим гармоническим постижением жизни как раз проникал в тайны «чуда» и «вечной загадки». Он запечатлел художественное постижение жизни в ее живой целостности в свете миродержавного принципа гармонии.

И «абсолютное слово» поэта стало необходимейшим моментом всепобеждающего движения человеческой мысли. Художественные открытия Пушкина — равно как и другие вроде карнавальности и стихийности у Рабле, фантастичности и трезвости у Сервантеса, парадоксальности у Достоевского — отчетливо демонстрируют смысловую, значимую доминанту художественной формы, ее глубинное проницание в сущность жизни, ее неповторимо-ценностное, индивидуально-значимое наполнение.

3

Создание широкой методологической основы в изучении вопросов литературного стиля, несомненно, есть насущная задача литературоведения и литературной критики. А споры о соотношении эпохального и индивидуального содержания в стиле писателя — один из аспектов проблемы соотношения общего и особенного в творческом методе, в литературных родах и видах, в жанровых образованиях.

На память приходит простая, лапидарно выраженная мысль М. Пришвина: «Для художника жизнь на земле — это единство, и каждое событие в ней есть явление целого, но ведь надо носить в себе это целое, чтобы узнавать его проявление в частном. Это целое есть свойство личности» [12]. И, конечно, прежде всего личности творческой, которая и устремлена к самовыражению и выражению общего, потому что она «носит в себе это целое».

В литературоведении рассмотрению индивидуального литературного стиля много места уделено М. М. Бахтиным, В. В. Виноградовым, М. Б. Храпченко, в трудах Института мировой литературы АН СССР и др. Подобному пониманию противопоставляется другое понимание (возможно, более удобное для всякого рода систематизаций и классификаций стилевых явлений, но оно, несомненно, менее плодотворно для изучения творческой, художественной, ценностной природы искусства) — сторонники этого взгляда видят в стиле лишь выражение общего, приметы, объединяющие творчество разных художников, стремятся вывести «совмещенные» элементы, видят в последних как бы стабильные «вкрапления», легко извлекаемые из текста, внутренне не связанные со всем строем произведения, его образной проблематикой, его общей атмосферой, жанровым своеобразием. Другими словами, в этом случае игнорируется тесная соотнесенность стиля с неповторимым авторским видением жизни, закрепленным во всех структурах данного произведения. Стиль берется лишь с точки зрения выражения общего. Поэтому отыскиваются у разных

[11] См., например, Г. Р и к к е р т. Науки о природе и науки о культуре. СПб. 1911.

[12] М. П р и ш в и н. Незабудки. Вологда. 1960, стр. 111.

прозаиков и поэтов сходные черты в тематике, композиции, в жанровых признаках вплоть до элементов поэтики и языка. Сходное извлекается из образного целого, группируется вместе. В этом отвлеченном и обезличенном видят выражение стилевой закономерности, точнее — стилевую характеристику литературного течения. Отказывая стилю в его содержательном компоненте, связанном со смыслом целого, видя в нем лишь формотворческие элементы, такие ученые, как Г. Н. Поспелов, А. Н. Соколов, многочисленные их ученики и последователи предлагают всевозможные комбинации этих элементов, объединяют вокруг отдельных образований самые разные писательские имена. Подход к стилю в искусстве как некоторому надиндивидуальному и в каком-то смысле даже безындивидуальному явлению отстаивался неоднократно. Последовательно он был предложен еще Г. Вельфлином[13]. Но под тем или иным стилевым явлением в мировом искусстве этот исследователь подразумевал не столько виды творчества и литературные течения внутри одного творческого метода, сколько эпохальные типы творчества, характерные для искусства Древнего Египта, Греции и Рима, искусства барокко. Речь шла, таким образом, об «общих формах созерцания», о противоположностях «линейного» и «живописного» стиля. В античном искусстве, в классицизме и других локальных, четко исторически и эстетически детерминированных явлениях обобщенный подход к стилевым образованиям безусловно возможен. Однако необходимо со всей определенностью подчеркнуть, во-первых, что признание обобщенных стилеобразующих тенденций вовсе не предполагает и не может предполагать невнимания к индивидуальному началу в стиле (достаточно назвать, например, творчество Рублева, Дионисия, «Слово о полку Игореве» и т. д.)[14], а во-вторых, именно попытка исходить из надиндивидуального в стиле ведет к суммарному обозначению стилевых течений, при этом творческие, авторские начала суммируются в зависимости от предлагаемого исследователем классификационного признака.

Недооценка индивидуально-значимого момента в стиле характерна для многочисленных структуралистических интерпретаций произведения искусства. Показательна в этом отношении позиция Джона Б. Кэррола, автора работы о факторном анализе стилевых характеристик прозы. Он был вынужден признать, что даже после завершения своего исследования у него «осталось сомнение, действительно ли выявленные факторы адекватно описывают те аспекты стиля, которые, несомненно, отличают великую литературу от не столь великой, или хотя бы те аспекты, которые позволяют различать некоторые из признанных манер письма»[15].

На почве надиндивидуального понимания писательского стиля появилась целая серия работ и продолжают выходить новые, предлагающие самые разнообразные классификации стилевых течений и направлений современной советской литературы. В результате происходит отступление от объективного, системного рассмотрения произведения как художественного целого. Одним течением объединяется романтическое повествование К. Паустовского, философическое созерцание природы М. Пришвина и артистически подвижная стиховая стихия Л. Мартынова, в которой слове тяготеет к смелой ассоциативно-обобщающей выразительности. Отдельные приметы сходства внутри подобного многоголосья, конечно, можно найти. И все-таки стиль не сумма отовсюду собранных «похожих» моментов, одинаковых примет. Стиль — это законченная система, оформляющая произ-

[13] Генрих Вельфлин. Основные понятия истории искусств. М.—Л. «Academia». 1930, стр. XXXIII—XXXIV, также стр. 2. Если Вельфлин допускал, что индивидуальные различия в этих случаях «утрачивают значение» и, например, творчество Рембрандта—только разновидность общего стиля эпохи (что уже было неверно), то продолжение и логическое завершение подобная точка зрения получила в другом, еще более категорическом утверждении: стиль — это «понятие, наиболее враждебное принципу индивидуализации» (В. Гаузенштейн. «Искусство и общество». «Новая Москва», 1923, стр. 20).

[14] Видимо, следует говорить о разных формах соотношения индивидуально-неповторимо-значимого и канонического, общеобязательного в стиле разных исторических эпох и регионов, а также о постоянном росте значения и удельного веса индивидуального начала в творческом акте. Для русской литературы вопрос этот обстоятельно разработан в трудах Д. С. Лихачева. См., например, его книгу «Развитие русской литературы X—XVII веков. Эпохи и стили». Л. «Наука». 1973.

[15] См. «Семиотика и искусствометрия». М. «Мир» 1972, стр. 184.

ведение в значащее, ценностное художественное целое. И вот чтобы собрать вместе, как это сделано в некоторых работах, в одно стилевое направление Маяковского и Олешу, Шолохова и Гладкова, конечно же, приходится художественный мир каждого из этих писателей расчленить на элементы, и в разрозненных таким образом структурах искать подобие. Разноголосица господствует в определениях самих стилевых течений. Маяковский, например, в одних случаях олицетворяет романтическое крыло литературы, в других — публицистическое.

Есть своя логика в том, что определение «деревенская литература», упорно бытующее на страницах газет и журналов, возникло прежде всего не из потребности фиксировать стилевую общность входящих в эту рубрику авторов, но скорее как обозначение более широкой творческой направленности очень несхожих писателей. Стало повседневным правилом и своеобразным ритуалом сетовать на неточность термина «деревенская литература». Действительно, он неудачен во многих отношениях[16]. И, отдав должное ритуалу, критики прибегают к приему смиренного извинения за то, что приходится пользоваться принятым обозначением «за неимением другого». Получается так, что чем больше критикуется неудачное определение, тем неизбежнее становится оно в практическом употреблении. Естественно, напрашивается вывод, что за несовершенным, по-видимому, терминологическим обозначением скрывается тем не менее существенное, обозначаемое, требующее своего закрепления хотя бы в приблизительных и не очень точных словах. О тенденциях современного развития, об особенной остроте в наше время триады природа — человек — общество, о новых отношениях города и деревни, об исторических и эстетических традициях народа, о стремительном изменении лика жизни, о растущей тяге широких слоев сельского населения к культуре писалось и говорилось много, и в частности в выступлении Федора Абрамова на VI съезде писателей. Естественно, «глобальный» характер подобной проблематики свидетельствует о невозможности закрепления ее за отдельным кругом писателей или одним из направлений внутри современной литературы. О чем бы ни писал современный прозаик, поэт или драматург, те или другие стороны этой проблематики будут возникать перед ним и требовать своего выражения.

Но творчество Ф. Абрамова, С. Залыгина, В. Астафьева, В. Белова, В. Распутина и других, как правило, упоминаемых под рубрикой «деревенская литература», служит прекрасным примером неплодотворности попыток иных критиков ввести совершенно несхожих по творческим манерам писателей в русло единого стилевого течения. И понятие «деревенская литература» менее всего может удовлетворить как определение литературного течения, включающего названных и не названных в этом ряду авторов.

Однако устойчивое терминологическое обозначение и его сравнительно долгая жизнь и объясняется тем, что названных писателей объединяет не только тематическая общность и даже не только близкая проблематика, но и, конечно же, органическое проникновение собственным стилем, поэтикой, их содержательной доминантой в самые существенные стороны предмета освоения и осмысления. Каждый из писателей этого ряда слышит «голос» изображаемой жизни, «голос» предмета исследования и стремится найти свой язык для максимально действенного выражения изображаемого. И все эти писатели настойчиво вырабатывают индивидуальный творческий почерк, индивидуальную манеру, с тем чтобы не просто выразить присущее каждому из них субъективное содержание, но и пробиться в сердцевину жизненных процессов и явлений. Эта тяга в первую очередь (а не только верность близкому проблемно-тематическому материалу) придает особую направленность и своеобразие «Белому пароходу» и «Ранним журавлям» Чингиза Айтматова, «Похмелью» Гранта Матевосяна, «Запаху спелой айвы» Иона Друцэ и многим другим.

Любой из названных авторов находит свое художественное, свое стилевое решение. И если ощутимы линии пересечения в стилевых импульсах В. Шукшина и Ф. Абрамова или В. Астафьева и В. Распутина, то дифференцирующие, отличающие их признаки все-таки оказываются прева-

[16] Как проблемно-тематическая разновидность «деревенская литература» существовала и в русской классической и в советской литературе на всем протяжении ее истории. Но ни «Поликушка» или «Власть тьмы» Толстого, ни «Мужики» Чехова, ни «Тихий Дон» или «Поднятая целина» Шолохова просто не умещаются в ограничительные рамки подобного определения.

лирующими над объединяющими. И включение всех этих авторов в одно общее стилевое течение оказывается лишь некоторой теоретической конструкцией.

Если говорить об активной направленности литературно-критических суждений, то положительные результаты надо ожидать скорее всего не на пути «интеграции» индивидуальных стилевых образований, а на пути рассмотрения многих и разных, а подчас еще не реализованных творческих возможностей, таящихся в самобытности каждого из писателей.

Достаточно назвать имена С. Залыгина, В. Распутина, А. Битова, Ю. Трифонова. Творчество каждого из них своеобразно, являет собой художественную систему, безусловно определившуюся, но, может быть, еще далеко не реализовавшую себя в этом своем самоопределении.

Все сказанное не предполагает невозможности выведения некоторых общих закономерностей и стилевых тенденций в современном литературном процессе. Речь идет о другом. Уловление общего в ходе литературоведческого стилевого исследования возможно лишь на основе типологического осмысления индивидуальных художественных открытий[17].

Трудности выявления стилевой типологии и стилевых направлений в литературе наших дней заключаются не столько в многообразии и многонаправленности индивидуальных поисков, сколько в слабой изученности критиками и литературоведами индивидуального стиля, к тому же все еще недостаточно подчас выраженного в творчестве отдельных писателей как художественно определившегося явления.

4

Литературная критика еще только подходит к пониманию стиля как процесса, сложного акта художественного творчества, включаемого в движение современной литературы. Задача непростая во многих отношениях еще и потому, что необходимо не только уловить и показать становление стиля писателя имярек, но и прямо сказать об отсутствии стиля тогда, когда его нет, а есть или стилизация, мимикрия под стиль, или откровенное бессилье, или пестрая эклектика, или осередненно-правильное подражание общим нормам литературного языка. И то и другое все еще занимает, к сожалению, весьма и весьма большое место в литературной продукции. Анализ специфических черт стиля того или иного писателя, его сильных и слабых сторон позволяет через индивидуальную манеру автора, через индивидуальное видение жизни показать в авторе художника.

Самобытный писатель говорит то, что помимо него не скажет никто. Погоня же за внешними приметами своеобразия в языке и поэтике легко уводит от стиля в заманчивые дебри стилизации. Всякое псевдосвоеобразие бессодержательно, а всякое стремление овладеть содержанием жизни, соблазнясь актуальностью или новизной темы, но при этом не поднимаясь до художественного ее освоения на всех уровнях и в том числе в стиле, бесплодно.

Стиль как явление художественное, эстетическое, ценностное, а не дань моде или экстравагантности могуществен органичностью своей природы, истинностью и естественностью в постижении существенного жизненного содержания.

Поиск стиля подчинен общим творческим задачам писателя (хотя история литературы и знала периоды, когда стиль превращался в некий канон или в сугубо формальную самоцель), в нем отражено писательское понимание жизни.

Жизнь литературы, ее творческого метода отражается в движении стилей, их смене и взаимодействии. Каждое крупное общественное явление, выражая свою эпоху, по-своему входит в искусство, требует для своего закрепления и осмысления адекватных ему выразительных и изобразительных средств. И в этом своем качестве стиль соотнесен с современностью. Можно говорить о стилевом «портрете» эпохи. Писатель в стиле запечатлевает свое время, выражает себя, вступает в общение с читательской аудиторией.

Индивидуальное стилевое многообразие современного литературного развития отражает несомненное усложнение видения и осмысления жизни писателем, усложнение и обогащение самой жизни. В многообразии стилей раскрываются возможности творческого метода, его художественное богатство.

И в этой связи в качестве конкретизации сказанного хотелось бы остановиться на некоторых чертах, стилевых решениях,

[17] Подробно об этом в книге «Теория литературных стилей. Типология стилевого развития нового времени». М. «Наука». 1976.

присущих прозе В. Шукшина и В. Астафьева.

Шукшин в замкнутой форме небольшого рассказа, иной раз прозаической миниатюры выражает человеческий характер сразу и за ним заставляет почувствовать большой план жизни. Стилевая доминанта, ее смысловая направленность возникает из осознанно выдержанного принципа обнаженной концепции жизни и жестокого отбора неброских фактов. Насыщенность и скупость вместе. Подобное сочетание можно найти не у одного Шукшина, но у каждого автора оно обретает специфическую содержательность, свою смысловую характеристику. У Шукшина сказывается стремление в повседневных, бытовых событиях увидеть насыщенность жизни, напряженность и драматичность ее почти во всем. В происходящем сегодня в столовой, троллейбусе, на железнодорожном полустанке, в туристском маршруте, сельпо, клубе, у касс кинотеатра или просто во дворе собственного дома — во всем вдруг обнаруживается целый узел коллизий, живое противоречие, разветвленный жизненный конфликт. Это не сведение содержания романа до фабульной конструкции рассказа, хотя в ряде случаев, так же как в чеховском «Ионыче», писатель захватывает обширные жизненные пласты и сжимает их в малую повествовательную форму (например, «Как зайка летал на воздушных шариках»). Шукшина при этом интересует не сжатый «конспект» жизни изображаемых персонажей сам по себе, хотя он отчетливо обозначен в рассказе, а обусловленная внутри обширного жизненного контекста подробность — сказка взрослого для больной девочки. Умение или неумение эту сказку рассказать, выразить себя в самой неприхотливой форме — за этим стоит свое отношение к жизни и, в конце концов, вся человеческая жизнь. И здесь целенаправленная концентрация и детализация материала переходит в смысловую интерпретацию жизни. И Шукшин, подчиняя принципу жанровой и, соответственно, стилевой концентрации многомерность жизненного материала, дает как бы определенный срез жизни, в каждом рассказе свой, особый. Проступает любопытная особенность: однотипность жанра, всегда небольшой объем (четырепять, много шесть-семь страниц печатного текста) — и внутри этого замкнутого пространства удивительное разнообразие, постоянная смена общей тональности произведения. В ней удивительно точно зафиксирована общая атмосфера, регистр, интонация именно этого неповторимого произведения, позволяющая схватить и самое существенное в нем и почувствовать дыхание большой жизни, продолжающейся «во все стороны» за рамки показанного.

Несмотря на ненавязчивую подвижность стилевой тональности, она, эта тональность, ощутима почти с первых слов, первых тактов рассказа. Автору удается уже в этом сразу ухватить жизнь «сполна». Он вообще не показывает большой жизненной панорамы. Но каждый раз с помощью точно найденного решения писатель как бы выхватывает отдельное событие, отдельного человека из самой гущи жизни. Не обрубая связей, в немногочисленных простых и кратких словах он дает почувствовать — главное в том, о чем идет речь, и стоящую за рассказываемым полноту жизни.

Сказочность присутствует не только в названии рассказа — «Как зайка летал...», но уже в самой «детской» интонации первой фразы: «Маленькая девочка, ее звали Верочка, тяжело заболела». Так начинается эта «сказочка» для взрослых, где тональность и сам жанр сказки совершенно не похожи и выполняют совершенно иные функции, чем, например, сказка мальчика и сказка-предание деда Момуна в «Белом пароходе» Чингиза Айтматова. «Озорная сказочная тайна» у Шукшина просвечивает насквозь характеры персонажей, становится зримым самое главное в них.

Если обратиться к другим произведениям писателя, ощутишь совершенно иной ритм, иной лад в простых, неприхотливых и скупых словах: «Старик с утра начал маяться» («Как помирал старик»); или: «Молодой выпускник юридического факультета, молодой работник районной прокуратуры, молодой Георгий Константинович Ваганов был с утра в прекрасном настроении. Вчера он получил письмо... Он, трижды молодой, ждал от жизни всего, но этого письма никак не ждал...» («Страдания молодого Ваганова»).

Стиль Шукшина подчинен потребности ввести в рамки малой формы многомерный поток жизни и предельно четко обозначить на маленьком участке большое и разнородное. Внутри этой жесткой регламентации формы благодаря писательской

сдержанности достигается предельная выразительность.

Совершенно иначе пишет В. Астафьев. Здесь изобилие жизненного материала, полноводность жизненного потока как бы вторгается внутрь повествования и постоянно раздвигает и видоизменяет русло этого повествования, его формы на глазах читателя. Собственно, в последнем произведении писателя «Царь-рыба» рамки повествования настолько свободны, нарочито подвижны, что трудно говорить и о жанровой и стилевой определенности произведения. Перед нами своеобразный жанрово-стилевой комплекс художественных форм, по собственному авторскому определению — «повествование в рассказах». Здесь и элементы лирической прозы, и сюжетный рассказ, и путевой очерк, и целостная зарисовка характера, сюжетные и бессюжетные композиции, развернутые описания обычаев, сцены быта, динамическое жизненное событие и почти символическое обобщение.

В отличие от повествования у Шукшина широкий жизненный ток дан здесь крупным планом, и как бы вместе с ним движется и поток самого повествования, то расширяющегося и замедляющегося, то сужающегося, динамичного.

В противоположность строгому отбору материала для найденной стилевой тональности, у Астафьева — свободное, неприхотливое включение в ход повествования различных интонационных ритмических структур, языковых пластов. Многоголосье жизни как бы не хочет знать стилевых, жанровых, композиционных рамок литературного произведения. И писатель стремится писать не в одном стилевом ключе, а «многостильем», выразительной неупорядоченностью разных стилевых образований внутри произведения. Он сознательно пользуется контрастами между разными ритмами и способами рассказывания.

Стилевая его палитра включает в себя обилие красок. В одной только кульминационной главе произведения, повторяющей его общее название «Царь-рыба», самые разные стилевые элементы. Чрезвычайно динамично и сильно, с захватывающим драматизмом предстает единоборство человека и рыбы, выписанное до непререкаемого правдоподобия во всем — от общего плана до мельчайших деталей. Схватка браконьера и царь-рыбы носит, разумеется, абсолютно иной характер и смысл, нежели хемингуэевское единоборство «необыкновенного» старика с «замечательной рыбой». Но и конкретная ситуация единоборства человека и рыбы, еще более жестокая, чем у Хемингуэя, в буквальном смысле слова не на жизнь, а на смерть, и стремление увидеть в этом почти фантастическое обобщение, за которым идут размышления о природе и человечестве, свидетельствуют о тяготении этой главы к притче Хемингуэя.

Конечно, не литературные аналогии занимали автора, когда он писал свою вещь. Но потрясающая, значительная жизненная тематика и проблематика — природа и человек, жизнь и смерть человека — ведут к сопоставимым содержательно-типологическим образам. «Игнатьич захлестнул тетиву самолова за железную уключину, вынул фонарик, воровато, из рукава осветил им рыбину с хвоста. Над водою сверкнула острыми кнопками круглая спина осетра, изогнутый хвост его работал устало, настороженно, казалось, точат кривую татарскую саблю о каменную черноту ночи. Из воды, из-под костяного панциря, защищающего широкий, покатый лоб рыбины, в человека всверливались маленькие глазки с желтым ободком вокруг темных, с картечины величиною, зрачков. Они, эти глазки, без век, без ресниц, голые, глядящие со змеиной холодностью, чего-то таили в себе». И вот человек и рыба барахтаются в воде на крючках одного и того же самолова — кто кого поймал и кому грозит смерть, а кому спасение. «Зверь и человек, в мор и пожары, во все времена природных бед, не раз и не два оставались один на один... Такие страсти, ужасы об этом сказывались, но чтобы повязались одной долей человек и рыба, холодная, туполобая, в панцире плащей, с желтенькими, восково плавящимися глазками, похожими на глаза не зверя, нет — у зверя глаза умные, а на поросячьи, бессмысленно-сытые глаза — такое-то на свете бывало ль?»

И тут происходит превращение сказочной царь-рыбы в страшного, «похабного» и «тошнотворного» «оборотня».

Мазок сильный и впечатляющий.

Но у автора есть и еще что-то: «Оборотень, вынашивающий другого оборотня, что-то греховное, человечье есть в сладостных муках царь-рыбы, кажется, вспоминает она что-то сладостное, тайное перед кончиной».

И возникает нечто недоговоренное, не-

ясное, второплановое, не могущее быть однозначно проясненным, как не могут быть прояснены удивительные образы Чюрлениса. И сравнение с живописью последнего невольно напрашивается, когда образ «многообразен» и не требует дополнительного прояснения. Например, в одной из глав романа Астафьева говорится:

«На обогретом, с боков заголенном серебристой мерзлотою холмике парнишка увидел мокрое перо, хотел побежать скорее: сова или песец задавили линялого гуся — может, косточки да остались от него... Парнишка упал, отдышался, стал подниматься на руках и замер, увидев перед носом цветок на мохнатой ножке. Вместо листьев у цветка были крылышки — мохнатые тоже два крылышка в слабом, дитячьем пере, и мохнатый, точно куржаком охваченный, стебелек подпирал его чашечку, а в чашечке мерцала тоненькая, прозрачная ледышка».

Таким образом, вопрос может вызывать не сама по себе хрупкость образа и необходимая в таких случаях неопределенность, расплывчатость, что ли, но не до конца переведенный на язык стиля факт соотношения предельной ясности и определенности с неопределенностью и растворением слова в символически-обобщенном значении.

Но как бы там ни было, при всей отмеченной неупорядоченности и «избыточности» текста перед нами яркое свидетельство поисков самостоятельного «языка» писателем для передачи полноводного напора жизни.

Опыт стилевых решений Шукшина и Астафьева, так же как и многие другие стилевые системы вроде исследовательско-экспериментальной у С. Залыгина или нарочито бытописательской вроде произведений Ю. Трифонова, свидетельствует о неповторимо-индивидуальном смысловом значении этих образований внутри художественного целого, каждое из которых не столько направлено на себя, сколько помогает вскрыть, обозначить существенное жизненное содержание, дать ему особую художественную интерпретацию.

Неповторимое в стиле вместе с тем оказывается необходимым закономерным фактором, ведущим к возникновению новых решений, открывающих и новые стороны в изображаемом. Репродуцирование стилевых элементов ведет к остановке творческого постижения жизни, даже к отказу от постижений жизни изнутри словесного художественного образа. И несомненные сильные стороны В. Распутина в «Прощании с Матёрой», В. Астафьева в «Царь-рыбе», С. Залыгина в «Комиссии» связаны со стремлением приникнуть своеобразием стиля к таким сторонам жизни, которые иначе и нельзя выразить, которые требуют для своего освоения особого подхода, особого слова, полновесного, заряженного смысловой энергией, получаемой от художественного целого и аккумулируемой стилем. И в этой неповторимости-необходимости, как сказано, реализуется ценностное качество стиля, его художественная концептуальность.

5

О стилях, их своеобразии и значении для литературного процесса наших дней пишут много, но тем не менее остается ряд недостаточно изученных моментов.

За последние десятилетия произошла очень существенная перестройка языка русской литературы, может быть, близок к завершению целый этап его предшествующего развития. Трудно сказать, в состоянии ли лингвисты провести применительно к нашим дням достаточно четкую и объективную границу между языком разговорным, повседневным, взятым «из жизни», и языком литературы. По крайней мере приметные ориентиры настолько сглажены, грани настолько стерты, что сделалось почти неощутимым «расстояние» между языком повседневным и литературным. Это относится особенно к тем писателям, которые свободно и обильно прибегают в своем творчестве к сказу, слову персонажа, обширным сказовым приемам повествования, эффекту стилизации, знают цену местному и языковому колориту.

Сближение языка литературного с общенародным, смело начатое еще Пушкиным и подхваченное Толстым, Некрасовым, Достоевским и другими, а в наше время — Горьким, Маяковским, Шолоховым и продолжающееся под пером многих наших современников, как представляется, достигло кульминации. И именно поэтому особенно злободневно — и теоретически и практически (применительно к самой литературе) — обозначились новые некоторые закономерности художествен-

но-эстетического функционирования литературного языка. Возникает по-новому вопрос о его границах, его нормах, его соотнесенности с развитием национальной культуры.

Практика многих современных авторов взывает к постановке подобных вопросов прежде всего в рамках разговора о стиле литературы, и взывает особенно требовательно, потому что приходится сталкиваться почти постоянно с неупорядоченным, «избыточным» вторжением словесного материала в литературу, с аморфными, не подчиненными общему замыслу стилевыми пластами внутри одного произведения.

Речь, естественно, не может идти о каком-то замыкании литературного языка, затрудняющем свободные контакты с бескрайней и могучей стихией живой разговорной речи, которая была и будет еще долго неизмеримо шире языка литературы. Последний только и может существовать и развиваться в постоянном живом взаимодействии с общенародной речью. И вместе с тем литературный язык не представляет собой аморфное, неупорядоченное образование. В нем реализуется и закрепляется определенное эстетическое содержание литературы, осуществляется коммуникация между произведением и читателем на определенном уровне национальной культуры. Пушкинская языковая революция ужаснула словесников-пуристов и литераторов — сторонников словесной иерархии. Но то, что казалось им чудовищным для своего времени, затем вошло в общую практику писателей, стало языком литературы. Однако все время опираясь на подобный опыт «открытых дверей» от Пушкина и Маяковского до наших дней, вместе с тем следует отчетливо представлять, что, выступая против искусственных канонов и норм языка литературы, и Пушкин и по-своему Маяковский отнюдь не «отменяли», а, напротив, всем творчеством своим предполагали существование особой стихии литературного языка. В нем Пушкин видел явление эстетическое, художественное, обязательно внутренне соотносимое с «божественным глаголом». Для Маяковского дореволюционная «улица» была лишена таких «глаголов» и потому оставалась «безъязыкой».

И хотя практически любому слову ныне открыт вход в «общество равных», оно должно быть мотивировано в своем индивидуальном художественном употреблении, должно стать законным членом эстетической, художественной системы в творчестве данного художника и в этом своем качестве нести на себе печать художественной необходимости. Оно должно обладать достаточностью и значительностью, в которых запечатлено было бы движение народной жизни. Только тогда слово входит в литературное произведение, становится достоянием литературного языка и выражением его самодвижения. В противном случае — будет ли оно новообразованием наподобие многих предложенных самим Маяковским или нововведением из обширных и неисчерпаемых запасников живого языка — оно грозит остаться инородным телом, скорее помехой, чем подспорьем писателю.

Смешно выглядел бы человек, стремящийся устанавливать системы запретов и табу для живого развития самого литературного языка, но нельзя игнорировать объективные закономерности литературного языка как такового. И с ними, с их далеко не проясненными, однако необходимыми механизмами действия приходится считаться любому писателю, как любому стихотворцу приходится считаться с закономерностями стихосложения, а пишущему в прозе — с законом жанра, ритма, логикой композиции, сюжета. И есть своя мера и своя необходимость внутри литературного языка и литературной речи, с которыми приходится иметь дело писателю. И наличие этой меры и эстетической необходимости в отношении к словесному материалу, например, ощутимо в поэтике и стиле Шукшина, подчиняющего жесточайшему отбору и ограничению свой стиль при сохранении его внутренней подвижности и разнообразия.

В несколько меньшей мере сказанное может быть отнесено к повествованию Астафьева и Распутина. При всей убедительности многих языковых напластований в их стиле, расширении стилевых рамок, незамкнутости организации произведения, захватывающего читателя своей во многом стихийной силой, вместе с тем дает о себе знать своеобразная «избыточность» текста, его словесная перегруженность. Не во всем и не всегда внутренне достаточно мотивировано и оправдано введение всяких «седни», «вынали», «обрыбиться», «близирничать», «бареба», «гоношиться» и многих подобных речений, натурализмов, местной лексики. Их изобилие и нехватка

стилевой мотивированности ведет скорее к фактографической стенографии, нежели к творческому стилеобразованию. Закономерное предполагает в искусстве свое особое, но безусловно объективное существование. Преломляясь в индивидуальных творческих проявлениях, художественная закономерность сохраняет свою общеобязательность в форме произведения как неповторимой данности. И творческое использование автором языкового материала происходит с учетом того, что в сфере искусства он, естественно, подчинен еще и дополнительным факторам и ведет себя иначе, нежели при любом другом употреблении.

Другими словами, литературный стиль — это не сфера индивидуального релятивизма в подходе к языковому материалу, но такая объективная многомерность, в которой раскрывается богатство и жизни и языка народа, и творческой личности, воссоздающей неповторимый и общезначимый художественный мир. Это сфера искусства и культуры народа.

Из сказанного вытекает существенное следствие: далеко не всякий факт литературного творчества, так сказать, автоматически является и фактом стиля, а механическая сумма языковых форм печатной продукции не представляет собой литературный язык наших дней.

Есть стиль — есть постижение каких-то новых существенных сторон жизни, есть писатель. Так ставил вопрос еще Чехов.

И одна из задач литературной критики — способствовать обретению писателем в полной мере своего голоса, своей писательской манеры, своего стиля, помочь раскрыться писателю во всех возможностях его творческой индивидуальности. И чем крупнее, значимее, «концептуальнее» его стиль, тем глубже проникает писатель в жизнь, вскрывает в ней какие-то новые существенные стороны, и тем существеннее его личностный вклад в литературное развитие, в искусство слова.

И если в науке индивидуальное начало исключается из сферы исследования, остается вовне по отношению к ней, то в искусстве общее, объективное и закономерное существуют вместе с индивидуальным началом, лишь в этом своем соединении получают значимое и ценностное наполнение.

Показательно место из одного диалога героев Гранта Матевосяна. На выспренние слова: «...село это не тот перекресток, где сходятся линии двадцатого века» — следует реплика, может быть не во всем точная, но примечательная в интересующем нас отношении: «Ни один писатель никогда не понимал, что такое век, а все искусствоведы и теоретики потом по произведениям писателя судили о том, какой это был век». И, конечно, какой была литература этого века.

Существует глубокое внутреннее единство между эстетическим отношением искусства к действительности и, соответственно, эстетическим отношением искусства к языку как средству художественного изображения и осмысления жизни.

Художник не может исходить из нормативных требований к жизни и языку, подчиниться заданным, априорным, привносимым извне требованиям и представлениям о должном и идеальном. Но не может он ограничиваться стихийным фактографизмом в отношении фактов языка, так же как и фактов жизни, без оценочной, ценностной квалификации того, что входит в произведение и становится моментом художественной концепции, художественного мира.

В подлинном произведении искусства и самодвижение жизни и внутренняя жизнь языка становятся необходимыми составляющими его содержания, его художественного самоосуществления.

Октябрь и литература

ИВАН РАХИЛЛО

★

ОДНА СТРАНИЦА

Летом 1930 года в Москве был создан Локаф — Литературное объединение Красной Армии и Флота. Локаф ставил перед собой задачу военно-патриотического воспитания средствами искусства, задачу подготовки молодых творческих кадров из среды красноармейцев и краснофлотцев, организации литературных кружков, издания сборников, книг и журналов...

Одними из зачинателей этого движения были Н. Асеев, В. Вишневский, Мате Залка, Н. Тихонов, Д. Бедный, А. Сурков, А. Новиков-Прибой... В этих заметках я подробнее всего скажу о работе и человеческом облике Алексея Силыча Новикова-Прибоя, одного из самых деятельных участников группы Локаф, художника глубоко самобытного, вписавшего яркую страницу в историю советской культуры. Почему именно о нем? Потому, в частности, что вспоминаю о событиях минувшей поры в эти дни, когда мы отмечаем столетие замечательного советского писателя, который находился в самом центре локафского движения, во многом определившего характер литературы тех лет. Впрочем, обо всем по порядку...

Москва начала 20-х годов. Первые годы нэпа. На тумбах броские афиши театров: Пролеткульта, Мейерхольда, Театра Революции, Мастфора, «Синей блузы», кабаре «Не рыдай», варьете «Пикадилли», театров «Кривое зеркало» и «Кривой Джимми», «Павлиний хвост» и «Веселые маски», оперетты и цирка братьев Трущи. Небольшие магазинчики и лавчонки частников в ярких крикливых вывесках: «Яков Рацер — дрова и уголь!», «Дрова и уголь — Яков Рацер!» Пляшущий джентльмен с поднятым над головой цилиндром рекомендует: «Продукты Глика — от крыс, мышей, клопов и тараканов!»

И в ответ им яркая реклама с текстами и рисунками Маяковского о государственной торговле: «Нигде кроме, как в Моссельпроме!», «Нами оставляются от старого мира только папиросы «Ира»!», «Лучших сосок не было и нет, готов сосать до старых лет!»

Каждый день литературные вечера, встречи, диспуты: «Кузница», «Октябрь», «Союз поэтов», «Литературное звено», «Молодая гвардия», «Рабочая весна», футуристы, имажинисты, акмеисты, конструктивисты, ничевоки, Луначарский, Брюсов, Коган, Андрей Белый, Маяковский, Бурлюк, Василий Каменский, Есенин, Мариенгоф, Шершеневич. В Большом зале консерватории вечера устных рассказов Пантелеймона Романова.

Молодежь с жадностью стремится овладеть новой культурой.

На книжном развале вдоль китайгородской стены и напротив старого здания университета — ярмарка самых невиданных изданий начиная от сказок Пушкина и до старообрядческого Евангелия. «Пещера Лехтвейса», «Князь Серебряный», песенник «Шумел, горел пожар московский», «Горе от ума», «Календарь Брюса» с предсказанием погоды на сто лет вперед, стихи Надсона, дневники и переписка бывших Романовых. Любая книжка на выбор — двадцать копеек!

Здесь можно встретить и писателей: Вересаева с чеховским пенсне на черной ленточке; Серафимовича в синей толстовке; с неизменно отглаженным белым воротничком, приветливого Розанова; стриженого, круглоголового, в морском бушлате и тельняшке Артема Веселого. Они заядлые книголюбы.

По старому булыжному Арбату в облаках удушливой пыли с грохотом и устрашающим трезвоном проносятся лавиной трамваи, густо обвешанные людьми. Много

приезжих с окраин и из деревень с мешками и торбами по незнанию прыгают с подножек идущего трамвая в обратную сторону.

В переулках Арбата в старину обитала царская челядь, отсюда и названия: Скатертный, Столовый, Медвежий, Хлебный, Плотников, Стрелецкий, Ружейный. У Сивцева Вражка, в Староконюшенном переулке, в доме 33 общежитие писателей группы «Кузница». Здесь по субботам литературные вечера, вход свободный, выступать имеет право всякий.

В этом старинном особняке с мраморной лестницей, с печками-буржуйками и выходными кривоколенными трубами из старого железа обитают пролетарские писатели: Ляшко, Новиков-Прибой, Гладков, Неверов, Дорогойченко, Степной, поэты Кириллов, Герасимов, Родов. Здесь впервые на одном из вечеров познакомился я с поэтами Полетаевым, Обрадовичем, Казиным, Александровским. С того же вечера завязалась долголетняя дружба и с Алексеем Силычем Новиковым-Прибоем.

С первого знакомства понравилась фамилия — Новиков-Прибой. Прибой! Буря. Шторм. «Над седой равниной моря...» Понравился густой «моряцкий» загар и удивительно светлые из-под мохнатых бровей глаза цвета утреннего моря — серо-голубые. Но больше всего запомнилась доброжелательность и та глубокая уважительность, с какой он обращался к собеседнику.

В Пролеткульте на Воздвиженке в бывшем морозовском особняке крушили сплеча, без всякой пощады и какого-либо уважения. Полукруглый зал амфитеатром заполнялся молодежью, увлекавшейся новыми поисками в литературе и искусстве. Ценилась особенно «образная» проза: Чапыгин, Артем Веселый, позже Бабель, из «Кузницы» — Федор Гладков.

Вспоминается вечер в Староконюшенном, на котором Новиков-Прибой впервые читал главы из своей новой повести «Подводники». Автору ставилась в вину старомодность и несовременность языка и литературных приемов. Один из выступавших даже сказал, что «такую прозу и читать-то никто не станет». И это было в «Кузнице», среди друзей и товарищей по группе. Автор молча выслушивал все замечания, и в этой безответности была видна его незащищенность. Никто, собственно, и не заступался за него.

Нелегко было на первых порах ему, бывшему матросу, пробиваться в большую литературу. А надо было еще зарабатывать, содержать семью. Новиков-Прибой не занимался журналистикой, не писал статей и фельетонов, редко выступал на вечерах и встречах и, надо сказать, немало хватил горя на своем литературном пути. Приходилось добывать ордера на топливо, питание и одежду. Самому привозить и втаскивать на третий этаж сырые длинные бревна, распиливать и колоть их прямо в комнате. И потом уж, усталому и полуголодному, садиться в общей комнате, где дети, семья, при тусклом свете керосиновой лампы за свою рукопись.

Так работали и Ляшко, и Неверов, и Гладков.

Была у Новикова-Прибоя еще одна страсть — охота. Он ею увлекался с тех давних лет, когда деревенским подростком ездил с ребятами в ночное. Охоте отдавался с радостным возбуждением. Бывало, все спят, а он один ночью разбирает и тщательно осматривает ружье, готовит охотничьи припасы, пришивает к чучелу тетерева ярко-карминные брови из вырезанных кусочков материи, гусиным жиром смазывает охотничьи сапоги, и все это проделывает увлеченно, с азартом.

Темным весенним утром 1927 года мы выехали с Алексеем Силычем на охоту в можайские леса. В тот день сырой ветер гнал над вершинами деревьев тяжелые эскадры мокрых облаков. Ко всему мы еще и заблудились. В лесу нечаянно обнаружили несколько могил, где были погребены солдаты отступавшей наполеоновской армии.

Заметно темнело, а дождь лил не переставая. Перебравшись через глинистый овраг, попали в непролазное болото и, проплутав до темноты, увидели наконец сквозь заросли кустов одинокий огонек. По всем приметам, по заброшенному саду, ветхим службам и сараям, нетрудно было определить, что здесь некогда располагалась барская усадьба. В доме светилось лишь одно окошко.

Нас встретили две старушки, единственные обитательницы пустого дома со скрипучими половицами и зимней застекленной верандой, до потолка заваленной старыми книгами в кожаных переплетах. Они гостеприимно предоставили нам комнату с камином, и Алексей Силыч, несмотря на уста-

лость, быстро, по-морскому развел огонь. Развесив сушить сапоги и куртки, мы уселись покурить.

Вскоре нас пригласили к ужину. Мы узнали, что одна из старушек — вдова известного прогрессивного редактора Лаврова, издававшего в старое время толстый литературно-общественный журнал, близко знавшего Чехова и Бунина. Вторая старушка была ее сестрой.

— Как же вы тут живете, в лесу, среди болот, одни? — изумленно ахал Алексей Силыч.

— Так вот и живем, — со вздохом разводила хозяйка руками. — Да, откровенно говоря, я бы давно отказалась и от дома и от сада, если бы кто выхлопотал нам пенсию. Живем тут как в берлоге, без людей.

В тот вечер и возникла у нас мысль о приобретении этого дома для писателей. Тут и работать будет хорошо, и охота рядом!

При содействии Литературного фонда старушкам была выхлопотана пожизненная пенсия. И в бывшем поместье открыли дом отдыха. Однако мало кто из писателей хотел ехать в эту болотную глушь с комарами и керосиновым освещением, и Литфонд решил от дома отказаться. Вот тогда-то небольшое содружество писателей-энтузиастов и образовало творческую коммуну, взяв дом на собственное содержание. В коммуну вошли тринадцать писателей. Наняли повариху. Остальную работу мы выполняли сами. Жизнь в доме пошла на лад.

Так родился первый на земле писательский дом творчества Малеевка. И лишь за первый год его существования там было начато или завершено свыше 70 произведений, и среди них такие, как «Цусима» Новикова-Прибоя, «Люди из захолустья» Малышкина, «Океан» Низовского, «Лес» Демидова, «Внук Тальони» Ширяева, «Подпасок» Замойского, «Солнечный клад» Перегудова и многие другие.

Помимо постоянных обитателей малеевского дома творчества, там часто живали и работали А. Толстой, Серафимович, Сергеев-Ценский, Вересаев, Паустовский, Соколов-Микитов, известный народоволец Фроленко.

— У нашего Силыча золотой характер! — говорит кухарка Наталья Ивановна, вытирая фартуком руки. — Сегодня опять наколол дров и растопил на кухне печку.

Прекраснейшая черта Новикова-Прибоя — чувство товарищества, стремление сплотить, организовать трудовое содружество, в частности писательскую «бригаду, дабы она работала в ритме».

И наша малеевская «эскадра» равняется по своему флагману. А он-то может работать! С раннего утра до поздней ночи просиживает над страницами своей рукописи, доводя до совершенства каждую строчку, прилаживая в дело каждое словечко. Работается ему трудно: за день в лучшем случае полторы-две страницы. А случается, и полстраницы. Он хотя и огорчается, но не ропщет.

— Чтоб вырастить своих птенцов, ласточка в день по нескольку сот вылетов делает. А пчелки! На небольшой горшочек меда, собранный пчелами, уходит столько маршрутов, что их, вместе сложенных, хватило бы на облет вокруг земного шара! Так и мы должны выводить своих литературных птенцов — красивыми и оперенными. Чтоб сразу в высоту могли взвиться.

Своей неукротимой энергией и увлеченностью Новиков-Прибой заражал и остальных товарищей по коммуне. Наработаешься, выйдешь в коридор, где стоят лыжи, чтобы взять их да пробежаться по лесу, а проходить надо обязательно мимо комнаты Новикова-Прибоя. Зная наши повадки, Алексей Силыч на сей случай всегда держит двери настежь, оттуда, как из пароходной трубы, густо валит махорочный дым. Глядишь, склонился над столом или же над пишущей машинкой и работает старательно, как настоящий мастеровой. Не отвлекаясь.

— Далеко ль направился, друг?

— Да вышел на минутку размяться. Засиделся.

— Ну-ну, давай-ка разомнись и садись за работу! До обеда-то еще далеко.

Потянешься для виду — и снова за рабочий стол и включился в общий ритм труда. Глядишь, к обеду и прибавилось полстраницы! А то и целая страничка.

Новиков-Прибой шлифовал свои рукописи бесконечно, работал, не зная устали, иногда даже и над уже сданными в производство.

Случалось, в журнале печатается его роман с продолжением, а у него явились новые соображения: заменены не только отдельные слова или строчки, но и целые абзацы. Из Москвы приедет жена Мария Людвиговна, верный товарищ и помощник по всей жизни, возьмет исправленные страницы и отвезет в редакцию журнала.

Дорожа возможностью в последний раз пробежаться глазом и карандашом по гранкам, Алексей Силыч просит «не в службу, а в дружбу» съездить на станцию к приходу поезда, встретить жену. Запрягаем нашу вороную Ночку, в сани две охапки душистого сена, Алексей Силыч возвращается к работе, а я мчусь на станцию наперегонки с веселым предвесенним ветром, спеша не опоздать к поезду.

— Как я мечтала девушкой, живя за границей, прокатиться в русских санях!

— Мария Людвиговна, вы ведь родились в Лондоне?

— В Париже. В Лондоне жила и училась. Там и с Алексеем Силычем познакомились. Мне понравился его неунывающий характер и та разумная настойчивость, с какой он стремился к поставленной цели! Когда мы познакомились, Алексей Силыч был, что называется, на самом дне жизни. Ни языка, ни документов, никаких средств к существованию, ни близких знакомых. Он мял ногами сыромятные кожи. Это ужасный труд! В больших чанах-бочках, залитых остро пахнущей жидкостью, навалены кожи животных. Рабочий влезает в этот чан по шею, лишь голова снаружи, и босыми ногами начинает там мять под собой эти кожи. По нескольку часов в день. Плата самая мизерная. Зловонная жидкость разъедает кожу, на ногах у Алексея Силыча образовались язвы. Но другой работы без знания языка найти ему не удавалось. Несмотря на все эти мучения и неудачи, он все же мечтал стать писателем! Много читал. Работал над собой. И выполнял все поручения революционного комитета. Он заводил знакомства с русскими матросами, прибывающими в английские порты. У него талант общительности, и он умеет близко сходиться с простыми людьми. Мне очень понравился его удалой характер!

Мимо пробегают заснеженные елки, и Ночка, будто вслушиваясь в голос Марии Людвиговны, пошевеливает чуткими ушами. Не перебиваю, не задаю никаких вопросов, боясь нарушить ход воспоминаний моей спутницы, глубоко благодарный ей за эту минуту дружеского откровения.

— Мой отец, в прошлом студент Московского университета, за участие в студенческих беспорядках был выслан за границу. Без права возврата. Он жил в Лондоне и служил главным инженером на фабрике. Отец возглавлял бюро труда при Герценовском кружке, центре русской эмиграции тех лет. Обычно политические русские эмигранты являлись к нему для устройства их на какую-либо работу. Алексей Новиков стал частым гостем нашего дома. Мы с ним подружились. Он увлекал меня своими рассказами о далекой России, где я, русская, никогда не была. Я даже и по-русски плохо говорила. Новиков подтрунивал надо мной, упрекал: как это такая типично русская девушка и вдруг не знает родного языка! Мы, дети, жили замкнуто, без матери, отец занят на службе или с эмигрантами, и с нами некому было заниматься. Однако я с большим любопытством всегда вслушивалась в рассказы прибывавших из незнакомой России людей. Мне эти люди нравились, и у меня была затаенная мечта когда-нибудь побывать на земле своих предков. Новиков обещал свозить меня к себе на родину и показать свое поместье. В том, конечно, случае, когда представится возможность — Тут Мария Людвиговна широко улыбнулась.— Забегая вперед скажу: когда мы поженились, приехали в Россию и он, выполняя свое обещание, привез меня в простой телеге по немыслимо ухабистой дороге, вымотавшей из меня всю душу, в свою забытую богом деревню и показал свое «поместье» с соломенной крышей, дощатой уборной на огороде, у меня отнялся язык от изумления. Но Силыч держался молодцом, невозмутимо, подшучивал. И вскоре развеселил меня своим поведением.

Но все это было потом, спустя много лет! А тогда, в Лондоне, ему было очень несладко. Он нанимался на различные иностранные торговые суда, куда брали без паспорта, на самую черную работу и где за малейшую провинность владелец расправлялся с матросами со всей беспощадностью — палкой и кулаком. Работа была низкооплачиваемая, изнуряющая, выматывающая силы. Порой на Новикова находило мрачное настроение, казалось, из этого ада ему никогда не вырваться. Но молодость и вера в свое будущее возвращали ему силы для борьбы с несправедливой судьбой. Он жарко стремился к своей цели, уже и я стала верить в его звезду! К этому времени Новиков получил задание из России наладить связь и вести пропаганду среди членов команды крейсера «Рюрик». Крейсер строился в Барроу, в Шотландии. Там он встретил старого приятеля инженера Костенко, они были вместе в Японии в плену после цусимского сражения. Костенко был послан

русским правительством на завод Виккерса на строительство крейсера. Костенко и Новиков создали на «Рюрике» революционную организацию во главе с судовым комитетом. В городе была снята квартира, куда и приходили ребята с крейсера. Здесь читались рефераты и делались доклады на различные политические темы. Новиков расширял свой культурный и политический кругозор.

После ухода «Рюрика» ему поручили сопровождать гардемаринский отряд, ежегодно совершавший рейсы вокруг Европы. Два лета подряд Алексей Новиков со своими товарищами успешно проводил эту работу. В Глазго, Тулоне, в разных странах Европы — в Англии, Франции, Испании, Италии, — в Северной Африке. Он бывал в портах Гавре, Бордо, Марселе, Виго, Генуе, Тунисе, Каире, Александрии. Разумеется, это широко раздвинуло его понимание общественных событий. Но самое главное — за это время Новиков стал печататься в небольших газетах и журнальчиках. Он написал свой первый рассказ «По-темному». Потом его пригласил приехать на Капри Горький, где Новиков и пробыл около года в литературной школе Алексея Максимовича и где получил необходимые для писательской профессии познания. До этого он действовал самоучкой...

Незаметно мы достигли уже поворота к нашей Малеевке, Ночка перемахнула через мостик и как на крыльях вынесла сани в горку, прямо к знакомому дому, где нас ожидал Новиков-Прибой.

— Весна — время добрых предчувствий! — говорит Алексей Силыч, снимая с плеча ружье.

Он скручивает козью ножку, набирает с ладони в нее крупную махорку и, блаженно улыбаясь, оглядывается вокруг. На голых ветвях веселый хлопотливый грачевник. Кое-где в лесу лежит еще не оттаявший прошлогодний снег. Оставаясь наедине с природой, Новиков-Прибой как-то заметно молодеет, иногда беспричинно останавливается где-нибудь на опушке, задумчиво вглядываясь в лиловую даль предрассветного утра. Он исколесил весь земной шар, повидал южные моря и океаны, но ему больше по душе неброские полутона среднерусских весенних рощ и перелесков, прихваченных сверкающим морозцем. Эти выезды на охоту всегда были связаны у него с работой над очередным рассказом, повестью или романом. Здесь, на природе, он обдумывал свои сюжеты и композиции, у него могучий дар воображения. И он неизменно втягивал в ход своих размышлений спутников по охоте. Вот и сейчас, остановившись на опушке рощи, Алексей Силыч вновь вспоминает все подробности цусимского сражения.

— Это, друг, наверно, уже на всю жизнь. Забыть невозможно... Подумай, русская эскадра была почти в два раза слабее японского флота, и только безумной голове могло прийти такое — послать ее в далекие и чужие воды... Мы не умели маневрировать и лишь кружились во время боя на одном месте как очумелые. Противник нас расстреливал совершенно безнаказанно. Новейшие быстроходные корабли командование наше поставило в одну колонну со старыми тихоходами и тем уменьшило их скорость. У японцев в каждой башне, в каждом каземате имелся дальномер, а у нас их было только по два на корабль. И вся наша артиллерия с плохо воспламеняющимися трубками, неверными таблицами, негодными башнями, плохо оборудованными и неосвоенными оптическими прицелами, необученными комендорами была совершенно безвредна для японцев. И ко всему еще наши снаряды не разрывались!

Новиков-Прибой с досадой бросает на мокрую рыжую траву недокуренную козью ножку и затаптывает ее тяжелым охотничьим сапогом.

— Почему наши снаряды не разрывались — этот вопрос многих интересовал после Цусимы... Дорогая наука. Дело прошлое, но японцам уж никогда второй Цусимы не увидать!

Слушаю молча, зная, что ему необходимо высказаться вслух, чтобы уяснить для себя все подробности и обстоятельства тех далеких и незабытых событий, и с каждым последующим рассказом еще не написанные главы его будущей книги становятся богаче, красочнее, обрастают новыми художественными деталями.

Так мне довелось прослушать почти всю «Цусиму» задолго до ее появления на свет.

Писатели приглашены в штаб ВВС на совещание к начальнику Военно-Воздушных Сил. Шумно и тесно сегодня в его просторном кабинете. Среди гостей Алексей Тол-

стой, Гладков, Сергеев-Ценский, Новиков-Прибой, Леонов, Малышкин, Пастернак, Сельвинский, Луговской, Никулин, Мате Залка, Виноградов, Ромашов... Начальник Военно-Воздушных Сил, высокий, худощавый, рассказывает о суровом труде военных летчиков. О них еще ничего не написано. Он призывает писателей ближе познакомиться с жизнью и бытом военных летчиков, приглашает поехать в части, школы, авиационные гарнизоны, пожить там, полетать, потеснее сойтись с авиаторами.

Анатолий Виноградов, автор «Черного консула» и многих других романов, уже седой, немало повидавший в жизни, просит прикомандировать его к главному штабу ВВС.

Борис Левин согласен поехать на полгода в какой-либо авиационный гарнизон, пожить там, поработать над повестью.

Лев Никулин, Мате Залка и Сельвинский изъявляют желание принять участие в воздушных маневрах.

— Чтобы написать о летчиках, — замечает Новиков-Прибой, — надо самому стать летчиком.

Посоветовавшись с Алексеем Силычем, прошу направить меня в школу военных пилотов. Мне кажется, что именно там следует искать героя нашего времени.

Домой возвращаемся уже в сумерках. Кое-кто похлопывает по плечу, похваливает, другие выражают сомнение: нужно ли рисковать жизнью? Техника еще далеко несовершенна, к тому же и тему заново осваивать. Писал бы лучше о том, что хорошо знаешь. Но поддерживает Новиков-Прибой:

— Молодец, только так и держать! Чтоб написать о подводниках, бывалый моряк, я сам ходил на подводной лодке. Внимательно изучал жизнь и работу моряков-подводников. Это и помогло мне написать повесть. Сказать откровенно, я давно и сам мечтал написать роман о нашем воздушном флоте. Да, видно, не суждено, не успею. В таком случае по-дружески разделим сферы: мое — море, твое — небо!

Итак, теперь мы бойцы Локафа, поясной ремень на две дырки потуже! И мысли уже на другой лад. По трое объединяемся в бригады. Наша бригада командирована на осенние маневры Балтийского флота. Вечер уже по-осеннему прохладен, но в вагоне душно. Леонид Максимович Леонов пытается открыть окно вагона, из темноты резким ветром завихряет в купе едкий паровозный дым. Так начинается наша дорога.

Новиков-Прибой просматривает «Красную звёзду». В газете напечатана статья о том, что писатели в большом долгу перед красноармейским читателем.

— Что же, и правильно, — говорит Алексей Силыч, снимая очки и складывая газету. — Наобещали братья-писатели, а слова своего не держат.

Разгорается спор: почему у нас мало произведений на оборонную тему? Почему писатели не пишут о жизни Красной Армии? Леонов отрывисто покашливает в кулак.

— Было бы недостойно предполагать, что советские писатели не желают дать красноармейскому читателю хорошей художественной книги на военную тему. Но будем говорить начистоту, с той прямотой, которая здесь необходима... — Покашливая от едкого дыма, Леонид Максимович снова закрывает окно вагона. — У нас создалась привычка давать обещание, не справляясь, сможет ли данный художник его выполнить. Однако давно признано, что художник состоит не из одного таланта или благих намерений. Сюда входит целый комплекс явлений и качеств, из которых вовсе не на последнем месте стоят знания. А военное дело сегодня, как известно, это обширная научная область с массой сложнейших ответвлений. Браться за военную тему без знания этой науки значит заранее обречь себя на писание банальностей! — Отбросив со лба нависшую прядь непокорных волос, Леонов на минуту умолкает. — Не всякий пойдет на это: совесть не позволит. Как и везде, здесь следует сперва посеять и только потом ждать урожая. Но прежде всего нам недостает для этой работы талантливых организаторов, и потому отделываемся пока одной кампанейщиной.

Серьезно задумываемся над этой нерешенной проблемой.

— Красноармейский счет, предъявленный писателям, справедлив, — замечает Новиков-Прибой. — Прежде всего надо прекратить писательские налеты на Красную Армию и флот. Глубокая, напряженная работа над армейскими и флотскими темами — вот первый аванс, который мы должны внести в покрытие нашего долга Красной Армии. А это означает, что уж если взялся писать об армии, то познай ее жизнь до мельчайших тонкостей. Будь всюду, где бывает боец, командир, завоюй право стать

своим человеком в их семье! Я, например, хотя и моряк и хорошо знаю морскую жизнь, однако каждый год обязательно бываю на флоте.

Балтика встречает нас густым туманом. На эсминце выходим в открытое море. Корабль под флагом наркома, на эсминце следуют Ворошилов и Буденный. Играют оркестры. К спущенному трапу лихо швартуется катер и перебрасывает нас на линкор «Октябрьская революция». Линкор — это целый город с населением в полторы тысячи человек. Своя электрическая станция, типография, клуб, пекарня.

Новиков-Прибой с жадным любопытством приглядывается к новому поколению моряков, охотно вступает с ними в разговоры, расспрашивает обо всем, что интересует молодежь, записывает в блокнот различные случаи и эпизоды.

Морской бой между тем разворачивается вовсю. «Неприятельские» корабли производят комбинированную атаку нашего линкора эскадренными миноносцами, самолетами и торпедными катерами. Эсминцы выпускают по нашему кораблю торпеды. Линкор отражает атаки залповым артиллерийским огнем. Ожидается атака подводных лодок.

Все дни похода и морских сражений живем боевой жизнью корабля и всей эскадры. Много нового и незнакомого. Особенно это интересует Новикова-Прибоя.

— Неузнаваемо вырос наш флот,— отмечает он с уважением.— Современные корабли оснащены такими сложнейшими приборами, что и во сне не приснится. Но самое важное — это организация всей службы. Без всякого унижения, окрика — и такая высокая дисциплина! Вот что значит пробудить сознательность масс! Взаимное уважение между рядовым и командным составом.

Но вот наконец звучит и сигнал отбоя. Нас приглашают в каюту командования. За обеденным столом Ворошилов интересуется, какие впечатления получили писатели во время пребывания на корабле.

— Все, что увиделось в эти дни,— говорит от нашего имени Новиков-Прибой,— произвело на нас огромнейшее впечатление. И техника на высоте и люди удивительные! Показать в книгах, в своих произведениях, как все это изменилось, отныне наша главная обязанность, наш долг!— И для сравнения он дает несколько острых характеристик адмиралов и командиров царского флота: — Возглавлял эскадру бездарный самодур с жестоким, деспотическим характером адмирал Рожественский. В Цусимский пролив эскадра направлялась двумя колоннами. Наши сигнальщики заметили справа корабль, он лег с нами на параллельный курс и вскоре скрылся в утренней мгле. Флага его не могли опознать, но несомненно это был японский разведчик. Надо было немедленно послать вдогонку быстроходные крейсеры. Адмирал Рожественский не принял никаких мер против загадочного судна.

Все за столом слушали Новикова-Прибоя с огромным и нескрываемым любопытством.

— Дымя трубами, с правой стороны показался еще один корабль. В нем опознали легкий неприятельский крейсер «Идзуми». Целый час он шел с нами одним курсом, и, конечно же, не зря. Это ясно сказывалось на нашей радиостанции, неровно воспринимавшей непонятный для нас шифр. Но наши быстроходные крейсеры и на сей раз ничего не предприняли! Уже ясно было, что скоро предстоит сражение, а эскадра продолжала идти вперед тем же строем. Нам не удалось проскочить мимо японцев незамеченными. А раз так, то зачем же мы продолжаем вести с собой транспорты? Пока не поздно, их можно отослать в какой-нибудь нейтральный порт.

Алексей Силыч приводит доказательства бесталанности командования царской эскадры.

— Инженер нашего корабля Костенко запросто разбирал неправильные действия адмирала Рожественского. «Раньше всего,— говорил он,— нужно отогнать японский крейсер. Сделать это легко. Тем временем транспорты скроются во мгле, ничем не рискуя. От такого маневра тройная польза: уцелеют транспорты, наши крейсеры, освобожденные от несения охраны ненужного в бою обоза, смогут принять более активное участие в предстоящем сражении и эскадренный ход наших боевых судов увеличится с девяти до двенадцати узлов». Рядовой корабельный инженер поражал нас точностью суждений, силой своей логики.

— Что же, возможно, он был с каким-либо высшим военным образованием?— замечает Ворошилов.

— Нет, хотя Костенко и был простым корабельным инженером, но при огромных

своих природных способностях он быстро разбирался во всякой обстановке. Иногда передо мной возникал вопрос: вот если бы вместо нашего самодура Рожественского да поставили бы командовать эскадрой этого молодого человека — что было бы?

— Смелая постановка вопроса!

Не смущаясь, Новиков-Прибой продолжает:

— Во Франции после Великой французской революции свою необыкновенную военную одаренность проявили как раз выходцы из простого люда.

— Например?

— Сын бочара Ней. Трактирный слуга Мюрат. Конюх Жан-Ланн. Полуграмотный рядовой Лефевр. Сын виноторговца Массена. Рядовой солдат Бернадот. Да и многие другие скромные люди из низов. Военные таланты помогли этим молодым парням выдвинуться в маршалы Франции! Это с их помощью Наполеон удивлял мир своими успехами на полях битв. В своих воспоминаниях он не поскупился на похвалы им.

Весело окидывая взглядом штабных, сидевших за столом, Климент Ефремович с немалым изумлением слушал высказывания Новикова-Прибоя по военным вопросам. И чем дальше, тем интересней становился разговор.

— На вспомогательном крейсере «Урал» имелся беспроволочный телеграф. С помощью такого аппарата можно было бы создавать помехи японским связистам. С «Урала» по семафору запросили на это разрешение, но Рожественский ответил: «Не мешайте японцам телеграфировать». Лакейски преданный царедворец, он был заносчив до ослепления. На горизонте уже дымили вражеские корабли, вот-вот грянет бой, а он помнил только то, что сегодня день коронования их императорских величеств! Об этом оповестили сигналом всю эскадру. Засвистели дудки, разнеслись зычные команды вахтенных унтер-офицеров: «На молебен! Бегай на молебен!» На нашем «Орле» матросы пропели вразброд многолетие царю и с руганью разбежались по местам.

С глубокой заинтересованностью Ворошилов расспрашивает Новикова-Прибоя о количестве вымпелов, принимавших участие в походе эскадры, об оснащении кораблей. Алексей Силыч дает точные, исчерпывающие ответы. И когда на вопрос Климента Ефремовича о том, действительно ли японские адмиралы были настолько выше русских, что так легко могли расправиться с Тихоокеанской эскадрой, один из командиров стал превозносить достоинства японского флота, Новиков-Прибой с ним не согласился.

— Даже сам их обожествленный адмирал Того и тот был далеко не безгрешен. При встрече с русскими у Цусимы он перед самым боем начал сдваивать свои корабли, делать петлю на виду у всего нашего флота. Опытный флотоводец так никогда не поступил бы! Ведь только из-за полной растерянности и природной бездарности Рожественского был упущен удобнейший момент для разгрома японской эскадры!

Нас расспрашивают о жизни писателей, о новых книгах. Буденный говорит, что скоро на литературном фронте появится новый талантливый писатель, бывший боец Первой Конной, к книге которого он только что написал предисловие.

— Запомните: Вишневский Всеволод! Книга замечательная.

Так впервые мы услышали о Всеволоде Вишневском.

Не мешает добавить, что флаг-штурманом на «Октябрьской революции» в то время плавал еще никому не известный молодой писатель, работавший в свободные часы над первой книгой своего будущего романа, звали его Леонид Соболев.

Уже тогда, на маневрах Балтийского флота, Новиков-Прибой начал обдумывать новую книгу, главным героем которой решил сделать простого деревенского паренька, талантливого и сметливого, выросшего из матроса в капитана первого ранга.

— Я так и назову роман: «Капитан первого ранга».

Новиков-Прибой долго искал подходящую фамилию для главного героя. Дело будто и простое, но ему обязательно нужно было отчетливо представить себе этого героя с внешностью, характером, привычками и, конечно же, именем и фамилией. Алексей Силыч выискивал, вспоминал фамилии знакомых, в конце концов остановился на фамилии Псалтырев. Захар Псалтырев! И был безмерно доволен, когда ее нашел.

— В этой фамилии-кличке выражена вся биография моего героя. Что-то убогое, дьячковское, ушедшее в прошлое. А потом его поднимают природные ум и талант. Революция дала дорогу таким самородкам

из народа. Псалтырев потом заменит эту фамилию на простую, обыкновенную.

Слушая Алексея Силыча, я думал о том, что, в сущности, он рассказывает о собственной судьбе. Он и есть тот одаренный выходец из народа, из самых его низов, удивительный самородок со светлым и сметливым умом, чье имя ныне известно не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами. Им нельзя было не залюбоваться!

Выступаем в Севастополе на вечере моряков и летчиков. Алексей Силыч читает главы из нового, еще не законченного романа «Капитана 1-го ранга», читает наизусть, без рукописи. Слушают с жадностью.

После выступления разговоры. Начинающие писатели — матросы и пилоты — просят поделиться профессиональными «секретами». Как он работает? Какого стиля лучше придерживаться? Так ли необходимо вести дневниковые записи?

— Пока самым внимательнейшим образом не изучу необходимый жизненный материал, никогда не сяду за рукопись,— отвечает писатель, читая поступающие из зала записки.— Стиль и язык произведения должны быть прозрачны, как хорошо протертое стекло. Когда оно протерто, то его не замечаешь, оно чистое и ясное. И жизнь за ним видна. А всякая ненужная замысловатость только замутняет, затуманивает это писательское стекло... С записной книжкой не расстаюсь никогда. Спать ложусь — она рядом. Заношу в нее мысли, наблюдения, увиденный пейзаж, услышанное словечко.

Новиков-Прибой читает несколько записей из своих книжек. Затем, поглаживая ус, обращается к слушателям:

— Друзья, небольшой экзамен! Вы слушали меня, а теперь я хотел бы послушать и вас. Дело такое: главный герой моего нового романа, капитан первого ранга, уже после революции въезжает в новую квартиру. И вдруг слышит из соседней комнаты сердитый окрик: «Я не потерплю этого! Я буду лично жаловаться его императорскому величеству!» Оказывается, сосед, бывший адмирал царского флота, из графьев, был тяжело ранен во время взрыва снаряда на корабле. Он слеп и совершенно глух. При нем его дочь, простая, скромная девушка. Отец бушует, скандалит, возмущается всем на свете, не зная, что в стране произошла революция. Когда-то в старые времена мой герой был вестовым у этого графа, плавал с ним на одном корабле. Дочь в отчаянии — как угомонить капризного старика? И тогда мой герой, пожалев ее, находит способ передать слепому и глухому адмиралу о том, что произошло в стране. Но как?

С невинным выражением Алексей Силыч выжидающе глядит в зал. В зале напряженное молчание: все лихорадочно думают, соображают, однако никто ответа не находит. Своих слушателей Новиков-Прибой знал превосходно и всегда умел завладеть их вниманием.

— Вот видите, сколько нужно знать и соображать писателю за всех своих героев. А мой моряк сообразил. Раз, мол, адмирал — значит, должен помнить сигнализацию. И по азбуке Морзе старичку выстучал по черепу: «Папаша, в России революция. Царя сбросили. Всем свобода». Старика чуть кондрашка не хватил! Но понял все сразу, не забыл азбуку Морзе. Вот оно как в старину обучали,— грозя пальцем, улыбается Алексей Силыч,— на всю жизнь западало в башку!

Моряки и летчики, участники вечера, восторженно выражали свою признательность дорогому гостю за его книги. Виктор Русаков, летчик-инженер, незадолго до того награжденный орденом Ленина за выдающийся подвиг над ночным морем, когда, вися над черной бездной, он устранил неисправность, грозившую самолету катастрофой, говорит о значении художественной литературы в воспитании нового поколения молодых воинов.

— Лично в моей биографии, в формировании характера,— говорит он,— литература сыграла главную роль. А книги Новикова-Прибоя я помню с далекого детства. Роман «Цусима» вместе с досадой на недомыслие царского командования рождает в душе яростное желание совершенства!

Новикову-Прибою было свойственно чувство внутреннего такта, врожденная деликатность и простота. Ему приходилось встречаться с писателями, журналистами, моряками, охотниками, со своими земляками-однодеревенцами, а случалось, и с военными, дипломатами, учеными — всюду он был, как говорится, на своем месте.

В этом сродни был ему и другой русский самородок, Чкалов. Рассказывают, что когда Валерий Павлович появился в черном смокинге на банкете в президент-

ском дворце, никому не пришло в голову подумать, что Чкалов надел смокинг впервые в жизни — так просто и естественно держался он в этом аристократическом обществе.

Отмечался день рождения Новикова-Прибоя. На торжестве присутствуют и моряки с французского корабля, прибывшего к нам с визитом дружбы. Имя Новикова-Прибоя им хорошо известно. Пора начинать, но у тамады сложность: необходимо произнести тост, понятный всем присутствующим. Как быть, если в запасе всего несколько французских слов? И вдруг осенило: «ой» по-французски произносится как «уа»! Бокал взлетает в руке тамады:

— Же вё буа авек Новиков-Прибуа!

И все дружно чокаются с юбиляром.

Весь вечер, поднимая чарки с русской горькой, гости салютовали знаменитому русскому писателю-моряку:

— Авек Новиков-Прибуа!

Тост всем пришелся по душе и сразу был принят «на вооружение».

Алексей Силыч любил и понимал добрую шутку...

Жизнь писателя — его книги. Более полувека отдал Новиков-Прибой неустанному литературному труду, несколько томов создал писатель, и вершиной его творчества стала «Цусима».

Теперь эта книга всемирно известна. Рождением своим она обязана одному из величайших морских сражений, удивительной биографии автора и тому счастливому стечению обстоятельств, благодаря которому удалось этой книге быть написанной.

Уйдя добровольцем на флот, посещая воскресную школу, Алексей Новиков с первых же дней службы стал усиленно заниматься самообразованием, встречался с революционно настроенными студентами и сам активно включился в подпольную работу.

В Центральном государственном архиве Военно-Морского Флота хранятся недавно обнаруженные документы (о которых, к сожалению, Новиков-Прибой так и не узнал), датированные апрелем 1903 года. Вот что сообщалось в донесении министерства юстиции Николаю II о революционной пропаганде среди матросов Кронштадта:

«В артиллерийском отряде выдающегося значения приобрел баталер 1 статьи Алексей Новиков, происходящий из крестьян Тамбовской губернии... Означенный Новиков представляется заметно развитым человеком среди своих товарищей и настолько начитанный, что в беседах толково рассуждает о философии Канта...» Во втором отношении министра внутренних дел Плеве к адмиралу Авелану за № 2210 сообщается о том, что «среди матросов артиллерийского отряда матрос А. Новиков занимается революционной пропагандой... получает для них из Петербурга нелегальную литературу...».

Да, поистине завидная судьба выпала на долю малограмотного парня из глухой русской деревни, окруженной дремучими лесами, где водились медведи. А ныне книги Новикова-Прибоя завоевали признание во всем мире. О романе «Цусима» писала пресса всех стран. Английская «Дейли уоркер» признала роман «одной из наиболее интересных советских книг, когда-либо переводившихся на английский язык». Газета «Обсервер» называет «Цусиму» «замечательным литературным достижением». «Цусима» — блестящая вещь, по стилю которой можно подумать, что автор все время простоял с записной книжкой в руке, записывая дословно все разговоры адмиралов, капитан-лейтенантов и остальной команды». Вице-адмирал Уосборн в «Санди таймс» писал: «...без всякого колебания говорю, что каждому морскому офицеру необходимо прочитать эту книгу, ибо она многому его научит».

Десятки отзывов были опубликованы и в американской прессе. «Нью-Йорк паблишер уикли» назвала «Цусиму» «прекрасным эпическим произведением». Некоторые, правда, пытались обвинить автора в «пристрастности», однако «Нью-Йорк таймс» должна была признать, что «презрительное отношение автора к умственным способностям своих властителей впоследствии было ратифицировано самим временем».

Тысячи писем летели в Москву в издательство, в адрес самого автора. И в каждом признание и благодарность за его книгу. Приведу отрывок из одного письма, в котором выражено настроение очень многих читателей. Пишет юноша: «Я готов, да, я действительно готов идти хоть во флот, хоть сразу прямо в бой! Книга победила. Она сделала из меня ярого моряка и комсомольца. Я уже закаляюсь!»

Кто знает, быть может, в дни войны этот

юноша-читатель, уже военный моряк, где-нибудь на Севере или под Севастополем сражался насмерть с фашистскими захватчиками, защищая родные берега...

Грянула война. Новиков-Прибой по-солдатски громил врага своим грозным и беспощадным писательским оружием. Статья за статьей, очерк за очерком публикует он на страницах центральных газет и журналов. «Город Ленина неприступен!», «Волга», «Вперед, только вперед!», «Морские орлы», «Снайперы», «Сила ненависти», «Русский матрос», «Родина», «Мсти, товарищ!» — по одним заголовкам этих оперативно написанных материалов можно определить их снайперский прицел. Своим огненным словом вселял писатель в сердца бойцов богатырскую силу, помогавшую громить заклятого врага.

С поэтической влюбленностью пишет он о городе — колыбели Великой Октябрьской революции, нерасторжимо связанном с образом Ленина, связанном с именами прославленных русских поэтов, ученых, художников, композиторов, музыкантов, политических деятелей.

«С каким восторгом бродил я, будучи матросом, по улицам и проспектам величественного города, раскинувшегося на двенадцати островах Невы!.. Город, первый в истории человечества поднявший знамя свободы, непобедим!» Такими словами Новиков-Прибой заканчивает один из своих военных очерков.

Писатель встречается с фронтовиками, выступает в воинских частях, на аэродромах, в госпиталях, пытливо вглядывается в лица тех юношей, с кем приходилось встречаться раньше на морских маневрах,— они стали суровее, мужественнее, будни войны закалили их души.

Он расскажет о них во второй книге задуманной эпопеи!

В папках собираются материалы не только о войне, о людях беспримерных подвигов и стойкости, о моряках и летчиках, о снайперах и разведчиках, о рядовых и полководцах — писатель мудро заглядывает и в будущее, когда победивший народ продолжит строительство нового, еще невиданного на земле мира. Книгу эту, увы, написать ему не привелось, нежданно-негаданно подстерегла беда — обнаружилась неизлечимая болезнь...

Алексей Силыч был мечтателем и не раз в своих задушевных разговорах рисовал перед друзьями картины будущей светлой жизни. Эту тему он развивал в беседах с молодыми читателями, об этом мечтали и герои его произведений.

Константин Георгиевич Паустовский, слушая в Малеевке чтение глав из «Цусимы», говорил, что книга эта стала великой удачей писателя.

— Здесь тема настолько потрясает, что перестаешь замечать все то, что принято замечать у писателей: язык, стиль, композицию.

Когда книга поражает настолько, что перестаешь улавливать, к а к она написана, это удача. Это значит, что она сделана на основании еще не раскрытых нами во всей полноте законов подлинного литературного мастерства.

Паустовский говорил о том, что биография писателя имеет важнейшее значение в создании его произведений.

— Алексей Силыч соединил лучшие две профессии в мире — морскую и писательскую. И мы должны быть благодарны Новикову-Прибою за его громадный творческий труд, за прямоту и честность его писательской мысли, за пример простоты, скромности и дружбы, который он дает нам всей своей жизнью!

Внимательно следил за работой Новикова-Прибоя над «Цусимой» и Сергей Николаевич Сергеев-Ценский. Развивая мысль Паустовского о том, что в жизни писателя большую роль играет его биография, Сергеев-Ценский говорил и о тех случайных нечаянностях, которые иногда могут помочь писателю, а иногда и наоборот — стать его неудачей.

— У нашего автора есть автобиографический рассказ «Судьба»,— говорил он негромко, поглядывая на Новикова-Прибоя, скручивавшего цигарку.— Богомольная мать будущего цусимца готовила его в монахи и шла с ним определять его в монастырские служки. Но на дороге попался им веселый матрос, поразивший воображение мальчика своими рассказами о матросской жизни, и эта встреча, совершенно непредвиденная и случайная, решила всю будущую судьбу деревенского мальчугана: на двадцать втором году Новиков по своей охоте поступает на службу не в сухопутную часть, а на флот. Так матрос, неизвестно как очутившийся в тамбовских лесах, впервые толкнул Новикова-Прибоя к его теме, подобно орлам и дру-

гим вещунам, крылатым и бескрылым, которые в легендах о героях обыкновенно предвещают им грядущий их путь к победе!

И тогда в Малеевке эти слова Сергея Николаевича прозвучали как счастливое предсказание будущей широкой популярности «Цусимы».

С глубокой проникновенностью сказал об Алексее Силыче в одной из своих статей и Константин Александрович Федин:

«Мы слышим много песен, а запоминаем какую-нибудь одну. Слышим много рассказчиков, а в памяти храним какого-нибудь одного. И запомнившаяся песня обычно бывает проста, и рассказчик тоже прост, но только прост по-своему.

Алексей Силыч был человеком, был явлением самобытным. Он обладал жизнью, которая запоминается сразу и навсегда. Тамбовский крестьянин, балтийский матрос, революционер, участник исторической морской битвы, писатель, автор книги, известной во флоте и в армии, в городе и деревне, книги, равно понятной академику и рабочему.

Эта книга есть подлинная эпопея...

Народность дара Новикова-Прибоя — вот что сделало его рассказчиком, писателем неповторимым, и вот почему в нашей памяти не может заглохнуть песня, которую спел этот необыкновенный человек своей необыкновенной жизнью».

Вот о чем думаешь и что вспоминаешь сегодня, перелистывая те страницы истории нашей литературы, которые связаны с деятельностью Локафа, с творчеством одного из талантливейших локафовцев — Новикова-Прибоя.

Запомнилась бурная ночь на балтийских маневрах. На переднем мостике мы беседуем с вахтенным. Алексей Силыч, вглядываясь в беззвездную мглу штормовой ночи, прорезаемой прожекторами, задумчиво говорит:

— Остатки разбитой русской эскадры уводил из-под Цусимы изношенный броненосец «Николай Первый». А сегодня наши высокооснащенные корабли идут в кильватерной колонне вслед за мощной «Октябрьской революцией»! Какой великий символ и глубокий смысл заложен в этом сопоставлении!

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Г. Койранская. Новый роман Олеся Гончара.— **Генрих Митин, Леонид Темин.** «И, уйдя от слов случайных...».— **Леонид Новиченко.** Диалектика единства и многообразия.

ПОЛИТИКА И НАУКА

И. Бестужев-Лада. Образ жизни.— **В. Елисеева.** Через всю войну.— **Вадим Рабинович.** Наука в человеческом измерении.

Литература и искусство

НОВЫЙ РОМАН ОЛЕСЯ ГОНЧАРА

Олесь Гончар. Берег любви. Роман. Авторизованный перевод с украинского Михаила Алексеева, Ивана Карабутенко. «Москва», 1976, № 11.

Творчеству Олеся Гончара посвящена обширная критическая литература. Начиная с трилогии «Знаменосцы», первого крупного произведения писателя, каждая его новая книга исследовалась критикой досконально и всесторонне.

Дарование яркое, самобытное всегда притягательно. Оно может вызвать споры, даже превышение критических «допусков» в ту или другую сторону, но только не равнодушие. Гладкопись порождает скуку, посредственность — леность критической мысли. Одно вытекает из другого.

Гончар же заявил о себе как о художнике, пришедшем в литературу со своим почерком, своим видением мира, своим героем.

Написанная вскоре после Великой Отечественной войны и отразившая ее последний, победный этап, трилогия «Знаменосцы» воспринималась и читателями и критиками как своеобразный гимн солдату-победителю, как «романтический эпос высокой образной концентрации», где коллективный герой выступал «символом фронтового братства».

В оценках этой вещи не было критических разночтений. На таланте молодого автора лежала печать резкой определенности: писатель остросовременной темы уверенно владел лирико-романтической поэтикой.

Следующее произведение О. Гончара — дилогия «Таврия» и «Перекоп» — поражало неожиданностью творческого «крена»: не горячая современность, а историко-революционная тема, не романтическая патетика, а строгий документированный реализм, правда с некоторыми лирико-романтическими элементами.

И лишь с появлением романов «Человек и оружие», «Тронка» и особенно «Циклон» (несмотря на всю их несхожесть) стала отчетливо видна природа дарования Гончара, до конца проявилась та постоянная величина, которую принято называть *своеобразием* и которую различаешь во всех произведениях художника при всем том, что состоит эта величина из очень многих слагаемых.

Критика заговорила о склонности Гончара изображать события и человеческие судьбы «в их закономерной сопряженности с магистральными тенденциями времени», о его способности раскрывать «глубинную связь каждого остановленного искусством мгновения с огромным движущимся потоком истории». И о поэтике Гончара, где романтика находится с реализмом «как бы в одном поле притяжения, интенсивно взаимодействует, проникает в него и в этом сочетании образует новое синтетическое качество».

Но слагаемые поэтики, согласуясь и взаимопроникая, испытывают при этом действие не только сил притяжения, а и отталкивания. Поиск синтеза двух художественных стихий проходит непросто. Многотрудность творческого поиска Гончара подметила, в частности, критик

Г. Трефилова, рецензировавшая на страницах «Нового мира» роман «Циклон». Назвав его «сложно организованным произведением, можно сказать экспериментальным», она писала и о победах писателя, и о тех «нагрузках и перегрузках», которые испытывает его метод.

Недавно вышедший роман писателя «Берег любви» несет в себе все черты гончарского почерка. Автор не изменяет своим однажды избранным принципам. Но как прихотливо складываются слагаемые! Роман еще раз убеждает, что поиск, движение продолжаются.

Героиня «Берега любви» украинская дивчина Инна Ягнич, «круглая отличница, да еще и поэтесса», после прохождения преддипломной практики в районе черноморских лиманов, получив диплом медицинской сестры, возвращается в родное село Кураевку, чтобы «изгонять болезни из своих односельчан». Там, в Кураевке, где «открытая приморская степь, ровная, как футбольное поле», «будут идти к ней механизаторы с кровавыми ссадинами на руках... солдатские вдовы со своими застарелыми болезнями, капризные пенсионеры будут вымогать долголетие».

Но трудности Инну не пугают. Кураевка ждет ее — отец, мать, родня. «Да еще тот, чьи влюбленные глаза даже издалека светят тебе, тот, кому слагались по ночам твои жаркие письма, твои — чаще так и не отправленные — тайные песни».

Действительность, как это всегда бывает, оказывается сложнее, чем представлялось в мечтах. В Кураевке Инне пришлось не только «изгонять болезни» из односельчан, но с головой окунуться в пестрый и тревожный мир их жизни, не только встретиться с любимым, но и пережить крушение любви.

Сюжет романа вбирает в себя множество важных проблем современности, связанных и с насущными народнохозяйственными задачами и с самыми капитальными этическими принципами. В романе действуют герои ярких характеров и судеб, возникают ситуации от приглушенно-комедийных до остротрагедийных.

Чтобы привести все это жизненное многоцветье к единому смысловому знаменателю, О. Гончар на сей раз откровенно обнажает свой метод, прием синтеза выступает в новом качестве. Повествование ведется в двух не перекрещивающихся, двух противостоящих планах, обусловленных фактурой материала, общественной и эмоциональной атмосферой изображаемой жизни и характером героев. Там, где писатель протягивает нити в далекое прошлое, чтобы показать связь времен, эстафету поколений, он прибегает к эмоционально-приподнятому изображению, демонстрируя виртуозное владение всеми тонкостями лирико-романтического стиля, имеющего и глубокое философское наполнение. Там, где Гончар рисует картины нашей сегодняшней действительности со всеми ее трудами и заботами, господствует реалистическая образность и даже открытая публицистичность письма. «Научно-технический прогресс, конечно, дело. Каждому ясно, что это историческая необходимость и неизбежность, только ты-то, человек, хозяин земли, не должен забывать, что перед тобой палка о двух концах. Возьмем для примера мелиорацию, наше орошение степное. Каналы проложили — расчудесно, ответвление от них для нас делают — еще расчудеснее, верно? Вода для нас ведь — это и наша сила и наше богатство... Следовательно, давай-ка строить оросительные системы, давай обводняться, и мы говорим: приветствуем тебя, энтеэр!..

Но только строить-то нужно с умом! А если, к примеру, поскупился, не сделал все как надо, не прислушался своевременно к советам умных людей, то какой же ты хозяин? Ведь советовали же им, этим мелиораторам: облицуйте магистральный канал, сделайте по дну покрытие из пленки или из бетона — не вняли трезвым голосам, дорого, дескать, копейку сэкономим... Ну, а скупой, известное дело, дважды платит. Теперь вот пошла фильтрация, Хлебодаровка вымокает, в Ивановке вода в погребах появилась... Да и у нас, на землях третьей бригады, подпочвенные воды прут, соль гонят на поверхность...»

Так рассуждает председатель кураевского колхоза Чередниченко, обеспокоенный засолением земли. Тема природы, ее охраны и защиты, разумного использования ее богатств звучала и в «Тронке», но прочитывалась она там иначе — скорее в плане морально-этического, нравственного совершенствования личности. Здесь проблема обнажена, ставится и детализируется «открытым текстом». Нет сомнения, что устами Чередниченко — героя, не менее любимого автором, чем Инна,— Гончар высказывает свои сокровенные мысли, свои идеи, касающиеся неотложных задач со-

циалистического колхозного хозяйствования. Чередниченко — человек «земной», на ногах стоит твердо, по-хозяйски, мыслит конкретно, делово, на него во всем можно положиться, ему не нужна лишняя опека. Такой не посадит хозяйство на мель. Он может себе позволить и суровость и резкость критических оценок, потому что в нем есть «органическое ощущение самоценности человека».

В последние годы с легкой руки Дворецкого, а вернее, по зову времени в нашей литературе — прозе и драматургии,— в кино и на телевидении появился и широко обсуждался читателями и критиками новый тип руководителя-производственника в век НТР. Человек дела, деловой человек, сильная личность... Такими и многими другими эпитетами награждался герой, который характерен для индустриального мира, а кроме того, оказался на главной линии наших сегодняшних исканий в сфере нравственно-этической. Но за всеми этими заботами писатели будто забыли, что в век НТР деревня, представляющая собой разветвленное, механизированное хозяйство, так же как и город, испытывает нужду в руководителях нового типа, могущих нести на своих плечах и бремя ответственности и тяжесть хозяйствования. Не часто мы встречаем в искусстве образы героев — вожаков села, способных выдержать высокие требования, предъявляемые к ним сегодня. Думается, что Гончар в образе своего героя стремился показать подлинно современного руководителя крупного колхоза. Недаром Чередниченко носит на груди Звезду Героя Социалистического Труда.

Рисуя Чередниченко как талантливого организатора, прекрасно знающего и любящего дело, как личность «дьявольской энергии» и «настойчивой требовательности», писатель раскрывает в нем и другое, то, что Инна, например, считала более существенным, а именно — глубокое уважение к людям; «он и сквозь пыль уборочной страды видит тех, кого видеть должен и на ком, собственно, все здесь держится». Демократизм Чередниченко, его убежденный гуманизм Гончар выводит из выстраданного фронтового опыта, непосредственно связывая с теми днями, «когда рядом падали, погибали самые дорогие твоему сердцу».

Деловые люди «производственной» прозы помоложе, фронтового опыта у них нет. Поэтому, не проводя развернутого сопоставления Чередниченко с городскими героями-руководителями (поколения разные), остановимся на выводе, что О. Гончар предложил вниманию читателей свой вариант современного героя. Что же касается молодого поколения, то ему в романе «Берег любви» отведено особое место.

На образ Инны Ягнич падает нагрузка не меньшая, а может быть, и большая, чем на образ Чередниченко. Я бы сказала, что вся философская линия романа — тема преемственности, соотнесенности и взаимосвязанности времен, тема искусства так или иначе связана с ней. Да еще с ее дядей, старым моряком Андроном Гурьевичем Ягничем. Но роль Ягнича в романе скорее подсобная. Инна, ощущая духовное родство с дядей, думала о том, что «он стал в чем-то созвучен с ее собственным настроением и восприятием окружающего, крайне необходим был ей для внутреннего созревания, а может быть, и для нормального развития тех поэтических ростков, которые в ней пробуждаются».

Парусник «Орион», на котором Ягнич плавал всю жизнь, назван в романе кораблем-символом, он как бы вещественный знак отважного духа мореплавателей, поэзии их странствий и трогательной памяти о товарищах, он как «неутомимый связной между людьми». Символический смысл автор вложил и в образ Ягнича — «человек-легенда», «добрый вестник». Ему дано в романе подсвечивать, оттенять те мотивы, которые в полную силу звучат в образе Инны.

Тема Инна — Ягнич — «Орион» решается автором в романтическом ключе.

Родословная Инны уходит в глубь веков, первый, пока еще не совсем ясный намек на перекличку далеких поколений проскальзывает на начальных страницах романа, когда студентки-медички проводят на территории крепости («...сооружение римских, а то и более древних времен») учебную военную игру. Здесь же работают археологи. Молодой ученый читает Инне расшифрованную им надпись на стеле из белого мрамора: «...имя мое Теодора. Я видела много стран и плавала по всему Понту, потому что мой отец и мой муж мореплаватели...»

Почему же прежде всего Инне адресован этот текст, этот странный голос античности?

Оказывается, молодая женщина из древнего мира «обладала поэтичной и тонкой

натурой — повстречайся Инна с нею в жизни, наверное, подружились бы». А может быть, поэтичность и тонкость натуры Инны — от юной кочевницы Кигитки, которая, по легенде, рассказанной Инне археологом, исцелила душу сосланного в эти дикие когда-то места поэта Овидия? Вот ведь с какими словами Овидий обращался к Кигитке: «Юная исцелительница, чем отблагодарю тебя? Введу вот такой, какая есть, в мою гетскую поэму, может, в последнюю поэму моей жизни... Станешь песней, всегда весенней красотой будешь сверкать в слове моего, для тебя далекого языка и переживешь нас обоих, телом тленных и беззащитных перед Хаосом. Будешь и будешь, и века не состарят тебя!»

Ниточка не прерываясь тянется все дальше и дальше. Неспроста и в медучилище Инну называли Марусей Чурай — именем полулегендарной украинской девушки, поэтессы XVIII века. Не она ли, далекая, наградила Инну талантом поэта? Образ Инны, исцелительницы, умницы, самоотверженной и работящей, одаренной, как бы вбирает в себя все доброе и мудрое, что передано нам в наследство прежними поколениями. «Что значат разделяющие нас годы или тысячелетия, если тени минувшего, тени его великих сынов или дочерей стоят перед тобой как живые, переселились в твое сердце и согревают его теплом своего примера и своей любви?» — вопрошает Инна. В Кураевке она раздумывает о подвиге легендарной летчицы-односельчанки Сани Хуторной, примеряет ее судьбу к своей. Саня Хуторная погибла во время войны в полете вместе со своим возлюбленным.

Инна, на свою беду, горячо любит человека, который ее недостоин. Виктор — парень обаятельный, но бесшабашный и легкомысленный. Из-за своей безответственности он угодил в тюрьму. Но это не поколебало ни любви Инны к нему, ни ее намерения выйти за него замуж. Когда Виктор вернулся в Кураевку, казалось, что у Инны хватит и душевных сил, и чуткости, и самоотверженности, чтобы сделать из него настоящего человека, тем более что и Виктор любил Инну, тянулся к ней. Свадьба, однако, не состоялась. Сидя за рулем машины пьяный, Виктор задавил собственного отца. В отчаянии и раскаянии он кончает жизнь самоубийством. Финал неожиданный и странный — ничто вроде бы такого не предвещало. Автор, на наш взгляд, совершает лобовую атаку на читательское восприятие. Противоестественна и реакция Инны на смерть горячо любимого человека, реакция, увы, не подсказанная логикой образа.

Конечно, она горевала: «сдержанный (?), тоскующий взгляд», глаза «потускнели, налились до краев темной горечью». Но вот как-то в предвечерний час Инна встречает своего дядю Ягнича. Дядя говорит: «Ты уж извини... И не поддавайся, доченька, тоске-печали: у тебя молодость, ты еще найдешь свою судьбу...»

Трудно поверить, что чуткая и ранимая Инна, пережив страшную трагедию, потеряв того, кому слагала дивные, как считали ее подруги, песни, не взбунтовалась бы против сладко-утешительных этих слов. Но нет, молча выслушав совет дяди, Инна через короткое время вроде бы действительно нашла свою судьбу. Когда курсант «Ориона» Заболотный, приехавший в Кураевку навестить Ягнича, «робко и виновато» говорит Инне о своей любви, она почувствовала, как «зарделась ярким румянцем» и «беспредельной музыкой» зазвучали в ночи «предвестья чего-то прекрасного».

Все это, наверное, так и должно быть. Жизнь, как говорится, берет свое. Но уж очень быстро произошла перемена. Другой бы девушке читатель, возможно, и простил бы столь скорую перемену в чувствах, но Инне вряд ли. Ведь этим образом О. Гончар утверждает лучшее в человеке, доверяет своей героине высокую миссию связной между временами и поколениями, наконец, образ Инны, кроме философской нагрузки, несет, так сказать, нагрузку стилистическую. Именно ему суждено стать тем мостиком, которым соединяет автор два потока своей романной стихии.

Кто знает, не Инна ли явится наследницей Чередниченко? Им, молодым, как пишет автор, «принадлежит сейчас все вокруг, вся бесконечность и загадочность мироздания». Поиск продолжается... И при всем многообразии этого поиска, неожиданности жанровых решений постоянной остается любовь писателя к героям — нашим современникам, натурам деятельным, духовно богатым, творчески одаренным, как неизменно и его стремление понять и донести до читателя всю многосложность дня сегодняшнего в его сопряженности с днем вчерашним и днем завтрашним.

Г. КОЙРАНСКАЯ.

«И, УЙДЯ ОТ СЛОВ СЛУЧАЙНЫХ...»

Дм. Кикин. Кладень. М. «Советский писатель». 1973. 136 стр.
Дмитрий Кикин. Высокогорье. М. «Современник». 1976. 79 стр.

Творческая биография Дмитрия Кикина — внешне — чрезвычайно коротка. Он пришел в поэзию поздно, а ушел рано. Первая книжка его — «Изборская сирень» — вышла в 1970, когда автору было пятьдесят лет. Через два года его не стало. Вторая и третья книги вышли посмертно.

Гибель поэта при подъеме на одну из вершин Кавказа неожиданно и трагично оборвала благополучную, казалось бы, наполненную множеством дел и планов жизнь поэта. Позади были школа, два курса университета, в 1941-м — Военно-воздушная академия, адъюнктура, кандидатская диссертация, работа в одной из самых передовых областей современной науки. Подполковник, доцент, без пяти минут доктор наук... И вдруг в 1958 году крутой поворот: ощутив себя поэтом (и счастье в том, что он не ошибся!), Кикин подает в отставку и с головой уходит в литературу.

О природе нынче пишут многие — и урбанисты и «закоренелые» деревенщики. Природа стала общедоступным и нелимитированным стройматериалом для стихов, но пишут по-разному. И в этом звучном многоголосье отчетливо слышится голос Дмитрия Кикина, которому интересна природа «как таковая», ее собственная жизнь. Порой возникает ощущение, что живо для него все — и облака, и сосны, и кони на лугу, и в каждую из множества жизней, как и в человеческую, заложены глубокий смысл и особое значение.

Мои друзья — деревья, птицы, звери.
Осенних троп есенинская звень.
И горше, чем была,— уж не познать
потери,
И самый радостный уж прожит мною
день.

Чего жалел — тому при мне не сбыться,
Но мне тепло в прохладности чужой;
Близка пора, пусть сердце укрепится,
Ко мне придут деревья, звери, птицы
На старый холм над солнечной Окой.

«Я давно не встречал такого живого дара, врожденного, органического чувства природы, умения описать лес, травы,— пишет Василий Субботин в предисловии к «Кладню» и уточняет: — То чувство леса и поля, когда восприятие поэта настолько обострено и так сливается с миром природы, что, пользуясь его же выражением, можно было бы сказать: «Со зверем и птицей на равных правах»...»

В стихах Кикина присутствует чувство равноценной значительности всего живого. Невозможно, скажем, не заметить двух его стихотворений на традиционную для русской поэзии «собачью» тему (а уж какие мастера писали о собаках!). Смотрите, как неожиданно, с какой удивительной интонацией заканчивает поэт, казалось бы, нехитрую историю о злой собаке:

Как хорошо, что я со страху
поднять булыжник не успел,
он разорвал на мне рубаху,
он все лизнуть меня хотел.

Мне без него сегодня грустно;
и сколько память ни цеди,
как трудно оценить нам чувства,
когда их держат на цепи!

Думается, Кикину хорошо знакомы чувства, «обуздываемые цепью», но он никогда не превращает рассказ о живом существе в многозначительную аллегорию. Это ему просто не нужно: все живое значительно для него само по себе, интересно и заслуживает пристального внимания.

Да не покажется это парадоксальным, именно в осознании всесложности эпохи НТР — истоки его бережного, трепетного отношения к природе. А равно и к искусству. Вот что поэт писал в статье «Три стихотворения», оставшейся в архиве: «Сейчас встречается немало людей, особенно среди математиков и кибернетиков, стремящихся залогизировать, «арифметизировать» искусство. Мне приходилось заведовать лабораторией вычислительного центра и преподавать высшую математику, я встречался с этими людьми не только в печати, где велась и ведется дискуссия. Могу выразить сочувствие нашим филологам. Действительно, трудно при порой расплывчатом мышлении (вспомним хотя бы дискуссию о форме и содержании) выдерживать тараны тренированного и сильного ума. Но ума слепого в своей надменной ограниченности».

Пишет это человек, которому хорошо знакомы оба мира. Он любил науку и не расстался с ней, уйдя из армии. Посвятив себя поэзии, а поэзию свою — природе, он

продолжал с увлечением и научно-преподавательскую деятельность. Но «кибернетизирование» природы, чувств, поэзии казалось ему святотатством или даже просто вздором. Это не значит, что он отрекался от опыта чисто научного мышления. Этот опыт сохранялся, жил в его стихах, позволяя ему по-новому увидеть привычные вещи:

Ах, как парил, заохрив склоны,
Какую даль стелил апрель!
И вдруг на свитер мой зеленый
С баском коротким прянул шмель...

Живу, все больше беспокоясь:
Как ни прекрасна ты, земля,
Но что ты есть, когда б не поиск,
Пускай с ошибками, шмеля!

«Эвристический» поиск шмеля осмысливается в стихотворении на «лексическом уровне». Подобные переосмысления в нашу пору естественны и в более сложном метафорическом ряду. Так, в стихотворении «Ростовский кремль с озера» мы читаем:

А если сказка и стара,
Под этим небом разве странно,
Что вертолет от стен Буяна
Летел к владениям Салтана
И превращался в комара...

Отдадим должное артистизму, с которым исполнено это сказочно-игровое сближение времен далековатых, и не забудем, что у Кикина этот прием иногда «прорастает» в серьезные осмысления и обобщения. В «Оде Псковщине» времена «свариваются» в ярком пламени гражданского чувства поэта:

И быль с былиной породнила,
И нас оставила в долгу,
И сберегла и подарила
Во Пскове «Слово о полку»

И это «Слово» дышит с теми,
Кто сохранил былого след.
Недаром, озаряя темень,
Века сгорели, как ступени
Нас подымающих ракет!

А в дотлевающих углях «гаснущей печки» (русская печь, кстати, одна из постоянных реалий его стихов) поэт различает, как «горят огни вселенной в бескрайней черноте» (стихотворение «Гаснущая печка»).

Мир Кикина не нуждается ни в телескопе, ни в микроскопе — поэт глядит в природу открыто, «невооруженными» человеческими глазами: «От мастерства порою душно, но будешь свеж и обновлен, покамест очи простодушья не знают хитростей пелен». Простодушие, простосердечье — неотъемлемое качество поэзии Кикина. Точнее, одно из качеств, ибо простодушие дорого лишь тогда, когда душа светла и богата. И навстречу такой душе открывается все живое:

Что стало со мною, понять не могу,
Как будто стою на крутом берегу,
День голову клонит, и черные кони,
И черные кони на медном лугу.

Я вечно спешу, уезжаю куда-то,
Тому, что теряю, не вижу возврата;
Другие закаты; но я стерегу
Вас, черные кони на медном лугу.

Но, кони, вы также меня стережете,
Осенними днями тревожно вы ждете,
И я не сбегу, до конца сберегу
Вас, черные кони на медном лугу!

Совершенно очевидно, что Кикин следует завету Заболоцкого «Любите живопись, поэты!» — он даже временами эхом откликается ему. Но если Заболоцкий в известных стихах говорит об искусстве портрета, то Кикину прежде всего интересен пейзаж. Это различие, быть может, определяется не только индивидуальностью художника, но и временем.

В одном из стихотворений, где угадывается мечта поэта о живописном мастерстве, он пишет, что не только бы взял свои краски у самой природы, но и «на смоле-живице краски б я растер... И дышал бы вечно мой сосновый бор». Прямо скажем: техника эта живописи неведома, она целиком принадлежит поэзии. Верность и любовь поэта к природе отнюдь не вела к фотографированию. Он имел право на чеканный тезис:

Но копиисты! Вам мираж
Дороже истины и слова...
Душа художника — пейзаж,
Где все доверчиво и ново.

Кстати, в лирике Кикина очень мало восклицательных знаков и это «Но копиисты!» звучит непримиримо.

Любовь к северному пейзажу, к искусству сдружила Кикина с художниками — о них он пишет в своих эссе, им посвящает стихи (П. Мельникову, М. Митуричу). Эта любовь видна и в таком, например, фрагменте, где живописуется привычный изборский ручей:

Здесь пахло искусством — не хлебом
единым,
И чем-то еще, что с трудом уследимо,
В чем с мельником Рерих бывал заодно,
И в хлеб превращалося чувства зерно.

И чтобы завершить, отнюдь не исчерпав, зту тему, мы хотим сказать еще, что у Кикина есть чуть ли не единственное (если мы не ошибаемся) стихотворение, обращенное к любимой женщине, целомудренно адресованное как бы не ей, а ренуаровской мадам Самари («Снег у музея»). Трудно удержаться от соблазна привести хотя бы строку из этого обаятельного стихотворения: «И с этим снегом у ресниц приснись, прошу тебя, приснись...»

Подлинный герой стихотворения — снег, похоже, нет двустишия без снега. Он как бы тот загадочный мировой эфир, наяву существующий в поэзии и в других стихах поэта, в котором «с ветки закапанной падало яблоко, а след его долго не гаснул во мне», где соловьи подхватывают белый звон Покрова на Нерли, где «царь Давид разыгрался на гуслях; по лугам, над задумчивым устьем все летят с насыпного холма по-над Русью напевы псалма» («Рельеф Покрова»).

Белый снег или безгрешное пение, светлый нимб или теплота вешнего вечера — все зто выписано ярко, вдохновенно, зримо, за всем этим — мир высоких нравственных ценностей, к которым неизменно обращена мысль поэта:

А муза зрелости — рыбацкая жена:
Гребет от берега, и нет конца усильям,
И снится ей, как девочкой она
Снимает тапочки и надевает крылья.

Это стихотворение приведено полностью. Всего четыре строки, но в них «свернут» сюжет целой поэмы. «Даже в самых лучших сюжетах нужно оставлять нечто, требующее размышления», — считал Лафонтен. А может быть, вернее так: самый лучший сюжет тот, который и оставляет нечто, требующее размышления? И значительностью этого «нечто» определяется, собственно говоря, глубинная ценность произведения, не только художественная, но и этическая, философская.

Вот размышление Кикина, посвященное действительно прекрасному стихотворению Кайсына Кулиева «Быки, идущие на заре». Говоря о дорогом для себя, поэт невольно выражает главное в себе: «Как самое естественное размышление приходят слова о добре... Оно в том, что видит поэт. Добро в этих стихах не расплывчато. Оно такое, что другой человек в сложных обстоятельствах, вспомнив «Быков...», может изменить и поведение и решение». Изменить поведение и решение человека, то есть изменить человека — вот какую силу и вот какое высокое назначение усматривает в слове вполне «тихий», казалось бы, поэт Дмитрий Кикин.

Активная жизненная позиция художника может выражаться по-разному. Она может выражаться в поэтизации единения поэта с природой («И кажется мне, что я лес понимаю и лес понимает меня»), в сознании того, «что здесь ты свой, что всем ты нужен», что поэт нужен «всему, что требует вниманья и сохраняет потому тепло существованья».

Неприятием смерти, «наступающей теми» одухотворено стихотворение, в котором обычная перемотка кинопленки наполняется смыслом воскрешения, пусть и иллюзорного, когда спиленная сосна как бы сама собой подымается, врастая по срезу кольцами в кольца, и от этого «казалось иное: вернутся друзья оттуда, откуда вернуться нельзя»... Но пленка перемотана и поэт сам отбрасывает недолгую эту иллюзию.

Одно из лучших своих стихотворений о жизни и смерти Д. Кикин начинает соединением, или, вернее, сшибкой, противоречивых примет:

Поленовские рощи целы;
Но в заметенных, без лыжней,—
Везде просветы и пробелы,
Чем дальше в лес, тем больше пней

На вырубках посадки хвойных
Ведет рачительный лесхоз,
И мне не так уже спокойно
Среди стареющих берез.

Явственна грустная ирония поэта: быстрорастущие хвойные рачительного лесхоза никак не заменят поленовских берез — ни в роще, ни в памяти и сердце человека:

Ведь я их помню по минуте,
Когда звезда вот-вот взблеснет
И в задушевном их уюте
Как дуновение пройдет.

В их мареве поголубевшем,
В высокоствольном и сплошном
Повеет облачным и певчим
Ветвей оснеженных залом.

В нем что-то есть от оправданъ
Пережитого на веку,
Стою в лесной исповедальне
С венцом созвездья наверху.

Автору неспокойно. И не важно, какие «березы светят втихомолку над поколением другим». Главное, этот свет — нужен. Как преодоление тьмы небытия, как эстафета жизни и духа. И важно, «чтоб так продол-

осталось, чтоб все продолжалось уже не со мной».

Не забудьте: творческий путь Дмитрия Кикина был очень короток. Но как он был насыщен! Придя в поэзию зрелым человеком, Кикин вообще не писал (насколько нам известно) так называемых автобиографических стихов. Он торопился выговорить самое заветное — тем неожиданнее могут показаться «детские стихи». Для нас особо интересны те, которые органически вошли в его «взрослые» книги. В стихах этих неповторимо переплелось и детское и зрелое вопреки декларации автора: «Давайте обо всем забудем, что подобает взрослым людям». Не стихи о детях, но стихи о детстве, написанные человеком, который в пятьдесят, как и в пять, лет вдруг может задаться вопросом, думая о паровозе: «А сколько у него колес?» Здесь не просто игра, здесь подлинная ностальгия по детству: «Я точно не помню, — наверное, в юность, однажды от нас волшебство отвернулось: и кадка рассохлась... Ну где, для кого теперь притаилось мое волшебство?»

На смену давнему волшебству пришло другое — волшебство поэзии. Собственно говоря, каждый ребенок — поэт, но мало кто им остается в зрелые годы. Это, конечно, особый дар, однако без учителей и здесь не обойтись.

Есть у Д. Кикина прекрасное стихотворение, где он перечисляет учителей своих — «а были ими лес, трава и поле»,— но ведь дальше речь идет еще об одном из учителей, у которого Кикин брал уже, так сказать, уроки «по специальности»:

И помню я особый тот родник,
Что возвращал и воскрешал потери,
И, может быть, к нему бежал старик —
Он с кресла встал и вдруг рванулся
к двери.

Ему нельзя... ведь врач предупредил...
Он упадет... И не безумье ль это?!
Но он—хотел! Он умер, как решил.
Зима. Камин. И стынет сердце Фета.

Конечно, задним числом легко усмотреть в этой новелле, исполненной драматизма, предчувствие собственной судьбы. Но, наверное, в данном случае это было именно так (ведь на последнее свое восхождение он отправился вопреки запрету врача).

Здесь не место исследовать, чему и как учился Кикин у Афанасия Фета и Некрасова, которому поэт тоже посвятил стихи. Нам важно отметить, что трех учителей своих называет Кикин в стихах. Но первый, конечно же, Пушкин. Может, и Псковщину-то Кикин так любил за то, что «уж там до Тригорского и рукою подать». И кажется, что особенно отчетливо какой-то нравственный климат, идущий от Пушкина, ощущается в стихотворении, где Пушкин даже не упоминается. Называется оно «Дожди» и начинается так:

С тетей Шурой утром ропщем —
Ни просвету! Как назло!
Все стучит, стучит...
А в общем,
Мне с дождями повезло.

Так оно и продолжается — простое, будничное. И, пожалуй, осталось бы это стихотворение в нашей памяти летучим этюдом, бытовой зарисовкой, если бы не конец:

И, уйдя от слов случайных,
Перечеркнутых дождем,
Вдруг услышишь, как прощально
Сороть шепчет за окном.

И кажется, что все здесь с самого начала освящено незримым присутствием михайловского анахорета (слышите, как явствен тут даже четырехстопный хорей — «Буря мглою небо кроет»?).

Здесь, на Псковщине, Кикину становились ближе и «Слово о полку», и «заговор древний», и, наконец, Слово, от которого «все исходило — и жизнь, и весна, и стихи...».

Мы говорили о трех великих учителях Кикина, но, конечно же, для поэтической жизни его немаловажны были и многие современники. Вспомните, с какой любовью писал он о Кулиеве; на опыт В. Шаламова опирался Кикин, вступая в спор о современном стихе. Он утверждал: «...настоящий поэт ищет и развивает в первую очередь не стиховую форму, а свою интонацию». Именно с характерным для Кикина высоким нравственным пафосом, отвечающим нашей классической традиции, связана самым непосредственным образом традиционность его поэтики. Все его поиски не в сфере стиховой формы, но в глубинах интонационно содержательных.

Интересен в этом смысле «Скворец». На первый взгляд как будто очевидна зависимость ритма, интонации кикинского стихотворения (не говоря уж о самой «фабуле») от известного стихотворения Н. Заболоцкого. Нельзя не удивиться поначалу смелости поэта — ведь у всех на слуху знаменитое «Уступи мне, скворец, уголок». Но если внимательно сопоставить стихотворения, то окажется: почти однотемные произведе-

ния эти по сути своей совершенно не схожи. Скворец для Заболоцкого — частичка весны, повод для восторженного гимна в ее честь. Это очень звонкие стихи о веселом и разноголосом буйстве вселенской весны (последние слова можно было бы даже писать с большой литеры — Весна Священная!). У Кикина и скворец другой и время другое, а главное — другой герой. Стихотворение Кикина — тревожное раздумье о человеческой судьбе. Герой в нем ищет свою песню, но не у певчей птицы ему занимать ее, он понимает: ему недоступно безграничное простосердечье скворца, «что ликует, глаза закатив». Однако и его песня недоступна птице: «И не думает он излечиться от звучащей порой хрипотцы: есть слова, ты не знаешь их, птица, от которых в гортани рубцы».

Как органично звучит это «есть слова, ты не знаешь их, птица» (а в подтексте — и хорошо, что не знаешь!). О чем же эти слова? У Кикина есть единственное стихотворение, звучащее как формула, которой выражается самое заветное. И названо оно «Плачи». А главные, опорные слова здесь — Родина, Мать, Творчество.

Есть плач о родине — он горек,
Он ест глаза, он валит с ног;
Ему биограф и историк
Подводит горестный итог.

Есть плач о матери — он тяжек
Он безутешен — где исход,
Когда зима на душу ляжет
И вечным холодом пахнет?

Есть плач о творчестве — он страшен,
Когда, солгав своей судьбе,
Ты не казнен, не взят под стражу,
А погребен в самом себе.

В самом начале этих заметок мы сказали о счастливой судьбе Дмитрия Кикина. Счастливой потому, что поэт многое успел в жизни и поэзия его жива: свидетельство тому — три книги, дружеские, уважительные слова, услышанные им от известных мастеров нашей поэзии, печатные отклики о стихах в газетах и журналах. Все это так. Но, наверное, самая большая награда — остаться в памяти и сердце читателя. Думается, у лучших стихов Дмитрия Кикина судьба так и сложится: истинный поэт, он заслужил это.

Генрих МИТИН,
Леонид ТЕМИН.

★

ДИАЛЕКТИКА ЕДИНСТВА И МНОГООБРАЗИЯ

В. Оскоцкий. Богатство романа. Многообразие и единство (Проблемы. Наблюдения. Полемика). М. «Советский писатель». 1976. 368 стр.

Вполне закономерен глубокий интерес исследовательской и критической мысли к процессам всестороннего взаимодействия национальных литератур, составляющих в нашей стране целостную — и в своей сложной целостности пока еще недостаточно изученную — эстетическую структуру. Книга В. Оскоцкого «Богатство романа» — одно из подтверждений этого все возрастающего интереса.

Роман — зеркало зрелости любой литературы, и примечательно, что эпоха развитого социализма ознаменовалась расцветом советского романа именно как романа многонационального. Настало время, когда в развитии этого «кряжевого» жанра принимают полноценное участие все наши литературы от самых древних и развитых во главе с русской до самых молодых — недаром в последние годы так много писалось о только что родившемся, но уже уверенно заявившем о себе многоязычном «романе Севера».

Книга Оскоцкого — попытка разобраться прежде всего в национально-стилевом многообразии современного советского романа. К поднятой теме автор подходит и со стороны теоретической и со стороны, так сказать, обзорно-типологической. И хотя в названии основных глав книги слышится откровенно шутливая интонация (глава «по преимуществу методологическая и полемическая», «по преимуществу аналитическая», «по преимуществу обобщающая»), все эти элементы серьезного исследования здесь действительно наличествуют.

Конкретный анализ явлений и проблем предваряется в книге обстоятельным теоретическим разговором («глава по преимуществу методологическая»), посвященным диалектике национального и интернационального в жизни и искусстве. В. Оскоцкому вообще свойственно стремление к хорошей теоретической основательности (что отнюдь не синоним натужного и скучного теоретизирования по среднедиссертацион-

ным, так сказать, образцам); эта склонность к постоянной и добросовестной проверке чужих и собственных суждений общезначимыми истинами серьезно укрепляет авторские позиции, скажем, при рассмотрении ряда сложных вопросов, связанных с национальной спецификой культуры.

Национальное своеобразие, национальный характер... В эпоху великого сближения народов и интернационализации их жизни эти понятия не утрачивают своего значения, вокруг них идут споры, не прекращаются яростные схватки. В книге приводится любопытная цифра: в 50-х годах за рубежом опубликовано свыше тысячи работ, трактующих вопросы «национального стереотипа»,— достаточно веское свидетельство того значения, которое придает этой проблематике буржуазная мысль в современной борьбе идей.

Опираясь на теоретические положения классиков марксизма-ленинизма, на партийные документы нашего времени — и, разумеется, на богатейший художественный опыт советской литературы,— исследователь подвергает аргументированной критике несостоятельные и неточные истолкования национального характера и — шире — национального своеобразия, с которыми подчас можно встретиться. Здесь и наивно-нелепая «эпитетомания», выражающаяся в попытках «закрепить» за теми или иными народами определенные черты характера, как будто они несвойственны другим народам («классический» образец дает вышедшая лет пятнадцать назад в Киеве книжка И. Кравцева: «Для русских, например, характерны широта и удаль, для украинцев — гордость, мягкий юмор, добродушие, для белорусов — прямота, откровенность» и т. д.); и нарочитое блуждание в трех соснах, проистекающее из той логики, что национальное своеобразие литературных произведений сводится к выражению в них национального характера, а сам характер складывается из того же своеобразия; и уж совсем странные «открытия» иных критиков вроде того, например, что «национальность», дескать, может выступать в нашей литературе «критерием оценки людей» (?!). Подобные воззрения способны принести немалый вред, с ними надо спорить, и В. Оскоцкий спорит убежденно и доказательно. Не ускользает, кстати, от его внимания и та неверная тенденция, когда мысль некоторых критиков, увлеченных «глобальными» обобщениями и сопоставлениями, возносится так высоко, что вовсе отвлекается от жизненной основы, в том числе и от национальной почвы рассматриваемых художественных явлений.

Правда, авторские поиски позитивных теоретических решений по затронутым проблемам иной раз сопровождаются выводами, которые мало что проясняют в сложности самого предмета (вряд ли, например, что-то изменится существенно, если мы будем говорить «не столько о национальном характере, сколько о национальном в характере», как предлагается в книге). Но интересны и важны не эти конечные «формулы», а методологические пути, на которых настаивает В. Оскоцкий в своей полемике и по которым движется его собственная мысль. Это понимание национального своеобразия в его социально-исторической конкретности и динамике, в диалектике его противоречий, глубоко раскрываемой ленинским положением о двух культурах в каждой национальной культуре классового общества, и, самое главное, непременное видение общего, свойственного и другим народам, что таится в данном характере со всеми его особенностями. «Хоть слово сказано иначе, но суть в нем наша остается»,— писал об этом Павло Тычина.

Художественный образ уже у самых своих истоков, по точному утверждению автора, предполагает неизбежное сопряжение собственного и общего, национального и интернационального. В книге подробно разбираются романы и повести М. Шолохова, С. Залыгина, М. Стельмаха, И. Мележа, О. Гончара, Ч. Айтматова, Я. Брыля, А. Кешокова, И. Друцэ, и эти разборы убедительно подтверждают вывод о том, что интернациональное единство и национально-художественное многообразие представляют «две взаимосвязанные грани одного диалектического явления, две нечленимые стороны идейно-художественного новаторства, которое заложено в творческой природе метода социалистического реализма». И когда Оскоцкий, скажем, скрупулезно анализирует особенное и общее в характерах, в социально-психологической природе таких героев, как Кондрат Майданников, Степан Чаузов, Василь Дятел, старая Индрюнене («Лестница в небо» М. Слуцкиса), Маре из Кюласоо («Берег ветров» А. Хинта), когда он проводит интересные параллели между Василием Теркиным и Хомой Хаецким, мы видим, по существу, разные национальные

варианты и разные стадии исторического становления совершенно нового социально-психологического образования — характера с о в е т с к о г о.

В ходе своих разборов автор высказывает интересные соображения о плодотворном воздействии интернационализации общественной и духовной жизни, характерной для зрелого социализма, на процессы художественного развития любой из наших братских литератур. И, отвечая на попутно возникающие вопросы, скажем, о том, не означает ли выравнивание уровней братских литератур их нивелировки (формальная семантика бывает коварна!), вполне определенно утверждает — нет, не означает. «Общие нормы вкуса, единые идейно-эстетические критерии становятся подвижнее, гибче, богаче, расширяясь за счет того самобытно-национального, что вносит каждая литература в многонациональное культурное достояние советских народов».

Самая объемная и богатая по материалу глава книги называется «Обогащение реализма»: в ней рассматриваются главным образом проблемы стилевой типологии многонационального советского романа наших дней. Исходные позиции исследователя заявлены здесь достаточно четко: не монополия единого стиля, а богатство и многообразие стилевых тенденций — вот в чем реально проявляются художественная сила и самобытность любой из литератур. Наиболее мощные и жизнеспособные из этих тенденций, «захватывая» каждую из братских литератур, формируют межнациональные стилевые течения, приобретающие в разных литературах характерную окрашенность в зависимости от местных художественных традиций и конкретных творческих «заделов». Всем этим еще раз подкрепляется мысль автора о несостоятельности как общего, «безличного», нивелирующего, по существу, взгляда на проблемы художественного развития, так и стремления рассматривать их «в искони заданном русле извечных будто бы и неизменных национальных форм».

Национально-стилевую «топографию» советского романа В. Оскоцкий не стремится вычертить со всей полнотой, он останавливается лишь на тех существенных чертах, которые наиболее ясно определились. Основное его внимание привлекают явления, располагающиеся по таким «дихотомическим» осям, как проза эпическая и лирическая, аналитико-реалистическая и романтическая, «просто» художественная и художественно-документальная. (О, постоянные муки нашей профессиональной терминологии, особенно тяжкие в тех случаях, когда возникает потребность в сопоставительных стилевых характеристиках и определениях! Ведь когда мы говорим, например, о прозе «аналитического реализма», то в согласии с рецензируемым автором, а главное, истиной, должны добавить, что серьезных аналитических возможностей отнюдь не лишено и «романтическое течение» советской литературы, а когда речь идет о последнем, то как обойтись без напоминания — это неоднократно и делает Оскоцкий,— что вырастает-то оно, в общем, на реалистической основе. «Я романтик-реалист»,— как говаривал Александр Довженко...)

В своих суждениях автор избегает явных пристрастий чисто художественного характера — и поступает, видимо, справедливо. В самом деле, «лиризация или эпизация» (подзаголовок одной из его глав) характерны для нашей современной прозы? Приводимые в книге высказывания на этот счет, принадлежащие, кстати, опытным и вдумчивым критикам (Л. Якименко, Б. Рунин), решительно исключают друг друга. Но согласиться следует скорее с В. Оскоцким, который считает — и доказывает это многими литературными фактами последних лет,— что происходит (разумеется, в сложных притяжениях и отталкиваниях) и то и другое, ибо очень жизненны и действенны те истоки и потребности, которые питают каждую из названных тенденций. И если проблема «лиризации или эпизации» может быть и не самой важной в сегодняшнем процессе, то логика ее исследования в этой книге достойна внимания и поддержки. В самом деле, споря о правомерности тех или иных стилевых, жанровых, формальных явлений в сегодняшней литературе, мы не всегда задумываемся о подспудных общественных потребностях — познавательных и практических, психологических и эстетических,— которыми стимулируются и «подсказываются» эти явления. Тут большой еще простор для методологических раздумий.

Некоторое предпочтение — скорее «количественное», чем принципиальное,— в книге все же отдано лирической и лирико-романтической прозе. В этом угадывается личный интерес исследователя. Но и в его «обхождении» с прозой, скажем, мележской или залыгинской видны не меньшая

уважительность и бережность. Интересные мысли о развитии новейших средств реалистического изображения и их соотношении с национальными традициями высказаны в специальной главке, в которой рассматриваются творческие процессы в современной литовской прозе.

Проблемно-теоретический разговор в этой книге, как правило, сочетается с обстоятельными разборами произведений отдельных авторов. Легко понять и достоинства и трудности такого сочетания. Если автору кое-где и не удалось избежать несколько внешней «привязки» одного к другому, то страницы, посвященные «Белому пароходу» Ч. Айтматова, «Бремени нашей доброты» И. Друцэ, «Миките Братусю» и «Тронке» О. Гончара, «детским» повестям М. Стельмаха, «Берегу» Ю. Бондарева, некоторым другим книгам, очень продуктивно «работают» на авторскую концепцию и, кроме того, читаются как образцовая критическая проза. Впрочем, с некоторыми из весьма обильных критических замечаний, адресованных роману Бондарева, можно и не согласиться.

Жаль, что в книге слишком бегло и общо охарактеризовано большое стилистическое ответвление нашей военной (я добавил бы, и историко-революционной) романистики — художественная проза с солидной и вполне органичной для нее дозой публицистичности и документализма (общо, потому что «Блокада» Чаковского по жанрово-стилистическим приметам — это одно, «Земля гудит» Гончара — другое, а «Я из огненной деревни» Адамовича, Брыля и Колесникова — нечто совсем уж третье). Уважительно, хотя также вскользь говорится о романе «фольклорного», сказового типа, в наши дни нередко удивляющем, следует добавить, своей необычной и вполне современной поэтикой (упоминаются отдельные книги В. Земляка, А. Ильченко, В. Василаке). А вот явление последних лет — довольно широкое развитие в некоторых литературах (украинской в том числе) романа «эксцентрического», со склонностью к параболе и гротеску, к «вольной», прихотливой композиции и введению в художественную ткань обильной (а подчас и явно избыточной) информации, если и не обязательно «веселой», то, во всяком случае, бойкой и занимательной,— пока что прошло мимо внимания исследователя: видимо, тут не хватает пока самых первичных «обобщающих» наблюдений.

Книга В. Оскоцкого дает ясное, аналитически-углубленное представление о художественном развитии многонационального советского романа в последние десятилетия. Она многое подытоживает и вместе с тем ставит немало новых вопросов, полновесные ответы на которые еще впереди.

Леонид НОВИЧЕНКО.

Киев.

★

Политика и наука

ОБРАЗ ЖИЗНИ

В. И. Толстых. Образ жизни. Понятие. Реальность. Проблемы. М. Политиздат. 1975. 184 стр.

Социалистический образ жизни. М. Политиздат. 1976. 160 стр.

Социалистический образ жизни и современная идеологическая борьба. М. Политиздат. 1976. 350 стр.

Проблемы социалистического образа жизни. Сборник статей. М. «Наука». 1977. 294 стр.

Читатель, видимо, обратил внимание на то, что за последние два-три года стремительно вырос поток публикаций, посвященных проблемам социалистического образа жизни и его коренной противоположности образу жизни буржуазному. С материалами на эту тему систематически выступают центральные и местные издания, такие, как «Коммунист», «Политическое самообразование», «Слово лектора», «Знания народу», «Вопросы философии», «Вопросы экономики», «Социологические исследования», «Філософьска думка» (Киев) и т. д. Стоит упомянуть серию из 15 брошюр «Советский образ жизни и современная идеологическая борьба», выпущенную обществом «Знание» УССР. Социальные проблемы образа жизни все шире освещаются и на страницах литературно-художественных журналов.

Исключительно важное место заняли вопросы социалистического образа жизни в

материалах XXV съезда КПСС. В директивах съезда перед общественными науками ставится задача «продолжить разработку теории создания материально-технической базы коммунизма, совершенствования общественных отношений, формирования нового человека, развития социалистического образа жизни»[1]. Тем самым образ жизни как особая научная категория сегодня выдвигается в число важнейших категорий исторического материализма.

Чем объясняется столь значительное, и притом постоянно растущее, внимание к проблемам образа жизни? Ответ на этот вопрос мы находим опять-таки в материалах XXV съезда партии. «В 1976—1990 годах страна будет располагать примерно вдвое большими материальными и финансовыми ресурсами, чем в истекшем пятнадцатилетии,— указывал Л. И. Брежнев.— Тем самым создаются новые возможности для расширения основных социально-экономических задач, поставленных Программой партии, последними съездами. Это относится прежде всего к дальнейшему повышению благосостояния советских людей, улучшению условий их труда и быта, значительному прогрессу здравоохранения, образования, культуры — ко всему, что способствует формированию нового человека, всестороннему развитию личности, совершенствованию социалистического образа жизни»[2].

Еще недавно такого рода проблемы рассматривались главным образом в рамках экономической категории уровень жизни, связанной преимущественно с количественными оценками благосостояния людей. Но сейчас, прежде всего в связи с социальными последствиями современной научно-технической революции, по меткому замечанию Генерального секретаря компартии США Гэса Холла, «на чашу весов брошена качественная сторона жизни». Масштабы измерения сегодня значительно расширились, они включают весь спектр человеческих ценностей, их сравнительную значимость, которая определяется внутренними законами, присущими социальной системе. Уровень жизни был и остается важным инструментом научного исследования. Но для полноты измерений эту экономическую категорию оказалось необходимым дополнить социологической категорией качество жизни. Кроме того, повышенного внимания требуют мотивы поведения людей, другими словами, их стиль жизни, относящийся к разряду социально-психологических категорий. А последний, в свою очередь, немыслимо исследовать в отрыве от социально-экономической категории уклад жизни, во многом определяющей особенности уровня, качества и стиля жизни. Да вообще невозможно рассматривать эти четыре взаимосвязанных категории изолированно друг от друга. Вот почему появилась необходимость в обобщающей, но не сводящейся к ним философско-социологической категории образ жизни, который определяется (различными авторами по-разному) как способ жизнедеятельности, совокупность существенных черт, форм жизнедеятельности человека, социальных групп, общества в целом, форм, взятых, разумеется, в единстве с условиями этой жизнедеятельности.

Именно такое понимание образа жизни и его значения для социалистического планирования, управления социальными процессами в условиях развитого социализма (при всех различиях отдельных авторских подходов в деталях) свойственно всей современной советской литературе по данной проблематике, в том числе изданиям, рассматриваемым здесь.

Имеется еще одна важная причина растущего повсюду внимания к проблемам образа жизни. Дело в том, что на протяжении последних лет эти вопросы все интенсивнее используются буржуазными идеологами в откровенно апологетических целях. На Западе развернулась настоящая политическая кампания «за новое качество жизни», которая вовлекла в свою орбиту правящие и буржуазно-оппозиционные партии, правительства и монополии фактически всех ведущих капиталистических стран. При этом качество жизни противопоставляется уровню жизни как нечто обратно пропорциональное (чем выше уровень, тем якобы обязательно ниже качество, и наоборот), а стиль жизни рассматривается лишь как дело личного выбора человека вне зависимости от окружающего его уклада жизни. Словом, проблематика

[1] «Основные направления развития народного хозяйства СССР на 1976—1980 годы». М. Политиздат. 1976, стр. 66.

[2] Л. И. Брежнев. Отчет Центрального Комитета КПСС и очередные задачи партии в области внутренней и внешней политики. М. Политиздат. 1976, стр. 48.

образа жизни становится полем острейшей идеологической борьбы. Знаменательно в этом отношении красноречивое признание одного из лидеров западногерманской социал-демократии Э. Эпплера:

«Сегодня мы говорим о качестве жизни, хотя точно не знаем, в чем оно заключается, а в еще меньшей степени — как его осуществить. Мы говорим о качестве, потому что зашли в тупик с количеством. Следовательно, и здесь мы исходим не из знаний, а из сомнений.

Мы сомневаемся в том, полезны ли для людей:

все более широкие улицы для все большего количества автомашин;

все более крупные предприятия со все большим потреблением энергии;

все более дорогая упаковка для все более сомнительных потребительских ценностей...

Ясным представляется лишь одно: тот же экономический рост, который за последние сто лет сделал нашу жизнь во многих отношениях более приятной, может в конечном счете сделать ее и непереносимой».

Необходимо подчеркнуть, что во многих случаях буржуазные концепции «качества жизни» превращаются в инструмент, направленный против насущных социальных требований рабочего класса, а нередко носят откровенно антикоммунистический, антисоветский характер. На это специально указывал член правления Германской компартии И. Шлайфштайн. Поэтому необходимо с последовательных марксистско-ленинских позиций дать решительный отпор измышлениям идеологов буржуазии, что требует также активной пропаганды преимуществ социалистического образа жизни, прежде всего таких его существенных качественных черт, как коллективизм, подлинный демократизм, социальный оптимизм, интернационализм и патриотизм, равноправие и социальная справедливость, уважение к труду и трудящемуся человеку,— всего того, что органично свойственно социалистическому строю и принципиально недоступно строю буржуазному.

Эти важные особенности проблематики образа жизни и определили структуру обозреваемых работ по данной теме. Разумеется, каждая из них имеет свою специфику, читательскую аудиторию, круг научно-политических проблем, затрагиваемых в первую очередь. Коллективная работа «Социалистический образ жизни» создана на основе статей, публиковавшихся в журнале «Политическое самообразование», и преимущественно предназначена для занимающихся самостоятельно в высших звеньях сети политического просвещения. Коллективная монография «Социалистический образ жизни и современная идеологическая борьба», а также сборник статей «Проблемы социалистического образа жизни» основаны на материалах специальных научных исследований и связанных с ними научных дискуссий, проводившихся в Академии общественных наук при ЦК КПСС, в Институте социологических исследований и ряде других институтов Академии наук СССР. Обе книги адресованы научным работникам, преподавателям общественных наук, пропагандистам и слушателям системы партийной учебы. Наконец, монография В. Толстых рассчитана на преподавателей, лекторов, студентов, на всех, интересующихся философскими проблемами современного общественного развития.

Однако при всей специфике перечисленные издания в конечном счете решают одну и ту же задачу и представляют интерес для самой широкой (разумеется, сравнительно подготовленной) читательской аудитории. Книга В. Толстых рассматривает образ жизни как социально-философскую категорию, причем главное внимание уделяется особенностям образа жизни в капиталистическом и противостоящем ему социалистическом обществах. Структура остальных изданий в целом однотипна: вначале анализ образа жизни как философско-социологического понятия, затем рассмотрение основных сторон и черт социалистического образа жизни, его социально-экономических, политических, культурных устоев, качественных преимуществ и путей развития, совершенствования на этапе зрелого социализма, наконец, освещение проблем образа жизни в современной идеологической борьбе социализма и капитализма.

В кратком обзоре невозможно остановиться на всех, даже важных самих по себе проблемах, которые затрагиваются в каждой отдельной книге или брошюре. Более детально интересующихся этими вопросами можно отослать к упоминавшейся выше научной периодике, где дискуссия вокруг проблем образа жизни продолжается до сих пор и где работы по данной проблематике получают систематический разбор с критическими оценками, выяснением плюсов и минусов каждой из них (см., например, «Социологические исследования»,

1975, № 1; 1976, № 3 и др.) Остановимся лишь на нескольких моментах, представляющих общий интерес и оказавшихся в центре внимания всех без исключения авторов обозреваемых работ.

Один из таких моментов связан с самим содержанием понятия образ жизни. Когда разработка проблем образа жизни еще только начиналась, здесь наблюдались диаметрально противоположные точки зрения. Одни авторы склонны были трактовать это понятие в очень широком смысле, относя сюда не только формы, но и условия жизнедеятельности и, по существу, отождествляя образ жизни с такими давно установившимися понятиями, как общественно-экономическая формация, общественный строй и т. д. Другие, напротив, рассматривали его в предельно узком смысле — только как конкретные формы повседневного поведения людей.

Углубленная разработка проблемы показала недостаточность, односторонность, несостоятельность обеих крайностей. С одной стороны, ясно, что незачем вводить новое понятие для определения того, что давно уже достаточно четко определено как формация или строй. Кроме того, при таком подходе теряется самая специфика образа жизни. С другой стороны, сводить образ жизни людей только к их поведению значит сразу же оставлять без ответа целый ряд немедленно встающих вопросов. Люди ведут определенный образ жизни. Но почему именно этот, а не какой-то другой? Почему и какими именно чертами он отличается от предшествующего образа жизни, от образа жизни других социальных групп и других социальных систем? Ответ немыслим без обращения к особенностям условий жизни. Вот почему все без исключения советские работы об образе жизни (даже авторов, отстаивавших «узкую» трактовку этой категории) не замыкаются на вопросах поведения людей, стиля их жизни, а в значительной мере охватывают вопросы количественных и качественных оценок условий жизни (т. е. уровня и качества жизни), а также стремятся теснейшим образом связать эти оценки с особенностями общественного строя, общественно-экономической формации (т. е. уклада жизни). Вот почему такое важное методологическое значение приобрел принцип рассмотрения форм жизнедеятельности людей в органическом единстве с условиями этой жизнедеятельности. Именно поэтому образ жизни сейчас в научной литературе чаще всего определяется как «совокупность существенных черт, характеризующих формы жизнедеятельности общества, народов, классов, социальных групп, индивидов в определенной общественно-экономической формации»[3].

Таким образом, выясняется, что образ жизни вовсе не просто некая «сумма» уровня, качества, стиля и уклада жизни. Это совершенно самостоятельная категория, не сводящаяся к последним четырем. Ее обобщающий характер по отношению к ним выражается не в их «поглощении», а в образовании сложной системы, где все пять подсистем «соседствуют» друг с другом, не входя одна в другую, но в то же время одна из них (образ жизни) является наиболее широкой, ведущей, связывающей остальные четыре в единую целостность. В обозреваемых работах исследование образа жизни как сложной, но единой системы, состоящей из разнопорядковых и даже, возможно, несколько разнокачественных подсистем, по существу, только началось. Этот вопрос требует дальнейших исследований и наверняка займет важное место в последующих разработках.

Выяснилось также, что понятие социалистический образ жизни имеет два различных уровня, которые нельзя смешивать: нормативный и конкретно-исторический. В последнем явственно различаются по меньшей мере три социальных явления: образ жизни, соответствующий особенностям развитого социалистического общества; подлежащие всемерному развитию ростки нового, коммунистического образа жизни, к которому идет наше общество; наконец, пережитки образа жизни, свойственного прежним общественно-экономическим формациям (пьянство, тунеядство и т. д.), которые необходимо искоренить.

Другой общий момент, касающийся всех обозреваемых работ, — структура понятия образ жизни, основные стороны и элементы этой категории. Все авторы единодушны в том, что коль скоро образ жизни в полном соответствии с высказываниями К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина[4]

[3] «Социалистический образ жизни и современная идеологическая борьба», стр. 17—18.

[4] См., например: К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 3, стр 19.

сводится к способу жизнедеятельности людей, логично строить его структуру сообразно уже давно установившейся структуре жизнедеятельности личности и общества. Это означает, что ведущими сторонами образа жизни людей единодушно признаются, во-первых, труд, во-вторых, общественно-политическая и культурная деятельность и, в-третьих, быт. Теперь даже на Западе мало осталось социологов, которые пытались бы исключить из образа жизни труд и свести образ жизни к быту. Что же касается марксистско-ленинской социологии, то она занимает в данном отношении четкую и последовательную позицию, исключающую односторонний подход к этой философско-социологической категории.

Но дальше встает ряд дискуссионных вопросов о степени детализации упомянутых основных сторон. Включать ли, например, в число основных сторон образа жизни культуру или считать ее органической составной частью быта? Видимо, все зависит от того, что конкретно вкладывается в содержание понятия к у л ь т у р а: культура в смысле ц и в и л и з а ц и я, культура в смысле определенной стороны труда, общественно-политической жизни и быта, или культура в смысле определенной стороны одного лишь быта, даже у́же — в смысле сферы, охватываемой учреждениями, подведомственными министерству культуры. К сожалению, в трактовке данного понятия различными специалистами нет еще должной ясности и четкости.

Включать ли, далее, в структуру образа жизни людей их ценностные ориентации, устремленность к определенным социальным ценностям (потребление, знание, творчество и т. д.)? Их материальное благосостояние? Взаимоотношения природы и общества? Национальные особенности, обычаи, традиции? Антиобщественные явления? Все это далеко не схоластические вопросы. О б р а з ж и з н и — рабочее и работающее понятие. Оно получило широкое распространение именно в связи с практическими требованиями социально-экономического планирования, управления социальными процессами. От структуры этого понятия во многом зависит конкретный набор прогнозных, плановых, программных, проектных показателей социалистического планирования, программно-целевого подхода к дальнейшему совершенствованию социалистического образа жизни. Не случайно поэтому авторы всех работ в той или иной мере обязательно затрагивают вопросы рабочего и свободного времени, материального благосостояния трудящихся, социального обеспечения и здравоохранения, жилищного обеспечения, транспорта и связи, взаимодействия природы и общества, брака и семьи, культуры и народного образования, политических и национальных отношений, ценностных ориентаций, антиобщественных явлений и др. Наверно, требуются работы, специально посвященные этим вопросам в рамках проблематики образа жизни личности и общества.

Третий важный момент связан с показателями образа жизни. Какие показатели учитывать — количественные или качественные? Или и те и другие? (Точка зрения, к которой склоняется подавляющее большинство авторов.) И сколько показателей? Десять? Сто? Тысяча? Разработанные к настоящему времени системы показателей образа жизни личности и общества насчитывают сотни и тысячи элементов. Это очень громоздко и трудно для оперирования. Встает вопрос о выделении нескольких или по меньшей мере нескольких десятков наиболее «представительных» показателей, которые достаточно полно отобразили бы все особенности образа жизни. Кое-кто за рубежом мечтает даже об одном-единственном показателе — «генеральном индексе» образа жизни. Но «индекс» — пока фантастика. А вот достаточно компактная система из нескольких десятков хорошо обоснованных показателей — это реальная научная проблема, которой уже посвящаются международные конференции ученых. Не удивительно, что ей уделяют большее или меньшее внимание все авторы обозреваемых работ.

Кроме того, встает вопрос не просто о наборе, а о с и с т е м е показателей, включающей показатели целей, средств, ресурсов и результатов специально для нужд социального планирования и управления. Здесь требуется особенно продуманный подход. Какое место должен в этой системе занять, например, такой важный показатель, как производительность труда? Стоит ли включать показатель средней численности семьи или предпочесть показатель среднего числа детей в семье (что, как известно, отнюдь не одно и то же)? Как быть в этой системе с качественными показателями (например, с показателем преобладающей ценностной ориентации)? Или с показателями возрастной структуры (соот-

ношение людей детского, зрелого и преклонного возраста), образовательной структуры, структуры семейного бюджета и т. д.? Этим вопросам посвящены особые разделы рассматриваемых работ.

Как уже говорилось, показатели образа жизни находят все более широкое применение в прогнозных, плановых, программных, проектных, организационных разработках. Они помогают более четко выяснить особенности перспективных социальных проблем, которые предстоит решить в ходе коммунистического строительства, наметить оптимальные пути их решения, как можно явственнее представить себе контуры обозримого будущего нашей страны и мира в целом. Нетрудно понять, какое огромное значение имеет дальнейшее развитие исследований в этом направлении не только для социалистического планирования, но и для идеологической борьбы на современной мировой арене.

В этой связи обращают на себя внимание разделы обозреваемых работ, посвященных теме «Два мира — два образа жизни». Две главы из трех в книге В. Толстых отведены для глубокого концептуального противопоставления социалистического и буржуазного образа жизни. В коллективной работе «Социалистический образ жизни» заключительная глава рассматривает вопросы, связанные с буржуазной концепцией «потребительского общества» и «качества жизни» в свете кризиса идеологии потребительства, а в коллективной работе «Социалистический образ жизни и современная идеологическая борьба» дается не только развернутая критика потребительской идеологии и философии аскетизма, буржуазных концепций «качества жизни» и «массовой культуры», но и подробно освещаются вопросы образа жизни в идеологической работе КПСС и братских компартий. Эти разделы представляют значительный интерес для широкого круга читателей.

Образ жизни все шире рассматривается ныне как научная категория. Упомянутые работы целиком посвящены этой стороне дела. Но образ жизни не только научная категория. И даже не только важная сфера публицистики. Это также важная категория искусства, в том числе и литературы, основной задачей которого, как известно, является познание и осознание форм и условий жизнедеятельности людей художественными средствами. К сожалению, эта сторона вопроса до сих пор остается как бы на втором плане. Здесь слово за публицистами, писателями, литературоведами.

И. БЕСТУЖЕВ-ЛАДА,
доктор исторических наук.

★

ЧЕРЕЗ ВСЮ ВОЙНУ

Софья Аверичева. Дневник разведчицы. Ярославль. Верхне-Волжское книжное издательство. 1976. 349 стр.

Повествование в этой книге ведется скупыми дневниковыми записями, чаще о военных буднях, о друзьях-товарищах, о малых и больших событиях роты. Многое знакомо по другим подобным же документам военных лет, по описаниям безоблачного воскресного дня с его повседневными заботами, огорчениями, радостями — делами мирного времени, вдруг, нежданно взорванного ошеломляющим сообщением: война! И каждый, кто возвращается мыслью к этой трагической минуте, не может забыть главного: понадобились не минуты, а доли секунды, чтоб в сердце и разуме народа произошла великая переоценка ценностей — отступили, стали ничтожно малыми, ненужными личные дела, только что казавшиеся столь важными и значительными, а все поглотила, подчинила себе одна забота — защита родины.

Как будто все знакомо. Знакомо по множеству опубликованных свидетельств эпохи Великой Отечественной войны. И все же, все же... Каждое из таких свидетельств содержит в себе нечто неповторимое, индивидуальное, обогащая новыми фактами, эпизодами, героическими биографиями сокровищницу нашей документалистики, посвященную войне 1941—1945 годов. Но не только в этом ценность подобных публикаций. Они сохраняют для потомков дыхание тех лет, приметы времени, равно важные для историка-исследователя и художника, доносят саму атмосферу, личностное, человеческое восприятие героического времени.

В самой судьбе автора дневников Софьи

Аверичевой сплелось воедино обыденное и удивительное, типичное и неповторимое — сплав, характерный для многих биографий прославленных и безымянных воинов. Разумеется, ничего необычного не было в том, что молодая артистка Ярославского театра имени Волкова с первых же дней войны ушла добровольцем на фронт. Тысячи, сотни тысяч девушек, женщин, в том числе и актрисы, сменили в те дни свои мирные профессии на ратное дело. Удивительным был не сам порыв, вызванный высоким патриотическим накалом чувств. А долговременность, надежность этого порыва, позволившие юной девушке, ничего не смыслившей в трудном ремесле солдата, постичь его в совершенстве и с честью выдержать все испытания на пути рядового бойца-разведчика.

...Ее первая сложная роль в театре — Нора. Мне довелось увидеть ее в драме Ибсена на театральном фестивале. Она буквально покорила зрителей обаянием женственности, милой, какой-то подростковой грациозной угловатостью движений, тонким, скорее интуитивным, нежели аналитическим, проникновением в роль. Запомнился внешний облик Норы: пышная светлая волна волос над упрямым крутым лбом, взгляд больших глаз, устремленных в темноту зрительного зала, грустный и мятежный. Вот из этого-то кукольного ибсеновского домика и шагнула Аверичева в войну, в самую опасную профессию войны — разведчицы.

В считанные дни ей предстояло научиться стрелять, ползать, говорить по-немецки, ездить на мотоцикле. Времени оставалось в обрез. «А немцы уже в Калинине!.. — появляется тревожная запись в дневнике.— Формируется коммунистическая дивизия из ярославцев, костромичей, рыбинцев. В ее ряды вступают... братья с сестрами, отцы с сыновьями. Подают коллективные заявления целые парторганизации, цехи. На предприятиях... митинги. Еду в Кировский райвоенкомат. Там полно народу. Встаю в очередь, прошусь в дивизию. Говорят: «Не время — подождите!» Мчусь в обком комсомола...»

Как выкроить время для постижения всего, что надо знать и уметь разведчику (Аверичева твердо знала, что будет разведчицей), если все часы дневные, вечерние, а порой и ночные заняты репетициями, спектаклями, концертными выступлениями в частях, госпиталях?

Сейчас, когда от тех трагически тяжких дней 1941 года нас отделяет более трех десятилетий, невозможно, немыслимо представить, что могли вместить военные сутки и как непостижимо много мог свершить в эти сутки человек. Трудно поверить, но когда Аверичевой удалось преодолеть все преграды («Куда вы рветесь, а в тылу кто останется?», «Без вас, барышня, обойдутся на фронте», «Не ходите и не просите»), она уже прилично изъяснялась по-немецки, метко стреляла, ползала по-пластунски и, к удивлению театральных поклонников, лихо носилась по городу на стареньком мотоцикле.

В дневнике нет или почти нет размышлений о времени и о себе, раздумий о профессии разведчицы, идейно-нравственных истоках, побудивших С. Аверичеву, как и тысячи ее сверстниц, сделать в годы войны военную специальность делом жизни. Но все это угадываешь за строками, за дневниковыми записями, месяц за месяцем излагающими военные будни, ротные дела и дни.

О себе Софья Аверичева пишет мало, обидно мало. Как бы между делом — о ранениях (она была дважды ранена и каждый раз после госпиталя добивалась возвращения в родную часть); об удачах — добыла языка; сдержанно-радостно — о первом ордене (она награждена восемью правительственными наградами); мимоходом — о топи, грязи, задубевшей от ледяной воды одежде, бессонных ночах и постоянной смертельной опасности, к которой нельзя привыкнуть и без которой нет профессии разведчицы; о том, как трудно женщине на фронте. Щедро, тепло, удивленно и любовно пишет она о товарищах по военному ремеслу — о друзьях-разведчиках, их выносливости, отваге.

Тосковала ли она по театру, сцене? Ведь в ее творческой биографии, когда она сменила «орало на меч», была не только ибсеновская Нора, но и шиллеровская Луиза, чеховская Ирина из «Трех сестер», афиногеновская Машенька...

Ну разумеется, все помыслы ее обращены к тому дню, когда наступит победа и она сможет вернуться на сцену. Эти мотивы также созвучны с другими военными дневниками, письмами, заметками. Люди воевали, шли на самые немыслимые тяготы фронтовой жизни, совершали подвиги, умирали ради того, чтоб пришла пора сози-

дания и народ вернулся к мирным профессиям — рабочего, строителя, хлебопашца, ученого, художника.

Собственно, прошагав с автоматом по фронтовым дорогам от первых месяцев войны до дня победы бойцом-разведчиком, Аверичева никогда не переставала быть в душе актрисой. Корифей русского театра прославленная А. Яблочкина верно угадала и поддержала этот ее внутренний настрой. «Помните всегда, — писала она Аверичевой на фронт, — что вы актриса. Внимательно приглядывайтесь к окружающей вас жизни. Запоминайте чувства, переживания людей, образы героев, чтобы потом со сцены сильно и ярко рассказать о пережитом. Помните всегда, что вы не только боец, вы — боец-актриса!»

Дневниковые записи достаточно убедительно подтверждают — Аверичева никогда не забывала об этом. Бывали случаи, когда ей приходилось горько расплачиваться за подобные «воспоминания», если она предавалась им в неурочные часы. Разведчица с улыбкой вспоминает:

— Аверичева, на пост!

На пост так на пост. Постепенно все вокруг затихает. Небо чистое, морозное, звездное. Высокие сосны в снегу, как будто тоже на посту. Чудесно...

В такие редкие минуты тишины отступает война и память невольно возвращает к прошлому: Ярославль, сцена, притихший зрительный зал, и... забыв обо всем на свете, разведчица вдохновенно, в полный голос читает:

Какая ночь! Мороз трескучий,
На небе ни единой тучи;
Как шитый полог, сини свод
Пестреет частыми звездами...

— Тебе что здесь, театр Волкова? Трое суток гауптвахты и два наряда вне очереди.

— Есть трое суток и два наряда вне очереди, — покорно повторяет Соня и, как положено бойцу, вытягивается в струнку перед разгневанным старшим лейтенантом Крохалевым.

А ночью набрасывает в дневнике:

«Коченеют руки, ноги... Трудная вещь — эти посты... Мысли... переносятся в Ярославль, в театр. А интересно, смогу ли вернуться на сцену?.. Когда-то я очень любила играть в концертном исполнении сцену «У фонтана»... Попробую... теперь уже никто не услышит, все спят:

Часы бегут, и дорого мне время —
Я здесь тебе назначила свиданье...

Нет, нет... мне уже не сыграть... А может, это сейчас и не нужно никому? Нет...»

Последний день войны. Полная, безоговорочная капитуляция. Солдаты Советской Армии шли по земле поверженного врага, оставив за спиной сожженные им города, села, могилы убитых родных — матерей, отцов, братьев, детей. Шли не мстители, не очерствевшие в неслыханно жестоких схватках солдаты, а люди, пронесшие через горнило войны святую веру в добро, в светлое будущее. Эта гуманистическая идея с особой силой выражена на заключительных страницах дневника:

«Иду по зеленому ковру опушки леса. Фиалки точь-в-точь такие же, как в России. И вот уже букетик фиалок в петлице моей гимнастерки. И вдруг вижу: в канаве, свернувшись клубком, в дубленой шубе русского офицера спит девчонка. Светлые распущенные волосы, выгоревшие белесые ресницы. Кто она?.. Беру ее за плечо:

— Фройляйн...

Девочка встрепенулась, в ужасе от меня отпрянула. Шуба упала с ее плеч. Она стояла передо мной в помятом зеленом платьице, бледная, худенькая. На босых грязных ногах черные замшевые туфли на стоптанных каблуках. Спрашиваю, почему она здесь.

У девочки подкосились ноги... она задрожала, отбивая дробь зубами. Подошли ребята.

— Откуда ты ее взяла? Почему она так дрожит?.. Не бойся, не бойся!.. Софья, переведи ей, пусть она не боится нас...

Девочка отшатнулась от ребят, инстинктивно придвинулась ко мне.

— Переведи ей, Софья, пусть не боится, скажи, что в России у нас остались такие же девчонки...

— Как твое имя?

— Луиза, — ответила она.

Я вспомнила шиллеровскую Луизу и, взяв девочку за руку, повела ее вслед за колонной по бетонированному шоссе...»

На этом обрываются дневниковые записи.

Остается добавить, что Софья Аверичева вернулась в Театр имени Волкова и ярославцы поныне встречают ее имя на афишах.

В. ЕЛИСЕЕВА.

НАУКА В ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ ИЗМЕРЕНИИ

И. Т. Фролов. Прогресс науки и будущее человека (Опыт постановки проблемы; дискуссии; обобщения). М. Политиздат. 1975. 223 стр.

Наука для человека, наука о человеке, человек и наука, научно-техническая революция и человек, прогресс науки и будущее человека... Можно было бы продолжить столь злободневный ряд словосочетаний, в конечном счете сводящихся к насущному и актуальному рассмотрению проблем науки в контексте человека. Именно об этом книга известного советского философа И. Фролова. Точка отсчета в ней — день нынешний во имя грядущего. Однако день этот вряд ли может быть описан только в идиллических тонах.

Научно-техническая революция, как известно, принесла с собой величайшие блага для человечества: за семь — десять лет вдвое выросла выработка электроэнергии, за тридцать пять лет произошло удвоение мировой индустриальной и сельскохозяйственной продукции... И вместе с тем нельзя забывать о цене, которую мы платим за это.

Жутковатые отсветы «страшного суда» научного прогресса над человеком будущего слепят глаза перепуганному обывателю. Впрочем, не только ему. «Апокалипсис» современной НТР — реальная подоснова философских и иных дискуссий. «Внемлите зловещим цифрам! Взгляните в бесстрастное лицо научно-технической действительности!» — взывают их участники.

За последние пятьсот лет уничтожено две трети лесов. Из ста взятых человеком у природы единиц в дело идет лишь четыре, остальное же — 5.10^8 тонн — возвращается в виде ядовитых отходов. В результате появляются водоемы, из которых нельзя пить, пища, которую нельзя есть, океаны воздуха, которыми нельзя дышать. За двадцать пять лет в природу выброшено 1,5 миллиона тонн ДДТ, который удалось обнаружить и в печени пингвинов. В Красную книгу природы занесены, говоря фигурально, последний овцебык, предпоследний дельфин, почти мультипликационный волк. 19 граждан США добровольно подвергли себя криогенизации до лучших времен. (Вспомните гротескно-пародийное бегство Мак-Кинли в страну замороженных из памфлета Л. Леонова.) Прибавим к этому...

Но не будем вести дальше этот перечень «научных» бед и «технических» несчастий, почерпнутых, кстати сказать, из книги, о которой речь.

Более ста лет назад К. Маркс проницательно предостерегал: «...культура, — если она развивается стихийно, а не *направляется сознательно*... оставляет после себя пустыню»[1].

Такова сложная, хотя и несколько заостренная в осознанно гуманистических целях действительность, на почве которой затеваются острейшие споры. Честный ученый-естествоиспытатель, представитель буржуазной науки, в лучшем случае бездействует. Писатель-фантаст, как и полагается писателю-фантасту, опережает время, доводя до эсхатологического совершенства мрачноватую реальность, выразительно запечатлевает фантасмагорическую картину чудовищных генетических манипуляций над человеком (например, «Эдем» Ст. Лема). Обыватель, как и полагается обывателю, смятен и растерян. А поэт, кожей чувствуя гипотетическое послезавтрашнее наступление техники на все живое, трагически вопрошает:

Ты молилась ли на ночь, береза?
Вы молились ли на ночь,
Запрокинутые озера
Сенеж, Свитязь и Нарочь?

(А. Вознесенский)

Но... «постараемся же достойно мыслить — в этом основа нравственности», просил лет триста назад Паскаль.

Итак, суть спора как будто ясна. Неясен его ход, диспозиции сторон, их аргументы, логика спора, механизм исторического движения предмета спора, самосознание его участников. Именно здесь как раз и настало время включиться в мировую дискуссию «Наука и человек» философу-марксисту. Но не для того, чтобы, поставив последнюю точку, закрыть тему, а, напротив, чтобы выявить и обнаружить познавательный, социальный и мировоззренческий смысл поставленной проблемы, иначе говоря — переоткрыть ее для новых и конструктивных исследовательских постижений.

«...утверждение марксистско-ленинских подходов к решению многообразных

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 32, стр. 45.

проблем, связанных с развитием науки и ее влиянием на будущее человека, марксистско-ленинского понимания сущности науки и человека, органического единства науки и гуманизма как основы объективных «проекций в будущее» на материале современной науки» — таким видится автору замысел предпринятого им исследования. «По сути дела возникла новая, техническая среда жизни человека, — пишет И. Фролов, — по-новому определяющая его взаимоотношения с природой. Изменения условий жизнедеятельности порой носят столь серьезный характер, что их можно было бы расценить как испытание пределов физических и психических возможностей человека, его сознания и воли». Речь идет прежде всего об осознанном начале экологического воспитания человека, другими словами — о воспитании экологического мышления.

Как же осуществляется этот интересный и многообещающий замысел? Какова композиция книги? В чем своеобразие ее построения?

Главный содержательно оправданный срез проблемы — социобиологический. Выбранный ракурс подкреплен тем, что автор известен как методолог биологической и социобиологической проблематики современного естествознания. Вместе с тем анализ «в целом» — формальный и декларативный — неприемлем для И. Фролова. Социобиологическая составляющая проблемы последовательно расчленена, высветляются отдельные ее грани. А это обеспечивает — теперь уже на новом уровне философского анализа — перспективу целостности науки как исторически обусловленного социального феномена. При этом каждый раз автору удается выразительно и точно поставить философский вопрос в парадоксально-заостренной форме. Под знаком главенствующей оппозиции («демон» науки — «культ» человека) рассматриваются и ее микросрезы в не менее напряженных, драматически ратоборствующих социальных и философских коллизиях: антропологизм (абсолютизация человека) — сциентизм (абсолютизация науки), гены — социум, прогресс науки — экологическая катастрофа, биоадаптация — неоевгеника...

Конечно, было бы просто выбрать средний путь, удовлетворившись мнимым преодолением противопоставленных друг другу полярных образов. Автор поступает иначе: вместо однозначного ответа — заинтересованное вторжение в современную полемику, установка на диалог, но всегда с ярко выраженной личной позицией, обоснованной на методологическом фундаменте диалектико-материалистической философии. В результате — комплексный всесторонний подход к решению проблемы. Взятая тональность — сознательный расчет на читательское сотворчество — нашла пластическое соответствие в композиции книги. Постановка проблемы, дискуссии, пути преодоления философских и социальных затруднений — именно такой триадический принцип положен в основу построения каждой главы. Живое слово современных поединков мысли особенно привлекает читателя. Здесь исследователь выступает уже и как редактор одного из основных наших мировоззренческих журналов — «Вопросы философии» с его жаркими спорами за традиционным «круглым столом» на Волхонке.

Книга, которая должна быть прочитана, не нуждается в пересказе, хотя бы даже и кратком. Однако в чем же все-таки состоит та человеческая мера, с которой автор подходит к столь, казалось бы, безличному, надчеловеческому феномену, каким в обыденном сознании предстает современная наука в ее проекции на будущее?

Бесперспективное противостояние бездушного «технократического оптимизма» и псевдогуманистической «критики науки» выявлено давно. «Так же как смешно тосковать по этой первоначальной полноте индивида, — писал К. Маркс,— так же смешно верить в необходимость остановиться на нынешней полной опустошенности. Выше противоположности по отношению к этому романтическому взгляду буржуазный взгляд никогда не поднимался, и потому этот романтический взгляд, как правомерная противоположность, будет сопровождать буржуазный взгляд вплоть до его блаженной кончины»[2]. Романтическая ностальгия по цельному человеку длится и поныне в современной философствующей психологизированной публицистике (см., например, «футурошок» О. Тоффлера). Не менее интенсивна сциентистская традиция.

Доведенный до предела антропологический псевдогуманистический пафос демонстрирует крайнее пренебрежение к человеческому разуму, а значит, и к нау-

[2] К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 46, ч. 1, стр. 105—106.

ке как наиболее совершенному достижению высокого рационализма. Вместе с тем апология сциентизма оборачивается фетишизацией разума, приобретающего квазисамостоятельное существование в отрыве от своего единственного носителя и источника — человека. Опять-таки пренебрежение к разуму, человеку, подлинному субъекту того же самого высокого рационализма. Крайности, скажем вслед за Ф. Энгельсом, сходятся.

Марксистская мысль — именно в поле ее тяготения развивается исследование И. Фролова — это менее всего *или — или* и даже не *и — и*. Это принципиально постулированное единство науки и гуманизма. Причем такое единство, когда человек выступает как главный элемент научно-технического прогресса, его «самоцель». Как индивид индивидов, то есть в полную меру личность. Он же предпосылка, продукт и результат истории. На этом пути мыслится выход из экологического тупика, чреватого глобальной катастрофой. «Осуществленный натурализм человека и осуществленный гуманизм природы», по Марксу [3],— естественный результат научного развития общества, устремленного к оптимистическому будущему. Эти надежные теоретические основания оберегают мысль автора от возможных разрушительных столкновений с провидческими заклинаниями западных философов от К. Ясперса до А. Кестлера, безоговорочно определившего человека как ошибку эволюции.

Издержки общественного развития также нельзя объяснить незыблемой детерминированностью извечными законами биогенеза. Пафос социальных преобразований есть результат сознательной целеустремленной воли. Автору удается убедительно опровергнуть ряд биологизаторских концепций социальной истории, имеющих широкое хождение в немарксистской философской литературе. «Нет ничего легче,— писал В. И. Ленин,— как наклеить «энергетический» или «биолого-социологический» ярлык на явления вроде кризисов, революций, борьбы классов и т. п., но нет и ничего бесплоднее, схоластичнее, мертвее, чем это занятие» [4]. Это ленинское замечание отнюдь не освобождает исследователя от основательного проникновения в суть буржуазных антропологических концепций социального развития, сознательного спора с ними. И. Фролов достаточно удачно справляется и с этой задачей.

Исследователь понимает, что признание человека самоцелью общественного прогресса не есть еще универсальная панацея от всех бед, которые несет научно-технический прогресс. Нужны правовые гарантии личной свободы. Именно эти гарантии и есть действенный заслон от неоевгенических покушений буржуазной науки на человека как неповторимый биосоциальный шедевр природы. Требуется «четкое признание уникальности и свободы индивида, обеспечиваемое моральными и законодательными нормами и действиями со стороны общества», ибо человек, по слову Я. Рогинского, участника одной из дискуссий, представленных в книге, есть «существо, одержимое чувством свободы, как бы ничтожно мала ни была сама свобода». Лишь в условиях расцвета субъекта науки, обретающего статус личности, наука в полном объеме становится феноменом всеобщего труда, до конца раскрывающего собственную гуманистическую и нравственную сущность, столь созвучную коммунистическому мироощущению. В свою очередь, сознательное строительство коммунистического общества требует «подлинного уважения к науке, умения и желания советоваться, считаться с ней» [5].

Осуществленный автором философский анализ науки, взятой в человеческом измерении, побуждает смятенное сознание обывателя стать уравновешенней и спокойней, ученому-естествоиспытателю помогает осмыслить свое место в системе наука — человек — будущее человечества, поэту позволяет сделать заветный шаг от образа к образу-понятию.

Академик Б. Астауров: «В социальной фазе своей эволюции человек должен заслужить себе новое наименование... Homo sapiens et humanus» [6].

---

[3] К. Маркс и Ф. Энгельс. Из ранних произведений, стр. 590.

[4] В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 18, стр. 348.

[5] Л. И. Брежнев. Отчетный доклад ЦК КПСС XXV съезду. М. Политиздат. 1976, стр. 58.

[6] Б. Астауров, «Homo sapiens et humanus— Человек с большой буквы и эволюционная генетика человечности». («Новый мир», 1971, № 10. стр. 224.)

Поэт А. Вознесенский:

Скажу, вырываясь из тисков стишка,
Тем горлом, которым дышу и пою:
«Да здравствует научно-техническая,
Перерастающая в духовную!»

Сознательный исследовательский акцент на футурологической проекции проблемы несколько ограничил автора: отсечено прошлое науки, ее история, сущностный образ науки различим не вполне, коренные трансформации мышления в эпоху НТР прошли стороной. Но все эти естественные «зияния» предполагают продолжение и углубление философского анализа, хорошо начатого этой полезной книгой. Спор начат — спор движется к «понятийному» оформлению щедрой и открытой мысли[7]. Мысли достойной — и потому нравственной.

Книга И. Фролова завершается на высокой публицистической ноте: «Прекрасное и бесконечное будущее ожидает человека и человечество, если восторжествуют и будут всегда вести его вперед присущие ему разум и гуманность... Из создания природы он превратился в ее исследователя и все более разумного и искусного управителя, сознающего свою космическую ответственность...» В перспективе — общество «с истинно человеческими отношениями» (Маркс), синтетическая и универсальная наука о Человеке, для Человека, наука в Его честь.

Вадим РАБИНОВИЧ.

---

[7] К чести советской философской науки, теоретико-логическое осуществление этой возможности конструктивно начато В. Библером в его превосходной работе «Мышление как творчество. Введение в логику мысленного диалога» (1975). Доведение мысли до понятия, отмечает автор, осуществляется как объективный процесс в моменты революционных ломок исторически сложившихся типов теоретического мышления. В такие моменты практика развернута до такой полноты реализации, что каждый акт «изменения обстоятельств» оборачивается, по К. Марксу, актом «самоизменения», изменения самой деятельности, изменения собственного образа мышления. Намеченная здесь перспектива анализа преобразующегося мышления в контексте НТР позволит выявить подлинно человеческий смысл прогресса науки, постичь науку в контексте реального гуманизма

КОРОТКО О КНИГАХ

★

НИКОЛАЙ ТАРАСОВ. Впечатление. Книга стихов. М. «Советский писатель». 1976. 103 стр.

Николай Тарасов — поэт со своим почерком, со своей манерой, с точным и острым видением мира. Мыслит он всегда через детали, подробности, метафоры. В его книге находишь целостный обжитой мир, где строго определено место каждой подробности, все существенно и все мотивировано. Видно, что стихи вошли сюда «отстоявшиеся», собранные за много лет работы, что это опыт зрелой мысли, здесь нет ничего незначительного, скороспелого.

Николай Тарасов, судя по его стихам, многое повидал в жизни, многое обдумал и вынес на суд читателя свои суждения не опрометчиво и не скоропалительно.

Новизна «всех впечатлений бытия» — отличительное свойство поэтического мироощущения Николая Тарасова. В стихотворении, открывающем книгу, поэт пишет: «Все сначала. Темные аллеи. Кораблей далеких голоса. И хотя я все-таки старею — горы, море, губы и глаза».

Николаю Тарасову присуще умение повернуть повседневность к читателю неожиданной, яркой стороной, поэт не боится прозы, потому что умеет переплавлять ее в поэзию. Прозаично, казалось бы, само название одной из московских новостроек, но Тарасов в стихотворении «Чертаново» убедил нас в обратном: «Занятья радостнее нет. Взглянуть в окно микрорайона на белый снег и белый свет...»

В картинах природы, урбанистических пейзажах Николая Тарасова всегда присутствует человек. Каждая строка здесь проникнута мироощущением современника, с которым заодно лирическое «я» поэта.

Необычайно ярки, точны по деталям, по подробностям, но в то же время и лаконичны стихи-воспоминания поэта о довоенных годах, ленинградском детстве:

Дождь по трапу пошел вприсядку.
Флаг на мачту — и сбор играй!
Пионеры годов тридцатых,
Как фрегат, занимают трамвай.

Тема Ленинграда, надо сказать, заветная у Тарасова. Одним точным штрихом, одной черточкой ему удается передать облик этого города:

Улицы стиснутый разум.
Блики холодных огней
И за железной оградой
Белый набат площадей.

Город спасен от безвестности
И возведен на века:
Частью изящной словесности
Стали дома, облака.

Та же способность немногими словами создать объемную картину, передать настроение отличает стихотворения Тарасова о заграннце, поэт многое повидал в жизни и интересно, по-своему рассказал об этом читателям.

В то же время характерное для Тарасова ощущение первозданности бытия заставляет поэта серьезно задуматься о мире, о его нравственной сути:

И не было вечности году,
И травку щипали века.
И, не удивляясь исходу,
Клубились, как сны, облака.

Тогда-то взглянул я, как в воду,
И зло отделил от добра,
И вызволил дух на свободу,
И сделал тебя из ребра.

И суждения свои о жизни поэт выносит на суд читателя, хорошенько все взвесив, обдумав. В его стихах твердо и точно расставлены нравственные акценты, Тарасов веско говорит свое слово, счастливо избегая при этом назидательности.

Зрелость мысли, а с другой стороны, «свежесть чувств и зренья острота» определяют, на мой взгляд, обаяние, художественную индивидуальность безвременно ушедшего от нас поэта. Индивидуальность, столь полно выразившуюся в его последней книге.

Евгений Винокуров.

★

СОФРОН ДАНИЛОВ. Красавица Амга. Роман. Перевод с якутского Николая Ершова. М. «Современник». 1976. 431 стр.

Их было двое на берегу Амги. «Умиротворенно дремали лиственницы, отороченные белым пухом. Стояла такая тишь, что, казалось, слышно было шуршание падающего снега... Ах, отрада души — снегопад!» Спутники — оба молодые, оба якуты, оба ровесники — одинаково всем своим существом впитывали красоту родного края, этого медленного, торжественного снегопада. Но на этом сходство между ними кончалось. Байский сын Валерий Аргылов и

комсомолец из бедняцкого рода Томмот Чычахов были непримиримыми врагами. Сложно переплелись их судьбы. Один пробирался в тайгу к белым, другой выполнял миссию советского разведчика во вражеском лагере. Шел 1922 год.

Уже «был сброшен в море Врангель, изгнаны белополяки, последние развеянные банды басмачей уже безнадежно рыскали по Средней Азии, обреченные на гибель и бесславие, но последний акт великой народной драмы, именуемой гражданской войной, выпал на долю Якутии». На страницах романа якутского писателя Софрона Данилова оживают факты истории, воскресают забытые имена. Вдохновитель контрреволюционного мятежа в Якутии, бывший ссыльный эсер-террорист, сотоварищ Савинкова Куликовский, назвавшись «управляющим Якутской областью», находит на задворках Харбина бывшего колчаковского генерала Пепеляева, который «добывал себе хлеб в Харбине работой в извозе». «Под его бело-зеленое знамя стали собираться осколки белых армий». Более семисот головорезов Сибирской добровольческой дружины двинулись на Якутск. На пути к нему лежало тихое, затерявшееся на берегу реки Амги якутское селение Амга, которое стало центром кровавых событий.

Исторические события в многоплановом романе Софрона Данилова не фон, они определяют и личные судьбы героев. Классовая борьба, исконная вражда между богатыми и бедными, раздирающая якутские улусы, раскалывает надвое семью богача Аргылова. С одной стороны, старик бай и его жестокий и циничный сын Валерий, примкнувший к белым, с другой — безропотная, забитая мать и дочь Кыча, прелестная в своей женственности, тянущаяся к новой жизни.

Повествование остросюжетно. Читатель напряженно следит за всеми перипетиями опасной работы разведчика Томмота Чычахова, который не раз оказывается на краю гибели, за тем, как развивается его роман с Кычей, вопреки своей воле оказавшейся в лагере белых. Драматические обстоятельства, в которые поставлены персонажи, позволяют им раскрыться, проявить свою сущность. Так, осторожный и рачительный «крепкий» хозяин Митеряй Аргылов, надеющийся, что, согласно якутской пословице, другие будут «валить деревья», а он только «собирать белок», предстает перед нами в конце романа жестоким хищником, предающим и убивающим своих односельчан. Батрак Суонда, темный, слепо преданный хозяину, прозревает, оказывается способным на самоотверженные поступки. Попавший в ряды белых националистически настроенный якут Чемпосов, мечтающий о единстве всех якутов, богатых и бедных, осознав крушение своих идеалов, кончает самоубийством.

В изображении классовой борьбы в Якутии, как и в решении проблем нравственных, роману Софрона Данилова свойственна острота акцентов. Повествование заканчивается трагически. Гибнет от пули брата Кыча, заслонившая собой любимого, гибнет Томмот Чычахов. Но пушки грохочут уже совсем рядом, отряды Красной Армии приближаются к Амге. «С победой! С твоей победой, Томмот!» — восклицает Кыча перед смертью.

Идейная направленность романа выражена четко: это интернационализм, братский союз трудящихся всех народностей Советской страны, дружба якутов с русскими. Недаром заветная мечта героини романа Кычи — переводить русские книги на якутский язык. Атмосферу дружбы трудящихся всех национальностей ярко передают страницы романа, рисующие Первую якутскую партийную конференцию, а также учредительный съезд Советов, на который съехались «якуты и русские, эвены и украинцы, эвенки и латыши».

Роман Софрона Данилова передает атмосферу жизни и быта Якутии 20-х годов. Историческую достоверность усиливают выделенные курсивом строки документов — постановление Революционного Комитета и Совета Народных Комиссаров Якутии, их воззвание к народу и даже такое любопытное объявление: «Якутский народный театр. Пятница, 25 августа 1922 года. «Черное пятно». Пьеса в трех картинах. Цена билетов: 1—4 ряды 15 фунтов ржаной муки, 5—8 ряды 10 фунтов... 13—15 ряды 5 фунтов, галерея — 4 фунта». В книге приводятся народные песни, пословицы, поговорки.

Но хотелось бы сделать замечание в адрес переводчика. Пожалуй, не стоило ради воспроизведения колорита жизни злоупотреблять в тексте романа якутскими названиями, словами, которые объясняются в многочисленных сносках, это затрудняет чтение. Вполне достаточно, например, сказать «иней» и обойтись без названия «куржак». Но это, безусловно, мелкие замечания.

К. Шостак.

★

ДАЛЬ ОРЛОВ. Сергей Баруздин. Очерк творчества. М. «Детская литература». 1976. 112 стр.

Книга Даля Орлова посвящена анализу творчества известного детского писателя, автора стихов, рассказов, повестей и романов, произведения которого переведены более чем на пятьдесят языков у нас в стране и за рубежом.

Даль Орлов предстает в книжке в разных ипостасях — критика, теоретика литературы, публициста и социолога. Анализируя конкретные произведения писателя, Д. Орлов пытается на основе творчества Баруздина делать теоретические литературные обобщения, публицистические экскурсы в жизнь, извлекать философские уроки. Так, во введении к книге, раздумывая о связи биографии Сергея Баруздина с его творчеством, автор пишет: «Он (С. Баруздин.— *В. Б.*) прошел войну, но и война прошла сквозь него. Она во многом, если не в главном, определила его быть таким, каким он стал».

Критик, на наш взгляд, справедливо отмечает сильные стороны художественной манеры Баруздина — точность его поэтических характеристик, ту зримую подлинность, которая словно бы «растворена во всей атмосфере повествования, чувствуется в деталях, видна в индивидуальной обрисовке характеров и обстановки действия».

Интересен в книге теоретический спор автора с И. Мотяшовым о жанровых особенностях современной сказки. На материале сказок Сергея Баруздина, которые использует в своем анализе И. Мотяшов в книге «Мастерская доброты», Д. Орлов убедительно опровергает его неверные суждения о художественном своеобразии сказок Баруздина, о месте сказки в творчестве этого писателя.

«Действительность интереснее, с к а з о ч н е е, чем вымысел, — утверждает Мотяшов, — мне кажется, именно в таком полемическом смысле Баруздин и употребляет слово «сказка»... У него есть большие стихотворения — целые поэмы, — названные «сказками»... Но по жанру это, конечно, никакие не сказки. Самое большее, что может поэт позволить себе «сказочного», — это говорить о трамвае, как если бы речь шла о живом существе. Да и сам поэт, называя свои произведения «сказками», мне думается, менее всего хотел создать именно сказки — со всеми присущими этому жанру особенностями».

Думается, Даль Орлов совершенно справедливо утверждает, что писатель дает жанровое определение своим произведениям с полной внутренней убежденностью в том, что он создал их именно в этом жанре, а не в каком-либо другом. Конкретным, логически стройным анализом художественной ткани произведений Сергея Баруздина Д. Орлов словно бы демонстрирует читателю «сказочность» сказок этого писателя, убеждая в том, что сказка в творчестве Баруздина — «логическое следствие органики его таланта, таланта, которому в полной мере присуще такое свойство, как «детскость». Анализируя сказки писателя, критик делает интересные теоретические выводы о закономерностях, присущих вообще современной литературной сказке. «Сделанное Баруздиным в сказочном жанре немногочисленно по названиям, но убедительно по художественному результату, по утверждению в литературе современной сказки», — заключает главу Д. Орлов. Если иметь в виду, что задача квалифицированной критики состоит не только в объяснении литературного процесса «читающей публике», но и в раскрытии подлинно сильных и слабых сторон творчества писателя, то вывод Д. Орлова не только правомерен, но и необходим. В этом проявляется, кстати, и сильная сторона дарования самого критика.

Вместе с тем есть в книге мысли, с которыми согласиться трудно. Там, где Д. Орлов в публицистических отступлениях говорит о своем понимании войны, о роли женщины в жизни общества, об отношении к природе, его суждения интересны и звучат весьма современно. А вот его высказываниям о школе, на наш взгляд, явно недостает знания истинного положения дел: критик, например, считает, что на повестке дня сегодняшней школы в связи с НТР с особой остротой стоит вопрос о качестве обучения («проблема двойки»). Между тем НТР, как известно, ставит перед школой и педагогикой как наукой прежде всего задачу нравственного образования, то есть раскрытия перед учащимися нравственной стороны каждой науки, в том числе и таких, как физика и математика.

Неубедительными и даже несколько неделикатными показались нам выпады критика против некоторых писателей, таких, скажем, как А. Дорохов, который, по его мнению, в своих произведениях повторяет «изначальные истины» прямолинейно в отличие от «волшебной увлеченности» Корнея Чуковского. Но, как известно, К. Чуковский никогда не создавал популярных книг о науке, так же как А. Дорохов не был поэтом. Поэтому сопоставлять их работу в литературе в такой форме просто неправомерно.

Свою маленькую рецензию я хотела бы закончить словами Сергея Баруздина, приведенными критиком в книге, ибо в этих словах Д. Орлов справедливо увидел ключ к творчеству писателя, исходные позиции художника и человека, для которого работать, писать — это «нести людям добро и правду, без устали напоминать им, сколько чудес таит в себе детство и как ужасна война, как прекрасны дела советских людей и как важно ценить каждый миг нашей жизни!..».

В. Бавина.

★

В. ПИСКУНОВ. Советский роман-эпопея (Жанр и его эволюция). М. «Советский писатель». 1976. 366 стр.

Лучшие произведения советской литературы — о времени, о революции, о человеке. Каждое десятилетие нашей жизни побуждает снова и снова обращаться к этим великим предметам, находя в художественных откровениях больших писателей трудные ответы на будоражащие современный мир вопросы.

Мысль исследователя конца 70-х годов пытается проникнуть в идейно-художественные конструкции выдающихся романов-эпопей, в которых реализована общественная потребность «объять все, открыть законы сцепления природы общества, мира и человека». В. Пискунов разрабатывает теорию романа-эпопеи, который отнюдь не сводится к механическому увеличению объема, «листажа» или простому сочетанию различных типов романных достоинств; в основе романа-эпопеи, по словам исследователя, заложена «всеобъемлющая художественная концепция народной жизни, одухотворенная синтезом сущего и должного, личного и общенародного, социального и психологического». Не каждая эпоха создает исторические предпосылки для тако-

го единства, и, например, в XIX веке автор книги отмечает лишь единожды сложившуюся ситуацию — Отечественную войну 1812 года, ставшую общенациональным делом, обусловившим необычайно прочное чувство общенародной целостности. При такой ситуации текучая, раздробленная современность получает «возможность почувствовать себя не только подвижным и незавершенным временем, но также новым и очень значительным героическим началом». Тогда и возникают социальные предпосылки для создания уникального произведения, как «Война и мир». Впрочем, надо заметить попутно, «механической обеспеченности» и здесь не может быть: для создания новаторского романа-эпопеи потребны не только исторические предпосылки, но и большой талант художника (это уже другая сторона проблемы, и она меньше интересует автора рецензируемой книги).

В XX веке такими эпическими событиями явились революция и победа, 1917 и 1945 годы. Знаменательно, что этими датами обозначены хронологические рубежи исследования В. Пискунова. У обоих событий один эпитет: Великий Октябрь и Великая Отечественная война. Советская литература дала мировой культуре три первоклассных романа-эпопеи — «Жизнь Клима Самгина», «Хождение по мукам» и «Тихий Дон». В первую очередь на этих «трех китах» и строится монография нашего автора.

Утверждая роман-эпопею как жанровую закономерность советской литературы, автор монографии раскрывает подлинно новаторскую сущность искусства социалистического реализма, сумевшего найти синтез «личного времени» героя с историческим временем, решение извечной проблемы человека и мира, проблемы сопряжения индивидуального и общечеловеческого. Подлинная современность эпической трактовки человека исходит, по твердому убеждению исследователя, не только из вовлеченности человека в исторический поток, но также из представления о высокой ответственности индивида за историческое движение, активности человеческого действия, поступка, воли. Лучшие советские писатели искали в революционной действительности пути «ранее невозможного единства человека и эпохи», «личности и прогресса», стремясь «сблизить личное время и эпическое время истории».

В. Пискунову удалось показать внутреннюю необходимость жанра эпопеи в рамках литературы социалистического реализма и показать движение жанра в его историко-эстетической обусловленности.

Вл. Воронов.

★

А. АЛЬТШУЛЛЕР. Павел Свободин. Л. «Искусство». 1976. 174 стр.

Павел Свободин, чье имя многие годы стояло на театральных афишах Петербурга рядом с блистательными именами Савиной, Варламова, Давыдова, по рождению, обстоятельствам жизни и самому строю своей рефлектирующей души был типичным восьмидесятником. Популярный в свое время актер, он писал стихи и прозу, почти профессионально рисовал, блестяще владел несколькими языками, считался неплохим музыкантом. Но его имя, хорошо известное всем, кто интересуется вопросами развития русской культуры конца века, упоминалось до сих пор как бы попутно, в связи с именами крупных писателей, художников, музыкантов, актеров той поры (Свободин был близким знакомым Чехова, корреспондентом Толстого, его высоко ценили Григорович и Г. Успенский, Плещеев и Чайковский, Репин, Полонский, Майков...). В книге А. Альтшуллера личность Свободина, его актерская и человеческая судьба впервые выдвинулись из историко-культурного «фона» и рассматриваются самостоятельно.

Чтобы восстановить в деталях обстоятельства биографии актера, черты его творческой манеры, характер спектаклей, в которых он играл, передать самую атмосферу художественной жизни России тех лет, нужно было перелистать не один десяток газетных и журнальных комплектов, не одну сотню листов архивных документов. Но конечный смысл всех этих поисков — познание конкретной творческой судьбы в ее неразрывной связи с эпохой, средой, художественными исканиями современников. Именно так понял свою задачу автор книги.

Познавший все тяготы провинциального существования, всю жизнь испытывавший унизительную зависимость от репертуара, случая, нужды, Свободин превыше всего ценил человеческую независимость. Незаконный сын бедной мещанки и ремесленника, казеннокоштный воспитанник Театрального училища, он слыл в актерской среде той эпохи едва ли не самым образованным человеком. То, что он написал однажды в письме: «Я много работаю над собой» — относилось не только к тщательной шлифовке ролей, но и к постоянному воспитанию себя как личности. Вот откуда прежде всего его неудовлетворенность собой, повышенное чувство ответственности за все сыгранное, написанное, прочитанное, а в шутках и каламбурах этого известного весельчака и острослова — горький стыд за время, себя самого и своих ближних, горечь и насмешка человека, ясно сознающего, как порочен господствующий порядок («Чуть где свободное скажется слово, шлют уж с повесткой городового»). Но Свободину дано было испытать и радость сознания, что к его творчеству, к его духовным тревогам приобщено множество людей. Именно в этом заражении беспокойством и был, очевидно, высший смысл того тягостного бремени тоски, сомнений и разочарований, которое несли на своих плечах лучшие люди хмурых 80-х годов. Это как тот молоточек — о нем мечтал один из чеховских героев, — что своим стуком должен был бы уберегать человеческую душу от сытости и покоя, будоражить совесть, будить сострадание.

Свободин умер в 1892 году сорока двух лет. Умер в антракте между третьим и четвертым действиями пьесы Островского «Шутники», не сняв костюма и грима. Он не дожил до театральных преобразований, о которых мечтал и которыми был отмечен рубеж столетий, не сыграл «своих» ролей в «Чайке», «Трех сестрах», многого не увидел, не прочел, не узнал. Но в общее движение художественной мысли вошли, как капля в океан, и его актерские поиски, его неудовлетворенность, его такая понятная тоска по другой, более разумной и справедливой жизни. Так тянется от эпохи к эпохе нить преемственности. В постижении этих внутренних связей, умении рассмотреть творчество исследуемого художника в их широком контексте — одна из сильнейших сторон книги А. Альтшуллера.

Ирина Гитович.

★

ИСКУССТВО СОВЕТСКОГО ПАЛЕХА. Библиографический указатель литературы. Иваново. 1976. 98 стр.

Эту книгу-справочник можно было бы озаглавить «Все о Палехе». Составлен указатель главным библиографом-краеведом Ивановской областной научной библиотеки З. Н. Корчагиной. Оформлен художником-палешанином В. М. Ходовым.

По разным рубрикам в книге описано 1109 работ. Уже сама эта цифра впечатляет: как много сделано художниками Палеха и как много о них написано!

Среди представленных в указателе материалов — труды известных искусствоведов А. В. Бакушинского, В. М. Василенко, Г. В. Жидкова, М. А. Некрасовой, М. П. Сокольникова, книга старейшего палешанина Н. М. Зиновьева о Палехе, выпущенная двумя изданиями, статья в «Правде» П. Корина, И. Вакурова, Н. Зиновьева и Н. Правдина, красноречиво озаглавленная «Творчество палешан — национальное достояние».

Под рубрикой «Темы и образы в творчестве палешан» в указателе находим искусствоведческую, критическую и другую литературу о ленинской и историко-революционной темах, об изображении труда советских людей, о фольклорных и литературных сюжетах (в частности, у Пушкина, Крылова, Лермонтова, Некрасова, Шолохова) и т. д.

Палешане — мастера портрета, мастера настенной живописи, реставраторы памятников, иллюстраторы книг, оформители театральных постановок и кинофильмов нашли широкое отражение в библиографическом указателе. Знакомясь с ним, мы узнаем также о музеях, где хранятся произведения палешан, о путеводителях, выставках, каталогах.

Обзор содержания справочника показывает, как разностороння литература об искусстве советского Палеха. Даже при беглом знакомстве с указателем можно узнать некоторые поразительные факты. Оказывается, уже в 1924 и 1925 годах в Венеции и Париже вышли каталоги Международных выставок, в которых зафиксированы произведения палехского искусства, участвовавшие в этих выставках, а в 1933 году в Лондоне на английском языке был издан специальный каталог «Искусство Палеха». Это наглядное свидетельство того, как рано искусство палешан получило международное признание.

В указателе, составленном З. Н. Корчагиной, впервые дан систематизированный свод огромной литературы об искусстве советского Палеха за 1924—1975 годы. И нет сомнения, что эта книжка найдет широкое применение среди научных работников, критиков, художников, библиотекарей, учителей, всех пропагандистов прекрасного палехского искусства.

П. Куприяновский,
доктор филологических наук.
Иваново.

★

АЛЕКСАНДР ДУНАЕВСКИЙ. Жанна Лябурб — знакомая и незнакомая. М. Политиздат. 1976. 167 стр.

Когда я училась во втором классе, мне выдали первое в жизни удостоверение. На серой обложке маленькой книжечки изображалась тюремная решетка, сквозь железные прутья которой невидимый узник просовывал руку с трепетавшим на ветру красным флагом. Это было удостоверение члена МОПРа — Международной организации помощи революционерам.

Мы, пионеры и школьники 30-х годов, воспринимали борьбу коммунистов других стран как свое кровное дело, непосредственно касающееся каждого из нас. Мы немало знали о чешских и венгерских, швейцарских, сербских и французских интернационалистах, которые вместе с советскими трудящимися сражались на фронтах гражданской войны, защищая завоевания Октябрьской революции. В нашем классе, помню, висел на стене портрет женщины из этой когорты славных борцов — она была очень красива, с большими прекрасными глазами, одетая в строгое темное платье. Ее звали Жанна Лябурб. Нам рассказывали, что своими пламенными речами, глубокой непоколебимой верой в победу русской революции она сумела раскрыть глаза обманутым французским солдатам и матросам, посланным буржуазией в 1918 году в Россию на подавление восставшего народа, помогла им разобраться в событиях и принять важное решение — покинуть Одессу. Два раза в году — в праздник Великого Октября и в день Парижской коммуны — мы украшали портрет Жанны цветами.

Спустя много лет я снова встретилась с прославленной французской коммунисткой, теперь уже на страницах книги Ал. Дунаевского «Жанна Лябурб — знакомая и незнакомая».

В годы гражданской войны в красноармейских газетах было несколько рубрик, названия которых, возможно, покажутся

непривычными для современного читателя,— это были Красные, Черные и Золотые доски. На Красную заносились герои фронта, на Черную — нарушители воинской дисциплины. Была и Золотая доска, где увековечивались имена друзей Октября, пламенных революционеров-интернационалистов. Одну из таких газет — «Красная Армия» — разыскал Ал. Дунаевский. На Золотую доску этой газеты было занесено имя Жанны Лябурб, о ней сообщалось: «Жанна Лябурб была учительницей и проживала в Москве. Но все мысли ее, все ее горячее сердце принадлежало великой мировой пролетарской революции. Когда в Москве образовалась секция французских коммунистов, Жанна Лябурб сейчас же примкнула к этой организации и стала деятельным ее работником... Когда потребовалось послать товарища в Одессу, чтобы повести агитацию среди французских солдат и матросов, Жанна Лябурб решила ехать, хотя и сознавала, с какими опасностями сопряжена сейчас подпольная работа в стане наших врагов — белогвардейцев и империалистов... Французские генералы расстреляли нашего смелого, преданного товарища. Но память о ней жива и будет жить в сердцах всех работниц и рабочих, кому дорога святая цель нашей многотрудной борьбы...»

В этой небольшой заметке, автором которой была А. М. Коллонтай, сказано самое главное о жизни, борьбе и героической смерти Жанны Лябурб. Она недолго пробыла в Одессе, всего месяц. Но вместе с товарищами по подполью своей умелой пропагандой, убедительной агитацией Жанна сумела расположить к себе французских солдат и матросов. Усилиями коммунистов-подпольщиков, их самоотверженной борьбой за душу каждого солдата и матроса интервенция в Одессе была сорвана. Жанне Лябурб и ее товарищам удалось осуществить то, на что позже указывал В. И. Ленин: «Путем агитации и пропаганды мы отняли у Антанты ее собственные войска...»

Рецензируемая книга написана на основе многочисленных документов, в ней использованы ранее неизвестные архивные материалы, рассказы людей, знавших Жанну и работавших вместе с ней в подполье. Книга Ал. Дунаевского — плод настойчивого, долголетнего поиска, в который были вовлечены люди разных поколений, жители многих стран — ветераны партии, пионеры и школьники, жители Харькова и Курска, Ленинграда и Махачкалы, Белграда и Москвы, граждане Франции, Польши, Югославии, Румынии. Вот почему читатели, с интересом и волнением следуя за автором по пути славной француженки, с нетерпением ожидают письма из маленького французского городка Лапалис, где родилась Жанна Лябурб, огорчаются, когда узнают, что в польском городе Томашове, где она вступила на путь революционной борьбы, не сохранились архивные материалы о ее жизни. Они вместе с писателем с горечью и болью читают свидетельства очевидцев ее трагической гибели.

«Жанна Лябурб — знакомая и незнакомая» — не первая книга Ал. Дунаевского. Он известен как автор ряда книг о героях-интернационалистах — «Олеко Дундич», «Иду за Гашеком», «По следам Гая», «Подлинная история Кароя Лигети», «Платтен — известный и неизвестный». Все они, рассказывая о людях высокого нравственного облика, живших и боровшихся более полувека назад, оказываются исключительно актуальными в наши дни, наглядно раскрывают истоки идей пролетарского интернационализма, их огромную действенную силу и непобедимость.

Л. Пиичук.

★

СЛОВО О НАУКЕ. Афоризмы. Изречения. Литературные цитаты. Составитель, автор предисловия и введений к главам Е. С. Лихтенштейн. М. «Знание». 1976. 302 стр.

В наше время, как никогда раньше, наука настойчиво и пытливо задает себе вопрос, что же она такое. Как никогда раньше, в обстановке преобразующей мир НТР этот же вопрос волнует и общество. Ширятся науковедческие исследования, феномен вычисляют и прогнозируют, расспросы касаются самых сокровенных глубин творчества и сложнейших взаимосвязей познания с практикой. Тем ценнее появление книги «Слово о науке» — свода мнений выдающихся людей всех времен и народов о том, что такое наука.

Идея этой книги принадлежит академику С. Вавилову. Ее осуществил составитель Е. Лихтенштейн, который бережно и с любовью собрал представительный форум ученых, философов, писателей, государственных деятелей, выступив сам с содержательными комментариями. В необычной антологии шесть разделов: «Наука в веках», «Наука и современность», «Гуманизм науки», «Лаборатория ученого», «Наука и знание», «Кунсткамера». Велико искушение, спрессовав мнения, дать их очерк по всем поднятым проблемам. Но можно ли квинтэссенцию сгустить в еще большую квинтэссенцию и нужно ли? Ограничимся немногим.

Сознание порой невольно отождествляет науку с ее инструментарием и материализованными продуктами познающей деятельности — с межпланетными станциями и компьютерами, синхрофазотронами и лазерами. Еще чаще возникает знак равенства между наукой и знаниями, от чего остерегал еще историк Ключевский: «Науку часто смешивают со знанием. Это грубое недоразумение. Наука есть не только знание, но и сознание, т. е. умение пользоваться знанием».

Только ли это? Мышление человечества заметно колеблется меж двумя полюсами. На одном господствует метод, который выводит все истины из заданной системы постулатов, замыкается в ней точно в коконе, дает незыблемую, раз и навсегда объясненную картину мира, подавляя любой уход

мысли из-под стражи догматов. Противостоящий метод, наоборот, ничего не принимает на веру и бросает все в плавильный тигель ищущей мысли, пробуя результат на оселке диалектики, эксперимента и практики. Первый стиль и способ мышления обычно называют религиозным, хотя он необязательно связан с признанием бога, а второй — научным.

Читая «Слово», остро ощущаешь накал борьбы меж этими полярностями, хотя, казалось бы, история уже давно вынесла свой приговор. Сколько тысячелетий религиозное мышление властвовало над умами — и что же? Оно не принесло человеку ни лишнего куска хлеба, ни крупинки лекарств, соломинкой не защитило от стихийных бедствий, пылинки не сняло с тяжести гнета. Наука же стремительно подтвердила мысль Горького, что «у людей нет силы более мощной и победоносной, чем наука». Но если памятливый Коперник сказал: «...и был Аристарх судим за то, что сдвинул с места святой центр мира»,— то наш современник Жолио-Кюри вынужден был напомнить: «Науку надо защищать». Напоминание не лишнее, пока существует классовая борьба, пока есть силы, желающие погрузить человечество в сон. Наука не замкнута сама в себе, ибо «*развитие науки*, этого идеального и вместе с тем практического богатства, является лишь одной из сторон, одной из форм, в которых выступает *развитие производительных сил человека...*» (К. Маркс).

Герцен однажды заметил, что «человек и наука — два вогнутые зеркала, вечно отражающие друг друга». Можно добавить, что есть и третье зеркало — искусство. «Наука и искусство так же тесно связаны между собой, как легкие и сердце...» — говорил Л. Толстой. Трудно не согласиться и с мнением Горького о том, что «три человека строят культуру: ученый, художник и рабочий». Упоминать обо всем этом было бы излишне, не существуй обыденного представления о науке как о воплощении сухого рационализма, холодного знания. Тот, кто убежден, что главное в научном творчестве — знание, расчет и логика, возможно, удивится, узнав, что сами ученые думают о своем труде несколько иначе. «Логика, которая одна может дать достоверность, есть орудие доказательства; интуиция есть орудие изобретения»,— писал А. Пуанкаре. Конечно, «случай помогает подготовленному уму» (Л. Пастер), но «ничто великое в мире не совершалось без страсти» (Г. Галилей). В частности, «отсутствие фантазии ничем не может быть заменено в техническом деле» (М. Кирпичев), поскольку «наука, как и все виды искусства, требует воображения» (Дж. Томсон), и, более того, «воображение важнее знания» (А. Эйнштейн). Тут есть о чем размышлять педагогам!

Разумеется, мы не коснулись и сотой части вещей, о которых побуждает задуматься антология. Разве нет доли правды в горестном восклицании английского публициста первой трети XIX века У. Гэзлита: «Разум! Когда же кончится столь долгое несовершеннолетие твое!» — восклицании, которое своеобразно уточняет Софокл: «Как страшен может быть разум, если он не служит человеку». Многое, очень многое побуждает при знакомстве с антологией к согласию, размышлению, а то и к спору, что тоже прекрасно, ибо, как сказал Гегель, «противоречие есть критерий истины, отсутствие противоречия — критерий заблуждения».

Все говорит за то, что «Слову о науке» предстоит долгая и плодотворная жизнь.

Д. Билеикин.

★

С. Д. БЕШЕЛЕВ, Ф. Г. ГУРВИЧ. Экспертные оценки в принятии плановых решений. М. «Экономика». 1976. 83 стр.

Каждый из нас ежедневно и ежечасно предпринимает попытки заглянуть в будущее. Договариваясь вечером встретиться с приятелем, мы предполагаем, что служебные дела позволят вовремя покинуть работу, что городской транспорт не подведет, что приятель окажется пунктуальным и не заставит себя ждать. Собираясь в кино, мы рассчитываем достать билет и надеемся, что фильм нас не разочарует. Простые житейские дела, но любое из них в большей или меньшей степени требует предвидения.

В простейших случаях мы стремимся заглянуть в будущее самостоятельно — опираясь на свой жизненный опыт, интуицию, различную информацию вроде напечатанного в газете прогноза погоды или наклеенной на стене дома афиши. Но стоит столкнуться с ситуацией посложнее, как звучат сакраментальные фразы: надо посоветоваться, надо обсудить с товарищами. И мы советуемся с людьми, чьим мнением дорожим, чьему опыту доверяем. Иными словами — собираем экспертные оценки, ибо латинского происхождения слово «эксперт» означает не что иное как «опытный».

С первых лет существования советской власти коллективным экспертным оценкам в народном хозяйстве придавалось огромное значение. В ленинском «Наброске плана научно-технических работ» (апрель 1918 года) есть такие строки: «Академии наук, начавшей систематическое изучение и обследование естественных производительных сил России, следует немедленно дать от Высшего совета народного хозяйства поручение образовать ряд комиссий из специалистов для возможно более быстрого составления плана реорганизации промышленности и экономического подъема России» [1]. В 1918 году при ВСНХ по инициативе В. И. Ленина был организован Совет экспертов, рассматривавший важнейшие народнохозяйственные вопросы. Экспертные оценки были положены в основу плана ГОЭЛРО, а в дальнейшем планов пятилеток. Но особенно возросло их значение в последние десять—пятнадцать лет,

[1] В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 36, стр. 228.

когда экспертные оценки стали широко практиковаться в самых ответственных и технически сложных отраслях — в авиации и космонавтике, машиностроении и оборонной технике,— когда были разработаны точные и объективные процедуры экспертизы, математические методы обработки полученных субъективных оценок.

Казалось бы, в эпоху научно-технической революции методы, основанные на старомодном «надо бы посоветоваться», должны быть безвозвратно забыты. На самом же деле это противоречие кажущееся. Нужда в оценках опытных людей возрастает именно в связи с научно-технической революцией, в связи с неимоверным усложнением управляющих функций человека в сегодняшнем мире. Метеорологи утверждают, что для более или менее точного суточного прогноза погоды им нужно располагать примерно тремя тысячами исходных данных, трехсуточный прогноз требует уже 20 тысяч изначальных параметров. Для оптимального же планирования отрасли народного хозяйства пришлось бы решать систему из миллионов уравнений, продираться сквозь чащу многовариантных задач и альтернативных решений.

Но самое главное не в сложности, громоздкости и длительности расчетов, хотя многие из них по этим причинам практически пока невыполнимы. Дело в том, что самые громоздкие объективные методы познания будущего нередко приводят не к абсолютно точному знанию, а к почти точному, не к оптимальному решению, а к почти оптимальному.

Между тем проблема плановых решений в народном хозяйстве с каждым годом все более усложняется: в десятой пятилетке взят курс на системный, комплексный подход к планированию, подразумевающий теснейшую увязку отраслевых планов, строжайший учет сложностей сети прямых и обратных связей между отраслями.

В таких условиях ориентироваться только на математические решения нецелесообразно и даже невозможно. Загадочная своим быстродействием, универсальностью, точностью, объемом хранимых и перерабатываемых данных, «электронно-вычислительная машина» человеческого опыта, знания, интуиции пока еще во многом оказывается поистине незаменимой. Ориентируя плановые органы на совершенствование методов планирования, А. Н. Косыгин подчеркивал, что «при подготовке решений по тем или иным хозяйственным вопросам должны быть сопоставлены различные варианты на основе не только ведомственных, но и вневедомственных экспертных оценок»[2].

Один из самых эффективных методов экспертной оценки — это метод «Дельфы», названный так в честь знаменитых дельфийских оракулов в Древней Греции. Суть его составляет анонимный опрос экспертов. Затем следует ознакомление каждого с ответами коллег (разумеется, тоже анонимными). Корректировка мнений. Снова опрос. И так несколько туров. Постепенно усредняются, сближаются мнения и оценки. И вот наконец рождается коллективная оценка, впитавшая в себя опыт и знания всей экспертной группы.

Воспользовавшись советами, высказанными в рецензируемой книге, экспертный опрос может организовать на своем предприятии, в своем учреждении руководитель любого ранга (им, руководителям, книга, собственно говоря, и адресована, ибо выпущена в серии «Библиотечка хозяйственного руководителя»). Важное достоинство книги — доступность и простота изложения. Причем достигнуты они отнюдь не за счет упрощения предмета.

М. Кривич.

---

[2] А. Н. Косыгин. Избранные речи и статьи. М. Политиздат. 1974, стр. 541.

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

ПОЛИТИЗДАТ

К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения. Изд. 2-е. Т. 43. 617 стр. Цена 1 р.

Л. И. Брежнев. Вопросы управления экономикой развитого социалистического общества. Речи, доклады, выступления. 600 стр. Цена 1 р. 15 к.

История Коммунистической партии Советского Союза. Учебник. 782 стр. Цена 1 р. 32 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

С. Георгиевская. Старости не бывает. Повести. 767 стр. Цена 1 р. 42 к.

В. Литвинов. Характер — это судьба. Заметки литературного критика. 344 стр. Цена 93 к.

Б. Окуджава. Арбат, мой Арбат. Стихи и песни. 126 стр. Цена 35 к.

Ш. Рашидов. Победители. Роман. Перевод с узбекского. 358 стр. Цена 81 к.

Г. Семенов. Уличные фонари. Повесть. 304 стр. Цена 46 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Э. Бэкман. Трилогия. Маленькие люди.— Колодезное зеркало.— Старые дети. Перевод с эстонского. 573 стр. Цена 1 р. 34 к.

Н. Кочин. Собрание сочинений. В 3-х тт. Т. 1. Девки. Роман. 509 стр. Цена 1 р. 25 к.

К. Кулиев. Собрание сочинений. В 3-х тт. Т. 1. Стихотворения.— Поэмы 1935—1961. Перевод с балкарского. 557 стр. Цена 2 р.

А. Луначарский. Очерки по истории русской литературы. 565 стр. Цена 1 р. 64 к.

Л. Мартынов. Собрание сочинений. В 3-х тт. Т. 1. Стихотворения. 718 стр. Цена 1 р. 85 к.

«СОВРЕМЕННИК»

В. Белов. Кануны. Хроника конца 20-х годов. («Новинки «Современника») 333 стр. Цена 73 к.

К. Воробьев. Вот пришел великан... Повести. 223 стр. Цена 71 к.

В. Иванов-Паймен. Мост. Роман. Перевод с чувашского. 432 стр. Цена 98 к.

Мировое значение творчества Михаила Шолохова. Материалы и исследования. 365 стр. Цена 95 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

Адреса десятой пятилетки. 189 стр. Цена 24 к.

А. Антокольский. Великаны с улицы Праздников. 128 стр. Цена 24 к.

А. Вознесенский. Витражных дел мастер. Стихи. 334 стр. Цена 1 р. 20 к.

И грянул гром... Антология американского фантастического рассказа. Перевод с английского. 462 стр. Цена 1 р. 74 к.

В. Катаев. Кладбище в Скулянах. Роман-хроника. 240 стр. Цена 67 к.

«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Ч. Айтматов. Повести. Предисловие А. Туркова. 224 стр. Цена 56 к

А. Сурков. Песня смелых. Стихи. 15 стр. Цена 14 к.

Главный редактор **С. С. Наровчатов**

Редакционная коллегия:

Ч. Айтматов, Ф. К. Видрашку (ответственный секретарь), **Е. М. Винокуров, Р. Г. Гамзатов, М. Б. Козьмин** (первый зам. главного редактора), **В. А. Косолапов, А. А. Кулешов, В. М. Литвинов, М. Д. Львов** (зам. главного редактора), **А. И. Овчаренко, Г. И. Резниченко, А. Е. Рекемчук, А. Я. Сахнин, Д. В. Тевекелян, К. А. Федин**

Адрес редакции: 103006, Москва, Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 299-81-77
Издательство «Известия Советов депутатов трудящихся СССР»
Москва К-6. Пушкинская пл., д. 5.

Сдано в набор 24/XII 1976 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 3/III 1977 г.
Формат бумаги 70×108 1/16, 28,7 уч.-изд. 9 бум. л. (25,2 усл. печ. л.)
А 09731. Тираж 180.000 экз. Заказ 4170.

Отпечатано с матриц типографии издательства «Известия Советов депутатов трудящихся СССР». Москва, Пушкинская пл., 5, в типографии № 1 ордена Ленина комбината печати издательства «Радянська Україна», Киев-47, Брест-Литовский проспект, 94. Зак. 01235.

Цена 70 коп.

70636